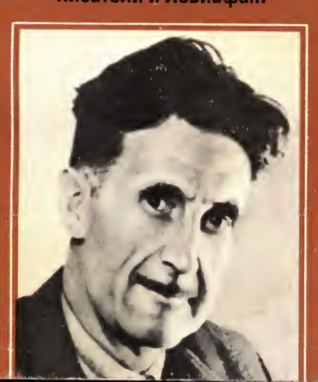
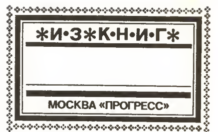
Джордж Оруэлл

«1984» и эссе разных лет

Вспоминая войну в Испании.
Подавление литературы.
Писатели и Левиафан.





*И·З*К·Н·И·Г*
МОСКВА «ПРОГРЕСС»

ЗАРУБЕЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ПУБЛИЦИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Джордж ОРУЭЛЛ

«1984» и эссе разных лет

Роман и художественная публицистика

Перевод с английского

Москва «ПРОГРЕСС» 1989

ББК 84.4 Вл
0—70

Составитель *В. С. Муравьев*
Автор предисловия д.ф.н. А. М. Зверев
Комментарии *В. А. Чаликовой*
Художник *Б. В. Гордон*
Редактор *А. А. Файнгар*

ISBN 5-01-002094-7

О СТАРШЕМ БРАТЕ И ЧРЕВЕ КИТА

Набросок к портрету Оруэлла

У каждой писательской биографии свой узор, своя логика. Эту логику не всякий раз легко почувствовать, а тем более — обиаружить за иею высший смысл, который диктует время. Но бывает, что старая истина, говорящая о иевозможиости поиять человека вие его эпохи, становится иеопровержимой не в отвлечением, а в самом буквальиом зиачеиии слова. Судьба Джорджа Оруэлла — пример как раз такого рода.

Даже и сегодня, когда об Оруэлле написаио куда больше, чем написал ои сам, многое в ием кажется загадочиым. Поражают резкие изломы его литературного пути. Бросаются в глаза крайиости его суждений — и в молодые годы, и в последиие. Сами его книги словио прииадлежат разным людям: одии, подписаиные еще иастоящим его имеием Эрик Блэйр, легко вписываются в контекст доминирующих идей и веяиий 30-х годов, другие, печатавшиеся под псевдоиимом Джордж Оруэлл, принятым в 1933 году, противостоят подобиым веяниям и идеям иепримиримо.

Какая-то глубокая трещииа иадвое раскалывает этот творческий мир, и трудио поверить, что при всех виутреиних аитагоиизмах ои един. Поступательиость, эволюция — слова, по первому впечатлеиию вовсе ие примеиимые к Оруэллу; иужиы другие — катаклизм, взрыв. Их можио заменить ие столь эиергичиыми, сказав, например, о переломе или переоцеике, однако суть ие изменится. Все равио остается впечатлеиие, что перед нами писатель, который за отпущеииый ему краткий срок прожил в литературе две очеиь несхожие жизни.

В критике, касавшейся Оруэлла, эта мысль варьируется иа миогие лады, от бескоиечных повтореиий приобретая вид аксиомы. Но само собой разумеющаяся бесспориость не всегда оказывается порукой истииы. И с Оруэллом на поверку дело обстояло гораздо сложиее, чем представляется иевиимательным коммеитаторам, спешащим решительио все объяснить

переломом в его взглядах, но путающимся в истолковании причин этой метаморфозы.

Действительно, был в жизни Оруэлла момент, когда он испытал глубокий духовный кризис, даже потрясение, заставившее отказаться от многого, во что твердо верил юный Эрик Блэйр. Тем немногим, кто заметил писателя еще в 30-е годы, было бы крайне сложно угадать, какие произведения выйдут из-под его пера в 40-е. Но, констатируя это, не упустим из виду главного — тут действовали не столько субъективные факторы, а прежде всего давала себя почувствовать драма революционных идей, разыгравшаяся на исходе тех же 30-х. Для Оруэлла она обернулась тяжким личным испытанием. Из этого испытания родились книги, обеспечившие их автору законное место в культуре XX столетия. Это, впрочем, выяснилось лишь годы спустя после его смерти.

* * *

Пять лет назад на Западе отметили литературное событие особого рода: не памятную писательскую дату, не годовщину появления знаменитой книги, а юбилей заглавия. Случай, кажется, уникальный; наверняка таким он и останется. Празднества всегда приурочивают к внешним поводам, а здесь повод дала просто хронология. Свой самый известный роман Оруэлл назвал «1984». Вряд ли он думал, что эти цифры наполнятся неким магическим значением. Время показало, что произошло именно так.

Юбилей отмечали широко. Была сделана экранизация (уж, кстати, перенесли на экран и другую его прославленную книгу — «Скотный двор», выбрав для этого, видимо, единственно возможную форму — мультипликацию). Прошло несколько международных симпозиумов. Появилось десятка полтора сочинений очень разного содержания и направленности: от мемуаров до капитальных политологических штудий, от безоговорочных славословий до сокрушающей критики или по меньшей мере насмешливых укоризн несостоятельному пророку.

И к этим сочинениям, и вообще к бурной активности, ознаменовавшей «год Оруэлла», всяк волен относиться по-своему. Однако надо признать неоспоримое: произведения английского писателя затронули исключительно чувствительную струну общественного самосознания. Поэтому их резонанс оказался долгим, провоцируя дискуссии, непосредственно касающиеся труднейших вопросов, которые поставила история нашего столетия. Этого не скажешь о многих книгах, объективно обладающих более высоким художественным достоинством, во всяком случае, бóльшим престижем, подразумевая собственно эстетический аспект.

Любопытно, что заглавие романа, вызывающего по сей день столь разноречивые отклики, было найдено Оруэллом по чистому случаю. Рукопись, законченная осенью 1948 года, оставалась безымянной — не подошел ни один из вариантов названия. На

последней странице стояла дата, когда Оруэлл завершил авторскую правку. Он переставил в этой дате две последние цифры.

Через полтора года он умер. Ему было всего сорок шесть лет.

Никто, правда, не назовет недолгую его жизнь скудной событиями.

О собственной юности Оруэлл почти никогда не писал, и понадобились усилия профессиональных биографов, чтобы установить хотя бы основные факты. Пожалуй, самым важным из них был тот, что будущий писатель вырос в Бенгалии, тогда еще остававшейся одной из британских колоний. Где-то поблизости провел свою пору детства и Киплинг, к которому Оруэлл неизменно испытывал сложное чувство восхищения, смешанного с протестом. Восхищал блистательный художественный дар Киплинга, открывшего Индию для современной европейской литературы. Этими киплинговскими уроками Оруэллу не дано было воспользоваться; его единственная книга на колониальном материале, роман «Дни в Бирме» (1936), оказалась неудачной. Но зато в отличие от Киплинга у него не возникало иллюзий ни насчет истинной роли англичан в колониях, ни относительно будущего, которое уготовано Британской империи.

Еще ребенком он видел слишком много несправедливости и жестокости, слишком кричащую нищету и горе, чтобы не понять: все это вскоре отольется колонизаторам вспышками гнева, в котором им некого будет винить, кроме самих себя. Извечный английский эгоцентризм, самодовольство и спесь станут постоянной мишенью его горькой иронии — не оттого ли, что такими прочными оказались у Оруэлла воспоминания самых ранних лет.

В его огромном публицистическом наследии английская массовая психология, английский характер и национальный тип стали одной из важнейших тем. Невозможно с однозначностью говорить об отношении Оруэлла к соотечественникам и к родной стране — оно было многогранным, к тому же меняясь с годами. Тут очень пристрастный взгляд: и в неприятии, и в похвале. Неприятия, кажется, больше, но опасно довериться первому впечатлению. Оруэлл был законченно английским писателем, впитавшим самые устойчивые из британских традиций — трезвость мысли, чурающейся слишком отважных воспарений, уважение к достоинству личности, к правам и порядку, суховатый рационализм, безошибочное чувство нелепого и смешного. Особый, чисто английский склад ума различим у него повсюду: от литературных суждений до оценок сложнейших политических конфликтов трудного времени, в которое ему выпало жить.

Однако и самые яростные противники Оруэлла не попрекнули бы его казенным патриотизмом. Сознавая свою кровную связь с английскими духовными традициями, он не менее отчетливо сознавал и свою чужеродность им, когда дело касалось столь серьезных и ответственных категорий, как гражданская активность, ангажированность, неравнодушие к коллизиям, развертывающимся в мире, сознание причастности к его тревогам.

Разлад с Англией, колкости, а то и резкости Оруэлла в его эссе об английских понятиях и поверьях — все это имело одну и ту же причину. Оруэлл категорически не принимал на редкость стойких иллюзий, будто Британские острова — некий замкнутый мирок, куда не доносятся холодные ветры истории, а стало быть, для обитающих в этом мирке вполне естественно созерцать происходящее за его пределами с пассивностью и, уж во всяком случае, с сознанием собственной надежной защищенности от трагедий, остающихся уделом других. Такого рода успокоительные самообманы и весь круг ценностей британского обывателя, почитающего буржуазные нормы отношений незыблемыми, претили Оруэллу. Иным был его личный опыт. Его идейное воспитание тоже было иным: уже подростком он штудировал книги Уильяма Морриса и других социалистических мыслителей, восторженно читал Уайльда, преклонялся перед Свифтом, а бунтарские настроения, питавшиеся главным образом ненавистью к английскому лицемерию и ханжеству, крепли у Оруэлла год от года.

* * *

Они щедро выплеснулись в книгах, которыми он начинал. Мало кто оценил эти книги при их появлении. Оруэллу непросто было выделиться среди тогдашних дебютантов. Время было такое, что вера в близкое всемирное торжество социализма, сопровождавшаяся решительным неприятием всего буржуазного и мещанского, считалась у молодых интеллектуалов в порядке вещей; Оруэлл разделял ее едва ли не целиком. Он описывал гнетущую бедность рабочих кварталов в промышленных городах английского Севера («Дорога на Уиган-Пирс», 1937) и убожество помыслов, устремлений, всего круга жизни благополучного «среднего сословия», с которым никак не поладит герой-мечтатель, вдохновляющийся расплывчатыми высокими идеалами («Пусть цветет аспидистра», 1936). Его романы — и оба упомянутых, и «Дочь священника» (1935) — не вызвали большого интереса, причем их более чем скромная литературная репутация не изменилась даже после грандиозного успеха «1984».

Сам Оруэлл готов был согласиться с критиками, писавшими, что ему недостает истинного художественного воображения, и отметившими непростительные небрежности стиля. О себе он неизменно отзывался как об «умелом памфлетисте», не более. Но ведь памфлетистом называл себя и Свифт, его литературный наставник.

Понадобился «Скотный двор» (1945), чтобы, вспомнив свифтовскую «Сказку бочки», постепенно опознали творческую генеалогию Оруэлла. А для того, чтобы написать эту притчу, нужен был социальный и духовный опыт, заставивший очень серьезно задуматься над тем, что Оруэлл в молодости считал бесспорным. Этот опыт копился, отлеживался в его сознании годами, не расшатав убеждений, которые были для Оруэлла фундаментальными, однако скорректировав их очень заметно.

Настолько заметно, что на этой почве и возникла уверенность в существовании «двух Оруэллов»: до перелома, обозначенного книгой «Памяти Каталонии» (1940), и после.

Эти суждения — при желании их было легко перевести на язык политических ярлыков и обвинений в ренегатстве — чрезвычайно затруднили понимание смысла того, что написано Оруэллом, и урока, который таит в себе его судьба. У нас его имя десятки лет попросту не упоминалось, а уж если упоминалось, то с непременными комментариями вполне определенного характера: антикоммунист, пасквилянт и т. п. На Западе отсылки к Оруэллу стали дежурными, когда предпринималась очередная попытка скомпрометировать идеи революции и переустройства мира на социалистических началах. Мифы, искажающие наследие Оруэлла до неузнаваемости, росли и по ту, и по эту сторону идеологических рубежей. Пробиться через эти мифы к истине об Оруэлле непросто.

Но сделать это необходимо — не только ради запоздалого торжества истины, а ради непредвзятого обсуждения волновавших Оруэлла проблем, которые по-прежнему актуальны донельзя. И начать надо с того, что вопреки кризису, многое переменившему во взглядах Оруэлла к концу 30-х годов, он представлял собой удивительно цельную личность. Над ним никогда не имела власти политическая конъюнктура, он был не из тех, кто совершает замысловатые идейные маршруты, отдавшись переменчивым общественным ветрам.

Существовали слова, обладавшие для него смыслом безусловным и не подверженным никаким корректировкам,— слово «справедливость», например, или слово «социализм». Можно спорить с тем, как он толковал эти понятия, но не было случая, чтобы Оруэлл бестрепетно сжег то, чему вчера поклонялся, да еще, как водится, стал подыскивать себе оправдания в ссылках на изменившуюся ситуацию, на относительность любых концепций, на невозможность абсолютов. Подобный релятивизм и Оруэлл — планеты несовместные.

Знавших его всегда поражала твердая последовательность мысли Оруэлла и присущее ему органическое неприятие недоговорок. В свое время из-за этого неумения прилаживаться ему пришлось оставить должность чиновника английской колониальной администрации в Бирме. Он уехал в колонии, едва закончив образование, и, по свидетельствам мемуаристов, явно выделялся среди сослуживцев в лучшую сторону. Но, исповедуя социалистическую идею, нельзя было занимать пост в колониальной полиции. Так он чувствовал. И оставил должность, смутно представляя, что его ждет впереди.

В Париже, а потом в Лондоне он нищенствовал, перебивался случайно подвернувшейся работой продавца в книжной лавке, школьного учителя. Меж тем в кармане у него лежал диплом Итона, одного из самых привилегированных колледжей, открывавшего своим питомцам заманчивые перспективы.

Он так и остался неуживчивым, не в меру щепетильным

человеком до самого конца. После Испании Оруэлл порвал с издателем, печатавшим все его прежние книги. Издатель, державшийся левых взглядов, требовал убрать из фронтовых дневников Оруэлла записи о беззакониях, происходивших в лагере Республики: зачем этого касаться, когда на пороге решающая схватка с фашизмом? Однако напрасно было говорить Оруэллу, будто дело, за которое он дрался под Барселоной, выиграет от умолчаний и насилий над истиной. Эту логику он не признавал изначально, как бы искусно ее ни обосновывали.

* * *

Испанская война стала для Оруэлла, как и для всех прошедших через это испытание, кульминацией жизни и проверкой идей. Не каждый выдерживал такую проверку: некоторые сломались, как Джон Дос Пассос, принявшийся каяться в былом радикализме, другие предпочли вспоминать те непростые годы выборочно, чтобы не пострадал окружавший их романтический ореол. С Оруэллом получилось по-другому. В Испанию он отправился, потому что стоял на позициях демократического социализма. Как солдат он честно выполнил свой долг, ни на минуту не усомнившись в том, что решение сражаться за Республику было единственно правильным. Однако реальность, представшая ему на испанских фронтах, была травмирующей. След этой травмы протянется через все, что было написано Оруэллом после Испании.

Из воевавших за Республику писателей он первым сказал об этой войне горькую правду. Он был убежден, что Республика потерпела поражение не только из-за военного превосходства франкистов, поддерживаемых Гитлером и Муссолини,— идейная нетерпимость, чистки и расправы над теми сторонниками Республики, кто имел смелость отстаивать независимые политические мнения, нанесли великому делу непоправимый урон. С этими мыслями Оруэлла невозможно спорить. За ними стоит опыт слишком реальный и жестокий.

Другое дело, что формулировались эти мысли человеком, который находился в состоянии, близком к шоку. И оттого в них есть своя тенденциозность. Она чувствуется уже в том, что высший смысл войны в Испании, ставшей прологом мировой антифашистской войны, у Оруэлла как-то теряется, отходит на второй план, оказывается заслоненным горькими фронтовыми буднями — бессмысленной гибелью тысяч солдат, которым давали заведомо невыполнимые задания, маниакальной подозрительностью, самосудами или расстрелами без суда. О той же пристрастности Оруэлла говорит и собственная его подозрительность относительно роли, которую в испанских событиях играл Советский Союз, будто бы старавшийся не допустить подлинно народной революции, сдержать и обуздать слишком высоко взметнувшуюся демократическую волну. Бесконечно далекий от троцкистов, Оруэлл здесь, по сути, повторял их утверждения, странно звучащие в его устах.

В частностях он, очевидно, несправедлив, и нет нужды всерьез его опровергать. А сам итог испанской главы его биографии поучителен и по-своему закономерен. Оруэлл отправился в Испанию как убежденный социалист, не вняв предостережениям тех, кто наподобие американского писателя Генри Миллера советовал ему остаться в стороне и не подвергать себя риску слишком болезненного разочарования. Когда через полтора года, в июне 1937-го, он, сумев избежать более чем вероятного ареста, вернулся домой долечивать горловое ранение, позиции его остались прежними. Но в той формуле, которой Оруэлл всегда пользовался, определяя свое кредо, — «демократический социализм»,— переместились акценты. Ключевым теперь стало первое слово. Потому что в Испании Оруэлл впервые и с наглядностью удостоверился, что возможен совсем иной социализм — по сталинской модели. И этот уродливый социализм, казнящий революцию во имя диктатуры вождей и подчиненной им бюрократии, с той поры сделался для Оруэлла главным врагом, чей облик он умел различать безошибочно, не обращая внимания на лозунги и на знамена.

* * *

Нужно хотя бы в общих чертах представить себе тогдашнюю идейную ситуацию на Западе, чтобы стало ясно, какой смелостью должен был обладать Оруэлл, отстаивая свои принципы. Фактически он подвергал себя изоляции. Сетования на нее не раз прорываются в его письмах.

Было в нем что-то донкихотское, проявлявшееся в бескомпромиссности мнений, которая тогда для многих выглядела наивной. Оруэлл не желал считаться с резонами политической тактики. Оттого конфликты с окружающими завязывались у него на каждом шагу. Он оказался неудобным собеседником, который заставлял додумывать до конца многое, о чем вообще не хотели думать, и бередил сознание, убаюканное легендами или доверчивостью к лозунгам — не так уж важно, каким именно. Сила Оруэлла как раз и была в том, что, презрев такое неудобство, он упрямо заводил речь о явлениях, которые предпочитали как бы не замечать. Это же свойство сулило Оруэллу нелегкую участь оратора, которого никто не хочет выслушать с должным вниманием, а тем более с сочувствием.

Консерваторов он не устраивал тем, что по-прежнему стойко верил в социалистический идеал, с ним одним связывая возможность гуманного будущего, когда исчезнут и диктатуры, и колониальный гнет, и общественная несправедливость. Разумеется, его воззрения оставались типичным «социализмом чувства», в теоретическом отношении слабым, а то и просто несостоятельным. Но в выношенности и искренности этих воззрений Оруэлл не дал повода усомниться никому.

Для либералов он был докучливым критиком и явным чужаком, поскольку не выносил их прекраснодушного пустосло-

вня. Очень характерна в этом отношении его полемика с Гербертом Уэллсом. Личность старой формации, Уэллс, подобно большинству своих единомышленников, не хотел осознать, как глубоко изменился мир в первые десятилетия XX века. Фашизм, политика геноцида, тоталитарное государство, массовая военная истерия — для него все это было лишь каким-то временным помрачением умов, неспособным, впрочем, серьезно воздействовать на законы прогресса, ведущего от вершины к вершине. Отдавая должное духовному влиянию Уэллса, в юности испытанному им самим, Оруэлл не мог, однако, принять этого олимпийского спокойствия перед лицом грозных опасностей, угрожающих человечеству. Контуры описанного в «1984» мира, где тоталитаризм всевластен, а человек без остатка подчинен безумной и лицемерной идеологии, открылись ему еще на исходе 30-х годов; близкое будущее подтвердило, насколько небеспочвенной была его тревога. Потом, когда был напечатан «1984», либералы не могли ему простить, что местом действия избрана не какая-нибудь полуварварская восточная страна, а Лондон, ставший столицей Океании — одной из трех сверхдержав, ведущих бесконечные войны за переделку границ.

Но особенно яростно спорил Оруэлл с теми, кто почитал себя марксистами или, во всяком случае, левыми. Причем этот спор выходил далеко за рамки частностей, потому что его предметом были такие категории, как свобода, право, демократия, логика истории и ее уроки для следующих поколений. Главное расхождение между Оруэллом и его противниками из левого лагеря заключалось в истолковании диалектики революции и смысла ее последующих метаморфоз. Отношение к тому, что на Западе тогда было принято называть «советским экспериментом», разделило Оруэлла и английских социалистов предвоенного, да и послевоенного, времени настолько принципиально, что ни о каком примирении не могло идти речи.

Многое в этом споре, не утихавшем десять с лишним лет, следует объяснить временем, предопределившим и остроту полемики, и ее крайности — с обеих сторон. Оруэлл никогда не был в СССР и должен был полагаться только на чужие свидетельства, чаще всего лишенные необходимой объективности, да на собственный аналитический дар. Трагедию сталинизма он считал необратимой катастрофой Октября. Согласиться с этим невозможно и сегодня, когда мы представляем себе масштабы и последствия трагедии неизмеримо лучше, чем их представлял себе Оруэлл. Исторические обобщения вообще не являлись сильной стороной его книг. Их притягательность в другом: в свободе от иллюзий, когда дело касается реального положения вещей, в отказе от казуистических оправданий того, чему оправдания быть не может, в способности назвать диктатуру Вождя диктатурой (или, пользуясь излюбленным словом Оруэлла, тоталитаризмом), а совершенную сталинизмом расправу над революцией — расправой и предательством, сколько бы ни трубили о подлинном торжестве революционного идеала.

Эту силу Оруэлла хорошо чувствовали его антагонисты, от-

того и предъявляя ему обвинения самые немыслимые, вплоть до оплаченного пособничества реакции. Тягостно перечитывать теперь писавшееся об Оруэлле английской левой критикой при его жизни. Это не анализ, это кампания с целью уничтожения — вроде той, что выпало пережить Ахматовой и Зощенко (недаром Оруэлл комментировал ныне отмененное постановление 1946 года с нечастой на Западе проницательностью: дал себя знать собственный опыт).

Однако исторически такая нетерпимость вполне объяснима. В левых кругах Запада долгое время предосудительной, если не прямо преступной считалась сама попытка дискутировать о сути происходящего в Советском Союзе. Внедренная сталинизмом система была бездумно признана образцом социалистического мироустройства. СССР воспринимали как форпост мировой революции. Из западного далека не смущали ни ужасы коллективизации с ее миллионами спецпереселенцев и умирающих от голода, ни внесудебные приговоры политическим противникам Вождя или всего лишь заподозренным в недостаточной преданности и слишком сдержанном энтузиазме.

Всему этому тут же находилось объяснение в якобы обостряющейся классовой борьбе и злодейских замыслах империализма, в закономерностях исторического процесса, проклятом наследии российского прошлого, косности мужицкой психологии — в чем угодно, только не в природе сталинизма. За редчайшим исключением, левые западные интеллектуалы либо не увидели, что сталинизм есть преступление против революции и народа, либо, увидев, молчали, полагая, будто к молчанию обязывает их верность заветам Октября и атмосфера неуклонно приближающейся мировой войны.

Советско-германский пакт 1939 года основательно пошатнул безусловную — «вопреки всему» — веру в СССР, как и подобное понимание идейного долга, и лишь после этого Оруэлл смог напечатать книгу «Памяти Каталонии», а затем несколько статей, имеющих для него характер манифеста. Возвращаясь к ним в наши дни, нельзя не оценить главного: суть сталинской системы как авторитарного режима, который и в целом, и в конкретных проявлениях враждебен коренным принципам демократии, понята Оруэллом с точностью, для того времени едва ли не уникальной. С Оруэллом не только можно, а часто необходимо спорить, когда он доказывает неизбежность именно такого развития российской государственности после 1917 года, настаивая, что альтернативы не существовало. Беспристрастное и внимательное чтение последних ленинских работ, возможно, сумело бы его убедить, что на самом деле альтернатива была, как была предуказана в этих работах и опасность перерождения советской республики в термидорианскую диктатуру, к несчастью, ставшую реальностью. С наследием Ленина и вообще с марксистской классикой Оруэлл, видимо, был знаком весьма поверхностно, зная лишь того перетолкованного, усеченного, превращенного в цитатник на нужные случаи Ленина, который был разрешен в 30-е и 40-е годы. Слабости социалистического

образования, самодеятельно приобретенного Оруэллом, наглядны во многих его статьях.

И сами его представления о коммунизме, конечно, очень приблизительны, чтобы не сказать необъективны. Напрасно предполагать в этой необъективности некий умысел, все было и проще, и драматичнее. Коммунизм Оруэлл отождествлял со сталинской диктатурой, стремясь спасти от ее тлетворного влияния ту идею социализма как демократии, которую пронес через всю жизнь. Памятуя о духовных истоках Оруэлла, о его жизненном пути, а главное, о реальной исторической ситуации 30—40-х годов, это ложное отождествление можно понять и объяснить, но согласиться с ним нельзя. Собственно, не позволяет этого сделать сам Оруэлл, раз за разом оказывающийся уж слишком не в ладах с истиной, когда он судит о конкретных фактах советской действительности, полагая, что все это — прямое следствие коммунистической доктрины. Он даже и не пытается как-то аргументировать такие свои суждения, как бы сознавая их шаткость. Мы читаем у него, будто целью большевиков изначально была та «военная деспотия», которая восторжествовала при Сталине, но против такого заявления восстает реальная история, если смотреть на нее с должной непредвзятостью. Мы читаем у Оруэлла, будто в годы войны массы советских граждан перешли на сторону врага, но есть ли необходимость доказывать, что это лишь россказни недоброжелателей. И таких примеров можно привести немало. Причем механизм ошибки тут всегда один и тот же: данность — сталинская система — истолкована как единственно возможный исторический итог процесса, начавшегося в 1917 году, и эта данность отвергается с порога, без должной аналитичности, без попытки неспешно, основательно разобраться в сложной диалектике причин и следствий. Вот коренной изъян многого, что им написано о советском историческом опыте.

Однако хотя бы отчасти этот изъян компенсировался той недогматичностью мышления, которую Оруэлл годами воспитывал в себе, справедливо полагая ее первым условием свободы. У него был острый глаз. С юности в нем пробудился тот многажды осмеянный здравый смысл, который оказывался по-своему незаменимым средством, чтобы распознать горькие истины за всеми теориями, построенными на лжи «во спасение», за всей патетикой, кабинетной ученостью и неискушенной романтикой, в совокупности создававшими образ светлых московских просторов, не имевший и отдаленного сходства с действительностью сталинского времени.

* * *

Тот образ, который возникает у Оруэлла, нелестен, подчас даже жесток, но у него есть достоинство решающее — он достоверен в главном.

Поэтому, читая эссеистику Оруэлла, как и его притчи, мы

столь миогое узиаем из своего ие столь уж далекого прошлого. При этом вовсе ие обязательно, чтобы Оруэлл касался советских «сюжетов» впрямую, откликаясь ли иа процессы 1937 года или размышляя иад судьбами ошельмоваиных писателей. Пожалуй, даже поучительиее те его соображения, которые затрагивают самое существо казармеиио-бюрократических режимов, какими они явились в XX столетии, по обилию их и по устойчивости далеко обогиавшем все предшествовавшие. Оруэлл раиьше очеиь миогих поиял, что это социальное устройство совершеиио особого типа, притязающее на долговремениость, если не иа вековечность, и, уж во всяком случае, вовсе ие являющееся иеким мимолетиым злым капризом истории.

Тут важио помиить, что Оруэлл писал, сам иаходясь в потоке тогдашиих событий, а ие с той создаииой времеием дистанции, которая помогает иам теперь разобраться в механике «великого перелома», оплачеииого столькими трагическими потерями, столькими драмами, перенесеииыми нашим обществом. Свидетельства совремеиииков обладают незаменимым преимуществом живой и непосредственной реакции, одиако нельзя от иих требовать исторической фуидаментальности. Тем существеиiее, что и сегодня, осмысляя феиомен сталиниизма, мы отмечаем в нем как наиболее характерное немало из того, что было осмыслеио и объясиеио Оруэллом.

Мы говорим сегодия о насильственном единомыслии, ставшем зиаком сталиской эпохи, об атмосфере страха, ей сопутствовавшей, о приспособлеиичестве и беспринципности, которые, пустив в этой атмосфере буйиые побеги, заставляли объявлять кромешио черным то, что вчера почиталось иезамутненно белым. О беззаконии, иакалеииой подозрительности, подавлении всякой независимой мысли и всякого иеказениого чувства. О кичливой парадности, за которой скрывались экоиомический аваитюризм и иепростительиые просчеты в политике. О стремлеииях чуть ли ие буквальио превратить человека в винтик, лишив его каких бы то ии было поиятий о свободе. Но ведь обо всем этом, или почти обо всем, говорил Оруэлл еще полвека назад — и отиюдь не со злорадством реакционера, иапротив, с болью за подобное перерождеиие революции, мыслившейся как иачало социализма, построеииого иа демократии и гуманиости. С опасением, что схожая перспектива ожидает все цивилизоваиное человечество.

Теперь легко утверждать, что тревоги Оруэлла оказались чрезмериыми и что советское общество вопреки его мрачиым предсказаниям сумело, пусть ценой страшиых утрат, преодолеть дух сталинизма, преодолевая и его иаследие. Да, Оруэлл, как выясиилось, был не таким уж блистательиым провидцем, а как аиалитик подчас оказывался далек от реальности. Надо ли доказывать, что отнюдь ие страх интеллектуалов перед иастоящей свободой был первопричииой появлеиия режимов, названных у Оруэлла «тоталитарной диктатурой», и что здесь проявились силы иамиого более масштабные и грозные? Надо ли объяс-

нять, что не все выстраивается в лад с доподлинной историей и в «1984», и в «Скотном дворе»?

Впрочем, даже и «Скотный двор», наиболее насыщенный отголосками советской действительности межвоенных десятилетий, вовсе не исчерпывается парафразом ее хроники. Она дала Оруэллу материал, но проблематика не столь однозначно конкретна. Ведь и само понятие «тоталитарная диктатура» для Оруэлла не было синонимом только сталинизма. Скорее он видел тут явление, способное прорасти и в обстоятельствах, отнюдь не специфичных для России, как, приняв иную зловещую форму, проросло оно в гитлеровской Германии, в Испании, раздавленной франкизмом, или в латиноамериканских банановых республиках под властью «патриархов» наподобие описанного Гарсиа Маркесом. В «Скотном дворе» модель диктатуры, возникающей на развалинах преданной и проданной революции, объективно важнее любых опознаваемых параллелей.

За те сорок с лишним лет, что минули после выхода «Скотного двора», эту модель можно было не раз и не два наблюдать в действии под разными небесами. И все повторялось почти без вариаций. Повторялся первоначальный всеобщий подъем, ожидание великих перемен, на смену которому медленно приходило ощущение великого обмана. Повторялась борьба за власть, когда звонкие слова таили в себе всего лишь игру далеко не бескорыстных амбиций, а решающими аргументами становились кулак и карательный аппарат. Повторялась механика вождизма, возносившая на монбланы власти все новых и новых калифов. И у их приспешников-демагогов оказалось поистине неисчислимое потомство. И прекрасные заповеди бесконечно корректировали, пока не превращали их в пародию над смыслом. И толпы все так же скандировали слова-фетиши, не желая замечать, что осталась только шелуха от этих призывов, некогда способных вдохновлять на подвиги.

Пророчество? Сам Оруэлл, во всяком случае, таких целей перед собой не ставил. И не протестовал, когда о его повести отзывались как об однодневке, снисходительно признавая ее не лишенной остроумия. Теперь подобная слепота английских критиков кажется дикой. Но, видимо, нужно было много времени, чтобы понять и оценить истинную природу повествования Оруэлла. Когда это произошло, его уже давно не было в живых.

* * *

В определенном смысле Оруэлл, несомненно, посодействовал тому, чтобы его не воспринимали как художника. На фоне Элиота, Хаксли, Ивлина Во и других литературных современников он выглядел кем угодно, только не интеллектуалом, каковым, по общепринятому установлению, надлежало быть истинному писателю. К интеллектуалам он вообще относился с насмешкой, чтобы не сказать с презрением, обвиняя их в органической неспособности усвоить самые очевидные факты, касаю-

щиеся коренных политических проблем времени. Зачастую эти упреки неоправданно резки, но их нельзя назвать беспочвенными.

Он был убежден, что современному писателю невозможно оставаться вне политики, а одеяние жреца надмирного искусства выглядит на нем как шутовской кафтан. Это была далеко не эстетическая дискуссия. Еще в 1940 году Оруэлл писал, что для английских властителей умов «чистки, повальная слежка, массовые казни, особые совещания и т. п.— вещи слишком незнакомые, чтобы испытать страх. Эти люди примирятся с любым тоталитаризмом, ведь собственный опыт научил их только либеральным понятиям и нормам». Подобный квиетизм стал объектом самых язвительных его нападок. Ответом был либо бойкот, либо непризнание сказанного Оруэллом, как будто дело не шло дальше газетной перепалки между консерватором и радикалами.

Очень многое в этом конфликте объяснялось и тем, что попытки Оруэлла демифологизировать еще не остывшую историю больно били по национальному самолюбию англичан, свято веривших в институты западной демократии, которые якобы ставят надежный заслон на пути диктаторов и диктатур. В это Оруэлл никогда не верил. Он видел, как потворствуют Франко и заискивают перед Гитлером, провозгласив тактику сдерживания. В 1941 году написано эссе «Англия, ваша Англия», где Оруэлл нашел свою метафору современного состояния мира — военный парад: ряды касок, по струнке вытянутый носок сапога, который вот сейчас опустится на человеческое лицо, чтобы раздавить его. Восемь лет спустя метафора станет ключевой в романе «1984».

Роман ответит и на мучительный для Оруэлла вопрос, который он выразил тоже метафорически, вспомнив о библейском ките, проглотившем пророка Иону. В Библии пророк молил бросить его в море, желая искупить вину за разыгравшуюся бурю. Сняв мотив жертвенности, Оруэлл ввел противоположный — бегство от долга. У него чрево кита дает уютное прибежище отказавшимся противиться «веку, когда свобода мысли признана смертным грехом, пока ее не превратят в бессмысленную абстракцию». Со временем произойдет и это; для «независимой личности не останется возможности существовать». И тогда умрет литература, которую удушают условия, вынуждающие безвольно подчиняться такой реальности.

Она умрет оттого, что в ней восторжествует пассивность. «Отдайся созерцанию происходящего в мире,— писал Оруэлл в эссе «Во чреве кита» (1940),— не противодействуй, не питай надежд, будто способен контролировать этот процесс,— прими его, приспособься, запечатлевай. Кажется, вот вера, которую в наши дни исповедует любой писатель, сознающий, какова теперь жизнь». Пример был под рукой: уже названный Генри Миллер, давний и близкий знакомый Оруэлла. Но для самого Оруэлла это был пример «полностью отрицательный, бесперспективный, аморальный, потому что нельзя быть только Ионой,

бестрепетно наблюдая зло или наподобие Уитмена с любознательностью разглядывая свалку трупов».

Смирение отвергалось. Что мог Оруэлл предложить взамен? Не приняв ни проповедничества Уэллса, ни миллеровской циничной насмешки, не соглашаясь ни с конформистами, ни с романтиками обновления, он становился уязвим со всех сторон.

И здесь ему на выручку пришел Свифт.

Разумеется, это был весьма своеобразно прочитанный Свифт, провозвестник антиутопии, которая бичует государство всеобщей подозрительности и могущественного сыска. Говоря о Свифте, Оруэлл, собственно, говорил о себе. Однако в истории литературы он выбрал действительно подходящий образец. Ведь именно Свифтом была доказана возможность судить о времени, не страшась гипербол, если за ними есть нечто реальное, пусть это не признается общественным мнением. Оруэлл видел в творце «Гулливера» художника, полагавшегося не на преобладающую веру, а на здравый смысл, хотя бы его и почитали безумцем. В споре с собственным временем свифтовская позиция становилась для Оруэлла единственно приемлемой.

Над страницами «1984», конечно, не раз вспомнится шедевр Свифта: и Академия прожектеров в Лагадо, отыскивающая способ повсюду насадить умеренную правильность мыслей, и государство Требниа, где выучились в зародыше истреблять любое недовольство. Тут больше чем литературные параллели. Тут схожие взгляды на социум и на человеческую природу.

В государстве Океания, о котором повествует Оруэлл, мудрецам из Лагадо пришлось бы не профессорствовать, а учиться самим, так далеко вперед продвинулась их наука. Однако это все та же наука полной стандартизации, когда ни о каком независимом индивиде просто не может идти речь. И это уже не проекты, а будничное, привычное положение вещей.

Неусыпное наблюдение внимательно к последней мелочи быта подданных Океании. Ничто не должно ускользнуть от державного ока, и суть вовсе не в страхе — подрывная деятельность практически давно уже исключена. Высшая цель режима состоит в том, чтобы никаких отклонений от раз и навсегда установленного канона не допустить как раз в сфере личностной, интимной — там, где такие отклонения, при всем совершенстве слежки и кары, все-таки еще не выкорчеваны до конца.

Человек должен принадлежать режиму с ног до головы и от пеленки до савана. Преступление совершают не те, кто вздумал бы сопротивляться,— таких просто нет; преступны помышляющие о непричастности, хотя бы исключительно для себя и во внеслужебном, внегосударственном своем существовании.

Тоталитарная идея призвана охватить — в самом буквальном смысле слова — все, что составляет космос человеческого бытия. И лишь при этом условии будет достигнута цель, которую она признает конечной. Возникнет мир стекла и бетона, невиданных машин, неслыханных орудий убийства. Родится нация воителей и фанатиков, сплоченных в нерасторжимое единство, чтобы двигаться вечно вперед и вперед, одушевляясь

абсолютно одинаковыми мыслями, выкрикивая абсолютно одинаковые призывы,— трудясь, сражаясь, побеждая, пресекая,— триста миллионов людей, у которых абсолютно одинаковые лица.

У Оруэлла это не воспаленная греза реформатора, вдохновленного вывихнутой идеей; это, за микроскопическими исключениями, реальность. В ней господствует сила, безразличная к рядовой человеческой судьбе. Граждане Океании должны знать лишь обязанности, а не права, и первой обязанностью является беспредельная преданность режиму: не из страха, а из веры, ставшей второй натурой.

Парадокс в том, что подобной искренности добиваются насилием, для которого не существует никаких ограничений. Центральная проблема из всех интересующих Оруэлла — до какой степени насилие способно превратить человека не просто в раба, а во всецело убежденного сторонника системы, которая раздавливает его, как тот сапог, опустившийся прямо на лицо. Где кончается принужденность? Когда она перерастает в убеждение и восторг? Тайна тоталитаризма виделась Оруэллу в умении достигать этого эффекта, и не в единичных случаях, но как эффекта массового.

Разгадку он находил во всеобщей связанности страхом. Постепенно становясь сильнейшим из побуждений, страх ломает нравственный хребет человека и заставляет его глушить в себе все чувства, кроме самосохранения. Оно требует мимикрии день за днем и год за годом, пока уже не воздействием извне, но внутренним душевным настроем будет окончательно подавлена способность видеть вещи, каковы они на самом деле. Государству надо только способствовать тому, чтобы этот процесс протекал быстро и необратимо.

Для этого и существует режим — с его исключительно мощным аппаратом подавления, с полицией мысли и полицией нравов, с «новоязом», разрушающим язык, чтобы стала невозможной мысль, с обязательной для всех доктриной «подвижного прошлого», согласно которой память преступна, когда она верна истине, а минувшего не существует, за вычетом того, каким оно сконструировано на данный момент.

История, культура, само человеческое естество — только помехи и препятствия, мешающие тоталитарной идее осуществиться в ее настоящей полноте. Пока сохраняется хотя бы хилый росток неофициозной мысли и неказенного чувства, не могут считаться вечными самовластие лидера Океании, называемого условным именем Старший Брат, и диктат целиком ему подконтрольной организации, которую обозначают столь же условным словом «партия». Задача не в том, чтобы добить противников, ибо они мнимы. Она в том, чтобы исчезла возможность несогласия, пусть сугубо теоретическая и эфемерная. Даже как отвлеченная концепция всякая индивидуальность должна исчезнуть навеки.

О конкретном прообразе мира, встающего со страниц «1984», спорили, и трудно сказать, согласился ли бы сам Оруэлл придать

Старшему Брату физическое сходство со Сталиным, как поступили экранизаторы романа. Сталинизм, конечно, имеет самое прямое отношение к тому порядку вещей, который установлен в Океании, но не только сталинизм. Как и в «Скотном дворе», говорить надо не столько о конкретике, сколько о социальной болезни, глубоко укорененной в атмосфере XX столетия и по-разному проявляющейся, хотя это все та же самая болезнь, которая методически убивает личность, укрепляя идеологию и власть. Это может быть власть Старшего Брата, глядящего с тысячи портретов, или власть анонимной бюрократии. В одном варианте это идеология сталинизма, это доктрина расового и национального превосходства — в другом, а в третьем — комплекс идей агрессивной технократии, которая мечтает о всеобщей роботизации. Но все эти варианты предполагают ничтожество человека и абсолютизм власти, опирающейся на идеологические концепции, которым всегда ведома непререкаемая истина и которые поэтому не признают никаких диалогов.

Личность по логике этой системы необходимо обратить в ничто, свести к винтику, сделать лагерной пылью, даже если формально оставлена свобода. А власть ни при каких условиях не может удовлетвориться достигнутым могуществом. Она обязана непрерывно укрепляться на все более и более высоких уровнях, потому что таков закон ее существования: ведь она не создает ничего, кроме рабства и страха, как не знает ценностей или интересов, помимо себя самой. По словам одного оруэлловского персонажа, ее представляющего, «цель репрессий — репрессии. Цель пытки — пытка. Цель власти — власть».

Это О'Брайен, пытающий и расстреливающий в подвалах Министерства любви, лишь с откровенностью формулирует основное побуждение, двигающее тоталитарной идеей, которую привычно украшают более или менее искусно наложенным гримом, чтобы выдать ее за триумф разума, справедливости и демократии. В XX столетии идея проложила себе многочисленные торные дороги, став фундаментом утопий, которые, осуществляясь, оказывались кошмаром. Оруэлл показал общество, где это произошло. И оно узнаваемо, как модель, имевшая достаточно слепков и подражаний.

Не следует корить поставленное Оруэллом зеркало за то, что мы узнаем в нем и нечто очень близкое пережитому нами самими. Напомним: роман завершен в 1948 году, одном из самых мрачных за всю советскую историю. Естественно, что целью Оруэлла было развенчание сталинизма, тогда — из-за незнания, из-за иллюзий, из-за приписанных гению Вождя побед в Великой Отечественной — обладавшего особой привлекательностью для многих и многих на Западе. Говорили о злобном памфлете, но на самом деле это была книга, расчищавшая площадку для будущего, где Старшему Брату не найдется места.

А годом раньше, предваряя издание «Скотного двора» в переводе на украинский язык, Оруэлл писал: «Ничто так не способствовало искажению исходных социалистических идей,

как вера, будто нынешняя Россия есть образец социализма, а поэтому любую акцию ее правителей следует воспринимать как должное, если не как пример для подражания. Вот отчего последние десять лет я убежден, что необходимо развеять миф о Советском Союзе, коль скоро мы стремимся возродить социалистическое движение».

Речь шла, понятно, не о Советском Союзе как таковом, а о сталинской системе. Миф о ней до конца не развеян и сегодня. Книги Оруэлла помогут этой задаче. Думается, это обстоятельство решающее, когда мы определяем свое отношение к непростой фигуре их автора. Отдавая дань его проницательности и честности, мы нередко полемизируем с ним, но не как с противником, а как с умным собеседником, хотя он подчас неудобен и для нас тоже.

А. Зверев

1984

РОМАН

Первая

I

Был холодный ясный апрельский день, и часы пробили тринадцать. Уткнув подбородок в грудь, чтобы спастись от злого ветра, Уинстон Смит торопливо шмыгнул за стеклянную дверь жилого дома «Победа», но все-таки впустил за собой вихрь зернистой пыли.

В вестибюле пахло вареной капустой и старыми половиками. Против входа на стене висел цветной плакат, слишком большой для помещения. На плакате было изображено громадное, больше метра в ширину, лицо,— лицо человека лет сорока пяти, с густыми черными усами, грубое, но по-мужски привлекательное. Уинстон направился к лестнице. К лифту не стоило и подходить. Он даже в лучшие времена редко работал, а теперь, в дневное время, электричество вообще отключали. Действовал режим экономии — готовились к Неделе ненависти. Уинстону предстояло одолеть семь маршей; ему шел сороковой год, над щиколоткой у него была варикозная язва; он поднимался медленно и несколько раз останавливался передохнуть. На каждой площадке со стены глядело все то же лицо. Портрет был выполнен так, что, куда бы ты ни стал, глаза тебя не отпускали. СТАРШИЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ,— гласила подпись.

В квартире сочный голос что-то говорил о производстве чугуна, зачитывал цифры. Голос шел из заделанной в правую стену продолговатой металлической пластины, похожей на мутное зеркало. Уинстон повернул ручку, голос ослаб, но речь по-прежнему звучала внятно. Аппарат этот (он назывался телекран) притушить было можно, полностью же выключить — нельзя. Уинстон отошел к окну: невысокий тщедушный человек, он казался еще более щуплым в синем форменном комбинезоне партийца. Волосы у него были совсем светлые, а румяное лицо шелушилось от скверного мыла, тупых лезвий и холода, только что кончившейся зимы.

Мир снаружи, за закрытыми окнами, дышал холодом. Ветер закручивал спиралями пыль и обрывки бумаги; и, хотя светило солнце, а небо было резко голубым, все в городе выглядело бесцветным — кроме расклеенных повсюду плакатов. С каждого заметного угла смотрело лицо черноусого. С дома напротив — тоже. СТАРШИЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ,— говорила подпись, и темные глаза глядели в глаза Уинстону. Внизу, над тротуаром трепался на ветру плакат с оторванным углом, то пряча, то открывая единственное слово: АНГСОЦ. Вдалеке между крышами скользнул вертолет, завис на мгновение, как трупная муха, и по кривой унесся прочь. Это полицейский патруль заглядывал людям в окна. Но патрули в счет не шли. В счет шла только полиция мыслей.

За спиной Уинстона голос из телекрана все еще болтал о выплавке чугуна и перевыполнении девятого трехлетнего плана. Телекран работал на прием и на передачу. Он ловил каждое слово, если его произносили не слишком тихим шепотом; мало того, покуда Уинстон оставался в поле зрения мутной пластины, он был не только слышен, но и виден. Конечно, никто не знал, наблюдают за ним в данную минуту или нет. Часто ли и по какому расписанию подключается к твоему кабелю полиция мыслей — об этом можно было только гадать. Не исключено, что следили за каждым — и круглые сутки. Во всяком случае, подключиться могли когда угодно. Приходилось жить — и ты жил, по привычке, которая превратилась в инстинкт,— с сознанием того, что каждое твое слово подслушивают и каждое твое движение, пока не погас свет, наблюдают.

Уинстон держался к телекрану спиной. Так безопаснее; хотя — он знал это — спина тоже выдает. В километре от его окна громоздилось над чумазым городом белое здание министерства правды — место его службы. Вот он, со смутным отвращением подумал Уинстон, вот он, Лондон, главный город Взлетной полосы I, третьей по населению провинции государства Океания. Он обратился к детству — попытался вспомнить, всегда ли был таким Лондон. Всегда ли тянулись вдаль эти вереницы обветшалых домов XIX века, подпертых бревнами, с залатанными картоном окнами, лоскутными крышами, пьяными стенками палисадников? И эти прогалины от бомбежек, где вилась алебастровая пыль и кипрей карабкался по грудам обломков; и большие пустыри, где бомбы расчистили место для целой грибной семьи убогих дощатых хибарок, похожих на курятники? Но — без толку, вспомнить он не мог; ничего не осталось от детства, кроме отрывочных ярко освещенных сцен, лишенных фона и чаще всего невразумительных.

Министерство правды — на новоязе[1] миниправ — разительно отличалось от всего, что лежало вокруг. Это исполинское пирамидальное здание, сияющее белым бетоном, вздымалось,

[1] *Новояз* — официальный язык Океании. О структуре его см. Приложение.

уступ за уступом, на трехсотметровую высоту. Из своего окна Уинстон мог прочесть на белом фасаде написанные элегантным шрифтом три партийных лозунга:

ВОЙНА — ЭТО МИР
СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ — СИЛА

По слухам, министерство правды заключало в себе три тысячи кабинетов над поверхностью земли и соответствующую корневую систему в недрах. В разных концах Лондона стояли лишь три еще здания подобного вида и размеров. Они настолько возвышались над городом, что с крыши жилого дома «Победа» можно было видеть все четыре разом. В них помещались четыре министерства, весь государственный аппарат: министерство правды, ведавшее информацией, образованием, досугом и искусствами; министерство мира, ведавшее войной; министерство любви, ведавшее охраной порядка, и министерство изобилия, отвечавшее за экономику. На новоязе: миниправ, минимир, минилюб и минизо.

Министерство любви внушало страх. В здании отсутствовали окна. Уинстон ни разу не переступал его порога, ни разу не подходил к нему ближе чем на полкилометра. Попасть туда можно было только по официальному делу, да и то преодолев целый лабиринт колючей проволоки, стальных дверей и замаскированных пулеметных гнезд. Даже на улицах, ведущих к внешнему кольцу ограждений, патрулировали охранники в черной форме, похожие на горилл и вооруженные суставчатыми дубинками.

Уинстон резко повернулся. Он придал лицу выражение спокойного оптимизма, наиболее уместное перед телекраном, и прошел в другой конец комнаты, к крохотной кухоньке. Покинув в этот час министерство, он пожертвовал обедом в столовой, а дома никакой еды не было — кроме ломтя черного хлеба, который надо было поберечь до завтрашнего утра. Он взял с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой этикеткой: «Джин Победа». Запах у джина был противный, маслянистый, как у китайской рисовой водки. Уинстон налил почти полную чашку, собрался с духом и проглотил, точно лекарство.

Лицо у него сразу покраснело, а из глаз потекли слезы. Напиток был похож на азотную кислоту; мало того: после глотка ощущение было такое, будто тебя огрели по спине резиновой дубинкой. Но вскоре жжение в желудке утихло, а мир стал выглядеть веселее. Он вытянул сигарету из мятой пачки с надписью «Сигареты Победа», по рассеянности держа ее вертикально, в результате весь табак из сигареты высыпался на пол. Со следующей Уинстон обошелся аккуратнее. Он вернулся в комнату и сел за столик слева от телекрана. Из ящика стола он вынул ручку, пузырек с чернилами и толстую книгу для записей с красным корешком и переплетом под мрамор.

По неизвестной причине телекран в комнате был установлен не так, как принято. Он помещался не в торцовой стене, откуда мог бы обозревать всю комнату, а в длинной, напротив окна. Сбоку от него была неглубокая ниша, предназначенная, вероятно, для книжных полок,— там и сидел сейчас Уинстон. Сев в ней поглубже, он оказывался недосягаемым для телекрана, вернее, невидимым. Подслушивать его, конечно, могли, но наблюдать, пока он сидел там,— нет. Эта несколько необычная планировка комнаты, возможно, и натолкнула его на мысль заняться тем, чем он намерен был сейчас заняться.

Но кроме того, натолкнула книга в мраморном переплете. Книга была удивительно красива. Гладкая кремовая бумага чуть пожелтела от старости — такой бумаги не выпускали уже лет сорок, а то и больше. Уинстон подозревал, что книга еще древнее. Он приметил ее в витрине старьевщика в трущобном районе (где именно, он уже забыл) и загорелся желанием купить. Членам партии не полагалось ходить в обыкновенные магазины (это называлось «приобретать товары на свободном рынке»), но запретом часто пренебрегали: множество вещей, таких, как шнурки и бритвенные лезвия, раздобыть иным способом было невозможно. Уинстон быстро оглянулся по сторонам, нырнул в лавку и купил книгу за два доллара пятьдесят. Зачем — он сам еще не знал. Он воровато принес ее домой в портфеле. Даже пустая, она компрометировала владельца.

Намеревался же он теперь — начать дневник. Это не было противозаконным поступком (противозаконного вообще ничего не существовало, поскольку не существовало больше самих законов), но, если дневник обнаружат, Уинстона ожидает смерть или в лучшем случае двадцать пять лет каторжного лагеря. Уинстон вставил в ручку перо и облизнул, чтобы снять смазку. Ручка была архаическим инструментом, ими даже расписывались редко, и Уинстон раздобыл свою тайком и не без труда: эта красивая кремовая бумага, казалось ему, заслуживает того, чтобы по ней писали настоящими чернилами, а не корябали чернильным карандашом. Вообще-то он не привык писать рукой. Кроме самых коротких заметок, он все диктовал в речепис, но тут диктовка, понятно, не годилась. Он обмакнул перо и замешкался. У него схватило живот. Коснуться пером бумаги — бесповоротный шаг. Мелкими корявыми буквами он вывел:

4 апреля 1984 года

И откинулся. Им овладело чувство полной беспомощности. Прежде всего он не знал, правда ли, что год — 1984-й. Около этого — несомненно: он был почти уверен, что ему 39 лет, а родился он в 1944-м или 45-м; но теперь невозможно установить никакую дату точнее, чем с ошибкой в год или два.

А для кого, вдруг озадачился он, пишется этот дневник? Для будущего, для тех, кто еще не родился. Мысль его покружила над сомнительной датой, записанной на листе, и вдруг наткнулась на новоязовское слово *двоемыслие*. И впервые ему

стал виден весь масштаб его затеи. С будущим как общаться? Это по самой сути невозможно. Либо завтра будет похоже на сегодня и тогда не станет его слушать, либо оно будет другим, и невзгоды Уинстона ничего ему не скажут.

Уинстон сидел, бессмысленно уставясь на бумагу. Из телекрана ударила резкая военная музыка. Любопытно: он не только потерял способность выражать свои мысли, но даже забыл, что ему хотелось сказать. Сколько недель готовился он к этой минуте, и ему даже в голову не пришло, что потребуется тут не одна храбрость. Только записать — чего проще? Перенести на бумагу нескончаемый тревожный монолог, который звучит у него в голове годы, годы. И вот даже этот монолог иссяк. А язва над щиколоткой зудела невыносимо. Он боялся почесать ногу — от этого всегда начиналось воспаление. Секунды капали. Только белизна бумаги, да зуд над щиколоткой, да гремучая музыка, да легкий хмель в голове — вот и все, что воспринимали сейчас его чувства.

И вдруг он начал писать — просто от паники, очень смутно сознавая, что́ идет из-под пера. Бисерные, но по-детски корявые строки ползли то вверх, то вниз по листу, теряя сперва заглавные буквы, а потом и точки.

4 апреля 1984 года. Вчера в кино. Сплошь военные фильмы. Один очень хороший где-то в Средиземном море бомбят судно с беженцами. Публику забавляют кадры где пробует уплыть громадный толстенный мужчина а его преследует вертолет. сперва мы видим как он по-дельфиньи бултыхается в воде потом видим его с вертолета через прицел потом он весь продырявлен и море вокруг него розовое и сразу тонет словно через дыры набрал воды. когда он пошел на дно зрители заготали. Потом шлюпка полная детей и над ней вьется вертолет. там на носу сидела женщина средних лет похожая на еврейку а на руках у нее мальчик лет трех. Мальчик кричит от страха и прячет голову у нее на груди как будто хочет в нее ввинтиться а она его успокаивает и прикрывает руками хотя сама посинела от страха. все время старается закрыть его руками получше, как будто может заслонить от пуль. потом вертолет сбросил на них 20 килограммовую бомбу ужасный взрыв и лодка разлетелась в щепки. потом замечательный кадр детская рука летит вверх, вверх прямо в небо наверно ее снимали из стеклянного носа вертолета и в партийных рядах громко аплодировали но там где сидели про́лы какая-то женщина подняла скандал и крик, что этого нельзя показывать при детях куда это годится куда это годится при детях и скандалила пока полицейские не вывели не вывели ее вряд ли ей что-нибудь сделают мало ли что говорят пролы типичная проловская реакция на это никто не обращает...

Уинстон перестал писать, отчасти из-за того, что у него свело руку. Он сам не понимал, почему выплеснул на бумагу

этот вздор. Но любопытно, что, пока он водил пером, в памяти у него отстоялось совсем другое происшествие, да так, что хоть сейчас записывай. Ему стало понятно, что из-за этого происшествия он и решил вдруг пойти домой и начать дневник сегодня.

Случилось оно утром в министерстве — если о такой туманности можно сказать «случилась».

Время приближалось к одиннадцати-ноль-ноль, и в отделе документации, где работал Уинстон, сотрудники выносили стулья из кабин и расставляли в середине холла перед большим телекраном — собирались на двухминутку ненависти. Уинстон приготовился занять свое место в средних рядах, и тут неожиданно появились еще двое: лица знакомые, но разговаривать с ними ему не приходилось. Девицу он часто встречал в коридорах. Как ее зовут, он не знал, знал только, что она работает в отделе литературы. Судя по тому, что иногда он видел ее с гаечным ключом и маслеными руками, она обслуживала одну из машин для сочинения романов. Она была веснушчатая, с густыми темными волосами, лет двадцати семи; держалась самоуверенно, двигалась по-спортивному стремительно. Алый кушак — эмблема Молодежного антиполового союза,— туго обернутый несколько раз вокруг талии комбинезона, подчеркивал крутые бедра. Уинстон с первого взгляда невзлюбил ее. И знал, за что. От нее веяло духом хоккейных полей, холодных купаний, туристских вылазок и вообще правоверности. Он не любил почти всех женщин, в особенности молодых и хорошеньких. Именно женщины, и молодые в первую очередь, были самыми фанатичными приверженцами партии, глотателями лозунгов, добровольными шпионами и вынюхивателями ереси. А эта казалась ему даже опаснее других. Однажды она повстречалась ему в коридоре, взглянула искоса — будто пронзила взглядом,— и в душу ему вполз черный страх. У него даже мелькнуло подозрение, что она служит в полиции мыслей. Впрочем, это было маловероятно. Тем не менее всякий раз, когда она оказывалась рядом, Уинстон испытывал неловкое чувство, к которому примешивались и враждебность и страх.

Одновременно с женщиной вошел О 'Брайен, член внутренней партии, занимавший настолько высокий и удаленный пост, что Уинстон имел о нем лишь самое смутное представление. Увидев черный комбинезон члена внутренней партии, люди, сидевшие перед телекраном, на миг затихли. О'Брайен был рослый плотный мужчина с толстой шеей и грубым насмешливым лицом. Несмотря на грозную внешность, он был не лишен обаяния. Он имел привычку поправлять очки на носу, и в этом характерном жесте было что-то до странности обезоруживающее, что-то неуловимо интеллигентное. Дворянин восемнадцатого века, предлагающий свою табакерку,— вот что пришло бы на ум тому, кто еще способен был мыслить такими сравнениями. Лет за десять Уинстон видел О'Брайена, наверно, с десяток раз. Его тянуло к О'Брайену, но не только потому, что озадачивал этот

контраст между воспитанностью и телосложением боксера-тяжеловеса. В глубине души Уинстон подозревал — а может быть, не подозревал, а лишь надеялся,— что О'Брайен политически не вполне правоверен. Его лицо наводило на такие мысли. Но опять-таки возможно, что на лице было написано не сомнение в догмах, а просто ум. Так или иначе, он производил впечатление человека, с которым можно поговорить — если остаться с ним наедине и укрыться от телекрана. Уинстон ни разу не попытался проверить эту догадку; да и не в его это было силах. О'Брайен взглянул на свои часы, увидел, что время — почти 11.00, и решил остаться на двухминутку ненависти в отделе документации. Он сел в одном ряду с Уинстоном, за два места от него. Между ними расположилась маленькая рыжеватая женщина, работавшая по соседству с Уинстоном. Темноволосая села прямо за ним.

И вот из большого телекрана в стене вырвался отвратительный вой и скрежет — словно запустили какую-то чудовищную несмазанную машину. От этого звука вставали дыбом волосы и ломило зубы. Ненависть началась.

Как всегда, на экране появился враг народа Эммануэль Голдстейн. Зрители зашикали. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами взвизгнула от страха и омерзения. Голдстейн, отступник и ренегат, когда-то, давным-давно (так давно, что никто уже и не помнил, когда), был одним из руководителей партии, почти равным самому Старшему Брату, а потом встал на путь контрреволюции, был приговорен к смертной казни и таинственным образом сбежал, исчез. Программа двухминутки каждый день менялась, но главным действующим лицом в ней всегда был Голдстейн. Первый изменник, главный осквернитель партийной чистоты. Из его теорий произрастали все дальнейшие преступления против партии, все вредительства, предательства, ереси, уклоны. Неведомо где он все еще жил и ковал крамолу: возможно, за морем, под защитой своих иностранных хозяев, а возможно — ходили и такие слухи,— здесь, в Океании, в подполье.

Уинстону стало трудно дышать. Лицо Голдстейна всегда вызывало у него сложное и мучительное чувство. Сухое еврейское лицо в ореоле легких седых волос, козлиная бородка — умное лицо и вместе с тем необъяснимо отталкивающее; и было что-то сенильное в этом длинном хрящеватом носе с очками, съехавшими почти на самый кончик. Он напоминал овцу, и в голосе его слышалось блеяние. Как всегда, Голдстейн злобно обрушился на партийные доктрины; нападки были настолько вздорными и несуразными, что не обманули бы и ребенка, но при этом не лишенными убедительности, и слушатель невольно опасался, что другие люди, менее трезвые, чем он, могут Голдстейну поверить. Он поносил Старшего Брата, он обличал диктатуру партии. Требовал немедленного мира с Евразией, призывал к свободе слова, свободе печати, свободе собраний, свободе мысли; он истерически кричал, что революцию предали,— и все скороговоркой, с составными словами,

будто пародируя стиль партийных ораторов, даже с новоязовскими словами, причем у него они встречались чаще, чем в речи любого партийца. И все время, дабы не было сомнений в том, чтó стоит за лицемерными разглагольствованиями Голдстейна, позади его лица на экране маршировали бесконечные евразийские колонны: шеренга за шеренгой кряжистые солдаты с невозмутимыми азиатскими физиономиями выплывали из глубины на поверхность и растворялись, уступая место точно таким же. Глухой мерный топот солдатских сапог аккомпанировал блеянию Голдстейна.

Ненависть началась каких-нибудь тридцать секунд назад, а половина зрителей уже не могла сдержать яростных восклицаний. Невыносимо было видеть это самодовольное овечье лицо и за ним — устрашающую мощь евразийских войск; кроме того, при виде Голдстейна и даже при мысли о нем страх и гнев возникали рефлекторно. Ненависть к нему была постояннее, чем к Евразии и Остазии, ибо, когда Океания воевала с одной из них, с другой она обыкновенно заключала мир. Но вот что удивительно: хотя Голдстейна ненавидели и презирали все, хотя каждый день, по тысяче раз на дню его учение опровергали, громили, уничтожали, высмеивали как жалкий вздор, влияние его нисколько не убывало. Все время находились новые простофили, только и дожидавшиеся, чтобы он их совратил. Не проходило и дня без того, чтобы полиция мыслей не разоблачала шпионов и вредителей, действовавших по его указке. Он командовал огромной подпольной армией, сетью заговорщиков, стремящихся к свержению строя. Предполагалось, что она называется Братство. Поговаривали шепотом и об ужасной книге, своде всех ересей,— автором ее был Голдстейн, и распространялась она нелегально. Заглавия у книги не было. В разговорах о ней упоминали — если упоминали вообще — просто как о *книге*. Но о таких вещах было известно только по неясным слухам. Член партии по возможности старался не говорить ни о Братстве, ни о *книге*.

Ко второй минуте ненависть перешла в исступление. Люди вскакивали с мест и кричали во все горло, чтобы заглушить непереносимый блеющий голос Голдстейна. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами стала пунцовой и разевала рот, как рыба на суше. Тяжелое лицо О'Брайена тоже побагровело. Он сидел выпрямившись, и его мощная грудь вздымалась и содрогалась, словно в нее бил прибой. Темноволосая девица позади Уинстона закричала: «Подлец! Подлец! Подлец!» — а потом схватила тяжелый словарь новояза и запустила им в телекран. Словарь угодил Голдстейну в нос и отлетел. Но голос был неистребим. В какой-то миг просветления Уинстон осознал, что сам кричит вместе с остальными и яростно лягает перекладину стула. Ужасным в двухминутке ненависти было не то, что ты должен разыгрывать роль, а то, что ты просто не мог остаться в стороне. Какие-нибудь тридцать секунд — и притворяться тебе уже не надо. Словно от электрического разряда, нападали на все собрание гнусные корчи страха и мститель-

ности, исступленное желание убивать, терзать, крушить лица молотом: люди гримасничали и вопили, превращались в сумасшедших. При этом ярость была абстрактной и ненацеленной, ее можно было повернуть в любую сторону, как пламя паяльной лампы. И вдруг оказывалось, что ненависть Уинстона обращена вовсе не на Голдстейна, а наоборот, на Старшего Брата, на партию, на полицию мыслей; в такие мгновения сердцем он был с этим одиноким осмеянным еретиком, единственным хранителем здравомыслия и правды в мире лжи. А через секунду он был уже заодно с остальными, и правдой ему казалось все, что говорят о Голдстейне. Тогда тайное отвращение к Старшему Брату превращалось в обожание, и Старший Брат возносился над всеми — неуязвимый, бесстрашный защитник, скалою вставший перед евразийскими ордами, а Голдстейн, несмотря на его изгойство и беспомощность, несмотря на сомнения в том, что он вообще еще жив, представлялся зловещим колдуном, способным одной только силой голоса разрушить здание цивилизации.

А иногда можно было, напрягшись, сознательно обратить свою ненависть на тот или иной предмет. Каким-то бешеным усилием воли, как отрываешь голову от подушки во время кошмара, Уинстон переключил ненависть с экранного лица на темноволосую девицу позади. В воображении замелькали прекрасные отчетливые картины. Он забьет ее резиновой дубинкой. Голую привяжет к столбу, истычет стрелами, как святого Себастьяна. Изнасилует и в последних судорогах перережет глотку. И яснее, чем прежде, он понял, *за что* ее ненавидит. За то, что молодая, красивая и бесполая; за то, что он хочет с ней спать и никогда этого не добьется; за то, что на нежной тонкой талии, будто созданной для того, чтобы ее обнимали,— не его рука, а этот алый кушак, воинственный символ непорочности.

Ненависть кончалась в судорогах. Речь Голдстейна превратилась в натуральное блеяние, а его лицо на миг вытеснила овечья морда. Потом морда растворилась в евразийском солдате: огромный и ужасный, он шел на них, паля из автомата, грозя прорвать поверхность экрана,— так что многие отпрянули на своих стульях. Но тут же с облегчением вздохнули: фигуру врага заслонила наплывом голова Старшего Брата, черноволосая, черноусая, полная силы и таинственного спокойствия,— такая огромная, что заняла почти весь экран. Чтó говорит Старший Брат, никто не расслышал. Всего несколько слов ободрения, вроде тех, которые произносит вождь в громе битвы,— сами по себе пускай невнятные, они вселяют уверенность одним тем, что их произнесли. Потом лицо Старшего Брата потускнело, и выступила четкая крупная надпись — три партийных лозунга:

ВОЙНА — ЭТО МИР
СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ — СИЛА

Но еще несколько мгновений лицо Старшего Брата как бы держалось на экране: так ярок был отпечаток, оставленный им в глазу, что не мог стереться сразу. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами навалилась на спинку переднего стула. Всхлипывающим шепотом она произнесла что-то вроде: «Спаситель мой!» — и простерла руки к телекрану. Потом опустила лицо и закрыла ладонями. По-видимому, она молилась.

Тут все собрание принялось медленно, мерно, низкими голосами скандировать: «ЭС-БЭ!.. ЭС-БЭ!.. ЭС-БЭ!» — снова и снова, врастяжку, с долгой паузой между «ЭС» и «БЭ», и было в этом тяжелом волнообразном звуке что-то странно первобытное — мерещился за ним топот босых ног и рокот больших барабанов. Продолжалось это с полминуты. Вообще такое нередко происходило в те мгновения, когда чувства достигали особенного накала. Отчасти это был гимн величию и мудрости Старшего Брата, но в большей степени самогипноз — люди топили свой разум в ритмическом шуме. Уинстон ощутил холод в животе. На двухминутках ненависти он не мог не отдаваться всеобщему безумию, но этот дикарский клич «ЭС-БЭ!.. ЭС-БЭ!» всегда внушал ему ужас. Конечно, он скандировал с остальными, иначе было нельзя. Скрывать чувства, владеть лицом, делать то же, что другие,— все это стало инстинктом. Но был такой промежуток секунды в две, когда его вполне могло выдать выражение глаз. Как раз в это время и произошло удивительное событие — если вправду произошло.

Он встретился взглядом с О'Брайеном. О'Брайен уже встал. Он снял очки и сейчас, надев их, поправлял на носу характерным жестом. Но на какую-то долю секунды их взгляды пересеклись, и за это короткое мгновение Уинстон понял — да, понял! — что О'Брайен думает о том же самом. Сигнал нельзя было истолковать иначе. Как будто их умы раскрылись и мысли потекли от одного к другому через глаза. «Я с вами,— будто говорил О'Брайен.— Я отлично знаю, что́ вы чувствуете. Знаю о вашем презрении, вашей ненависти, вашем отвращении. Не тревожьтесь, я на вашей стороне!» Но этот проблеск ума погас, и лицо у О'Брайена стало таким же непроницаемым, как у остальных.

Вот и все — и Уинстон уже сомневался, было ли это на самом деле. Такие случаи не имели продолжения. Одно только: они поддерживали в нем веру — или надежду,— что есть еще, кроме него, враги у партии. Может быть, слухи о разветвленных заговорах все-таки верны — может быть, Братство впрямь существует! Ведь, несмотря на бесконечные аресты, признания, казни, не было уверенности, что Братство — не миф. Иной день он верил в это, иной день — нет. Доказательств не было — только взгляды мельком, которые могли означать все, что угодно, и ничего не означать, обрывки чужих разговоров, полустертые надписи в уборных, а однажды, когда при нем встретились двое незнакомых, он заметил легкое движение рук, в котором можно было усмотреть приветствие. Только догадки; весьма возможно, что все это — плод воображе-

ния. Он ушел в свою кабину, не взглянув на О'Брайена. О том, чтобы развить мимолетную связь, он и не думал. Даже если бы он знал, как к этому подступиться, такая попытка была бы невообразимо опасной. За секунду они успели обменяться двусмысленным взглядом — вот и все. Но даже это было памятным событием для человека, чья жизнь проходит под замком одиночества.

Уинстон встряхнулся, сел прямо. Он рыгнул. Джин бунтовал в желудке.

Глаза его снова сфокусировались на странице. Оказалось, что, пока он был занят беспомощными размышлениями, рука продолжала писать автоматически. Но не судорожные каракули, как вначале. Перо сладострастно скользило по глянцевой бумаге, крупными печатными буквами выводя:

ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА

раз за разом, и уже исписана была половина страницы.

На него напал панический страх. Бессмысленный, конечно: написать эти слова ничуть не опаснее, чем просто завести дневник; тем не менее у него возникло искушение разорвать испорченные страницы и отказаться от своей затеи совсем.

Но он не сделал этого, он знал, что это бесполезно. Напишет он ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА или не напишет — разницы никакой. Будет продолжать дневник или не будет — разницы никакой. Полиция мыслей так и так до него доберется. Он совершил — и если бы не коснулся бумаги пером, все равно совершил бы — абсолютное преступление, содержащее в себе все остальные. Мыслепреступление — вот как оно называется. Мыслепреступление нельзя скрывать вечно. Изворачиваться какое-то время ты можешь, и даже не один год, но рано или поздно до тебя доберутся.

Бывало это всегда по ночам — арестовывали по ночам. Внезапно будят, грубая рука трясет тебя за плечо, светят в глаза, кровать окружили суровые лица. Как правило, суда не бывало, об аресте нигде не сообщалось. Люди просто исчезали, и всегда — ночью. Твое имя вынуто из списков, все упоминания о том, что ты делал, стерты, факт твоего существования отрицается и будет забыт. Ты отменен, уничтожен: как принято говорить, *распылен*.

На минуту он поддался истерике. Торопливыми кривыми буквами стал писать:

меня расстреляют мне все равно пускай выстрелят в затылок мне все равно долой старшего брата всегда стреляют в затылок мне все равно долой старшего брата.

С легким стыдом он оторвался от стола и положил ручку. И тут же вздрогнул всем телом. Постучали в дверь.

Уже! Он затаился, как мышь, в надежде, что, не достучавшись с первого раза, они уйдут. Но нет, стук повторился. Самое скверное тут — мешкать. Его сердце бухало, как барабан, но лицо от долгой привычки, наверное, осталось невозмутимым. Он встал и с трудом пошел к двери.

II

Уже взявшись за дверную ручку, Уинстон увидел, что дневник остался на столе раскрытым. Весь в надписях ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА, да таких крупных, что можно разглядеть из другого конца комнаты. Непостижимая глупость. Нет, сообразил он, жалко стало пачкать кремовую бумагу, даже в панике не захотел захлопнуть дневник на непросохшей странице.

Он вздохнул и отпер дверь. И сразу по телу прошла теплая волна облегчения. На пороге стояла бесцветная подавленная женщина с жидкими растрепанными волосами и морщинистым лицом.

— Ой, товарищ,— скулящим голосом завела она,— значит, правильно мне послышалось, что вы пришли. Вы не можете зайти посмотреть нашу раковину в кухне? Она засорилась, а...

Это была миссис Парсонс, жена соседа по этажу. (Партия не вполне одобряла слово «миссис», всех полагалось называть товарищами, но с некоторыми женщинами это почему-то не получалось.) Ей было лет тридцать, но выглядела она гораздо старше. Впечатление было такое, что в морщинах ее лица лежит пыль. Уинстон пошел за ней по коридору. Этой слесарной самодеятельностью он занимался чуть ли не ежедневно. Дом «Победа» был старой постройки, года 1930-го или около того, и пришел в полный упадок. От стен и потолка постоянно отваливалась штукатурка, трубы лопались при каждом крепком морозе, крыша текла, стоило только выпасть снегу, отопительная система работала на половинном давлении — если ее не выключали совсем из соображений экономии. Для ремонта, которого ты не мог сделать сам, требовалось распоряжение высоких комиссий, а они и с починкой разбитого окна тянули два года.

— Конечно, если бы Том был дома...— неуверенно сказала миссис Парсонс.

Квартира у Парсонсов была больше, чем у него, и убожество ее было другого рода. Все вещи выглядели потрепанными и потоптанными, как будто сюда наведалось большое и злое животное. По полу были разбросаны спортивные принадлежности — хоккейные клюшки, боксерские перчатки, дырявый футбольный мяч, пропотевшие и вывернутые наизнанку трусы, а на столе вперемешку с грязной посудой валялись мятые тетради. На стенах — алые знамена Молодежного союза и разведчиков и плакат уличных размеров — со Старшим Братом. Как и во всем доме, здесь витал душок вареной капусты, но

его перешибал крепкий запах пота, оставленный — это можно было угадать с первой понюшки, хотя и непонятно, по какому признаку,— человеком, в данное время отсутствующим. В другой комнате кто-то на гребенке пытался подыгрывать телекрану, все еще передававшему военную музыку.

— Это дети,— пояснила миссис Парсонс, бросив несколько опасливый взгляд на дверь.— Они сегодня дома. И конечно...

Она часто обрывала фразы на половине. Кухонная раковина была почти до краев полна грязной зеленоватой водой, пахшей еще хуже капусты. Уинстон опустился на колени и осмотрел угольник на трубе. Он терпеть не мог ручного труда и не любил нагибаться — от этого начинался кашель. Миссис Парсонс беспомощно наблюдала.

— Конечно, если бы Том был дома, он бы в два счета прочистил,— сказала она.— Том обожает такую работу. У него золотые руки — у Тома.

Парсонс работал вместе с Уинстоном в министерстве правды. Это был толстый, но деятельный человек, ошеломляюще глупый — сгусток слабоумного энтузиазма, один из тех преданных, невопрошающих работяг, которые подпирали собой партию надежнее, чем полиция мыслей. В возрасте тридцати пяти лет он неохотно покинул ряды Молодежного союза; перед тем же, как поступить туда, он умудрился пробыть в разведчиках на год дольше положенного. В министерстве он занимал мелкую должность, которая не требовала умственных способностей, зато был одним из главных деятелей спортивного комитета и разных других комитетов, отвечавших за организацию туристских вылазок, стихийных демонстраций, кампаний по экономии и прочих добровольных начинаний. Со скромной гордостью он сообщал о себе, попыхивая трубкой, что за четыре года не пропустил в общественном центре ни единого вечера. Сокрушительный запах пота — как бы нечаянный спутник многотрудной жизни — сопровождал его повсюду и даже оставался после него, когда он уходил.

— У вас есть гаечный ключ? — спросил Уинстон, пробуя гайку на соединении.

— Гаечный? — сказала миссис Парсонс, слабея на глазах.— Правда, не знаю. Может быть, дети...

Раздался топот, еще раз взревела гребенка, и в комнату ворвались дети. Миссис Парсонс принесла ключ. Уинстон спустил воду и с отвращением извлек из трубы клок волос. Потом как мог отмыл пальцы под холодной струей и перешел в комнату.

— Руки вверх! — гаркнули ему.

Красивый девятилетний мальчик с суровым лицом вынырнул из-за стола, нацелив на него игрушечный автоматический пистолет, а его сестра, года на два младше, нацелилась деревяшкой. Оба были в форме разведчиков — синие трусы, серая рубашка и красный галстук. Уинстон поднял руки, но с неприятным чувством: чересчур уж злобно держался мальчик, игра была не совсем понарошку.

— Ты нзменннк! — завопнл мальчик.— Ты мыслепреступннк! Ты евразнйский шпнон! Я тебя расстреляю, я тебя распылю, я тебя отправлю на соляные шахты!

Они прннялнсь скакать вокруг него, выкрнкнвая: «Изменннк!», «Мыслепреступннк!» — н девочка подражала каждому двнженню мальчнка. Это немного пугало, как возня тигрят, которые скоро вырастут в людоедов. В глазах у мальчнка была расчетливая жестокость, явное желанне ударнть нлн пнуть Уннстона, н он знал, что скоро это будет ему по снлам, осталось только чуть-чуть подрастн. Спаснбо хоть пнстолет не настоящнй, подумал Уннстон.

Взгляд мнссис Парсонс испуганно метался от Уинстона к детям н обратно. В этой комнате было светлее, и Уннстон с любопытством отметнл, что у нее действнтельно пыль в морщннах.

— Расшумелнсь,— сказала она.— Огорчнлись, что нельзя посмотреть на висельннков,— вот почему. Мне с нимн пойтн некогда, а Том еще не вернется с работы.

— Почему нам нельзя посмотреть, как вешают? — оглушнтельно взревел мальчнк.

— Хочу посмотреть, как вешают! Хочу посмотреть, как вешают! — подхватнла девочка, прыгая вокруг.

Уннстон вспомнил, что сегодня вечером в Парке будут вешать евразнйскнх пленных — военных преступннков. Это популярное зрелнще устраивалн прнмерно раз в месяц. Детн всегда скандалили — требовали, чтобы нх повелн смотреть. Он отправился к себе. Но не успел пройтн по корндору и шестн шагов, как затылок его обожгла невыноснмая боль. Будто ткнулн в шею докрасна раскаленной проволокой. Он повернулся на месте н увндел, как мнссис Парсонс утаскнвает мальчнка в дверь, а он засовывает в карман рогатку.

— Голдстейн! — заорал мальчнк, перед тем как закрылась дверь. Но больше всего Уннстона поразнло выраженне беспомощного страха на сером лнце матерн.

Уннстон вернулся к себе, поскорее прошел мнмо телекрана н снова сел за стол, все еще потнрая затылок. Музыка в телекране смолкла. Отрывистый военный голос с грубым удовольствием стал опнсывать вооруженне новой плавающей крепостн, поставленной на якорь между Исландней н Фарерскимн островамн.

Несчастная женщина, подумал он, жнзнь с такнмн детьмн — это жизнь в постоянном страхе. Через год-другой онн станут следнть за ней днем н ночью, чтобы поймать на ндейной невыдержанностн. Теперь почтн все дети ужасны. И хуже всего, что прн помощн такнх органнзацнй, как разведчнкн, нх методическн превращают в необузданных маленьких днкарей, прнчем у ннх вовсе не возннкает желания бунтовать протнв партийной дисцнплнны. Наоборот, онн обожают партню н все, что с ней связано. Песни, шествня, знамена, походы, муштра с учебнымн вннтовкамн, выкрикнванне лозунгов, поклоненне Старшему Брату — все это для них увлекательная игра. Их натравлнвают на чужаков, на врагов снстемы, на иностранцев,

изменников, вредителей, мыслепреступников. Стало обычным делом, что тридцатилетние люди боятся своих детей. И не зря: не проходило недели, чтобы в «Таймс» не мелькнула заметка о том, как юный соглядатай — «маленький герой», по принятому выражению,— подслушал нехорошую фразу и донес на родителей в полицию мыслей.

Боль от пульки утихла. Уинстон без воодушевления взял ручку, не зная, что еще написать в дневнике. Вдруг он снова начал думать про О'Брайена.

Несколько лет назад...— сколько же? Лет семь, наверно,— ему приснилось, что он идет в кромешной тьме по какой-то комнате. И кто-то сидящий сбоку говорит ему: «Мы встретимся там, где нет темноты». Сказано это было тихо, как бы между прочим — не приказ, просто фраза. Любопытно, что тогда, во сне, большого впечатления эти слова не произвели. Лишь впоследствии, постепенно приобрели они значительность. Он не мог припомнить, было это до или после его первой встречи с О'Брайеном; и когда именно узнал в том голосе голос О'Брайена — тоже не мог припомнить. Так или иначе, голос был опознан. Говорил с ним во тьме О'Брайен.

Уинстон до сих пор не уяснил себе — даже после того, как они переглянулись, не смог уяснить,— друг О'Брайен или враг. Да и не так уж это, казалось, важно. Между ними протянулась ниточка понимания, а это важнее дружеских чувств или соучастия. «Мы встретимся там, где нет темноты»,— сказал О'Брайен. Что это значит, Уинстон не понимал, но чувствовал, что каким-то образом это сбудется.

Голос в телекране прервался. Душную комнату наполнил звонкий и красивый звук фанфар. Скрипучий голос продолжал:

«Внимание! Внимание! Только что поступила сводка-молния с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали решающую победу. Мне поручено заявить, что в результате этой битвы конец войны может стать делом обозримого будущего. Слушайте сводку».

Жди неприятности, подумал Уинстон. И точно: вслед за кровавым описанием разгрома евразийской армии с умопомрачительными цифрами убитых и взятых в плен последовало объявление о том, что с будущей недели норма отпуска шоколада сокращается с тридцати граммов до двадцати.

Уинстон опять рыгнул. Джин уже выветрился, оставив после себя ощущение упадка. Телекран, то ли празднуя победу, то ли чтобы отвлечь от мыслей об отнятом шоколаде, громыхнул: «Тебе, Океания». Полагалось встать по стойке смирно. Но здесь он был невидим.

«Тебе, Океания» сменилась легкой музыкой. Держась к телекрану спиной, Уинстон подошел к окну. День был все так же холоден и ясен. Где-то вдалеке с глухим раскатистым грохотом разорвалась ракета. Теперь их падало на Лондон по двадцать-тридцать штук в неделю.

Внизу на улице ветер трепал рваный плакат, на нем мелькало слово АНГСОЦ. Ангсоц. Священные устои ангсоца. Новояз,

двоемыслие, зыбкость прошлого. У него возникло такое чувство, как будто он бредет по лесу на океанском дне, заблудился в мире чудищ и сам он — чудище. Он был один. Прошлое умерло, будущее нельзя вообразить. Есть ли какая-нибудь уверенность, что хоть один человек из живых — на его стороне? И как узнать, что владычество партии не будет *вечным*? И ответом встали перед его глазами три лозунга на белом фасаде министерства правды:

ВОЙНА — ЭТО МИР
СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ — СИЛА

Он вынул из кармана двадцатипятицентовую монету. И здесь мелкими четкими буквами те же лозунги, а на оборотной стороне — голова Старшего Брата. Даже с монеты преследовал тебя его взгляд. На монетах, на марках, на книжных обложках, на знаменах, плакатах, на сигаретных пачках — повсюду. Всюду тебя преследуют эти глаза и обволакивает голос. Во сне и наяву, на работе и за едой, на улице и дома, в ванной, в постели — нет спасения. Нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе.

Солнце ушло, погасив тысячи окон на фасаде министерства, и теперь они глядели угрюмо, как крепостные бойницы. Сердце у него сжалось при виде исполинской пирамиды. Слишком прочна она, ее нельзя взять штурмом. Ее не разрушит и тысяча ракет. Он снова спросил себя, для кого пишет дневник. Для будущего, для прошлого... для века, быть может, просто воображаемого. И ждет его не смерть, а уничтожение. Дневник превратят в пепел, а его — в пыль. Написанное им прочтет только полиция мыслей — чтобы стереть с лица земли и из памяти. Как обратишься к будущему, если следа твоего и даже безымянного слова на земле не сохранится?

Телекран пробил четырнадцать. Через десять минут ему уходить. В 14.30 он должен быть на службе.

Как ни странно, бой часов словно вернул ему мужество. Одинокий призрак, он возвещает правду, которой никто никогда не расслышит. Но пока он говорит ее, что-то в мире не прервется. Не тем, что заставишь себя услышать, а тем, что остался нормальным, хранишь ты наследие человека. Он вернулся за стол, обмакнул перо и написал:

Будущему или прошлому — времени, когда мысль свободна, люди отличаются друг от друга и живут не в одиночку, времени, где правда есть правда и былое не превращается в небыль.

От эпохи одинаковых, эпохи одиноких, от эпохи Старшего Брата, от эпохи двоемыслия — привет!

Я уже мертв, подумал он. Ему казалось, что только теперь, вернув себе способность выражать мысли, сделал он бесповоротный шаг. Последствия любого поступка содержатся в самом поступке. Он написал:

Мыслепреступление не влечет за собой смерть: мыслепреступление ЕСТЬ смерть.

Теперь, когда он понял, что он мертвец, важно прожить как можно дольше. Два пальца на правой руке были в чернилах. Вот такая мелочь тебя и выдаст. Какой-нибудь востроносый ретивец в министерстве (скорее, женщина — хотя бы та маленькая, с рыжеватыми волосами, или темноволосая из отдела литературы) задумается, почему это он писал в обеденный перерыв и почему писал старинной ручкой и *что* писал, а потом сообщит куда следует. Он отправился в ванную и тщательно отмыл пальцы зернистым коричневым мылом, которое скребло, как наждак, и отлично годилось для этой цели.

Дневник он положил в ящик стола. Прячь, не прячь — его все равно найдут; но можно хотя бы проверить, узнали о нем или нет. Волос поперек обреза слишком заметен. Кончиком пальца Уинстон подобрал крупинку белесой пыли и положил на угол переплета: если книгу тронут, крупинка свалится.

III

Уинстону снилась мать.

Насколько он помнил, мать исчезла, когда ему было лет десять-одиннадцать. Это была высокая женщина с роскошными светлыми волосами, величавая, неразговорчивая, медлительная в движениях. Отец запомнился ему хуже: темноволосый, худой, всегда в опрятном темном костюме (почему-то запомнились очень тонкие подошвы его туфель) и в очках. Судя по всему, обоих смела одна из первых больших чисток в 50-е годы.

И вот мать сидела где-то под ним, в глубине, с его сестренкой на руках. Сестру он совсем не помнил — только маленьким хилым грудным ребенком, всегда тихим, с большими внимательными глазами. Обе они смотрели на него снизу. Они находились где-то под землей — то ли на дне колодца, то ли в очень глубокой могиле — и опускались все глубже. Они сидели в салоне тонущего корабля и смотрели на Уинстона сквозь темную воду. В салоне еще был воздух, и они еще видели его, а он — их, но они все погружались, погружались в зеленую воду — еще секунда, и она скроет их навсегда. Он на воздухе и на свету, а их заглатывает пучина, и они там, внизу, *потому что он наверху*. Он понимал это, и они это понимали, и он видел по их лицам, что они понимают. Упрека не было ни на лицах, ни в душе их, а только понимание, что они должны заплатить своей смертью за его жизнь, ибо такова природа вещей.

Уинстон не мог вспомнить, как это было, но во сне он знал, что жизни матери и сестры принесены в жертву его жизни. Это был один из тех снов, когда в ландшафте, характерном для сновидения, продолжается дневная работа мысли: тебе открываются идеи и факты, которые и по пробуждении остаются новыми и значительными. Уинстона вдруг осенило, что

смерть матери почти тридцать лет назад была трагической и горестной в том смысле, какой уже и непонятен ныне. Трагедия, открылось ему,— достояние старых времен, времен, когда еще существовало личное, существовала любовь и дружба, и люди в семье стояли друг за друга, не нуждаясь для этого в доводах. Воспоминание о матери рвало ему сердце, потому что она умерла, любя его, а он был слишком молод и эгоистичен, чтобы любить ответно, и потому, что она каким-то образом — он не помнил, каким,— принесла себя в жертву идее верности, которая была личной и несокрушимой. Сегодня, понял он, такое не может случиться. Сегодня есть страх, ненависть и боль, но нет достоинства чувств, нет ни глубокого, ни сложного горя. Все это он словно прочел в больших глазах матери, смотревших на него из зеленой воды, с глубины в сотни саженей, и все еще погружавшихся.

Вдруг он очутился на короткой, упругой травке, и был летний вечер, и косые лучи солнца золотили землю. Местность эта так часто появлялась в снах, что он не мог определенно решить, видел ее когда-нибудь наяву или нет. Про себя Уинстон называл ее Золотой страной. Это был старый, выщипанный кроликами луг, по нему бежала тропинка, там и сям виднелись кротовые кочки. На дальнем краю ветер чуть шевелил ветки вязов, вставших неровной изгородью, и плотная масса листвы волновалась, как волосы женщины. А где-то рядом, невидимый, лениво тек ручей, и под ветлами в заводях ходила плотва.

Через луг к нему шла та женщина с темными волосами. Одним движением она сорвала с себя одежду и презрительно отбросила прочь. Тело было белое и гладкое, но не вызвало в нем желания; на тело он едва ли даже взглянул. Его восхитил жест, которым она отшвырнула одежду. Изяществом своим и небрежностью он будто уничтожал целую культуру, целую систему: и Старший Брат, и партия, и полиция мыслей были сметены в небытие одним прекрасным взмахом руки. Этот жест тоже принадлежал старому времени. Уинстон проснулся со словом «Шекспир» на устах.

Телекран испускал оглушительный свист, длившийся на одной ноте тридцать секунд. 07.15, сигнал подъема для служащих. Уинстон выдрался из постели — нагишом, потому что члену внешней партии выдавали в год всего три тысячи одежных талонов, а пижама стоила шестьсот,— и схватил со стула выношенную фуфайку и трусы. Через три минуты физзарядка. А Уинстон согнулся пополам от кашля — кашель почти всегда нападал после сна. Он вытряхивал легкие настолько, что восстановить дыхание Уинстону удавалось лишь лежа на спине, после нескольких глубоких вдохов. Жилы у него вздулись от натуги, и варикозная язва начала зудеть.

— Группа от тридцати до сорока! — залаял пронзительный женский голос.— Группа от тридцати до сорока! Займите исходное положение. От тридцати до сорока!

Уинстон встал по стойке смирно перед телекраном: там

уже появилась жилистая сравнительно молодая женщнна в короткой юбке и гимнастических туфлях.

— Сгибание рук и потягиванне! — выкрнкнула она.— Делаем по счету. И раз, два, трн, четыре! И раз, два, трн, четыре! Веселей, товарнщи, больше жнзни! И раз, два, трн, четыре! И раз, два, трн, четыре!

Боль от кашля не успела вытеснить впечатлення сна, а рнтм зарядки их как будто ожнвил. Машннально выбрасывая н сгибая руки с выраженнем угрюмого удовольствня, как подобало на гимнастике, Уннстон пробнвался к смутным воспомннанням о раннем детстве. Это было крайне трудно. Все, что пронсходило в пятидесятые годы, выветрилось нз головы. Когда не можешь обратиться к посторонним свидетельствам, теряют четкость даже очертания собственной жнзнн. Ты помннщь велнкие события, но возможно, что нх н не было; помннщь подробностн пронсшествня, но не можешь ощутнть его атмосферу; а есть н пустые промежуткн, долгие н не отмеченные вообще ннчем. Тогда все было другнм. Другимн былн даже названня стран н контуры нх на карте. Взлетная полоса I, напрнмер, называлась тогда нначе: она называлась Англней илн Брнтанней, а вот Лондон — Уннстон помнил это более нлн менее твердо — всегда назывался Лондоном.

Уннстон не мог отчетлнво припомннть такое время, когда бы страна не воевала; но, по всей вндимостн, на его детство прншелся довольно продолжнтельный мнрный пернод, потому что одним нз самых ранннх воспомннанңй был воздушный налет, всех заставшнй врасплох. Может быть, как раз тогда н сбросилн атомную бомбу на Колчестер. Самого налета он не помнил, а помнил только, как отец крепко держал его за руку н онн быстро спускалнсь, спускалнсь, спускались куда-то под землю, круг за кругом, по вннтовой лестннце, гудевшей под ногамн, н он устал от этого, захныкал, н онн остановилнсь отдохнуть. Мать шла, как всегда, мечтательно н медленно, далеко отстав от нus. Она несла грудиую сестренку — а может быть, просто одеяло: Уннстон не был уверен, что к тому временн сестра уже появнлась на свет. Наконец они прншлн на людное, шумное место — он понял, что это станцня метро.

На каменном полу снделн людн, другие теснилсь на железных нарах. Уннстон с отцом н матерью нашлн себе место на полу, а возле ннх на нарах снделн рядышком старнк н старуха. Старнк в приличном темном костюме н сдвннутой на затылок черной кепке, совершенно седой; лнцо у него было багровое, в голубых глазах стоялн слезы. От него разило джнном. Пахло как будто от всего тела, как будто он потел джнном, н можно было вообразнть, что слезы его — тоже чнстый джин. Пьяненький был старнк, но весь его внд выражал неподдельное н нестерпимое горе. Уннстон детскнм своим умом догадался, что с ним пронзошла ужасная беда — н ее нельзя простнть н нельзя исправнть. Он даже понял, какая. У старнка убилн любнмого человека — может быть, маленькую внучку. Каждые две мннуты старик повторял:

— Не надо было им верить. Ведь говорил я, мать, говорил? Вот что значит им верить. Я всегда говорил. Нельзя было верить этим стервецам.

Но что это за стервецы, которым нельзя было верить, Уинстон уже не помнил.

С тех пор война продолжалась беспрерывно, хотя, строго говоря, не одна и та же война. Несколько месяцев, опять же в его детские годы, шли беспорядочные уличные бои в самом Лондоне, и кое-что помнилось очень живо. Но проследить историю тех лет, определить, кто с кем и когда сражался, было совершенно невозможно: ни единого письменного документа, ни единого устного слова об иной расстановке сил, чем нынешняя. Ныне, к примеру, в 1984 году (если год — 1984-й), Океания воевала с Евразией и состояла в союзе с Остазией. Ни публично, ни с глазу на глаз никто не упоминал о том, что в прошлом отношения трех держав могли быть другими. Уинстон прекрасно знал, что на самом деле Океания воюет с Евразией и дружит с Остазией всего четыре года. Но знал украдкой — и только потому, что его памятью не вполне управляли. Официально союзник и враг никогда не менялись. Океания воюет с Евразией; следовательно, Океания всегда воевала с Евразией. Нынешний враг всегда воплощал в себе абсолютное зло, а значит, ни в прошлом, ни в будущем соглашение с ним немыслимо.

Самое ужасное, в сотый, тысячный раз думал он, переламываясь в поясе (сейчас они вращали корпусом, держа руки на бедрах — считалось полезным для спины), самое ужасное, что все это может оказаться правдой. Если партия может запустить руку в прошлое и сказать о том или ином событии, что *его никогда не было*,— это пострашнее, чем пытка или смерть.

Партия говорит, что Океания никогда не заключала союза с Евразией. Он, Уинстон Смит, знает, что Океания была в союзе с Евразией всего четыре года назад. Но где хранится это знание? Только в его уме, а он, так или иначе, скоро будет уничтожен. И если все принимают ложь, навязанную партией, если во всех документах одна и та же песня, тогда эта ложь поселяется в истории и становится правдой. «Кто управляет прошлым,— гласит партийный лозунг,— тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым». И, однако, прошлое, по природе своей изменяемое, изменению никогда не подвергалось. То, что истинно сейчас, истинно от века и на веки вечные. Все очень просто. Нужна всего-навсего непрерывная цепь побед над собственной памятью. Это называется «покорение действительности»; на новоязе — «двоемыслие».

— Вольно! — рявкнула преподавательница чуть добродушнее.

Уинстон опустил руки и сделал медленный, глубокий вдох. Ум его забрел в лабиринты двоемыслия. Зная, не знать; верить в свою правдивость, излагая обдуманную ложь; придерживаться одновременно двух противоположных мнений, понимая, что одно исключает другое, и быть убежденным в обоих; логикой убивать логику; отвергать мораль, провозглашая ее; полагать,

что демократня иевозможиа и что партия — блюстнтель демократии; забыть то, что требуется забыть, н сиова вызвать в памятн, когда это поиадобится, и сиова иемедленно забыть, и, главное, примеиять этот процесс к самому процессу — вот в чем самая тонкость: созиательно преодолевать сознание и прн этом не сознавать, что занимаешься самогипиозом. И даже слово «двоемыслие» не поймешь, ие прибегнув к двоемыслию.

Преподавательинца велела им сиова встать смнрно.

— А теперь посмотрнм, кто у иас сумеет достать до носков! — с энтузназмом сказала оиа.— Прямо с бедер, товарнщи. Р-раз-два! Р-раз-два!

Уиистои ненавндел это упражиенне: ноги от ягодиц до пяток произало болью, и от иего нередко начннался припадок кашля. Прнятиая грусть из его размышлеиий исчезла. Прошлое, подумал ои, ие просто было изменено, оио уиичтожеио. Ибо как ты можешь устаиовить даже самый очевидиый факт, если ои ие запечатлеи иигде, кроме как в твоей памяти? Ои попробовал вспомнить, когда услышал впервые о Старшем Брате. Кажется, в 60-х... Но разве теперь вспомиишь? В историн партнн Старшнй Брат, коиечно, фнгурировал как вождь революции с самых первых ее дией. Подвнги его постепеиио отодвнгались все дальше вглубь времеи и простерлнсь уже в легеидариый мнр 40-х н 30-х, когда капиталисты в днковинных шляпах-цилнндрах еще разъезжали по улицам Лоидоиа в большнх лакнрованных автомобилях и коииых экнпажах со стеклянными боками. Неизвестио, сколько правды в этих сказаниях н сколько вымысла. Уиистои ие мог вспоминть даже, когда появнлась сама партия. Кажется, слова «аигсоц» ои тоже не слышал до 1960 года, хотя возможио, что в староязычной форме — «аиглнйскнй соцналнзм» — оно нмело хожденне и раньше. Все растворяется в тумаие. Впрочем, иногда можио поймать и явиую ложь. Неправда, иапример, что партия нзобрела самолет, как утверждают кннгн по партнйной историн. Самолеты ои помннл с самого раииего детства. Но доказать иичего нельзя. Никаких свидетельств ие бывает. Лншь один раз в жнзни держал ои в руках иеопровержимое документальное доказательство подделки исторического факта. Да и то...

— Смнт! — раздался сварливый окрнк.— Шестьдесят — семьдесят девять, Смит У.! Да, вы! Глубже иаклои! Вы ведь можете. Вы ие стараетесь. Ннже! Так уже лучше, товарищ. А теперь, вся группа, вольио — и следнте за миой.

Уиистоиа прошиб горячий пот. Лнцо его оставалось совершеино иевозмутнмым. Не показать тревоги! Не показать возмущеиня! Только моргии глазом — н ты себя выдал. Ои иаблюдал, как преподавательиица вскниула руки иад головой и — не сказать, что грацнозио, ио с завидиой четкостью и сноровкой,— иагиувшись, зацепилась пальцами за иоски туфель.

— Вот так, товарищн! Покажнте мне, что вы можете так же. Посмотрите еще раз. Мне тридцать девять лет, н у меня четверо детей. Прошу смотреть.— Она снова иагнулась.— Вндите, у меия коленн прямые. Вы все сможете так сделать,

если захотите,— добавила она, выпрямившись.— Все, кому нет сорока пяти, способны дотянуться до носков. Нам не выпало чести сражаться на передовой, но по крайней мере мы можем держать себя в форме. Вспомните наших ребят на Малабарском фронте! И моряков на плавающих крепостях! Подумайте, каково приходится им. А теперь попробуем еще раз. Вот, уже лучше, товарищ, гораздо лучше,— похвалила она Уинстона, когда он с размаху, согнувшись на прямых ногах, сумел достать до носков — первый раз за несколько лет.

IV

С глубоким безотчетным вздохом, которого он по обыкновению не сумел сдержать, несмотря на близость телекрана, Уинстон начал свой рабочий день: притянул к себе речепис, сдул пыль с микрофона и надел очки. Затем развернул и соединил скрепкой четыре бумажных рулончика, выскочивших из пневматической трубы справа от стола.

В стенах его кабины было три отверстия. Справа от речеписа — маленькая пневматическая труба для печатных заданий; слева — побольше, для газет; и в боковой стене, только руку протянуть,— широкая щель с проволочным забралом. Эта — для ненужных бумаг. Таких щелей в министерстве были тысячи, десятки тысяч — не только в каждой комнате, но и в коридорах на каждом шагу. Почему-то их прозвали гнездами памяти. Если человек хотел избавиться от ненужного документа или просто замечал на полу обрывок бумаги, он механически поднимал забрало ближайшего гнезда и бросал туда бумагу; ее подхватывал поток теплого воздуха и уносил к огромным топкам, спрятанным в утробе здания.

Уинстон просмотрел четыре развернутых листка. На каждом — задание в одну-две строки на телеграфном жаргоне, который не был, по существу, новоязом, но состоял из новоязовских слов и служил в министерстве только для внутреннего употребления. Задания выглядели так:

таймс 17.3.84 речь с. б. превратно афрнка уточннть

таймс 19.12.83 план 4 квартала 83 опечаткн согласовать сегодняшннм номером

таймс 14.2.84 заяв мнннзо превратно шоколад уточннть

таймс 3.12.83 мнnусмнnус изложен наказ с. б. упомянуты нелнца переписать сквозь наверх до подшнвкн

С тихим удовлетворением Уинстон отодвинул четвертый листок в сторону. Работа тонкая и ответственная, лучше оставить ее напоследок. Остальные три — шаблонные задачи, хотя для второй, наверное, надо будет основательно покопаться в цифрах.

Уинстон набрал на телекране «задние числа» — затребовал

старые выпуски «Таймс»; через несколько минут их уже вытолкнула пневматическая труба. На листках были указаны газетные статьи и сообщения, которые по той или иной причине требовалось изменить или, выражаясь официальным языком, уточнить. Например, из сообщения «Таймс» от 17 марта явствовало, что накануне в своей речи Старший Брат предсказал затишье на южноиндийском фронте и скорое наступление войск Евразии в Северной Африке. На самом же деле евразийцы начали наступление в Южной Индии, а в Северной Африке никаких действий не предпринимали. Надо было переписать этот абзац в речи Старшего Брата так, чтобы он предсказал действительный ход событий. Или, опять же, 19 декабря «Таймс» опубликовала официальный прогноз выпуска различных потребительских товаров на 4-й квартал 1983 года, то есть 6-й квартал девятой трехлетки. В сегодняшнем выпуске напечатаны данные о фактическом производстве, и оказалось, что прогноз был совершенно неверен. Уинстону предстояло уточнить первоначальные цифры, дабы они совпали с сегодняшними. На третьем листке речь шла об очень простой ошибке, которую можно исправить в одну минуту. Не далее как в феврале министерство изобилия обещало (категорически утверждало, по официальному выражению), что в 1984 году норму выдачи шоколада не уменьшат. На самом деле, как было известно и самому Уинстону, в конце нынешней недели норму собирались уменьшить с 30 до 20 граммов. Ему надо было просто заменить старое обещание предуведомлением, что в апреле норму, возможно, придется сократить.

Выполнив первые три задачи, Уинстон скрепил исправленные варианты, вынутые из речеписа, с соответствующими выпусками газеты и отправил в пневматическую трубу. Затем почти бессознательным движением скомкал полученные листки и собственные заметки, сделанные во время работы, и сунул в гнездо памяти для предания их огню.

Что происходило в невидимом лабиринте, к которому вели пневматические трубы, он в точности не знал, имел лишь общее представление. Когда все поправки к данному номеру газеты будут собраны и сверены, номер напечатают заново, старый экземпляр уничтожат и вместо него подошьют исправленный. В этот процесс непрерывного изменения вовлечены не только газеты, но и книги, журналы, брошюры, плакаты, листовки, фильмы, фонограммы, карикатуры, фотографии — все виды литературы и документов, которые могли бы иметь политическое или идеологическое значение. Ежедневно и чуть ли не ежеминутно прошлое подгонялось под настоящее. Поэтому документами можно было подтвердить верность любого предсказания партии; ни единого известия, ни единого мнения, противоречащего нуждам дня, не существовало в записях. Историю, как старый пергамент, выскабливали начисто и писали заново — столько раз, сколько нужно. И не было никакого способа доказать потом подделку.

В самой большой секции документального отдела — она

была гораздо больше той, где трудился Уинстон,— работали люди, чьей единственной задачей было выискивать и собирать все экземпляры газет, книг и других изданий, подлежащих уничтожению и замене. Номер «Таймс», который из-за политических переналадок и ошибочных пророчеств Старшего Брата перепечатывался, быть может, десяток раз, все равно датирован в подшивке прежним числом, и нет в природе ни единого опровергающего экземпляра. Книги тоже переписывались снова и снова и выходили без упоминания о том, что они переиначены. Даже в заказах, получаемых Уинстоном и уничтожаемых сразу после выполнения, не было и намека на то, что требуется подделка: речь шла только об ошибках, искаженных цитатах, оговорках, опечатках, которые надо устранить в интересах точности.

А в общем, думал он, перекраивая арифметику министерства изобилия, это даже не подлог. Просто замена одного вздора другим. Материал твой по большей части вообще не имеет отношения к действительному миру — даже такого, какое содержит в себе откровенная ложь. Статистика в первоначальном виде — такая же фантазия, как и в исправленном. Чаще всего требуется, чтобы ты высасывал ее из пальца. Например, министерство изобилия предполагало выпустить в 4-м квартале 145 миллионов пар обуви. Сообщают, что реально произведено 62 миллиона. Уинстон же, переписывая прогноз, уменьшил плановую цифру до 57 миллионов — чтобы план, как всегда, оказался перевыполненным. Во всяком случае, 62 миллиона ничуть не ближе к истине, чем 57 миллионов или 145. Весьма вероятно, что обуви вообще не произвели. Еще вероятнее, что никто не знает, сколько ее произвели, и, главное, не желает знать. Известно только одно: каждый квартал на бумаге производят астрономическое количество обуви, между тем как половина населения Океании ходит босиком. То же самое — с любым документированным фактом, крупным и мелким. Все расплывается в призрачном мире, и даже сегодняшнее число едва ли определишь.

Уинстон взглянул на стеклянную кабину по ту сторону коридора. Маленький, аккуратный, с синим подбородком человек по фамилии Тиллотсон усердно трудился там, держа на коленях сложенную газету и приникнув к микрофону речеписа. Вид у него был такой, будто он хочет, чтобы все сказанное осталось между ними двоими — между ним и речеписом. Он поднял голову, и его очки враждебно сверкнули Уинстону.

Уинстон почти не знал Тиллотсона и не имел представления о том, чем он занимается. Сотрудники отдела документации неохотно говорили о своей работе. В длинном, без окон, коридоре с двумя рядами стеклянных кабин, с нескончаемым шелестом бумаги и гудением голосов, бубнящих в речеписы, было не меньше десятка людей, которых Уинстон не знал даже по имени, хотя они круглый год мелькали перед ним на этаже и махали руками на двухминутках ненависти. Он знал, что низенькая женщина с рыжеватыми волосами, сидящая в соседней каби-

не, весь день занимается только тем, что выискивает в прессе и убирает фамилии распыленных, а следовательно, никогда не существовавших людей. В определенном смысле занятие как раз для нее: года два назад ее мужа тоже распылили. А за несколько кабин от Уинстона помещалось кроткое, нескладное, рассеянное создание с очень волосатыми ушами; этот человек, по фамилии Амплфорт, удивлявший всех своей сноровкой по части рифм и размеров, изготовлял препарированные варианты — канонические тексты, как их называли,— стихотворений, которые стали идеологически невыдержанными, но по той или иной причине не могли быть исключены из антологий И весь этот коридор с полусотней сотрудников был лишь подсекцией — так сказать, клеткой — в сложном организме отдела документации. Дальше, выше, ниже сонмы служащих трудились над невообразимым множеством задач. Тут были огромные типографии со своими редакторами, полиграфистами и отлично оборудованными студиями для фальсификации фотоснимков. Была секция телепрограмм со своими инженерами, режиссерами и целыми труппами артистов, искусно подражающих чужим голосам. Были полки́ референтов, чья работа сводилась исключительно к тому, чтобы составлять списки книг и периодических изданий, нуждающихся в ревизии. Были необъятные хранилища для подправленных документов и скрытые топки для уничтожения исходных. И где-то, непонятно где, анонимно, существовал руководящий мозг, чертивший политическую линию, в соответствии с которой одну часть прошлого надо было сохранить, другую фальсифицировать, а третью уничтожить без остатка.

Весь отдел документации был лишь ячейкой министерства правды, главной задачей которого была не переделка прошлого, а снабжение жителей Океании газетами, фильмами, учебниками, телепередачами, пьесами, романами — всеми мыслимыми разновидностями информации, развлечений и наставлений, от памятника до лозунга, от лирического стихотворения до биологического трактата, от школьных прописей до словаря новояза. Министерство обеспечивало не только разнообразные нужды партии, но и производило аналогичную продукцию — сортом ниже — на потребу пролетариям. Существовала целая система отделов, занимавшихся пролетарской литературой, музыкой, драматургией и развлечениями вообще. Здесь делались низкопробные газеты, не содержавшие ничего, кроме спорта, уголовной хроники и астрологии, забористые пятицентовые повестушки, скабрезные фильмы, чувствительные песенки, сочиняемые чисто механическим способом — на особого рода калейдоскопе, так называемом версификаторе. Был даже специальный подотдел — на новоязе именуемый порносеком,— выпускавший порнографию самого последнего разбора — ее рассылали в запечатанных пакетах, и членам партии, за исключением непосредственных изготовителей, смотреть ее запрещалось.

Пока Уинстон работал, пневматическая труба вытолкнула

еще три заказа; но они оказались простыми, и он разделался с ними до того, как пришлось уйти на двухминутку ненависти. После ненависти он вернулся к себе в кабину, снял с полки словарь новояза, отодвинул речепис, протер очки и взялся за главное задание дня.

Самым большим удовольствием в жизни Уинстона была работа. В основном она состояла из скучных и рутинных дел, но иногда попадались такие, что в них можно было уйти с головой, как в математическую задачу,— такие фальсификации, где руководствоваться ты мог только своим знанием принципов ангсоца и своим представлением о том, что желает услышать от тебя партия. С такими задачами Уинстон справлялся хорошо. Ему даже доверяли уточнять передовицы «Таймс», писавшиеся исключительно на новоязе. Он взял отложенный утром четвертый листок:

таймс 3.12.83 миниусминиус изложен иаказ с. б. упомяиуты нелица переписать сквозь наверх до подшивки.

На старояязе (обычном английском) это означало примерно следующее:

В номере «Таймс» от 3 декабря 1983 года крайне неудовлетворительно изложен приказ Старшего Брата по стране; упомянуты несуществующие лица. Перепишите полностью и представьте ваш вариант руководству до того, как отправить в архив.

Уистон прочел ошибочную статью. Насколько он мог судить, бóльшая часть приказа по стране посвящена была похвалам ПКПП — организации, которая снабжала сигаретами и другими предметами потребления матросов на плавающих крепостях. Особо выделен был некий товарищ Уидерс, крупный деятель внутренней партии — его наградили орденом «За выдающиеся заслуги» 2-й степени.

Тремя месяцами позже ПКПП внезапно была распущена без объявления причин. Судя по всему, Уидерс и его сотрудники теперь не в чести, хотя ни в газетах, ни по телекрану сообщений об этом не было. Тоже ничего удивительного: судить и даже публично разоблачать политически провинившегося не принято. Большие чистки, захватывавшие тысячи людей, с открытыми процессами предателей и мыслепреступников, которые жалко каялись в своих преступлениях, а затем подвергались казни, были особыми спектаклями и происходили раз в несколько лет, не чаще. А обычно люди, вызвавшие неудовольствие партии, просто исчезали, и о них больше никто не слышал. И бесполезно было гадать, что с ними стало. Возможно, что некоторые даже оставались в живых. Так в разное время исчезли человек тридцать знакомых Уинстона, не говоря о его родителях.

Уинстон легонько поглаживал себя по носу скрепкой. В кабине напротив товарищ Тиллотсон по-прежнему таинственно бормотал, прильнув к микрофону. Он поднял голову, опять враждебно сверкнули очки. Не той же ли задачей занят Тиллотсон? — подумал Уинстон. Очень может быть. Такую тон-

кую работу ни за что не доверили бы одному исполнителю; с другой стороны, поручить ее комиссии — значит, открыто признать, что происходит фальсификация. Возможно, не меньше десятка работников трудились сейчас над собственными версиями того, что сказал на самом деле Старший Брат. Потом какой-то начальственный ум во внутренней партии выберет одну версию, отредактирует ее, приведет в действие сложный механизм перекрестных ссылок, после чего избранная ложь будет сдана на постоянное хранение и сделается правдой.

Уинстон не знал, за что попал в немилость Уидерс. Может быть, за разложение или за плохую работу. Может быть, Старший Брат решил избавиться от подчиненного, который стал слишком популярен. Может быть, Уидерс или кто-нибудь из его окружения заподозрен в уклоне. А может быть — и вероятнее всего,— случилось это просто потому, что чистки и распыления были необходимой частью государственной механики. Единственный определенный намек содержался в словах «упомянуты нелица» — это означало, что Уидерса уже нет в живых. Даже арест человека не всегда означал смерть. Иногда его выпускали, и до казни он год или два гулял на свободе. А случалось и так, что человек, которого давно считали мертвым, появлялся, словно призрак, на открытом процессе и давал показания против сотен людей, прежде чем исчезнуть — на этот раз окончательно. Но Уидерс уже был *нелицом*. Он не существовал; он никогда не существовал. Уинстон решил, что просто изменить направление речи Старшего Брата мало. Пусть он скажет о чем-то, совершенно не связанном с первоначальной темой.

Уинстон мог превратить речь в типовое разоблачение предателей и мыслепреступников — но это слишком прозрачно, а если изобрести победу на фронте или триумфальное перевыполнение трехлетнего плана, то чересчур усложнится документация. Чистая фантазия — вот что подойдет лучше всего. И вдруг в голове у него возник — можно сказать, готовеньким — образ товарища Огилви, недавно павшего в бою смертью храбрых. Бывали случаи, когда Старший Брат посвящал «наказ» памяти какого-нибудь скромного рядового партийца, чью жизнь и смерть он приводил как пример для подражания. Сегодня он посвятит речь памяти товарища Огилви. Правда, такого товарища на свете не было, но несколько печатных строк и одна-две поддельные фотографии вызовут его к жизни.

Уинстон на минуту задумался, потом подтянул к себе речепис и начал диктовать в привычном стиле Старшего Брата: стиль этот, военный и одновременно педантический, благодаря постоянному приему — задавать вопросы и тут же на них отвечать («Какие уроки мы извлекаем отсюда, товарищи? Уроки — а они являются также основополагающими принципами ангсоца — состоят в том...» и т. д. и т. п.) — легко поддавался имитации.

В трехлетнем возрасте товарищ Огилви отказался от всех игрушек, кроме барабана, автомата и вертолета. Шести лет —

в вnде особого исключення — был прннят в разведчнки; в девять стал командnром отряда. Однннадцатн лет от роду, услышав дядин разговор, уловил в нем преступные нден н сообщнл об этом в полицию мыслей. В семнадцать стал районным руководителем Молодежного антнполового союза. В девятнадцать нзобрел гранату, которая была прннята на вооруженне мннnстерством мнра и на первом нспытаннн уннчтожнла взрывом трндцать одного евразнйского военнопленного. Двадцатитрехлетним погиб на войне. Летя над Индийскнм океаном с важными донесениямн, был атакован вражескнмн нстребителямн, прнвязал к телу пулемет, как грузило, выпрыгнул из вертолета н вместе с донесеннямн н прочнм ушел на дно; такой кончнне, сказал Старшнй Брат, можно только завндовать. Старшнй Брат подчеркнул, что вся жнзнь товарнща Огилви была отмечена чистотой н целеустремленностью. Товарищ Огилви не пнл и не курил, не знал нных развлеченнй, кроме ежедневной часовой тренировкн в гимнастнческом зале; счнтая, что женнтьба н семейные заботы несовместнмы с круглосуточным служеннем долгу, он дал обет безбрачня. Он не знал нной темы для разговора, кроме прннцнпов ангсоца, иной цели в жизни, кроме разгрома евразнйскнх полчнщ н выявления шпионов, вреднтелей, мыслепреступнnков н прочнх изменннков.

Уннстон подумал, не наградить ли товарнща Огилви орденом «За выдающиеся заслуги»; решил все-такн не награждать — это потребовало бы лншннх перекрестных ссылок.

Он еще раз взглянул на соперника напротив. Непонятно, почему он догадался, что Тиллотсон занят той же работой. Чью версию примут, узнать было невозможно, но он ощутил твердую уверенность, что версня будет его. Товарищ Огилви, которого н в помине не было час назад, обрел реальность. Уинстону показалось занятным, что создавать можно мертвых, но не живых. Товарищ Огнлви никогда не существовал в настоящем, а теперь существует в прошлом — н, едва сотрутся следы подделкн, будет существовать так же доподлнnно и неопровержнмо, как Карл Велнкнй и Юлий Цезарь.

V

В столовой с низким потолком, глубоко под землей, очередь за обедом продвигалась толчками. В зале было полно народу н стоял оглушительный шум. От жаркого за прнлавком валнл пар с кнслым металлнческим запахом, но н он не мог заглушнть вездесущнй душок джнна «Победа». В конце зала располагался маленький бар, попросту дыра в стене, где продавалн джнн по десять центов за шкалик.

— Вот кого я нскал,— раздался голос за спнной Уннстона.

Он обернулся. Это был его приятель Сайм, из исследовательского отдела. «Прнятель» — пожалуй, не совсем то слово. Приятелей теперь не было, былн товарнщн; но общество одних товарищей приятнее, чем общество других. Сайм был филолог, специалнст по новоязу. Он состоял в громадном научном кол-

лективе, трудившемся над одиннадцатым изданием словаря новояза. Маленький, мельче Уинстона, с темными волосами и большими выпуклыми глазами, скорбными и насмешливыми одновременно, которые будто ощупывали лицо собеседника.

— Хотел спросить, нет ли у вас лезвий,— сказал он.

— Ни одного,— с виноватой поспешностью ответил Уинстон.— По всему городу искал. Нигде нет.

Все спрашивали бритвенные лезвия. На самом-то деле у него еще были в запасе две штуки. Лезвий не стало несколько месяцев назад. В партийных магазинах вечно исчезал то один обиходный товар, то другой. То пуговицы сгинут, то штопка, то шнурки; а теперь вот — лезвия. Достать их можно было тайком — и то если повезет,— на «свободном» рынке.

— Сам полтора месяца одним бреюсь,— солгал он.

Очередь продвинулась вперед. Остановившись, он снова обернулся к Сайму. Оба взяли по сальному металлическому подносу из стопки.

— Ходили вчера смотреть, как вешают пленных? — спросил Сайм.

— Работал,— безразлично ответил Уинстон.— В кино, наверно, увижу.

— Весьма неравноценная замена,— сказал Сайм.

Его насмешливый взгляд рыскал по лицу Уинстона. «Знаем вас,— говорил этот взгляд.— Насквозь тебя вижу, отлично знаю, почему не пошел смотреть на казнь пленных».

Интеллектуал Сайм был остервенело правоверен. С неприятным сладострастием он говорил об атаках вертолетов на вражеские деревни, о процессах и признаниях мыслепреступников, о казнях в подвалах министерства любви. В разговорах приходилось отвлекать его от этих тем и наводить — когда удавалось — на проблемы новояза, о которых он рассуждал интересно и со знанием дела. Уинстон чуть отвернул лицо от испытующего взгляда больших черных глаз.

— Красивая получилась казнь,— мечтательно промолвил Сайм.— Когда им связывают ноги, по-моему, это только портит картину. Люблю, когда они брыкаются. Но лучше всего конец, когда вываливается синий язык... я бы сказал, ярко-синий. Эта деталь мне особенно мила.

— След'щий! — крикнула прола в белом фартуке, с половником в руке.

Уинстон и Сайм сунули свои подносы. Обоим выкинули стандартный обед: жестяную миску с розовато-серым жарким, кусок хлеба, кубик сыра, кружку черного кофе «Победа» и одну таблетку сахарина.

— Есть столик вон под тем телекраном,— сказал Сайм.— По дороге возьмем джину.

Джин им дали в фаянсовых кружках без ручек. Они пробрались через людный зал и разгрузили подносы на металлический столик; на углу его кто-то разлил соус: грязная жижа напоминала рвоту. Уинстон взял свой джин, секунду помешкал, собираясь с духом, и залпом выпил маслянистую жидкость. Потом

сморгнул слезы — и вдруг почувствовал, что голоден. Он стал заглатывать жаркое полными ложками; в похлебке попадались розовые рыхлые кубики — возможно, мясной продукт. Оба молчали, пока не опорожнили миски. За столиком сзади и слева от Уинстона кто-то без умолку тараторил — резкая торопливая речь, похожая на утиное кряканье, пробивалась сквозь общий гомон.

— Как подвигается словарь? — Из-за шума Уинстон тоже повысил голос.

— Медленно,— ответил Сайм.— Сижу над прилагательными. Очарование.

Заговорив о новоязе, Сайм сразу взбодрился. Отодвинул миску, хрупкой рукой взял хлеб, в другую — кубик сыра и, чтобы не кричать, подался к Уинстону.

— Одиннадцатое издание — окончательное издание. Мы придаем языку завершенный вид — в этом виде он сохранится, когда ни на чем другом не будут говорить. Когда мы закончим, людям вроде вас придется изучать его сызнова. Вы, вероятно, полагаете, что главная наша работа — придумывать новые слова. Ничуть не бывало. Мы уничтожаем слова — десятками, сотнями ежедневно. Если угодно, оставляем от языка скелет. В две тысячи пятидесятом году ни одно слово, включенное в одиннадцатое издание, не будет устаревшим.

Он жадно откусил хлеб, прожевал и с педантским жаром продолжал речь. Его худое темное лицо оживилось, насмешка в глазах исчезла, и они стали чуть ли не мечтательными.

— Это прекрасно — уничтожать слова. Главный мусор скопился, конечно, в глаголах и прилагательных, но и среди существительных — сотни и сотни лишних. Не только синонимов; есть ведь и антонимы. Ну скажите, для чего нужно слово, которое есть полная противоположность другого? Слово само содержит свою противоположность. Возьмем, например, «голод». Если есть слово «голод», зачем вам «сытость»? «Неголод» ничем не хуже, даже лучше, потому что оно — прямая противоположность, а «сытость» — нет. Или оттенки и степени прилагательных. «Хороший» — для кого хороший? А «плюсовой» исключает субъективность. Опять же, если вам нужно что-то сильнее «плюсового», какой смысл иметь целый набор расплывчатых, бесполезных слов: «великолепный», «отличный» и так далее? «Плюс плюсовой» охватывает те же значения, а если нужно еще сильнее — «плюсплюс плюсовой». Конечно, мы и сейчас уже пользуемся этими формами, но в окончательном варианте новояза других просто не останется. В итоге все понятия плохого и хорошего будут описываться только шестью словами — а по сути, двумя. Вы чувствуете, какая стройность, Уинстон? Идея, разумеется, принадлежит Старшему Брату,— спохватившись добавил он.

При имени Старшего Брата лицо Уинстона вяло изобразило пыл. Сайму его энтузиазм показался неубедительным.

— Вы не цените новояз по достоинству,— заметил он как бы с печалью.— Пишете на нем, а думаете все равно на старо-

язе. Мне попадались ваши материалы в «Таймс». В душе вы верны староязу со всей его расплывчатостью и ненужными оттенками значений. Вам не открылась красота уничтожения слов. Знаете ли вы, что новояз — единственный на свете язык, чей словарь с каждым годом сокращается?

Этого Уинстон, конечно, не знал. Он улыбнулся, насколько мог сочувственно, не решаясь раскрыть рот. Сайм откусил еще от черного ломтя, наскоро прожевал и заговорил снова:

— Неужели вам непонятно, что задача новояза — сузить горизонты мысли? В конце концов мы сделаем мыслепреступление попросту невозможным — для него не останется слов. Каждое необходимое понятие будет выражаться одним-единственным словом, значение слова будет строго определено, а побочные значения упразднены и забыты. В одиннадцатом издании мы уже на подходе к этой цели. Но процесс будет продолжаться и тогда, когда нас с вами не будет на свете. С каждым годом все меньше и меньше слов, все у́же и у́же границы мысли. Разумеется, и теперь для мыслепреступления нет ни оправданий, ни причин. Это только вопрос самодисциплины, управления реальностью. Но в конце концов и в них нужда отпадет. Революция завершится тогда, когда язык станет совершенным. Новояз — это ангсоц, ангсоц — это новояз,— проговорил он с какой-то религиозной умиротворенностью.— Приходило ли вам в голову, Уинстон, что к две тысячи пятидесятому году, а то и раньше, на Земле не останется человека, который смог бы понять наш с вами разговор?

— Кроме...— с сомнением начал Уинстон и осекся.

У него чуть не сорвалось с языка: «Кроме пролов»,— но он сдержался, не будучи уверен в дозволительности этого замечания. Сайм, однако, угадал его мысль.

— Пролы — не люди,— небрежно парировал он.— К две тысячи пятидесятому году, если не раньше, по-настоящему владеть староязом не будет никто. Вся литература прошлого будет уничтожена. Чосер, Шекспир, Мильтон, Байрон останутся только в новоязовском варианте, превращенные не просто в нечто иное, а в собственную противоположность. Даже партийная литература станет иной. Даже лозунги изменятся. Откуда взяться лозунгу «Свобода — это рабство», если упразднено само понятие свободы? *Атмосфера* мышления станет иной. Мышления в нашем современном значении вообще не будет. Правоверный не мыслит — не нуждается в мышлении. Правоверность — состояние бессознательное.

В один прекрасный день, внезапно решил Уинстон, Сайма распылят. Слишком умен. Слишком глубоко смотрит и слишком ясно выражается. Партия таких не любит. Однажды он исчезнет. У него это на лице написано.

Уинстон доел свой хлеб и сыр. Чуть повернулся на стуле, чтобы взять кружку с кофе. За столиком слева немилосердно продолжал свои разглагольствования мужчина со скрипучим голосом. Молодая женщина — возможно, секретарша — внимала ему и радостно соглашалась с каждым словом. Время от

времени до Уинстона долетал ее молодой и довольно глупый голос, фразы вроде: «Как это верно!» Мужчина не умолкал ни на мгновение — даже когда говорила она. Уинстон встречал его в министерстве и знал, что он занимает какую-то важную должность в отделе литературы. Это был человек лет тридцати, с мускулистой шеей и большим подвижным ртом. Он слегка откинул голову, и в таком ракурсе Уинстон видел вместо его глаз пустые блики света, отраженного очками. Жутковато делалось оттого, что в хлеставшем изо рта потоке звуков невозможно было поймать ни одного слова. Только раз Уинстон расслышал обрывок фразы: «полная и окончательная ликвидация голдстейновщины» — обрывок выскочил целиком, как отлитая строка в линотипе. В остальном это был сплошной шум — кря-кря-кря. Речь нельзя было разобрать, но общий характер ее не вызывал никаких сомнений. Метал ли он громы против Голдстейна и требовал более суровых мер против мыслепреступников и вредителей, возмущался ли зверствами евразийской военщины, восхвалял ли Старшего Брата и героев Малабарского фронта — значения не имело. В любом случае каждое его слово было — чистая правоверность, чистый ангсоц. Глядя на хлопавшее ртом безглазое лицо, Уинстон испытывал странное чувство, что перед ним не живой человек, а манекен. Не в человеческом мозгу рождалась эта речь — в гортани. Извержение состояло из слов, но не было речью в подлинном смысле, это был шум, производимый в бессознательном состоянии, утиное кряканье.

Сайм умолк и черенком ложки рисовал в лужице соуса. Кряканье за соседним столом продолжалось с прежней быстротой, легко различимое в общем гуле.

— В новоязе есть слово,— сказал Сайм.— Не знаю, известно ли оно вам: «речекряк» — крякающий по-утиному. Одно из тех интересных слов, у которых два противоположных значения. В применении к противнику это ругательство; в применении к тому, с кем вы согласны,— похвала.

Сайма, несомненно, распылят, снова подумал Уинстон. Подумал с грустью, хотя отлично знал, что Сайм презирает его и не слишком любит и вполне может объявить его мыслепреступником, если увидит для этого основания. Чуть-чуть что-то не так с Саймом. Чего-то ему не хватает: осмотрительности, отстраненности, некой спасительной глупости. Нельзя сказать, что неправоверен. Он верит в принципы ангсоца, чтит Старшего Брата, он радуется победам, ненавидит мыслепреступников не только искренне, но рьяно и неутомимо, причем располагая самыми последними сведениями, ненужными рядовому партийцу. Но всегда от него шел какой-то малопочтенный душок. Он говорил то, о чем говорить не стоило, он прочел слишком много книжек, он наведывался в кафе «Под каштаном», которое облюбовали художники и музыканты. Запрета, даже неписаного запрета, на посещение этого кафе не было, но над ним тяготело что-то зловещее. Когда-то там собирались отставные, потерявшие доверие партийные вожди (потом их убрали окончатель-

но). По слухам, бывал там сколько-то лет или десятилетий назад сам Голдстейн. Судьбу Сайма нетрудно было угадать. Но несомненно было и то, что, если бы Сайму открылось, хоть на три секунды, каких взглядов держится Уинстон, Сайм немедленно донес бы на Уинстона в полицию мыслей. Впрочем, как и любой на его месте — но все же Сайм скорее. Правоверность — состояние бессознательное.

Сайм поднял голову.

— Вон идет Парсонс,— сказал он.

В голосе его прозвучало: «несносный дурак». И в самом деле, между столиками пробирался сосед Уинстона по дому «Победа» — невысокий бочкообразных очертаний человек с русыми волосами и лягушачьим лицом. В тридцать пять лет он уже отрастил брюшко и складки жира на загривке, но двигался по-мальчишески легко. Да и выглядел он мальчиком, только большим: хотя он был одет в форменный комбинезон, все время хотелось представить его себе в синих трусах, серой рубашке и красном галстуке разведчика. Воображению рисовались ямки на коленях и закатанные рукава на пухлых руках. В шорты Парсонс действительно облачался при всяком удобном случае — и в туристских вылазках, и на других мероприятиях, требовавших физической активности. Он приветствовал обоих веселым «Здрасьте, здрасьте!» и сел за стол, обдав их крепким запахом пота. Все лицо его было покрыто росой. Потоотделительные способности у Парсонса были выдающиеся. В клубе всегда можно было угадать, что он поиграл в настольный теннис, по мокрой ручке ракетки. Сайм вытащил полоску бумаги с длинным столбиком слов и принялся читать, держа наготове чернильный карандаш.

— Смотри, даже в обед работает,— сказал Парсонс, толкнув Уинстона в бок.— Увлекается, а? Что у вас там? Не по моим, наверно, мозгам. Смит, знаете, почему я за вами гоняюсь? Вы у меня подписаться забыли.

— На что подписка? — спросил Уинстон, машинально потянувшись к карману. Примерно четверть зарплаты уходила на добровольные подписки, настолько многочисленные, что их и упомнить было трудно.

— На Неделю ненависти — подписка по месту жительства. Я домовый казначей. Не щадим усилий — в грязь лицом не ударим. Скажу прямо, если наш дом «Победа» не выставит больше всех флагов на улице, так не по моей вине. Вы два доллара обещали.

Уинстон нашел и отдал две мятые замусоленные бумажки, и Парсонс аккуратным почерком малограмотного записал его в блокнотик.

— Между прочим,— сказал он,— я слышал, мой паршивец запулил в вас вчера из рогатки. Я ему задал по первое число. Даже пригрозил: еще раз повторится — отберу рогатку.

— Наверное, расстроился, что его не пустили на казнь,— сказал Уинстон.

— Да, знаете... я что хочу сказать: сразу видно, что воспи-

тан в правильном духе. Озорные паршивцы — что один, что другая,— но увлеченные! Одно на уме: разведчики, ну и война, конечно. Знаете, что дочурка выкинула в прошлое воскресенье? У них поход был в Беркампстед — так она сманила еще двух девчонок, откололись от отряда и до вечера следили за одним человеком. Два часа шли за ним, и все лесом,— а в Амершеме сдали его патрулю.

— Зачем это? — слегка опешив, спросил Уинстон.

Парсонс победоносно продолжал:

— Дочурка догадалась, что он вражеский агент, на парашюте сброшенный или еще как. Но вот в чем самая штука-то. С чего, вы думаете, она его заподозрила? Туфли на нем чудны́е — никогда, говорит, не видала на человеке таких туфель. Что, если иностранец? Семь лет пигалице — а смышленая какая, а?

— И что с ним сделали? — спросил Уинстон.

— Ну, уж этого я не знаю. Но не особенно удивлюсь, если...— Парсонс изобразил, будто целится из ружья, и щелкнул языком.

— Отлично,— в рассеянности произнес Сайм, не отрываясь от своего листка.

— Конечно, нам без бдительности нельзя,— послушно согласился Уинстон.

— Война, сами понимаете,— сказал Парсонс.

Как будто в подтверждение его слов телекран у них над головами сыграл фанфару. Но на этот раз была не победа на фронте, а сообщение министерства изобилия.

— Товарищи! — крикнул энергичный молодой голос.— Внимание, товарищи! Замечательные известия! Победа на производственном фронте. Итоговые сводки о производстве всех видов потребительских товаров показывают, что по сравнению с прошлым годом уровень жизни поднялся не менее чем на двадцать процентов. Сегодня утром по всей Океании прокатилась неудержимая волна стихийных демонстраций. Трудящиеся покинули заводы и учреждения и со знаменами прошли по улицам, выражая благодарность Старшему Брату за новую счастливую жизнь под его мудрым руководством. Вот некоторые итоговые показатели. Продовольственные товары...

Слова «наша новая счастливая жизнь» повторились несколько раз. В последнее время их полюбило министерство изобилия. Парсонс, встрепенувшись от фанфары, слушал приоткрыв рот, торжественно, с выражением впитывающей скуки. За цифрами он уследить не мог, но понимал, что они должны радовать. Он выпростал из кармана громадную вонючую трубку, до половины набитую обуглившимся табаком. При норме табака сто граммов в неделю человек редко позволял себе набить трубку доверху. Уинстон курил сигарету «Победа», стараясь держать ее горизонтально. Новый талон действовал только с завтрашнего дня, а у него осталось всего четыре сигареты. Сейчас он пробовал отключиться от постороннего шума и расслышать то, что изливалось из телекрана. Кажется, были даже демонстрации благо-

дарности Старшему Брату за то, что он увеличил норму шоколада до двадцати граммов в неделю. А ведь только вчера объявили, что норма *уменьшена* до двадцати граммов, подумал Уинстон. Неужели в это поверят — через какие-нибудь сутки? Верят. Парсонс поверил легко, глупое животное. Безглазый за соседним столом — фанатично, со страстью, с исступленным желанием выявить, разоблачить, распылить всякого, кто скажет, что на прошлой неделе норма была тридцать граммов. Сайм тоже поверил — только затейливее, при помощи двоемыслия. Так что же, у него одного не отшибло память?

Телекран все извергал сказочную статистику. По сравнению с прошлым годом стало больше еды, больше одежды, больше домов, больше мебели, больше кастрюль, больше топлива, больше кораблей, больше вертолетов, больше книг, больше новорожденных — всего больше, кроме болезней, преступлений и сумасшествия. С каждым годом, с каждой минутой все и вся стремительно поднимается к новым и новым высотам. Так же как Сайм перед этим, Уинстон взял ложку и стал возить ею в пролитом соусе, придавая длинной лужице правильные очертания. Он с возмущением думал о своем быте, об условиях жизни. Всегда ли она была такой? Всегда ли был такой вкус у еды? Он окинул взглядом столовую. Низкий потолок, набитый зал, грязные от трения бесчисленных тел стены; обшарпанные металлические столы и стулья, стоящие так тесно, что сталкиваешься локтями с соседом; гнутые ложки, щербатые подносы, грубые белые кружки; все поверхности сальные, в каждой трещине грязь; и кисловатый смешанный запах скверного джина, скверного кофе, подливки с медью и заношенной одежды. Всегда ли так неприятно было твоему желудку и коже, всегда ли было это ощущение, что ты обкраден, обделен? Правда, за всю свою жизнь он не мог припомнить ничего существенно иного. Сколько он себя помнил, еды никогда не было вдоволь, никогда не было целых носков и белья, мебель всегда была обшарпанной и шаткой, комнаты — нетоплеными, поезда в метро — переполненными, дома — обветшалыми, хлеб — темным, кофе — гнусным, чай — редкостью, сигареты — считанными: ничего дешевого и в достатке, кроме синтетического джина. Конечно, тело старится, и все для него становится не так, но, если тошно тебе от неудобного, грязного, скудного житья, от нескончаемых зим, заскорузлых носков, вечно неисправных лифтов, от ледяной воды, шершавого мыла, от сигареты, распадающейся в пальцах, от странного и мерзкого вкуса пищи, не означает ли это, что такой уклад жизни *ненормален*? Если он кажется непереносимым — неужели это родовая память нашептывает тебе, что когда-то жили иначе?

Он снова окинул взглядом зал. Почти все люди были уродливыми — и будут уродливыми, даже если переоденутся из форменных синих комбинезонов во что-нибудь другое. Вдалеке пил кофе коротенький человек, удивительно похожий на жука, и стрелял по сторонам подозрительными глазками. Если не оглядываешься вокруг, подумал Уинстон, до чего же легко

поверить, будто существует и даже преобладает предписаный партией идеальный тип: высокие мускулистые юноши и пышногрудые девы, светловолосые, беззаботные, загорелые, жизнерадостные. На самом же деле, сколько он мог судить, жители Взлетиой полосы I в большинстве были мелкие, темные и иекрасивые. Любопытио, как размиожился в министерствах жукоподобный тип: приземистые, коротконогие, очеиь раио полчеющие мужчины с суетливыми движеииями, толстыми иепроницаемыми лицами и малеиькими глазами. Этот тип как-то особеиио процветал под партийиой властью.

Завершив фанфарой сводку из мииистерства изобилия, телекраи заиграл бравурную музыку. Парсоис от бомбардировки цифрами исполиился рассеяиного эитузиазма и вынул изо рта трубку.

— Да, хорошо потрудилось в ныиешием году мииистерство изобилия,— промолвил ои и с видом зиатока кивнул.— Кстати, Смит, у вас случайно ие иайдется свободиого лезвия?

— Ни одиого,— ответил Уиистон.— Полтора месяца последиим бреюсь.

— Ну да... просто решил спросить иа всякий случай.

— Не взыщите,— сказал Уиистон.

Кряканье за соседиим столом, смолкшее было во время мииистерского отчета, возобновилось с прежней силой. Уинстои почему-то вспомиил миссис Парсонс, ее жидкие растрепаииые волосы, пыль в морщинах. Года через два, если не раиьше, детки доиесут на иее в полицию мыслей. Ее распылят. Сайма распылят. Его, Уинстоиа, распылят. О'Брайена распылят. Парсоиса же, иапротив, никогда не распылят. Безглазого крякающего иикогда ие распылят. Мелких жукоподобиых, шустро сиующих по лабиринтам мииистерств,— их тоже иикогда ие распылят. И ту девицу из отдела литературы не распылят. Ему казалось, что ои инстиистивно чувствует, кто погибиет, а кто сохраиится, хотя чем имеино обеспечивается сохраииость, даже не объясиишь.

Тут его вывело из задумчивости грубое вторжеиие. Жеищииа за соседиим столиком, слегка поворотившись, смотрела иа него. Та самая, с темиыми волосами. Оиа смотрела на него искоса, с иепоиятиой пристальиостью. И как только оии встретились глазами, отвернулась.

Уиистои почувствовал, что по хребту потек пот. Его охватил отвратительный ужас. Ужас почти сразу прошел, ио изиойливое ощущение иеуютиости осталось. Почему оиа за иим наблюдает? Он, к сожалению, ие мог вспомнить, сидела она за столом, когда он пришел, или появилась после. Но вчера иа двухмииутке иеиависти она села прямо за иим, хотя иикакой иадобиости в этом не было. Очень вероятио, что оиа хотела послушать его — проверить, достаточно ли громко ои кричит.

Как и в прошлый раз, ои подумал: вряд ли она штатиый сотрудник полиции мыслей, ио ведь добровольный-то шпион и есть самый опасный. Ои не знал, давио ли она на него смотрит — может быть, уже пять мииут,— а следил ли ои сам за

своим лицом все это время, неизвестно. Если ты в общественном месте или в поле зрения телекрана и позволил себе задуматься — это опасно, это страшно. Тебя может выдать ничтожная мелочь. Нервный тик, тревога на лице, привычка бормотать себе под нос — все, в чем можно усмотреть признак аномалии, попытку что-то скрыть. В любом случае неположенное выражение лица (например, недоверчивое, когда объявляют о победе) — уже наказуемое преступление. На новоязе даже есть слово для него: *лицепреступление*.

Девица опять сидела к Уинстону спиной. В конце концов, может, она и не следит за ним; может, это просто совпадение, что она два дня подряд оказывается с ним рядом. Сигарета у него потухла, и он осторожно положил ее на край стола. Докурит после работы, если удастся не просыпать табак. Вполне возможно, что женщина за соседним столом — осведомительница, вполне возможно, что в ближайшие три дня он очутится в подвалах министерства любви, но окурок пропасть не должен. Сайм сложил свою бумажку и спрятал в карман. Парсонс опять заговорил.

— Я вам не рассказывал, как мои сорванцы юбку подожгли на базарной торговке? — начал он, похохатывая и не выпуская изо рта чубук.— За то, что заворачивала колбасу в плакат со Старшим Братом. Подкрались сзади и целым коробком спичек подожгли. Думаю, сильно обгорела. Вот паршивцы, а? Но увлеченные, но борзые! Это их в разведчиках так натаскивают — первоклассно, лучше даже, чем в мое время. Как вы думаете, чем их вооружили в последний раз? Слуховыми трубками, чтобы подслушивать через замочную скважину! Дочка принесла вчера домой и проверила на двери в общую комнату — говорит, слышно в два раза лучше, чем просто ухом! Конечно, я вам скажу, это только игрушка. Но мыслям дает правильное направление, а?

Тут телекран издал пронзительный свист. Это был сигнал приступить к работе. Все трое вскочили, чтобы принять участие в давке перед лифтами, и остатки табака высыпались из сигареты Уинстона.

VI

Уинстон писал в дневнике:

Это было три года назад. Темным вечером, в переулке около большого вокзала. Она стояла у подъезда под уличным фонарем, почти не дававшим света. Молодое лицо было сильно накрашено. Это и привлекло меня — белизна лица, похожего на маску, ярко-красные губы. Партийные женщины никогда не красятся. На улице не было больше никого, не было телекранов. Она сказала: «Два доллара». Я...

Ему стало трудно продолжать. Он закрыл глаза и нажал на веки пальцами, чтобы прогнать неотвязное видение. Ему нестерпимо хотелось выругаться — длинно и во весь голос. Или уда-

риться головой о стену, пинком опрокинуть стол, запустить чернильницей в окно — буйством, шумом, болью, чем угодно заглушить рвущее душу воспоминание.

Твой злейший враг, подумал он,— это твоя нервная система. В любую минуту внутреннее напряжение может выразиться в каком-то видимом симптоме. Он вспомнил прохожего, которого встретил на улице несколько недель назад: ничем не примечательный человек, член партии, лет тридцати пяти или сорока, худой и довольно высокий, с портфелем. Они были в нескольких шагах друг от друга, и вдруг левая сторона лица у прохожего дернулась. Когда они поравнялись, это повторилось еще раз: мимолетная судорога, тик, краткий, как щелчок фотографического затвора, но, видимо, привычный. Уинстон тогда подумал: бедняге крышка. Страшно, что человек этого, наверное, не замечал. Но самая ужасная опасность из всех — разговаривать во сне. От этого, казалось Уинстону, ты вообще не можешь предохраниться.

Он перевел дух и стал писать дальше:

Я вошел за ней в подъезд, а оттуда через двор в полуподвальную кухню. У стены стояла кровать, на столе лампа с привернутым фитилем. Женщина...

Раздражение не проходило. Ему хотелось плюнуть. Вспомнив женщину в полуподвальной кухне, он вспомнил Кэтрин, жену. Уинстон был женат — когда-то был, а может, и до сих пор; насколько он знал, жена не умерла. Он будто снова вдохнул тяжелый, спертый воздух кухни, смешанный запах грязного белья, клопов и дешевых духов — гнусных и вместе с тем соблазнительных, потому что пахло не партийной женщиной, партийная не могла надушиться. Душились только пролы. Для Уинстона запах духов был неразрывно связан с блудом.

Это было его первое прегрешение за два года. Иметь дело с проститутками, конечно, запрещалось, но запрет был из тех, которые ты время от времени осмеливаешься нарушить. Опасно — но не смертельно. Попался с проституткой — пять лет лагеря, не больше, если нет отягчающих обстоятельств. И дело не такое уж сложное; лишь бы не застигли за преступным актом. Бедные кварталы кишели женщинами, готовыми продать себя. А купить иную можно было за бутылку джина: пролам джин не полагался. Негласно партия даже поощряла проституцию — как выпускной клапан для инстинктов, которые все равно нельзя подавить. Сам по себе разврат мало значил, лишь бы был он вороватым и безрадостным, а женщина — из беднейшего и презираемого класса. Непростительное преступление — связь между членами партии. Но, хотя во время больших чисток обвиняемые неизменно признавались и в этом преступлении, вообразить, что такое случается в жизни, было трудно.

Партия стремилась не просто помешать тому, чтобы между мужчинами и женщинами возникали узы, которые не всегда поддаются ее воздействию. Ее подлинной необъявленной целью было лишить половой акт удовольствия. Главным врагом была не столько любовь, сколько эротика — и в браке и вне его.

Все браки между члеиами партии утверждал особый комитет, и — хотя этот принцип ие провозглашали открыто,— если создавалось впечатлеиие, что будущие супруги физически привлекательиы друг для друга, им отказывали в разрешеиии. У брака призиавали только одиу цель: производить детей для службы государству. Половое сиошение следовало рассматривать как малеиькую противиую процедуру, вроде клизмы. Это тоже иикогда ие объявляли прямо, ио исподволь вколачивали в каждого партийца с детства. Существовали даже оргаиизации иаподобие Молодежиого аитиполового союза, проповедовавшие полиое целомудрие для обоих полов. Зачатие должио происходить путем искусствеииого осемеиеиия (*искос* иа иовоязе) в общественных пуиктах. Уиистои зиал, что это требоваиие выдвигали ие совсем всерьез, ио, в общем, оио вписывалось в идеологию партии. Партия стремилась убить половой иистинкт, а раз убить иельзя — то хотя бы извратить и запачкать. Зачем это иадо, ои ие понимал; ио и удивляться тут было иечему. Что касается жеищии, партия в этом изрядио преуспела.

Ои виовь подумал о Кэтрии. Девять... десять... почти одиннадцать лет, как оии разошлись. Но до чего редко ои о ией думает. Ииогда за иеделю ии разу ие вспомиит, что был жеиат. Оии прожили всего пятиадцать месяцев. Развод партия запретила, ио расходиться бездетиым не препятствовала, иаоборот.

Кэтрин была высокая, очеиь прямая блоидиика, даже грациозиая. Четкое, с орлииым профилем лицо ее можио было иазвать благородиым — пока ты ие понял, что за иим иастолько иичего нет, иасколько это вообще возможио. Уже в самом иачале совместиой жизии Уиистои решил — впрочем, только потому, быть мо́жет, что узиал ее ближе, чем других людей,— что иикогда ие встречал более глупого, пошлого, пустого создаиия. Мысли в ее голове все до едииой состояли из лозуигов, и ие было иа свете такой ахииеи, которой бы она ие склевала с руки у партии. «Ходячий граммофои» — прозвал ои ее про себя. Но ои бы выдержал совместиую жизнь, если бы не одиа вещь — постель.

Стоило только прикосиуться к ией, как она вздрагивала и цепенела. Обиять ее было — все равно что обиять деревяииый манекеи. И странно: когда оиа прижимала его к себе, у иего было чувство, что оиа в это же время отталкивает его изо всех сил. Такое впечатлеиие создавали ее окочеиелые мышцы. Оиа лежала с закрытыми глазами, ие сопротивляясь и ие помогая, а *подчиняясь*. Сперва это приводило его в крайиее замешательство; потом ему стало жутко. Но он все равно бы вытерпел, если бы оии условились больше ие спать. Как ии удивительио, иа это ие согласилась Кэтрии. Мы должны, сказала оиа, если удастся, родить ребенка. Так что заиятия продолжались, и вполие регулярио, раз в иеделю, если к тому ие было препятствий. Она даже иапомииала ему по утрам, что́ им предстоит сегодия вечером,— дабы он ие забыл. Для этого у иее было два иазваиия. Одно — «подумать о ребеике», другое — «иаш партийиый долг» (да, оиа имеиио так выражалась). Довольио скоро при-

ближение назначенного дня стало вызывать у него форменный ужас. Но, к счастью, ребенка не получалось, Кэтрин решила прекратить попытки, и вскоре они разошлись.

Уинстон беззвучно вздохнул. Он снова взял ручку и написал:

Женщина бросилась на кровать и сразу, без всяких предисловий, с неописуемой грубостью и вульгарностью задрала юбку. Я...

Он увидел себя там, при тусклом свете лампы, и снова ударил в нос запах дешевых духов с клопами, снова стеснилось сердце от возмущения и бессилия, и так же, как в ту минуту, вспомнил он белое тело Кэтрин, навеки окоченевшее под гипнозом партии. Почему всегда должно быть так? Почему у него не может быть своей женщины и удел его — грязные торопливые случки, разделенные годами? Нормальный роман — это что-то почти немыслимое. Все партийные женщины одинаковы. Целомудрие вколочено в них так же крепко, как преданность партии. Продуманной обработкой сызмала, играми и холодными купаниями, вздором, которым их пичкали в школе, в разведчиках, в Молодежном союзе, докладами, парадами, песнями, лозунгами, военной музыкой в них убили естественное чувство. Разум говорил ему, что должны быть исключения, но сердце отказывалось верить. Они все неприступны — партия добилась своего. И еще больше, чем быть любимым, ему хотелось — пусть только раз в жизни — пробить эту стену добродетели. Удачный половой акт — уже восстание. Страсть — мыслепреступление. Растопить Кэтрин — если бы удалось — и то было бы чем-то вроде совращения, хотя она ему жена.

Но надо было дописать до конца. Он написал:

Я прибавил огня в лампе. Когда я увидел ее при свете...

После темноты чахлый огонек керосиновой лампы показался очень ярким. Только теперь он разглядел женщину как следует. Он шагнул к ней и остановился, разрываясь между похотью и ужасом. Он сознавал, чем рискует, придя сюда. Вполне возможно, что при выходе его схватит патруль; может быть, уже сейчас его ждут за дверью. Даже если он уйдет, не сделав того, ради чего пришел!..

Это надо было записать, надо было исповедаться. А увидел он при свете лампы — что женщина *старая*. Румяна лежали на лице таким толстым слоем, что, казалось, треснут сейчас, как картонная маска. В волосах седые пряди; и самая жуткая деталь: рот приоткрылся, а в нем — ничего, черный, как пещера. Ни одного зуба.

Торопливо, валкими буквами он написал:

Когда я увидел ее при свете, она оказалась совсем старой, ей было не меньше пятидесяти. Но я не остановился и довел дело до конца.

Уинстон опять нажал пальцами на веки. Ну вот, он все записал, а ничего не изменилось. Лечение не помогло. Выругаться во весь голос хотелось ничуть не меньше.

VII

Если есть надежда (писал Уинстон), *то она в пролах.* Если есть надежда, то больше ей негде быть: только в пролах, в этой клубящейся на государственных задворках массе, которая составляет восемьдесят пять процентов населения Океании, может родиться сила, способная уничтожить партию. Партию нельзя свергнуть изнутри. Ее враги — если у нее есть враги — не могут соединиться, не могут даже узнать друг друга. Даже если существует легендарное Братство — а это не исключено,— нельзя себе представить, чтобы члены его собирались группами больше двух или трех человек. Их бунт — выражение глаз, интонация в голосе; самое большее — словечко, произнесенное шепотом. А пролам, если бы только они могли осознать свою силу, заговоры ни к чему. Им достаточно встать и встряхнуться — как лошадь стряхивает мух. Стоит им захотеть, и завтра утром они разнесут партию в щепки. Рано или поздно они до этого додумаются. Но!..

Он вспомнил, как однажды шел по людной улице, и вдруг из переулка впереди вырвался оглушительный, в тысячу глоток, крик, женский крик. Мощный, грозный вопль гнева и отчаяния, густое «А-а-а-а!», гудящее, как колокол. Сердце у него застучало. Началось! — подумал он. Мятеж! Наконец-то они восстали! Он подошел ближе и увидел толпу: двести или триста женщин сгрудились перед рыночными ларьками, и лица у них были трагические, как у пассажиров на тонущем пароходе. У него на глазах объединенная отчаянием толпа будто распалась: раздробилась на островки отдельных ссор. По-видимому, один из ларьков торговал кастрюлями. Убогие, утлые жестянки — но кухонную посуду всегда было трудно достать. А сейчас товар неожиданно кончился. Счастливицы, провожаемые толчками и тычками, протискивались прочь со своими кастрюлями, а неудачливые галдели вокруг ларька и обвиняли ларечника в том, что дает по блату, что прячет под прилавком. Раздался новый крик. Две толстухи — одна с распущенными волосами — вцепились в кастрюльку и тянули в разные стороны. Обе дернули, ручка оторвалась. Уинстон наблюдал с отвращением. Однако какая же устрашающая сила прозвучала в крике всего двухсот или трехсот голосов! Ну почему они никогда не крикнут так из-за чего-нибудь стоящего!

Он написал:

Они никогда не взбунтуются, пока не станут сознательными, а сознательными не станут, пока не взбунтуются.

Прямо как из партийного учебника фраза, подумал он. Партия, конечно, утверждала, что освободила пролов от цепей. До революции их страшно угнетали капиталисты, морили голодом и пороли, женщин заставляли работать в шахтах (между прочим, они там работают до сих пор), детей в шесть лет продавали на фабрики. Но одновременно, в соответствии с принципом двоемыслия, партия учила, что пролы по своей природе низшие существа, их, как животных, надо держать в повинове-

них, руководствуясь несколькими простыми правилами. В сущности, о пролах знали очень мало. Много и незачем знать. Лишь бы трудились и размножались — а там пусть делают что хотят. Предоставленные сами себе, как скот на равнинах Аргентины, они всегда возвращались к тому образу жизни, который для них естествен,— шли по стопам предков. Они рождаются, растут в грязи, в двенадцать лет начинают работать, переживают короткий период физического расцвета и сексуальности, в двадцать лет женятся, в тридцать уже немолоды, к шестидесяти обычно умирают. Тяжелый физический труд, заботы о доме и детях, мелкие свары с соседями, кино, футбол, пиво и, главное, азартные игры — вот и все, что вмещается в их кругозор. Управлять ими несложно. Среди них всегда вращаются агенты полиции мыслей — выявляют и устраняют тех, кто мог бы стать опасным; но приобщить их к партийной идеологии не стремятся. Считается нежелательным, чтобы пролы испытывали большой интерес к политике. От них требуется лишь примитивный патриотизм — чтобы взывать к нему, когда идеть речь об удлинении рабочего дня или о сокращении пайков. А если и овладевает ими недовольство — такое тоже бывало,— это недовольство ни к чему не ведет, ибо из-за отсутствия общих идей обращено оно только против мелких конкретных неприятностей. Большие беды неизменно ускользали от их внимания. У огромного большинства пролов нет даже телекранов в квартирах. Обычная полиция занимается ими очень мало. В Лондоне существует громадная преступность, целое государство в государстве: воры, бандиты, проститутки, торговцы наркотиками, вымогатели всех мастей; но, поскольку она замыкается в среде пролов, внимания на нее не обращают. Во всех моральных вопросах им позволено следовать обычаям предков. Партийное сексуальное пуританство на пролов не распространялось. За разврат их не преследуют, разводы разрешены. Собственно говоря, и религия была бы разрешена, если бы пролы проявили к ней склонность. Пролы ниже подозрений. Как гласит партийный лозунг: «Пролы и животные свободны».

Уинстон тихонько почесал варикозную язву. Опять начался зуд. Волей-неволей всегда возвращаешься к одному вопросу: какова все-таки была жизнь до революции? Он вынул из стола школьный учебник истории, одолженный у миссис Парсонс, и стал переписывать в дневник.

В прежнее время, до славной Революции, Лондон не был тем прекрасным городом, каким мы его знаем сегодня. Это был темный, грязный, мрачный город, и там почти все жили впроголодь, а сотни и тысячи бедняков ходили разутыми и не имели крыши над головой. Детям, твоим сверстникам, приходилось работать двенадцать часов в день на жестоких хозяев; если они работали медленно, их пороли кнутом, а кормили их черствыми корками и водой. Но среди этой ужасной нищеты стояли большие красивые дома богачей, которым прислуживало иногда до тридцати слуг. Богачи назывались капиталистами. Это были толстые уродливые люди со злыми лицами — наподобие того, что изображен на следующей странице. Как видишь, на нем длинный черный пиджак, который назывался фраком, и странная шелковая шляпа в

форме печной трубы — так называемый цилиндр. Это была форменная одежда капиталистов, и больше никто не смел ее носить. Капиталистам принадлежало все на свете, а остальные люди были их рабами. Им принадлежала вся земля, все дома, все фабрики и все деньги. Того, кто их ослушался, бросали в тюрьму или же выгоняли с работы, чтобы уморить голодом. Когда простой человек разговаривал с капиталистом, он должен был пресмыкаться, кланяться, снимать шапку и называть его «сэр». Самый главный капиталист именовался королем и...

Он знал этот список назубок. Будут епископы с батистовыми рукавами, судьи в мантиях, отороченных горностаем, позорный столб, колодки, топчак, девятихвостая плеть, банкет у лорд-мэра, обычай целовать туфлю у папы. Было еще так называемое право первой ночи, но в детском учебнике оно, наверно, не упомянуто. По этому закону капиталист имел право спать с любой работницей своей фабрики.

Как узнать, сколько тут лжи? Может быть, и вправду средний человек живет сейчас лучше, чем до революции. Единственное свидетельство против — безмолвный протест у тебя в потрохах, инстинктивное ощущение, что условия твоей жизни невыносимы, что некогда они *наверное* были другими. Ему пришло в голову, что самое характерное в нынешней жизни — не жестокость ее и не шаткость, а просто убожество, тусклость, апатия. Оглянешься вокруг — и не увидишь ничего похожего ни на ложь, льющуюся из телекранов, ни на те идеалы, к которым стремится партия. Даже у партийца бо́льшая часть жизни проходит вне политики: корпишь на нудной службе, бьешься за место в вагоне метро, штопаешь дырявый носок, клянчишь сахариновую таблетку, заначиваешь окурок. Партийный идеал — это нечто исполинское, грозное, сверкающее: мир стали и бетона, чудовищных машин и жуткого оружия, страна воинов и фанатиков, которые шагают в едином строю, думают одну мысль, кричат один лозунг, неустанно трудятся, сражаются, торжествуют, карают — триста миллионов человек — и все на одно лицо. В жизни же — города-трущобы, где снуют несытые люди в худых башмаках, ветхие дома девятнадцатого века, где всегда пахнет капустой и нужником. Перед ним возникло видение Лондона — громадный город развалин, город миллиона мусорных ящиков,— и на него наложился образ миссис Парсонс, женщины с морщинистым лицом и жидкими волосами, безнадежно ковыряющей засоренную канализационную трубу.

Он опять почесал лодыжку. День и ночь телекраны хлещут тебя по ушам статистикой, доказывают, что у людей сегодня больше еды, больше одежды, лучше дома, веселее развлечения, что они живут дольше, работают меньше, и сами стали крупнее, здоровее, сильнее, счастливее, умнее, просвещеннее, чем пятьдесят лет назад. Ни слова тут нельзя доказать и нельзя опровергнуть. Партия, например, утверждает, что грамотны сегодня сорок процентов взрослых пролов, а до революции грамотных было только пятнадцать процентов. Партия утверждает, что детская смертность сегодня — всего сто шестьдесят на

тысячу, а до революции была — триста... и так далее. Это что-то вроде одного уравнения с двумя неизвестными. Очень может быть, что буквально каждое слово в исторических книжках — даже те, которые принимаешь как самоочевидные,— чистый вымысел. Кто его знает, может, и не было никогда такого закона, как право первой ночи, или такой твари, как капиталист, или такого головного убора, как цилиндр.

Все расплывается в тумане. Прошлое подчищено, подчистка забыта, ложь стала правдой. Лишь однажды в жизни он располагал — после событий, вот что важно — ясным и недвусмысленным доказательством того, что совершена подделка. Он держал его в руках целых полминуты. Было это, кажется, в 1973 году... словом, в то время, когда он расстался с Кэтрин. Но речь шла о событиях семи- или восьмилетней давности.

Началась эта история в середине шестидесятых годов, в период больших чисток, когда были поголовно истреблены подлинные вожди революции. К 1970 году в живых не осталось ни одного, кроме Старшего Брата. Всех разоблачили как предателей и контрреволюционеров. Голдстейн сбежал и скрывался неведомо где, кто-то просто исчез, большинство же после шумных процессов, где все признались в своих преступлениях, было казнено. Среди последних, кого постигла эта участь, были трое: Джонс, Аронсон и Резерфорд. Их взяли году в шестьдесят пятом. По обыкновению, они исчезли на год или год с лишним, и никто не знал, живы они или нет; но потом их вдруг извлекли, дабы они, как принято, изобличили себя сами. Они признались в сношениях с врагом (тогда врагом тоже была Евразия), в растрате общественных фондов, в убийстве преданных партийцев, в подкопах под руководство Старшего Брата, которыми они занялись еще задолго до революции, во вредительских актах, стоивших жизни сотням тысяч людей. Признались, были помилованы, восстановлены в партии и получили посты, по названию важные, а по сути — синекуры. Все трое выступили с длинными покаянными статьями в «Таймс», где рассматривали корни своей измены и обещали искупить вину.

После их освобождения Уинстон действительно видел всю троицу в кафе «Под каштаном». Он наблюдал за ними исподтишка, с ужасом, и не мог оторвать глаз. Они были гораздо старше его — реликты древнего мира, наверное, последние крупные фигуры, оставшиеся от ранних героических дней партии. Славный дух подпольной борьбы и гражданской войны все еще витал над ними. У него было ощущение — хотя факты и даты уже порядком расплылись,— что их имена он услышал на несколько лет раньше, чем имя Старшего Брата. Но они были вне закона — враги, парии, обреченные исчезнуть в течение ближайшего года или двух. Тем, кто раз побывал в руках у полиции мыслей, уже не было спасения. Они трупы — и только ждут, когда их отправят на кладбище.

За столиками вокруг них не было ни души. Неразумно даже показываться поблизости от таких людей. Они молча сидели за стаканами джина, сдобренного гвоздикой,— фирменным на-

3—193

питком этого кафе. Наибольшее впечатлеиие на Уиистона произвел Резерфорд. Некогда зиамеиитый карикатурист, ои своими злыми рисунками иемало способствовал разжигаиию общественных страстей в период революции. Его карикатуры и теперь изредка появлялись в «Таймс». Это было всего лишь подражаиие его прежней маиере, иа редкость безжизнеииое и неубедительное. Перепевы старинных тем: трущобы, хижины, голодные дети, уличные бои, капиталисты в цилиндрах — кажется, даже иа баррикадах они ие желали расставаться с цилиндрами,— бескоиечные и безиадежные попытки вернуться в прошлое. Ои был громадеи и уродлив — грива сальиых седых волос, лицо в морщинах и припухлостях, выпяченные губы. Когда-то ои, должио быть, отличался неимовериой силой, теперь же его большое тело местами разбухло, обвисло, осело, местами усохло. Ои будто распадался иа глазах — осыпающаяся гора.

Было 15 часов, время затишья. Уиистои уже ие помиил, как его туда заиесло в такой час. Кафе почти опустело. Из телекранов точилась бодрая музыка. Трое сидели в своем углу молча и почти иеподвижно. Официаит, ие дожидаясь их просьбы, принес еще по стакану джина. На их столе лежала шахматиая доска с расставлеииыми фигурами, ио иикто ие играл. Вдруг с телекраиами что-то произошло — и продолжалось это с полминуты. Смеиилась мелодия, и смеиилось настроение музыки. Вторглось что-то другое... трудио объяснить, что. Странный, надтресиутый, визгливый, глумливый тон — Уиистои назвал его про себя желтым тоиом. Потом голос запел:

Под развесистым каштаиом
Продали средь бела дия —
Я тебя, а ты меня.
Под развесистым каштаиом
Мы лежим средь бела дия —
Справа ты, а слева я[1].

Трое ие пошевелились. Но когда Уинстон снова взгляиул на разрушеиное лицо Резерфорда, оказалось, что в глазах у него стоят слезы. И только теперь Уиистон заметил с виутренним содрогаиием — ие поиимая еще, почему содрогнулся,— что и у Аронсоиа и у Резерфорда перебитые носы.

Чуть позже всех троих опять арестовали. Выясиилось, что сразу же после освобождеиия оии вступили в новые заговоры. На втором процессе оии вновь сознались во всех прежиих преступлеииях и во миожестве новых. Их казнили, а дело их в иазидаиие потомкам увековечили в истории партии. Лет через пять после этого, в 1973-м, разворачивая материалы, только что выпавшие иа стол из пиевматической трубы, Уиистои обиаружил случайиый обрывок газеты. Зиачеиие обрывка он поиял сразу, как только расправил его на столе. Это была половииа

[1] Здесь и далее стихи в переводе Елены Кассировой.

страницы, вырванная из «Таймс» примерно десятилетней давности,— верхняя половина, так что и число там стояло,— и на ней фотография участников какого-то партийного торжества в Нью-Йорке. В центре группы выделялись Джонс, Аронсон и Резерфорд. Не узнать их было нельзя, да и фамилии их значились на подписи под фотографией.

А на обоих процессах все трое показали, что в тот день они находились на территории Евразии. С тайного аэродрома в Канаде их доставили куда-то в Сибирь на встречу с работниками Евразийского генштаба, которому они выдавали важные военные тайны. Дата засела в памяти Уинстона, потому что это был Иванов день; впрочем, это дело наверняка описано повсюду. Вывод возможен только один: их признания были ложью.

Конечно, не бог весть какое открытие. Уже тогда Уинстон не допускал мысли, что люди, уничтоженные во время чисток, в самом деле преступники. Но тут было точное доказательство, обломок отмененного прошлого: так, одна ископаемая кость, найденная не в том слое отложений, разрушает целую геологическую теорию. Если бы этот факт можно было обнародовать, разъяснить его значение, он один разбил бы партию вдребезги.

Уинстон сразу взялся за работу. Увидев фотографию и поняв, чтó она означает, он прикрыл ее другим листом. К счастью, телекрану она была видна вверх ногами.

Он положил блокнот на колено и отодвинулся со стулом подальше от телекрана. Сделать непроницаемое лицо легко, даже дышать можно ровно, если постараться, но вот с сердцебиением не сладишь, а телекран — штука чувствительная, подметит. Он выждал, по своим расчетам, десять минут, все время мучаясь страхом, что его выдаст какая-нибудь случайность — например, внезапный сквозняк смахнет бумагу. Затем, уже не открывая фотографию, он сунул ее вместе с ненужными листками в гнездо памяти. И через минуту она, наверное, превратилась в пепел.

Это было десять-одиннадцать лет назад. Сегодня он эту фотографию скорее бы всего сохранил. Любопытно: хотя и фотография и отраженный на ней факт были всего лишь воспоминанием, само то, что он когда-то держал ее в руках, влияло на него до сих пор. Неужели, спросил он себя, власть партии над прошлым ослабла оттого, что уже не существующее мелкое свидетельство *когда-то* существовало?

А сегодня, если бы удалось воскресить фотографию, она, вероятно, и уликой не была бы. Ведь когда он увидел ее, Океания уже не воевала с Евразией, и трое покойных должны были бы продавать родину агентам Остазии. А с той поры произошли еще повороты — два, три, он не помнил сколько. Наверное, признания покойных переписывались и переписывались, так что первоначальные факты и даты совсем уже ничего не значат. Прошлое не просто меняется, оно меняется непрерывно. Самым же кошмарным для него было то, что он никогда не понимал отчетливо, *какую цель* преследует это грандиозное надувательство. Сиюминутные выгоды от подделки прошлого оче-

видны, но конечная ее цель — загадка. Он снова взял ручку и написал:

Я понимаю КАК; не понимаю ЗАЧЕМ.

Он задумался, как задумывался уже не раз, а не сумасшедший ли он сам. Может быть, сумасшедший тот, кто в меньшинстве, в единственном числе. Когда-то безумием было думать, что Земля вращается вокруг Солнца; сегодня — что прошлое неизменяемо. Возможно, он один придерживается этого убеждения, а раз один, значит — сумасшедший. Но мысль, что он сумасшедший, не очень его тревожила: ужасно, если он вдобавок ошибается.

Он взял детскую книжку по истории и посмотрел на фронтиспис с портретом Старшего Брата. Его встретил гипнотический взгляд. Словно какая-то исполинская сила давила на тебя — проникала в череп, трамбовала мозг, страхом вышибала из тебя твои убеждения, принуждала не верить собственным органам чувств. В конце концов партия объявит, что дважды два — пять, и придется в это верить. Рано или поздно она издаст такой указ, к этому неизбежно ведет логика ее власти. Ее философия молчаливо отрицает не только верность твоих восприятий, но и само существование внешнего мира. Ересь из ересей — здравый смысл. И ужасно не то, что тебя убьют за противоположное мнение, а то, что они, может быть, правы. В самом деле, откуда мы знаем, что дважды два — четыре? Или что существует сила тяжести? Или что прошлое нельзя изменить? Если и прошлое и внешний мир существуют только в сознании, а сознанием можно управлять — тогда что?

Нет! Он ощутил неожиданный прилив мужества. Непонятно, по какой ассоциации в уме возникло лицо О'Брайена. Теперь он еще тверже знал, что О'Брайен на его стороне. Он пишет дневник для О'Брайена — О'Брайену; никто не прочтет его бесконечного письма, но предназначено оно определенному человеку и этим окрашено.

Партия велела тебе не верить своим глазам и ушам. И это ее окончательный, самый важный приказ. Сердце у него упало при мысли о том, какая огромная сила выстроилась против него, с какой легкостью собьет его в споре любой партийный идеолог — хитрыми доводами, которых он не то что опровергнуть — понять не сможет. И, однако, *он* прав! Они не правы, а прав он. Очевидное, азбучное, верное надо защищать. Прописная истина истинна — и стой на этом! Прочно существует мир, его законы не меняются. Камни — твердые, вода — мокрая, предмет, лишенный опоры, устремляется к центру Земли. С ощущением, что он говорит это О'Брайену и выдвигает важную аксиому, Уинстон написал:

Свобода — это возможность сказать, что дважды два — четыре. Если дозволено это, все остальное отсюда следует.

VIII

Откуда-то из глубины прохода пахнуло жареным кофе — настоящим кофе, не «Победой». Уинстон невольно остановился. Секунды на две он вернулся в полузабытый мир детства. Потом хлопнула дверь и отрубила запах, как звук.

Он прошел по улицам несколько километров, язва над щиколоткой саднила. Вот уже второй раз за три недели он пропустил вечер в общественном центре — опрометчивый поступок, за посещениями наверняка следят. В принципе у члена партии нет свободного времени, и наедине с собой он бывает только в постели. Предполагается, что, когда он не занят работой, едой и сном, он участвует в общественных развлечениях; все, в чем можно усмотреть любовь к одиночеству,— даже прогулка без спутников — подозрительно. Для этого в новоязе есть слово: *саможит* — означает индивидуализм и чудачество. Но нынче вечером, выйдя из министерства, он соблазнился нежностью апрельского воздуха. Такого мягкого голубого тона в небе он за последний год ни разу не видел, и долгий шумный вечер в общественном центре, скучные, изнурительные игры, лекции, поскрипывающее, хоть и смазанное джином, товарищество — все это показалось ему непереносимым. Поддавшись внезапному порыву, он повернул прочь от автобусной остановки и побрел по лабиринту Лондона, сперва на юг, потом на восток и обратно на север, заплутался на незнакомых улицах и шел уже куда глаза глядят.

«Если есть надежда,— написал он в дневнике,— то она — в пролах». И в голове все время крутилась эта фраза — мистическая истина и очевидная нелепость. Он находился в бурых трущобах, где-то к северо-востоку от того, что было некогда вокзалом Сент-Панкрас. Он шел по булыжной улочке мимо двухэтажных домов с обшарпанными дверями, которые открывались прямо на тротуар и почему-то наводили на мысль о крысиных норах. На булыжнике там и сям стояли грязные лужи. И в темных подъездах, и в узких проулках по обе стороны было удивительно много народу — зрелые девушки с грубо намалеванными ртами, парни, гонявшиеся за девушками, толстомясые женщины, при виде которых становилось понятно, во что превратятся эти девушки через десяток лет, согнутые старухи, шаркавшие растоптанными ногами, и оборванные босые дети, которые играли в лужах и бросались врассыпную от материнских окриков. Наверно, каждое четвертое окно было выбито и забрано досками. На Уинстона почти не обращали внимания, но кое-кто провожал его опасливым и любопытным взглядом. Перед дверью, сложив кирпично-красные руки на фартуках, беседовали две необъятные женщины. Уинстон, подходя к ним, услышал обрывки разговора.

— Да, говорю, это все очень хорошо, говорю. Но на моем месте ты бы сделала то же самое. Легко, говорю, судить — а вот хлебнула бы ты с мое...

— Да-а,— отозвалась другая.— В том-то все и дело.

Резкие голоса вдруг смолкли. В молчании женщины окинули его враждебным взглядом. Впрочем, не враждебным даже, скорее настороженным, замерев на миг, как будто мимо проходило неведомое животное. Синий комбинезон партийца не часто мелькал на этих улицах. Показываться в таких местах без дела не стоило. Налетишь на патруль — могут остановить. «Товарищ, ваши документы. Что вы здесь делаете? В котором часу ушли с работы? Вы всегда ходите домой этой дорогой?» — и так далее, и так далее. Разными дорогами ходить домой не запрещалось, но, если узнает полиция мыслей, этого достаточно, чтобы тебя взяли на заметку.

Вдруг вся улица пришла в движение. Со всех сторон послышались предостерегающие крики. Люди разбежались по домам, как кролики. Из двери недалеко от Уинстона выскочила молодая женщина, подхватила маленького ребенка, игравшего в луже, накинула на него фартук и метнулась обратно. В тот же миг из переулка появился мужчина в черном костюме, напоминавшем гармонь, подбежал к Уинстону, взволнованно показывая на небо.

— Паровоз! — закричал он.— Смотри, директор! Сейчас по башке! Ложись быстро!

Паровозом пролы почему-то прозвали ракету. Уинстон бросился ничком на землю. В таких случаях пролы почти никогда не ошибались. Им будто инстинкт подсказывал за несколько секунд, что подлетает ракета,— считалось ведь, что ракеты летят быстрее звука. Уинстон прикрыл голову руками. Раздался грохот, встряхнувший мостовую; на спину ему дождем посыпался какой-то мусор. Поднявшись, он обнаружил, что весь усыпан осколками оконного стекла.

Он пошел дальше. Метрах в двухстах ракета снесла несколько домов. В воздухе стоял черный столб дыма, а под ним в туче алебастровой пыли уже собирались вокруг развалин люди. Впереди возвышалась кучка штукатурки, и на ней Уинстон разглядел ярко-красное пятно. Подойдя поближе, он увидел, что это оторванная кисть руки. За исключением кровавого пенька, кисть была совершенно белая, как гипсовый слепок.

Он сбросил ее ногой в водосток, а потом, чтобы обойти толпу, свернул направо в переулок. Минуты через три-четыре он вышел из зоны взрыва, и здесь улица жила своей убогой муравьиной жизнью как ни в чем не бывало. Время шло к двадцати часам, питейные лавки пролов ломились от посетителей. Их грязные двери беспрерывно раскрывались, обдавая улицу запахами мочи, опилок и кислого пива. В углу возле выступающего дома вплотную друг к другу стояли трое мужчин: средний держал сложенную газету, а двое заглядывали через его плечо. Издали Уинстон не мог различить выражения их лиц, но их позы выдавали увлеченность. Видимо, они читали какое-то важное сообщение. Когда до них оставалось несколько шагов, группа вдруг разделилась, и двое вступили в яростную перебранку. Казалось, что она вот-вот перейдет в драку.

— Да ты слушай, балда, что тебе говорят! С семеркой на

конце ни один номер не выиграл за четырнадцать месяцев.

— А я говорю, выиграл!

— А я говорю, нет. У меня дома все выписаны за два года. Записываю, как часы. Я тебе говорю, ни один с семеркой...

— Нет, выигрывала семерка! Да я почти весь номер назову. Кончался на четыреста семь. В феврале, вторая неделя февраля.

— Бабушку твою в феврале! У меня черным по белому. Ни разу, говорю, с семеркой...

— Да закройтесь вы! — вмешался третий.

Они говорили о лотерее. Отойдя метров на тридцать, Уинстон оглянулся. Они продолжали спорить, оживленно, страстно. Лотерея с ее еженедельными сказочными выигрышами была единственным общественным событием, которое волновало пролов. Вероятно, миллионы людей видели в ней главное, если не единственное дело, ради которого стоит жить. Это была их услада, их безумство, их отдохновение, их интеллектуальный возбудитель. Тут даже те, кто едва умел читать и писать, проявляли искусство сложнейших расчетов и сверхъестественную память. Существовал целый клан, кормившийся продажей систем, прогнозов и талисманов. К работе лотереи Уинстон никакого касательства не имел — ею занималось министерство изобилия,— но он знал (в партии все знали), что выигрыши — по большей части мнимые. На самом деле выплачивались только мелкие суммы, а обладатели крупных выигрышей были лицами вымышленными. При отсутствии настоящей связи между отдельными частями Океании устроить это не составляло труда.

Но если есть надежда, то она — в пролах. За эту идею надо держаться. Когда выражаешь ее словами, она кажется здравой; когда смотришь на тех, кто мимо тебя проходит, верить в нее — подвижничество. Он свернул на улицу, шедшую под уклон. Место показалось ему смутно знакомым — невдалеке лежал главный проспект. Где-то впереди слышался гам. Улица круто повернула и закончилась лестницей, спускавшейся в переулок, где лоточники торговали вялыми овощами. Уинстон вспомнил это место. Переулок вел на главную улицу, а за следующим поворотом, в пяти минутах ходу,— лавка старьевщика, где он купил книгу, ставшую дневником. Чуть дальше, в канцелярском магазинчике, он приобрел чернила и ручку.

Перед лестницей он остановился. На другой стороне переулка была захудалая пивная с как будто матовыми, а на самом деле просто пыльными окнами. Древний старик, согнутый, но энергичный, с седыми, торчащими, как у рака, усами, распахнул дверь и скрылся в пивной. Уинстону пришло в голову, что этот старик, которому сейчас не меньше восьмидесяти, застал революцию уже взрослым мужчиной. Он да еще немногие вроде него — последняя связь с исчезнувшим миром капитализма. И в партии осталось мало таких, чьи взгляды сложились до революции. Старшее поколение почти все перебито в больших чистках пятидесятых и шестидесятых годов, а уцелевшие запу-

ганы до полной умственной капнтуляцнн. И еслн есть жнвой человек, который способен рассказать правду о первой половнне века, то он может быть только пролом. Уннстон вдруг вспомннл переписанное в дневннк место из детской книжки по истории и загорелся безумной идеей. Он войдет в пнвную, завяжет со старнком знакомство н расспроснт его: «Расскажите, как вы жили в детстве. Какая была жнзнь? Лучше, чем в наши дни, нлн хуже?»

Поскорее, чтобы не успеть нспугаться, он спустился по лестннце и перешел на другую сторону переулка. Сумасшествие, конечно. Разговарнвать с проламн и посещать нх пивные тоже, конечно, не запрещалось, но такая странная выходка не останется незамеченной. Еслн зайдет патруль, можно прнкннуться, что стало дурно, но онн вряд лн поверят. Он толкнул дверь, в нос ему шнбануло пивной кнслятнной. Когда он вошел, гвалт в пнвной сделался вдвое тнше. Он спиной чувствовал, что все глаза уставилнсь на его синий комбннезон. Люди, метавшие дротнки в мишень, прервали свою игру на целых полминуты. Старик, из-за которого он прншел, препнрался у стойкн с барменом — крупным, грузным молодым человеком, горбоносым и толсторуким. Вокруг кучкой стояли слушателн со своими стаканамн.

— Тебя как человека просят,— петушился старик и надувал грудь.— А ты мне говорншь, что в твоем кабаке не найдется пинтовой кружки?

— Да что это за чертовщнна такая — пннта? — возражал бармен, упершнсь пальцамн в стойку.

— Нет, вы слыхалн? Бармен называется — что такое пинта, не знает! Пинта — это полкварты, а четыре кварты — галлон. Может, тебя азбуке поучить?

— Сроду не слышал,— отрезал бармен.— Подаем лнтр, подаем пол-лнтра — н все. Вон на полке посуда.

— Пннту хочу,— не уннмался старнк.— Трудно, что лн, нацедить пннту? В мое время никаких вашнх литров не было.

— В твое время мы все на ветках жнлн,— ответил бармен, оглянувшнсь на слушателей.

Раздался громкнй смех, н неловкость, вызванная появлением Уинстона, прошла. Лнцо у старнка сделалось красным. Он повернулся ворча и налетел на Уинстона. Уннстон вежлнво взял его под руку.

— Разрешите вас угостнть? — сказал он.

— Благородный человек,— ответил тот, снова выпятнв грудь. Он будто не замечал на Уннстоне сннего комбинезона.— Пннту! — воннственно приказал он бармену.— Пннту тычка.

Бармен ополоснул два толстых пол-литровых стакана в бочонке под стойкой н налил темного пива. Кроме пива, в этих заведеннях ничего не подавалн. Пролам джин не полагался, но добывалн онн его без особого труда. Метанне дротнков возобновнлось, а люди у стойки заговорнли о лотерейных бнлетах. Об Уинстоне на время забылн. У окна стоял сосновый стол — там можно было поговорнть со старнком с глазу на глаз.

Рнск ужасный; но по крайней мере телекрана нет — в этом Уинстон удостоверился, как только вошел.

— Мог бы нацеднть мне пннту,— ворчал старнк, усаживаясь со стаканом.— Пол-лнтра мало — не напьешься. А литр — много. Бегаешь часто. Не говоря, что дорого.

— Со времен вашей молодости вы, наверно, видели много перемен,— осторожно начал Уннстон.

Выцветшнмн голубымн глазами старик посмотрел на мишень для дротиков, потом на стойку, потом на дверь мужской уборной, словно перемены этн хотел отыскать здесь, в пнвной.

— Пиво было лучше,— сказал он наконец.— И дешевле! Когда я был молодым, слабое пиво — называлось у нас «тычок» — стонло четыре пенса пннта. Но это до войны, конечно.

— До какой? — спроснл Уинстон.

— Ну, война, она всегда,— неопределенно пояснил старик. Он взял стакан и снова выпятил грудь.— Будь здоров!

Кадык на тощей шее удивительно быстро запрыгал — и пива как не бывало. Уинстон сходнл к стойке н принес еще два стакана. Старик как будто забыл о своем предубеждении протнв целого литра.

— Вы намного старше меня,— сказал Уинстон.— Я еще на свет не роднлся, а вы уже, наверно, былн взрослым. И можете вспомннть прежнюю жнзнь, до революции. Люди моих лет, по сутн, ничего не знают о том времени. Только в книгах прочтешь, а кто его знает — правду лн пншут в кн172гах? Хотелось бы от вас услышать. В книгах по исторнн говорится, что жнзнь до революции была совсем непохожа на нынешнюю. Ужасное угнетение, несправедлнвость, ннщета — такие, что мы и вообразнть не можем. Здесь, в Лондоне, огромное множество людей с рождения до смертн ннкогда не ели досыта. Половина ходила босиком. Работалн по двенадцать часов, школу бросали в девять лет, спали по десять человек в комнате. А в то же время меньшинство — какие-нибудь несколько тысяч, так называемые капиталисты,— располагали богатством и властью. Владелн всем, чем можно владеть. Жили в роскошных домах, держалн по тридцать слуг, разъезжали на автомобилях н четверках, пнли шампанское, носили цилиндры...

Старик внезапно оживился.

— Цнлнндры! — сказал он.— Как это ты вспомнил? Только вчера про них думал. Сам не знаю, с чего вдруг. Сколько лет уж, думаю, не вндел цнлнндра. Совсем отошли. А я последннй раз надевал на невесткнны похороны. Вот еще когда... год тебе не скажу, но уж лет пятьдесят тому. Напрокат, понятно, брали по такому случаю.

— Цилиндры — не так важно,— терпеливо заметил Уинстон.— Главное то, что капиталисты... онн н священнннкн, адвокаты н прочие, кто при них кормился, были властелнны Землн. Все на свете было для них. Вы, простые рабочне люди, были у ннх рабами. Они моглн делать с вами что угодно. Могли отправить вас на пароходе в Канаду, как скот. Спать с вашими дочерьмн, если захочется. Прнказать, чтобы вас выпороли ка-

кой-то девятихвостой плеткой. При встрече с ними вы снимали шапку. Каждый капиталист ходил со сворой лакеев...

Старик вновь оживился.

— Лакеи! Сколько же лет не слыхал этого слова, а? Лакеи. Прямо молодость вспоминаешь, честное слово. Помню... вон еще когда... ходил я по воскресеньям в Гайд-парк, речи слушать. Кого там только не было — и Армия Спасения, и католики, и евреи, и индусы... И был там один... имени сейчас не вспомню — но сильно выступал! Ох, он их чихвостил! Лакеи, говорит. Лакеи буржуазии! Приспешники правящего класса! Паразиты — вот как загнул еще. И гиены... гиенами точно называл. Все это, конечно, про лейбористов, сам понимаешь.

Уинстон почувствовал, что разговор не получается.

— Я вот что хотел узнать,— сказал он.— Как вам кажется, у вас сейчас больше свободы, чем тогда? Отношение к вам более человеческое? В прежнее время богатые люди, люди у власти...

— Палата лордов,— задумчиво вставил старик.

— Палата лордов, если угодно. Я спрашиваю, могли эти люди обращаться с вами как с низшим только потому, что они богатые, а вы бедный? Правда ли, например, что вы должны были говорить им «сэр» и снимать шапку при встрече?

Старик тяжело задумался. И ответил не раньше, чем выпил четверть стакана.

— Да,— сказал он.— Любили, чтобы ты дотронулся до кепки. Вроде оказал уважение. Мне это, правда сказать, не нравилось — но делал, не без того. Куда денешься, можно сказать.

— А было принято — я пересказываю то, что читал в книгах по истории,— у этих людей и их слуг было принято сталкивать вас с тротуара в сточную канаву?

— Один такой меня раз толкнул,— ответил старик.— Как вчера помню. В вечер после гребных гонок... ужасно они буянили после этих гонок... на Шафтсбери-авеню налетаю я на парня. Вид благородный — парадный костюм, цилиндр, черное пальто. Идет по тротуару, виляет — и я на него случайно налетел. Говорит: «Не видишь, куда идешь?» — говорит. Я говорю: «А ты что, купил тротуар-то?» А он: «Грубить мне будешь? Голову к чертям отверну». Я говорю: «Пьяный ты,— говорю.— Сдам тебя полиции, оглянуться не успеешь». И, веришь ли, берет меня за грудь и так пихает, что я чуть под автобус не попал. Ну, а я молодой тогда был и навесил бы ему, да тут...

Уинстон почувствовал отчаяние. Память старика была просто свалкой мелких подробностей. Можешь расспрашивать его целый день и никаких стоящих сведений не получишь. Так что история партии, может быть, правдива в каком-то смысле; а может быть, совсем правдива. Он сделал последнюю попытку.

— Я, наверное, неясно выражаюсь,— сказал он.— Я вот что хочу сказать. Вы очень давно живете на свете, половину жизни вы прожили до революции. Например, в тысяча девятьсот двадцать пятом году вы уже были взрослым. Из того, что

вы помните, как по-вашему, в двадцать пятом году жить было лучше, чем сейчас, или хуже? Если бы вы могли выбрать, когда бы вы предпочли жить — тогда или теперь?

Старик задумчиво посмотрел на мишень. Допил пиво — совсем уже медленно. И наконец ответил с философской примиренностью, как будто пиво смягчило его.

— Знаю, каких ты слов от меня ждешь. Думаешь, скажу, что хочется снова стать молодым. Спроси людей: большинство тебе скажут, что хотели бы стать молодыми. В молодости здоровье, сила, все при тебе. Кто дожил до моих лет, тому всегда нездоровится. И у меня ноги другой раз болят, хоть плачь, и мочевой пузырь — хуже некуда. По шесть-семь раз ночью бегаешь. Но и у старости есть радости. Забот уже тех нет. С женщинами канителиться не надо — это большое дело. Веришь ли, у меня тридцать лет не было женщины. И неохота, вот что главное-то.

Уинстон отвалился к подоконнику. Продолжать не имело смысла. Он собрался взять еще пива, но старик вдруг встал и быстро зашаркал к вонючей кабинке у боковой стены. Лишние пол-литра произвели свое действие. Минуту-другую Уинстон глядел в пустой стакан, а потом даже сам не заметил, как ноги вынесли его на улицу. Через двадцать лет, размышлял он, великий и простой вопрос: «Лучше ли жилось до революции?» — окончательно станет неразрешимым. Да и сейчас он, в сущности, неразрешим: случайные свидетели старого мира не способны сравнить одну эпоху с другой. Они помнят множество бесполезных фактов: ссору с сотрудником, потерю и поиски велосипедного насоса, выражение лица давно умершей сестры, вихрь пыли ветреным утром семьдесят лет назад; но то, что важно,— вне их кругозора. Они подобны муравью, который видит мелкое и не видит большого. А когда память отказала и письменные свидетельства подделаны, тогда с утверждениями партии, что она улучшила людям жизнь, надо согласиться — ведь нет и никогда уже не будет исходных данных для проверки.

Тут размышления его прервались. Он остановился и поднял глаза. Он стоял на узкой улице, где между жилых домов втиснулось несколько темных лавчонок. У него над головой висели три облезлых металлических шара, когда-то, должно быть, позолоченных. Он как будто узнал эту улицу. Ну конечно! Перед ним была лавка старьевщика, где он купил дневник.

Накатил страх. Покупка книги была опрометчивым поступком, и Уинстон зарекся подходить к этому месту. Но вот, стоило ему задуматься, ноги сами принесли его сюда. А ведь для того он и завел дневник, чтобы предохранить себя от таких самоубийственных порывов. Лавка еще была открыта, хотя время близилось к двадцати одному. Он подумал, что, слоняясь по тротуару, скорее привлечет внимание, чем в лавке, и вошел. Станут спрашивать — хотел купить лезвия.

Хозяин только что зажег висячую керосиновую лампу, издававшую нечистый, но какой-то уютный запах. Это был человек

лет шестидесяти, щуплый, сутулый, с длинным дружелюбным носом, и глаза его за толстыми линзами очков казались большими и кроткими. Волосы у него были почти совсем седые, а брови густые и еще черные. Очки, добрая суетливость, старый пиджак из черного бархата — все это придавало ему интеллигентный вид — не то литератора, не то музыканта. Говорил он тихим, будто выцветшим голосом и не так коверкал слова, как большинство пролов.

— Я узнал вас еще на улице,— сразу сказал он.— Это вы покупали подарочный альбом для девушек. Превосходная бумага, превосходная. Ее называли «кремовая верже». Такой бумаги не делают, я думаю... уж лет пятьдесят.— Он посмотрел на Уинстона поверх очков.— Вам требуется что-то определенное? Или хотели просто посмотреть вещи?

— Шел мимо,— уклончиво ответил Уинстон.— Решил заглянуть. Ничего конкретного мне не надо.

— Тем лучше, едва ли бы я смог вас удовлетворить.— Как бы извиняясь, он повернул кверху мягкую ладонь.— Сами видите: можно сказать, пустая лавка. Между нами говоря, торговля антиквариатом почти иссякла. Спросу нет, да и предложить нечего. Мебель, фарфор, хрусталь — все это мало-помалу перебилось, переломалось. А металлическое по большей части ушло в переплавку. Сколько уже лет я не видел латунного подсвечника.

На самом деле тесная лавочка была забита вещами, но ни малейшей ценности они не представляли. Свободного места почти не осталось — возле всех стен штабелями лежали пыльные рамы для картин. В витрине — подносы с болтами и гайками, сточенные стамески, сломанные перочинные ножи, облупленные часы, даже не притворявшиеся исправными, и прочий разнообразный хлам. Какой-то интерес могла возбудить только мелочь, валявшаяся на столике в углу,— лакированные табакерки, агатовые брошки и тому подобное. Уинстон подошел к столику, и взгляд его привлекла какая-то гладкая округлая вещь, тускло блестевшая при свете лампы; он взял ее.

Это была тяжелая стекляшка, плоская с одной стороны и выпуклая с другой — почти полушарие. И в цвете и в строении стекла была непонятная мягкость — оно напоминало дождевую воду. А в сердцевине, увеличенный выпуклостью, находился странный розовый предмет узорчатого строения, напоминавший розу или морской анемон.

— Что это? — спросил очарованный Уинстон.

— Это? Это коралл,— ответил старик.— Надо полагать, из Индийского океана. Прежде их иногда заливали в стекло. Сделано не меньше ста лет назад. По виду, даже раньше.

— Красивая вещь,— сказал Уинстон.

— Красивая вещь,— признательно подхватил старьевщик.— Но в наши дни мало кто ее оценит.— Он кашлянул.— Если вам вдруг захочется купить, она стоит четыре доллара. Было время, когда за такую вещь давали восемь фунтов, а восемь фунтов... ну, сейчас не сумею сказать точно — это были

большие деньги. Но кому нынче нужны подлинные древности — хотя их так мало сохранилось?

Уинстон немедленно заплатил четыре доллара и опустил вожделенную игрушку в карман. Соблазнила его не столько красота вещи, сколько аромат века, совсем непохожего на нынешний. Стекло такой дождевой мягкости ему никогда не встречалось. Самым симпатичным в этой штуке была ее бесполезность, хотя Уинстон догадался, что когда-то она служила пресс-папье. Стекло оттягивало карман, но, к счастью, не слишком выпирало. Это странный предмет, даже компрометирующий предмет для члена партии. Все старое и, если на то пошло, все красивое вызывало некоторое подозрение. Хозяин же, получив четыре доллара, заметно повеселел. Уинстон понял, что можно было сторговаться на трех или даже на двух.

— Если есть желание посмотреть, у меня наверху еще одна комната,— сказал старик.— Там ничего особенного. Всего несколько предметов. Если пойдем, нам понадобится свет.

Он зажег еще одну лампу, потом, согнувшись, медленно поднялся по стертым ступенькам и через крохотный коридорчик привел Уинстона в комнату; окно ее смотрело не на улицу, а на мощеный двор и на чащу печных труб с колпаками. Уинстон заметил, что мебель здесь расставлена, как в жилой комнате. На полу дорожка, на стенах две-три картины, глубокое неопрятное кресло у камина. На каминной полке тикали старинные стеклянные часы с двенадцатичасовым циферблатом. Под окном, заняв чуть ли не четверть комнаты, стояла громадная кровать, причем с матрасом.

— Мы здесь жили, пока не умерла жена,— объяснил старик, как бы извиняясь.— Понемногу распродаю мебель. Вот превосходная кровать красного дерева... То есть была бы превосходной, если выселить из нее клопов. Впрочем, вам, наверно, она кажется громоздкой.

Он поднял лампу над головой, чтобы осветить всю комнату, и в теплом тусклом свете она выглядела даже уютной. А ведь можно было бы снять ее за несколько долларов в неделю, подумал Уинстон, если хватит смелости. Это была дикая, вздорная мысль, и умерла она так же быстро, как родилась; но комната пробудила в нем какую-то ностальгию, какую-то память, дремавшую в крови. Ему казалось, что он хорошо знает это ощущение, когда сидишь в такой комнате, в кресле перед горящим камином, поставив ноги на решетку, на огне — чайник, и ты совсем один, в полной безопасности, никто не следит за тобой, ничей голос тебя не донимает, только чайник поет в камине, да дружелюбно тикают часы.

— Тут нет телекрана,— вырвалось у него.

— Ах, этого,— ответил старик.— У меня никогда не было. Они дорогие. Да и потребности, знаете, никогда не испытывал. А вот в углу хороший раскладной стол. Правда, чтобы пользоваться боковинами, надо заменить петли.

В другом углу стояла книжная полка, и Уинстона уже притянуло к ней. На полке была только дрянь. Охота за кни-

гами и их уничтожение велись в кварталах пролов так же основательно, как везде. Едва ли в целой Океании существовал хоть один экземпляр книги, изданной до 1960 года. Старик с лампой в руке стоял перед картинкой в палисандровой раме: она висела по другую сторону от камина, напротив кровати.

— Кстати, если вас интересуют старинные гравюры...— деликатно начал он.

Уинстон подошел ближе. Это была гравюра на стали: здание с овальным фронтоном, прямоугольными окнами и небольшой башней впереди. Вокруг здания шла ограда, а в глубине стояла, по-видимому, статуя. Уинстон присмотрелся. Здание казалось смутно знакомым, но статуи он не помнил.

— Рамка привинчена к стене,— сказал старик,— но если хотите, я сниму.

— Я знаю это здание,— промолвил наконец Уинстон,— оно разрушено. В середине улицы, за Дворцом юстиции.

— Верно. За Домом правосудия. Его разбомбили... Ну, много лет назад. Это была церковь. Сент-Клемент — святой Климент у датчан.— Он виновато улыбнулся, словно понимая, что говорит нелепость, и добавил: — «Апельсинчики как мед, в колокол Сент-Клемент бьет».

— Что это? — спросил Уинстон.

— А-а. «Апельсинчики как мед, в колокол Сент-Клемент бьет». В детстве был такой стишок. Как там дальше, я не помню, а кончается так: «Вот зажгу я пару свеч — ты в постельку можешь лечь. Вот возьму я острый меч — и головка твоя с плеч». Игра была наподобие танца. Они стояли, взявшись за руки, а ты шел под руками, и, когда доходили до: «Вот возьму я острый меч — и головка твоя с плеч»,— руки опускались и ловили тебя. Там были только названия церквей. Все лондонские церкви... То есть самые знаменитые.

Уинстон рассеянно спросил себя, какого века могла быть эта церковь. Возраст лондонских домов определить всегда трудно. Все большие и внушительные и более или менее новые на вид считались, конечно, построенными после революции, а все то, что было очевидно старше, относили к какому-то далекому неясному времени, называвшемуся средними веками. Таким образом, века капитализма ничего стоящего не произвели. По архитектуре изучить историю было так же невозможно, как по книгам. Статуи, памятники, мемориальные доски, названия улиц — все, что могло пролить свет на прошлое, систематически переделывалось.

— Я не знал, что это церковь,— сказал он.

— Вообще-то их много осталось,— сказал старик,— только их используют для других нужд. Как же там этот стишок? А! Вспомнил!

Апельсинчики как мед,
В колокол Сент-Клемент бьет.
И звонит Сент-Мартин:
Отдавай мне фартинг!

Вот дальше опять не помню. А фартннг — это была маленькая медная монета, наподобие цента.

— А где Сент-Мартнн? — спросил Уинстон.

— Сент-Мартнн? Эта еще стонт. На площадн Победы, рядом с картнннoй галереей. Зданне с портнком н колоннамн, с шнрокой лестницей.

Уннстон хорошо знал зданне. Это был музей, предназначенный для разных пропагандистских выставок: моделей ракет н плавающнх крепостей, восковых панорам, изображающнх вражеские зверства, и тому подобного.

— Называлась «Святой Мартнн на полях»,— добавил старик,— хотя ннкаких полей в этом районе не припомню.

Гравюру Уинстон не купнл. Предмет был еще более неподходящнй, чем стеклянное пресс-папье, да н домой его не унесешь — разве только без рамки. Но он задержался еще на несколько мннут, беседуя со старнком, и выяснил, что фамилня его не Уикс, как можно было заключить по надпнси на лавке, а Чаррннгтон. Оказалось, что мистеру Чаррингтону шестьдесят три года, он вдовец н обнтает в лавке тридцать лет. Все этн годы он собрался сменнть вывеску, но так н не собрался. Пока они беседовали, Уинстон все твердил про себя начало стншка: «Апельсинчнкн как мед, в колокол Сент-Клемент бьет. И звонит Сент-Мартнн: отдавай мне фартнгl» Любопытно: когда он произносил про себя стншок, ему чудилось, будто звучат сами колокола,— колокола исчезнувшего Лондона, который еще существует где-то, невиднмый и забытый. И слышалось ему, как поднимают онн трезвон, одна за другой, прнзрачные колокольнн. Между тем, сколько он себя помннл, он нн разу не слышал церковного звона.

Он попрощался с мнстером Чаррннгтоном н спустился по лестнице однн, чтобы старик не увидел, как он оглядывает улицу, прежде чем выйтн за дверь. Он уже решил, что, выждав время — хотя бы месяц,— рнскнет еще раз посетнть лавку. Едва ли это опасней, чем пропустить вечер в общественном центре. Большой опрометчнвостью было уже то, что после покупки кннги он пришел сюда снова, не зная, можно лн доверять хозяину. И все же!..

Да, сказал он себе, надо будет прнйтн еще. Он купит гравюру с церковью св. Климента у датчан, вынет нз рамы и унесет под комбинезоном домой. Заставнт мистера Чаррингтона вспомннть стишок до конца. И снова мелькнула безумная мысль снять верхнюю комнату. От восторга он секунд на пять забыл об осторожностн — вышел на улнцу, ограничившнсь беглым взглядом в окно. И даже начал напевать на самодельный мотнв:

Апельснчики как мед,
В колокол Сент-Клемент бьет.
И звонит Сент-Мартнн:
Отдавай мне фартинг!

Вдруг сердце у него екнуло от страха, живот схватило. В каких-нибудь десяти метрах — фигура в синем комбинезоне, идет к нему. Это была девица из отдела литературы, темноволосая. Уже смеркалось, но Уинстон узнал ее без труда. Она посмотрела ему прямо в глаза и быстро прошла дальше, как будто не заметила.

Несколько секунд он не мог двинуться с места, словно отнялись ноги. Потом повернулся направо и с трудом пошел, не замечая, что идет не в ту сторону. Одно по крайней мере стало ясно. Сомнений быть не могло: девица за ним шпионит. Она выследила его — нельзя же поверить, что она по чистой случайности забрела в тот же вечер на ту же захудалую улочку в нескольких километрах от района, где живут партийцы. Слишком много совпадений. А служит она в полиции мыслей или же это самодеятельность — значения не имеет. Она за ним следит, этого довольно. Может быть, даже видела, как он заходил в пивную.

Идти было тяжело. Стеклянный груз в кармане при каждом шаге стукал по бедру, и Уинстона подмывало выбросить его. Но хуже всего была спазма в животе. Несколько минут ему казалось, что если он сейчас же не найдет уборную, то умрет. Но в таком районе не могло быть общественной уборной. Потом спазма прошла, осталась только глухая боль.

Улица оказалась тупиком. Уинстон остановился, постоял несколько секунд, рассеянно соображая, что делать, потом повернул назад. Когда он повернул, ему пришло в голову, что он разминулся с девицей какие-нибудь три минуты назад и если бегом, то можно ее догнать. Можно дойти за ней до какого-нибудь тихого места, а там проломить ей череп булыжником. Стеклянное пресс-папье тоже сгодится, оно тяжелое. Но он сразу отбросил этот план: невыносима была даже мысль о том, чтобы совершить физическое усилие. Нет сил бежать, нет сил ударить. Вдобавок девица молодая и крепкая, будет защищаться. Потом он подумал, что надо сейчас же пойти в общественный центр и пробыть там до закрытия — обеспечить себе хотя бы частичное алиби. Но и это невозможно. Им овладела смертельная вялость. Хотелось одного: вернуться к себе в квартиру и ничего не делать.

Домой он пришел только в двадцать третьем часу. Ток в сети должны были отключить в 23.30. Он отправился на кухню и выпил почти целую чашку джина «Победа». Потом подошел к столу в нише, сел и вынул из ящика дневник. Но раскрыл его не сразу. Женщина в телекране томным голосом пела патриотическую песню. Уинстон смотрел на мраморный переплет, безуспешно стараясь отвлечься от этого голоса.

Приходят за тобой ночью, всегда ночью. Самое правильное — покончить с собой, пока тебя не взяли. Наверняка так поступали многие. Многие исчезновения на самом деле были самоубийствами. Но в стране, где ни огнестрельного оружия, ни надежного яда не достанешь, нужна отчаянная отвага, чтобы покончить с собой. Он с удивлением подумал о том, что

боль и страх биологически бесполезны, подумал о вероломстве человеческого тела, цепенеющего в тот самый миг, когда требуется особое усилие. Он мог бы избавиться от темноволосой, если бы сразу приступил к делу, но именно из-за того, что опасность была чрезвычайной, он лишился сил. Ему пришло в голову, что в критические минуты человек борется не с внешним врагом, а всегда с собственным телом. Даже сейчас, несмотря на джин, тупая боль в животе не позволяла ему связно думать. И то же самое, понял он, во всех трагических или по видимости героических ситуациях. На поле боя, в камере пыток, на тонущем корабле то, за что ты бился, всегда забывается — тело твое разрастается и заполняет вселенную, и, даже когда ты не парализован страхом и не кричишь от боли, жизнь — это ежеминутная борьба с голодом или холодом, с бессонницей, изжогой и зубной болью.

Он раскрыл дневник. Важно хоть что-нибудь записать. Женщина в телекране разразилась новой песней. Голос вонзался ему в мозг, как острые осколки стекла. Он пытался думать об О'Брайене, для которого — которому — пишется дневник, но вместо этого стал думать, что с ним будет, когда его арестует полиция мыслей. Если бы сразу убили — полбеды. Смерть — дело предрешенное. Но перед смертью (никто об этом не распространялся, но знали все) будет признание по заведенному порядку: с ползанием по полу, мольбами о пощаде, с хрустом ломаемых костей, с выбитыми зубами и кровавыми колтунами в волосах. Почему ты должен пройти через это, если итог все равно известен? Почему нельзя сократить тебе жизнь на несколько дней или недель? От разоблачения не ушел ни один, и признавались все до единого. В тот миг, когда ты преступил в мыслях, ты уже подписал себе смертный приговор. Так зачем ждут тебя эти муки в будущем, если они ничего не изменят?

Он опять попробовал вызвать образ О'Брайена, и теперь это удалось. «Мы встретимся там, где нет темноты»,— сказал ему О'Брайен. Уинстон понял его слова — ему казалось, что понял. Где нет темноты — это воображаемое будущее; ты его не увидишь при жизни, но, предвидя, можешь мистически причаститься к нему. Голос из телекрана бил по ушам и не давал додумать эту мысль до конца. Уинстон взял в рот сигарету. Половина табаку тут же высыпалась на язык — нескоро и отплюешься от этой горечи. Перед ним, вытеснив О'Брайена, возникло лицо Старшего Брата. Так же, как несколько дней назад, Уинстон вынул из кармана монету и вгляделся. Лицо смотрело на него тяжело, спокойно, отечески — но что за улыбка прячется в черных усах? Свинцовым погребальным звоном приплыли слова:

ВОЙНА — ЭТО МИР
СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ — СИЛА

Вторая

I

Было еще утро; Уинстон пошел из своей кабины в уборную.

Навстречу ему по пустому ярко освещенному коридору двигался человек. Оказалось, что это темноволосая девица. С той встречи у лавки старьевщика минуло четыре дня. Подойдя поближе, Уинстон увидел, что правая рука у нее на перевязи; издали он этого не разглядел, потому что повязка была синяя, как комбинезон. Наверно, девица сломала руку, поворачивая большой калейдоскоп, где «набрасывались» сюжеты романов. Обычная травма в литературном отделе.

Когда их разделяло уже каких-нибудь пять шагов, она споткнулась и упала чуть ли не плашмя. У нее вырвался крик боли. Видимо, она упала на сломанную руку. Уинстон замер. Девица встала на колени. Лицо у нее стало молочно-желтым, и на нем еще ярче выступил красный рот. Она смотрела на Уинстона умоляюще, и в глазах у нее было больше страха, чем боли.

Уинстоном владели противоречивые чувства. Перед ним был враг, который пытался его убить; в то же время перед ним был человек — человеку больно, у него, быть может, сломана кость. Не раздумывая, он пошел к ней на помощь. В тот миг, когда она упала на перевязанную руку, он сам как будто почувствовал боль.

— Вы ушиблись?

— Ничего страшного. Рука. Сейчас пройдет.— Она говорила так, словно у нее сильно колотилось сердце. И лицо у нее было совсем бледное.

— Вы ничего не сломали?

— Нет. Все цело. Было больно и прошло.

Она протянула Уинстону здоровую руку, и он помог ей встать. Лицо у нее немного порозовело; судя по всему, ей стало легче.

— Ничего страшного,— повторила она.— Немного ушибла запястье, и все. Спасибо, товарищ!

С этими словами она пошла дальше — так бодро, как будто и впрямь ничего не случилось. А длилась вся эта сцена, наверно, меньше чем полминуты. Привычка не показывать своих чувств въелась настолько, что стала инстинктом, да и происходило все это прямо перед телекраном. И все-таки Уинстон лишь с большим трудом сдержал удивление: за те две-три секунды, пока он помогал девице встать, она что-то сунула ему в руку. О случайности тут не могло быть и речи. Что-то маленькое и плоское. Входя в уборную, Уинстон сунул эту вещь в карман и там ощупал. Листок бумаги, сложенный квадратиком.

Перед писсуаром он сумел после некоторой возни в кармане расправить листок. По всей вероятности, там что-то написано. У него возникло искушение сейчас же зайти в кабинку и прочесть. Но это, понятно, было бы чистым безумием. Где, как не здесь, за телекранами наблюдают беспрерывно?

Он вернулся к себе, сел, небрежно бросил листок на стол к другим бумагам, надел очки и придвинул речепис. Пять минут, сказал он себе, пять минут самое меньшее! Стук сердца в груди был пугающе громок. К счастью, работа его ждала рутинная — уточнить длинную колонку цифр — и сосредоточенности не требовала.

Что бы ни было в записке, она наверняка политическая. Уинстон мог представить себе два варианта. Один, более правдоподобный: женщина — агент полиции мыслей, чего он и боялся. Непонятно, зачем полиции мыслей прибегать к такой почте, но, видимо, для этого есть резоны. В записке может быть угроза, вызов, приказ покончить с собой, западня какого-то рода. Существовало другое, дикое предположение, Уинстон гнал его от себя, но оно упорно лезло в голову. Записка вовсе не от полиции мыслей, а от какой-то подпольной организации. Может быть, Братство все-таки существует! И девица может быть оттуда! Идея, конечно, была нелепая, но она возникла сразу, как только он ощупал бумажку. А более правдоподобный вариант пришел ему в голову лишь через несколько минут. И даже теперь, когда разум говорил ему, что записка, возможно, означает смерть, он все равно не хотел в это верить, бессмысленная надежда не гасла, сердце гремело, и, диктуя цифры в речепис, он с трудом сдерживал дрожь в голосе.

Он свернул листы с законченной работой и засунул в пневматическую трубку. Прошло восемь минут. Он поправил очки, вздохнул и притянул к себе новую стопку заданий, на которой лежал тот листок. Расправил листок. Крупным неустоявшимся почерком там было написано:

Я вас люблю.

Он так опешил, что даже не сразу бросил улику в гнездо памяти. Понимая, насколько опасно выказывать к бумажке чрезмерный интерес, он все-таки не удержался и прочел ее еще раз — убедиться, что ему не померещилось.

До перерыва работать было очень тяжело. Он никак не мог сосредоточиться на нудных задачах, но, что еще хуже, надо

было скрывать свое смятение от телекрана. В животе у него словно пылал костер. Обед в душной, людной, шумной столовой оказался мучением. Он рассчитывал побыть в одиночестве, но как назло рядом плюхнулся на стул идиот Парсонс, острым запахом пота почти заглушив жестяной запах тушенки, и завел речь о приготовлениях к Неделе ненависти. Особенно он восторгался громадной двухметровой головой Старшего Брата из папье-маше, которую изготавливал к праздникам дочкин отряд. Досаднее всего, что из-за гама Уинстон плохо слышал Парсонса, приходилось переспрашивать и по два раза выслушивать одну и ту же глупость. В дальнем конце зала он увидел темноволосую — за столиком еще с двумя девушками. Она как будто не заметила его, и больше он туда не смотрел.

Вторая половина дня прошла легче. Сразу после перерыва прислали тонкое и трудное задание — на несколько часов, и все посторонние мысли пришлось отставить. Надо было подделать производственные отчеты двухлетней давности таким образом, чтобы бросить тень на крупного деятеля внутренней партии, попавшего в немилость. С подобными работами Уинстон справлялся хорошо, и на два часа с лишним ему удалось забыть о темноволосой женщине. Но потом ее лицо снова возникло перед глазами, и безумно, до невыносимости захотелось побыть одному. Пока он не останется один, невозможно обдумать это событие. Сегодня ему надлежало присутствовать в общественном центре. Он проглотил безвкусный ужин в столовой, прибежал в центр, поучаствовал в дурацкой торжественной «групповой дискуссии», сыграл две партии в настольный теннис, несколько раз выпил джину и высидел получасовую лекцию «Шахматы и их отношение к ангсоцу». Душа корчилась от скуки, но вопреки обыкновению ему не хотелось улизнуть из центра. От слов «Я вас люблю» нахлынуло желание продлить себе жизнь, и теперь даже маленький риск казался глупостью. Только в двадцать три часа, когда он вернулся и улегся в постель,— в темноте даже телекран не страшен, если молчишь,— к нему вернулась способность думать.

Предстояло решить техническую проблему: как связаться с ней и условиться о встрече. Предположение, что женщина расставляет ему западню, он уже отбросил. Он понял, что нет: она определенно волновалась, когда давала ему записку. Она не помнила себя от страха — и это вполне объяснимо. Уклониться от ее авансов у него и в мыслях не было. Всего пять дней назад он размышлял о том, чтобы проломить ей голову булыжником, но это уже дело прошлое. Он мысленно видел ее голой, видел ее молодое тело — как тогда во сне. А ведь сперва он считал ее дурой вроде остальных — напичканной ложью и ненавистью, с замороженным низом. При мысли о том, что можно ее потерять, что ему не достанется молодое белое тело, Уинстона лихорадило. Но встретиться с ней было немыслимо сложно. Все равно что сделать ход в шахматах, когда тебе поставили мат. Куда ни сунься — отовсюду смотрит телекран. Все возможные способы устроить свидание

пришли ему в голову в течение пяти минут после того, как он прочел записку; теперь же, когда было время подумать, он стал перебирать их по очереди — словно раскладывал инструменты на столе.

Очевидно, что встречу, подобную сегодняшней, повторить нельзя. Если бы женщина работала в отделе документации, это было бы более или менее просто, а в какой части здания находится отдел литературы, он плохо себе представлял, да и повода пойти туда не было. Если бы он знал, где она живет и в котором часу кончает работу, то смог бы перехватить ее по дороге домой; следовать же за ней небезопасно — надо околачиваться вблизи министерства, и это наверняка заметят. Послать письмо по почте невозможно. Не секрет, что всю почту вскрывают. Теперь почти никто не пишет писем. А если надо с кем-то снестись — есть открытки с напечатанными готовыми фразами, и ты просто зачеркиваешь ненужные. Да он и фамилии ее не знает, не говоря уже об адресе. В конце концов он решил, что самым верным местом будет столовая. Если удастся подсесть к ней, когда она будет одна, и столик будет в середине зала, не слишком близко к телекранам, и в зале будет достаточно шумно... если им дадут побыть наедине хотя бы тридцать секунд, тогда, наверно, он сможет перекинуться с ней несколькими словами.

Всю неделю после этого жизнь его была похожа на беспокойный сон. На другой день женщина появилась в столовой, когда он уже уходил после свистка. Вероятно, ее перевели в более позднюю смену. Они разошлись, не взглянув друг на друга. На следующий день она обедала в обычное время, но еще с тремя женщинами и прямо под телекраном. Потом было три ужасных дня — она не появлялась вовсе. Ум его и тело словно приобрели невыносимую чувствительность, проницаемость, и каждое движение, каждый звук, каждое прикосновение, каждое услышанное и произнесенное слово превращались в пытку. Даже во сне он не мог отделаться от ее образа. В эти дни он не прикасался к дневнику. Облегчение приносила только работа — за ней он мог забыться иной раз на целых десять минут. Он не понимал, что с ней случилось. Спросить было негде. Может быть, ее распылили, может быть, она покончила с собой, ее могли перевести на другой край Океании; но самое вероятное и самое плохое — она просто передумала и решила избегать его.

На четвертый день она появилась. Рука была не на перевязи, только пластырь вокруг запястья. Он почувствовал такое облегчение, что не удержался и смотрел на нее несколько секунд. На другой день ему чуть не удалось поговорить с ней. Когда он вошел в столовую, она сидела одна и довольно далеко от стены. Час был ранний, столовая еще не заполнилась. Очередь продвигалась, Уинстон был почти у раздачи, но тут застрял на две минуты: впереди кто-то жаловался, что ему не дали таблетку сахарина. Тем не менее, когда Уинстон получил свой поднос и направился в ее сторону, она по-прежнему была одна.

Он шел, глядя поверху, как бы отыскивая свободное место позади ее стола. Она уже в каких-нибудь трех метрах. Еще две секунды — и он у цели. За спиной у него кто-то позвал: «Смит!» Он притворился, что не слышал. «Смит!» — повторили сзади, еще громче. Нет, не отделаться. Он обернулся. Молодой, с глупым лицом блондин по фамилии Уилшер, с которым он был едва знаком, улыбаясь, приглашал на свободное место за своим столиком. Отказаться было небезопасно. После того как его узнали, он не мог усесться с обедавшей в одиночестве женщиной. Это привлекло бы внимание. Он сел с дружелюбной улыбкой. Глупое лицо сияло в ответ. Ему представилось, как он бьет по нему киркой — точно в середину. Через несколько минут у женщины тоже появились соседи.

Но она наверняка видела, что он шел к ней, и, может быть, поняла. На следующий день он постарался прийти пораньше. И не зря: она сидела примерно на том же месте и опять одна. В очереди перед ним стоял маленький, юркий жукоподобный мужчина с плоским лицом и подозрительными глазками. Когда Уинстон с подносом отвернулся от прилавка, он увидел, что маленький направляется к ее столу. Надежда в нем опять увяла. Свободное место было и за столом подальше, но вся повадка маленького говорила о том, что он позаботится о своих удобствах и выберет стол, где меньше всего народу. С тяжелым сердцем Уинстон двинулся за ним. Пока он не останется с ней один на один, ничего не выйдет. Тут раздался страшный грохот. Маленький стоял на четвереньках, поднос его еще летел, а по полу текли два ручья — суп и кофе. Он вскочил и злобно оглянулся, подозревая, видимо, что Уинстон дал ему подножку. Но это было неважно. Пятью секундами позже, с громыхающим сердцем, Уинстон уже сидел за ее столом.

Он не взглянул на нее. Освободил поднос и немедленно начал есть. Важно было заговорить сразу, пока никто не подошел, но на Уинстона напал дикий страх. С первой встречи прошла неделя. Она могла передумать, наверняка передумала! Ничего из этой истории не выйдет — так не бывает в жизни. Пожалуй, он и не решился бы заговорить, если бы не увидел Амплфорта, поэта с шерстяными ушами, который плелся с подносом, ища глазами свободное место. Рассеянный Амплфорт был по-своему привязан к Уинстону и, если бы заметил его, наверняка подсел бы. На все оставалось не больше минуты. И Уинстон и женщина усердно ели. Ели они жидкое рагу — скорее суп с фасолью. Уинстон заговорил вполголоса. Оба не поднимали глаз; размеренно черпая похлебку и отправляя в рот, они тихо и без всякого выражения обменялись несколькими необходимыми словами.

— Когда вы кончаете работу?

— В восемнадцать тридцать.

— Где мы можем встретиться?

— На площади Победы, у памятника.

— Там кругом телекраны.

— Если в толпе, это неважно.

— Знак?

— Нет. Не подходите, пока не увидите меня в гуще людей. И не смотрите на меня. Просто будьте поблизости.

— Во сколько?

— В девятнадцать.

— Хорошо.

Амплфорт не заметил Уинстона и сел за другой стол. Женщина быстро доела обед и ушла, а Уинстон остался курить. Больше они не разговаривали и, насколько это возможно для двух сидящих лицом к лицу через стол, не смотрели друг на друга.

Уинстон пришел на площадь Победы раньше времени. Он побродил вокруг основания громадной желобчатой колонны, с вершины которой статуя Старшего Брата смотрела на юг небосклона, туда, где в битве за Взлетную полосу I он разгромил евразийскую авиацию (несколько лет назад она была остазийской). Напротив на улице стояла конная статуя, изображавшая, как считалось, Оливера Кромвеля. Прошло пять минут после назначенного часа, а женщины все не было. На Уинстона снова напал дикий страх. Не идет, передумала! Он добрел до северного края площади и вяло обрадовался, узнав церковь святого Мартина — ту, чьи колокола — когда на ней были колокола — вызванивали: «Отдавай мне фартинг». Потом увидел женщину: она стояла под памятником и читала или делала вид, что читает, плакат, спиралью обвивавший колонну. Пока там не собрался народ, подходить было рискованно. Вокруг постамента стояли телекраны. Но внезапно где-то слева загалдели люди и послышался гул тяжелых машин. Все на площади бросились в ту сторону. Женщина быстро обогнула львов у подножья колонны и тоже побежала. Уинстон устремился следом. На бегу он понял по выкрикам, что везут пленных евразийцев.

Южная часть площади уже была запружена толпой. Уинстон, принадлежавший к той породе людей, которые в любой свалке норовят оказаться с краю, ввинчивался, протискивался, пробивался в самую гущу народа. Женщина была уже близко, рукой можно достать, но тут глухой стеной мяса дорогу ему преградил необъятный прол и такая же необъятная женщина — видимо, его жена. Уинстон извернулся и со всей силы вогнал между ними плечо. Ему показалось, что два мускулистых бока раздавят его внутренности в кашу, и тем не менее он прорвался, слегка вспотев. Очутился рядом с ней. Они стояли плечом к плечу и смотрели вперед неподвижным взглядом.

По улице длинной вереницей ползли грузовики, и в кузовах, по всем четырем углам, с застывшими лицами стояли автоматчики. Между ними вплотную сидели на корточках мелкие желтые люди в обтрепанных зеленых мундирах. Монгольские их лица смотрели поверх бортов печально и без всякого интереса. Если грузовик подбрасывало, раздавалось звяканье металла — пленные были в ножных кандалах. Один за другим проезжали грузовики с печальными людьми. Уинстон слышал,

как они едут, но видел их лишь изредка. Плечо женщины, ее рука прижимались к его плечу и руке. Щека была так близко, что он ощущал ее тепло. Она сразу взяла инициативу на себя, как в столовой. Заговорила, едва шевеля губами, таким же невыразительным голосом, как тогда, и этот полушепот тонул в общем гаме и рычании грузовиков.

— Слышите меня?

— Да.

— Можете вырваться в воскресенье?

— Да.

— Тогда слушайте внимательно. Вы должны запомнить. Отправитесь на Паддингтонский вокзал...

С военной точностью, изумившей Уинстона, она описала маршрут. Полчаса поездом; со станции — налево; два километра по дороге, ворота без перекладины; тропинкой через поле; дорожка под деревьями, заросшая травой; тропа в кустарнике; упавшее замшелое дерево. У нее словно карта была в голове.

— Все запомнили? — шепнула она наконец.

— Да.

— Повернете налево, потом направо и опять налево. И на воротах нет перекладины.

— Да. Время?

— Около пятнадцати. Может, вам придется подождать. Я приду туда другой дорогой. Вы точно все запомнили?

— Да.

— Тогда отойдите скорей.

В этих словах не было надобности. Но толпа не позволяла разойтись. Колонна все шла, люди глазели ненасытно. Вначале раздавались выкрики и свист, но шумели только партийные, а вскоре и они умолкли. Преобладающим чувством было обыкновенное любопытство. Иностранцы — из Евразии ли, из Остазии — были чем-то вроде диковинных животных. Ты их никогда не видел — только в роли военнопленных, да и то мельком. Неизвестна была и судьба их — кроме тех, кого вешали как военных преступников; остальные просто исчезали — надо думать, в каторжных лагерях. Круглые монгольские лица сменились более европейскими, грязными, небритыми, изнуренными. Иногда заросшее лицо останавливало на Уинстоне необычайно пристальный взгляд, и сразу же он скользил дальше. Колонна подходила к концу. В последнем грузовике Уинстон увидел пожилого человека, до глаз заросшего седой бородой; он стоял на ногах, скрестив перед животом руки, словно привык к тому, что они скованы. Пора уже было отойти от женщины. Но в последний миг, пока толпа их еще сдавливала, она нашла его руку и незаметно пожала.

Длилось это меньше десяти секунд, но ему показалось, что они держат друг друга за руки очень долго. Уинстон успел изучить ее руку во всех подробностях. Он трогал длинные пальцы, продолговатые ногти, затвердевшую от работы ладонь с мозолями, нежную кожу запястья. Он так изучил эту руку на ощупь, что теперь узнал бы ее и по виду. Ему пришло в голо-

ву, что он не заметил, какого цвета у нее глаза. Наверно, карие, хотя у темноволосых бывают и голубые глаза. Повернуть голову и посмотреть на нее было бы крайним безрассудством. Стиснутые толпой, незаметно держась за руки, они смотрели прямо перед собой, и не ее глаза, а глаза пожилого пленника тоскливо уставились на Уинстона из чащи спутанных волос.

II

Уинстон шел по дорожке в пятнистой тени деревьев, изредка вступая в лужицы золотого света — там, где не смыкались кроны. Под деревьями слева земля туманилась от колокольчиков. Воздух ласкал кожу. Было второе мая. Где-то в глубине леса кричали вяхири.

Он пришел чуть раньше времени. Трудностей в дороге он не встретил; женщина, судя по всему, была так опытна, что он даже боялся меньше, чем полагалось бы в подобных обстоятельствах. Он не сомневался, что она выбрала безопасное место. Вообще трудно было рассчитывать на то, что за городом безопаснее, чем в Лондоне. Телекранов, конечно, нет, но в любом месте может скрываться микрофон — твой голос услышат и опознают; кроме того, путешествующий в одиночку непременно привлечет внимание. Для расстояний меньше ста километров отметка в паспорте не нужна, но иногда около станции ходят патрули, там они проверяют документы у всех партийных и задают неприятные вопросы. На патруль он, однако, не налетел, а по дороге со станции не раз оглядывался — нет ли слежки. Поезд был набит пролами, довольно жизнерадостными по случаю теплой погоды. Он ехал в вагоне с деревянными скамьями, полностью оккупированном одной громадной семьей — от беззубой прабабушки до месячного младенца,— намеревавшейся погостить денек «у сватьев» в деревне и, как они без опаски объяснили Уинстону, раздобыть на черном рынке масла.

Деревья расступились, он вышел на тропу, о которой она говорила,— тропу в кустарнике, протоптанную скотом. Часов у него не было, но пришел он определенно раньше пятнадцати. Колокольчики росли так густо, что невозможно было на них не наступать. Он присел и стал рвать цветы — отчасти чтобы убить время, отчасти со смутным намерением преподнести ей букет. Он собрал целую охапку и только понюхал слабо и душно пахшие цветы, как звук за спиной заставил его похолодеть: под чьей-то ногой хрустели веточки. Он продолжал рвать цветы. Это было самое правильное. Может быть, сзади — она, а может, за ним все-таки следили. Оглянешься — значит, что-то с тобой нечисто. Он сорвал колокольчик, потом еще один. Его легонько тронули за плечо.

Он поднял глаза. Это была она. Она помотала головой, веля ему молчать, потом раздвинула кусты и быстро пошла по тропинке к лесу. По-видимому, она здесь бывала: топкие

места она обходила уверенно. Уинстон шел за ней с букетом. Первым его чувством было облегчение, но теперь, глядя сзади на сильное стройное тело, перехваченное алым кушаком, который подчеркивал крутые бедра, он остро ощутил, что недостоин ее. Даже теперь ему казалось, что она может обернуться, посмотреть на него — и раздумать. Нежный воздух и зелень листвы только увеличивали его робость. Из-за этого майского солнца он, еще когда шел со станции, почувствовал себя грязным и чахлым — комнатное существо с забитыми лондонской пылью и копотью пóрами. Он подумал, что она ни разу не видела его при свете дня и на просторе. Перед ними было упавшее дерево, о котором она говорила на площади. Женщина отбежала в сторону и раздвинула кусты, стоявшие сплошной стеной. Уинстон полез за ней, и они очутились на прогалине, крохотной лужайке, окруженной высоким подростом и отовсюду закрытой. Женщина обернулась.

— Пришли,— сказала она.

Он смотрел на нее с расстояния нескольких шагов. И не решался приблизиться.

— Я не хотела разговаривать по дороге,— объяснила она.— Вдруг там микрофон. Вряд ли, конечно, но может быть. Чего доброго, узнают голос, сволочи. Здесь не опасно.

Уинстон все еще не осмеливался подойти.

— Здесь не опасно? — переспросил он.

— Да. Смотрите, какие деревья.— Это была молодая ясеневая поросль на месте вырубки — лес жердочек толщиной не больше запястья.— Все тоненькие, микрофон спрятать негде. Кроме того, я уже здесь была.

Они только разговаривали. Уинстон все-таки подошел к ней поближе. Она стояла очень прямо и улыбалась как будто с легкой иронией — как будто недоумевая, почему он мешкает. Колокольчики посыпались на землю. Это произошло само собой. Он взял ее за руку.

— Верите ли,— сказал он,— до этой минуты я не знал, какого цвета у вас глаза.— Глаза были карие, светло-карие, с темными ресницами.— Теперь, когда вы разглядели, на что я похож, вам не противно на меня смотреть?

— Нисколько.

— Мне тридцать девять лет. Женат и не могу от нее избавиться. У меня расширение вен. Пять вставных зубов.

— Какое это имеет значение? — сказала она.

И сразу — непонятно даже, кто тут был первым,— они обнялись. Сперва он ничего не чувствовал, только думал: этого не может быть. К нему прижималось молодое тело, его лицо касалось густых темных волос, и — да! наяву! — она подняла к нему лицо, и он целовал мягкие красные губы. Она сцепила руки у него на затылке, она называла его милым, дорогим, любимым. Он потянул ее на землю, и она покорилась ему, он мог делать с ней что угодно. Но в том-то и беда, что физически он ничего не ощущал, кроме прикосновений. Он испытывал только гордость и до сих пор не мог поверить в происходящее.

Он радовался, что это происходит, но плотского желания не чувствовал. Все случилось слишком быстро... он испугался ее молодости и красоты... он привык обходиться без женщины... Он сам не понимал причины. Она села и вынула из волос колокольчик. Потом прислонилась к нему и обняла его за талию.

— Ничего, милый. Некуда спешить. У нас еще полдня. Правда, замечательное укрытие? Я разведала его во время одной туристской вылазки — когда отстала от своих. Если кто-то будет подходить, услышим за сто метров.

— Как тебя зовут? — спросил Уинстон.

— Джулия. А как тебя зовут, я знаю. Уинстон. Уинстон Смит.

— Откуда ты знаешь?

— Наверно, как разведчица я тебя способней, милый. Скажи, что ты обо мне думал до того, как я дала тебе записку?

Ему совсем не хотелось лгать. Своего рода предисловие к любви — сказать для начала самое худшее.

— Видеть тебя не мог,— ответил он.— Хотел тебя изнасиловать, а потом убить. Две недели назад я серьезно размышлял о том, чтобы проломить тебе голову булыжником. Если хочешь знать, я вообразил, что ты связана с полицией мыслей.

Джулия радостно засмеялась, восприняв его слова как подтверждение того, что она прекрасно играет свою роль.

— Неужели с полицией мыслей? Нет, ты правда так думал?

— Ну, может, не совсем так. Но, глядя на тебя... Наверно, оттого, что ты молодая, здоровая, свежая — понимаешь... я думал...

— Ты думал, что я примерный член партии. Чиста в делах и помыслах. Знамена, шествия, лозунги, игры, туристские походы — вся эта дребедень. И подумал, что при малейшей возможности угроблю тебя — донесу как на мыслепреступника?

— Да, что-то в этом роде. Знаешь, очень многие девушки именно такие.

— Все из-за этой гадости,— сказала она и, сорвав алый кушак Молодежного антиполового союза, забросила в кусты.

Она будто вспомнила о чем-то, когда дотронулась до пояса, и теперь, порывшись в кармане, достала маленькую шоколадку, разломила и дала половину Уинстону. Еще не взяв ее, по одному запаху он понял, что это совсем не обыкновенный шоколад. Темный, блестящий и завернут в фольгу. Обычно шоколад был тускло-коричневый, крошился и отдавал — точнее его вкус не опишешь — дымом горящего мусора. Но когда-то он пробовал шоколад вроде этого. Запах сразу напомнил о чем-то — о чем, Уинстон не мог сообразить, но напомнил мощно и тревожно.

— Где ты достала?

— На черном рынке,— безразлично ответила она.— Да, на вид я именно такая. Хорошая спортсменка. В разведчицах была командиром отряда. Три вечера в неделю занимаюсь общественной работой в Молодежном антиполовом союзе. Часами расклеиваю их паскудные листки по всему Лондону.

В шествиях всегда несу транспарант. Всегда с веселым лицом и ни от чего не отлыниваю. Всегда ори с толпой — мое правило. Только так ты в безопасности.

Первый кусочек шоколада растаял у него на языке. Вкус был восхитительный. Но что-то все шевелилось в глубинах памяти — что-то ощущаемое очень сильно, но не принимавшее отчетливой формы, как предмет, который ты заметил краем глаза. Уинстон отогнал непрояснившееся воспоминание, поняв только, что оно касается какого-то поступка, который он с удовольствием аннулировал бы — если б мог.

— Ты совсем молодая,— сказал он.— На десять или пятнадцать лет моложе меня. Что тебя могло привлечь в таком человеке?

— У тебя что-то было в лице. Решила рискнуть. Я хорошо угадываю чужаков. Когда увидела тебя, сразу поняла, что ты против них.

Они, по-видимому, означали партию, и прежде всего внутреннюю партию, о которой она говорила издевательски и с открытой ненавистью — Уинстону от этого становилось не по себе, хотя он знал, что здесь они в безопасности, насколько безопасность вообще возможна. Он был поражен грубостью ее языка. Партийцам сквернословить не полагалось, и сам Уинстон ругался редко, по крайней мере вслух, но Джулия не могла помянуть партию, особенно внутреннюю партию, без какого-нибудь словца из тех, что пишутся мелом на заборах. И его это не отталкивало. Это было просто одно из проявлений ее бунта против партии, против партийного духа и казалось таким же здоровым и естественным, как чихание лошади, понюхавшей прелого сена. Они ушли с прогалины и снова гуляли в пятнистой тени, обняв друг друга за талию,— там, где можно было идти рядом. Он заметил, насколько мягче стала у нее талия без кушака. Разговаривали шепотом. Пока мы не на лужайке, сказала Джулия, лучше вести себя тихо. Вскоре они вышли к опушке рощи. Джулия его остановила.

— Не выходи на открытое место. Может, кто-нибудь наблюдает. Пока мы в лесу — все в порядке.

Они стояли в орешнике. Солнце проникало сквозь густую листву и грело им лица. Уинстон смотрел на луг, лежавший перед ними, со странным чувством медленного узнавания. Он знал этот пейзаж. Старое пастбище с короткой травой, по нему бежит тропинка, там и сям кротовые кочки. Неровной изгородью на дальней стороне встали деревья, ветки вязов чуть шевелились от ветерка, и плотная масса листьев волновалась, как женские волосы. Где-то непременно должен быть ручей с зелеными заводями, в них ходит плотва.

— Тут поблизости нет ручейка? — прошептал он.

— Правильно, есть. На краю следующего поля. Там рыбы крупные. Их видно — они стоят под ветлами, шевелят хвостами.

— Золотая страна... почти что,— пробормотал он.

— Золотая страна?

— Это просто так. Это место я вижу иногда во сне.

— Смотри! — шепнула Джулия.

Метрах в пяти от них, почти на уровне их лиц, на ветку слетел дрозд. Может быть, он их не видел. Он был на солнце, они в тени. Дрозд расправил крылья, потом не торопясь сложил, нагнул на секунду голову, словно поклонился солнцу, и запел. В послеполуденном затишье песня его звучала ошеломляюще громко. Уинстон и Джулия прильнули друг к другу и замерли, очарованные. Музыка лилась и лилась, минута за минутой, с удивительными вариациями, ни разу не повторяясь, будто птица нарочно показывала свое мастерство. Иногда она замолкала на несколько секунд, расправляла и складывала крылья, потом раздувала рябую грудь и снова разражалась песней. Уинстон смотрел на нее с чем-то вроде почтения. Для кого, для чего она поет? Ни подруги, ни соперника поблизости. Что ее заставляет сидеть на опушке необитаемого леса и выплескивать эту музыку в никуда? Он подумал: а вдруг здесь все-таки спрятан микрофон? Они с Джулией разговаривали тихим шепотом, их голосов он не поймает, а дрозда услышит наверняка. Может быть, на другом конце линии сидит маленький жукоподобный человек и внимательно слушает,— слушает *это*. Постепенно поток музыки вымыл из его головы все рассуждения. Она лилась на него, словно влага, и смешивалась с солнечным светом, цедившимся сквозь листву. Он перестал думать и только чувствовал. Талия женщины под его рукой была мягкой и теплой. Он повернул ее так, что они стали грудь в грудь, ее тело словно растаяло в его теле. Где бы он ни тронул рукой, оно было податливо, как вода. Их губы соединились; это было совсем непохоже на их жадные поцелуи вначале. Они отодвинулись друг от друга и перевели дух. Что-то спугнуло дрозда, и он улетел, шурша крыльями. Уинстон прошептал ей на ухо:

— Сейчас.

— Не здесь,— шепнула она в ответ.— Пойдем на прогалину. Там безопасней.

Похрустывая веточками, они живо пробрались на свою лужайку, под защиту молодых деревьев. Джулия повернулась к нему. Оба дышали часто, но у нее на губах снова появилась слабая улыбка. Она смотрела на него несколько мгновений, потом взялась за молнию. Да! Это было почти как во сне. Почти так же быстро, как там, она сорвала с себя одежду и отшвырнула великолепным жестом, будто зачеркнувшим целую цивилизацию. Ее белое тело сияло на солнце. Но он не смотрел на тело — он не мог оторвать глаз от веснушчатого лица, от легкой дерзкой улыбки. Он стал на колени и взял ее за руки.

— У тебя уже так бывало?

— Конечно... Сотни раз... ну ладно, десятки.

— С партийными?

— Да. Всегда с партийными.

— Из внутренней партии тоже?

— Нет, с этими сволочами — нет. Но многие были бы ра-

ды — будь у них хоть четверть шанса. Они не такие святые, как изображают.

Сердце у него взыграло. Это бывало у нее десятки раз — жаль, не сотни... не тысячи. Все, что пахло порчей, вселяло в него дикую надежду. Кто знает, может, партия внутри сгнила, ее культ усердия и самоотверженности — бутафория, скрывающая распад. Он заразил бы их всех проказой и сифилисом — с какой бы радостью заразил! Что угодно — лишь бы растлить, подорвать, ослабить. Он потянул ее вниз — теперь оба стояли на коленях.

— Слушай, чем больше у тебя было мужчин, тем больше я тебя люблю. Ты понимаешь?

— Да, отлично.

— Я ненавижу чистоту, ненавижу благонравие. Хочу, чтобы добродетелей вообще не было на свете. Я хочу, чтобы все были испорчены до мозга костей.

— Ну, тогда я тебе подхожу, милый. Я испорчена до мозга костей.

— Ты любишь этим заниматься? Не со мной, я спрашиваю, а вообще?

— Обожаю.

Это он и хотел услышать больше всего. Не просто любовь к одному мужчине, но животный инстинкт, неразборчивое вожделение: вот сила, которая разорвет партию в клочья. Он повалил ее на траву, на рассыпанные колокольчики. На этот раз все получилось легко. Потом, отдышавшись, они в сладком бессилии отвалились друг от друга. Солнце как будто грело жарче. Обоим захотелось спать. Он протянул руку к отброшенному комбинезону и прикрыл ее. Они почти сразу уснули и проспали с полчаса.

Уинстон проснулся первым. Он сел и посмотрел на веснушчатое лицо, спокойно лежавшее на ладони. Красивым в нем был, пожалуй, только рот. Возле глаз, если приглядеться, уже залегли морщинки. Короткие темные волосы были необычайно густы и мягки. Он вспомнил, что до сих пор не знает, как ее фамилия и где она живет.

Молодое сильное тело стало беспомощным во сне, и Уинстон смотрел на него с жалостливым, покровительственным чувством. Но та бессмысленная нежность, которая овладела им в орешнике, когда пел дрозд, вернулась не вполне. Он приподнял край комбинезона и посмотрел на ее гладкий белый бок. Прежде, подумал он, мужчина смотрел на женское тело, видел, что оно желанно, и дело с концом. А нынче не может быть ни чистой любви, ни чистого вожделения. Нет чистых чувств, все смешаны со страхом и ненавистью. Их любовные объятия были боем, а завершение — победой. Это был удар по партии. Это был политический акт.

III

— Мы можем прийти сюда еще раз,— сказала Джулия.— Два раза использовать одно укрытие, в общем, неопасно. Но, конечно, не раньше, чем через месяц или два.

Проснулась Джулия другой — собранной и деловитой. Сразу оделась, затянула на себе алый кушак и стала объяснять план возвращения. Естественно было предоставить руководство ей. Она обладала практической сметкой — не в пример Уинстону,— а, кроме того, в бесчисленных туристских походах досконально изучила окрестности Лондона. Обратный маршрут она дала ему совсем другой, и заканчивался он на другом вокзале. «Никогда не возвращайся тем же путем, каким приехал»,— сказала она, будто провозгласила некий общий принцип. Она уйдет первой, а Уинстон должен выждать полчаса.

Она назвала место, где они смогут встретиться через четыре вечера, после работы. Это была улица в бедном районе; там рынок, всегда шумно и людно. Она будет бродить возле ларьков якобы в поисках шнурков или ниток. Если она сочтет, что опасности нет, то при его приближении высморкается; в противном случае он должен пройти мимо, как бы не заметив ее. Но если повезет, то в гуще народа можно четверть часа поговорить и условиться о новой встрече.

— А теперь мне пора,— сказала она, когда он усвоил предписания.— Я должна вернуться к девятнадцати тридцати. Надо отработать два часа в Молодежном антиполовом союзе — раздавать листовки или что-то такое. Ну не гадость? Отряхни меня, пожалуйста. Травы в волосах нет? Ты уверен? Тогда до свидания, любимый, до свидания.

Она кинулась к нему в объятия, поцеловала его почти исступленно, а через мгновение уже протиснулась между молодых деревьев и бесшумно исчезла в лесу. Он так и не узнал ее фамилию и адрес. Но это не имело значения: под крышей им не встретиться и писем друг другу не писать.

Вышло так, что на прогалину они больше не вернулись. За май им только раз удалось побыть вдвоем. Джулия выбрала другое место — колокольню разрушенной церкви в почти безлюдной местности, где тридцать лет назад сбросили атомную бомбу. Убежище было хорошее, но дорога туда очень опасна. В остальном они встречались только на улицах, каждый вечер в новом месте и не больше чем на полчаса. На улице можно было поговорить — более или менее. Двигаясь в толчее по тротуару, не рядом и не глядя друг на друга, они вели странный разговор, прерывистый, как мигание маяка: когда поблизости был телекран или навстречу шел партиец в форме, разговор замолкал, потом возобновлялся на середине фразы; там, где они условились расстаться, он резко обрывался и продолжался снова почти без вступления на следующий вечер. Джулия, видимо, привыкла к такому способу вести беседу — у нее это называлось разговором в рассрочку. Кроме того, она удивительно владела искусством говорить, не шевеля губами. За месяц, встречаясь

почти каждый вечер, они только раз смогли поцеловаться. Они молча шли по переулку (Джулия не разговаривала, когда они уходили с больших улиц), как вдруг раздался оглушительный грохот, мостовая всколыхнулась, воздух потемнел, и Уинстон очутился на земле, испуганный, весь в ссадинах. Ракета, должно быть, упала совсем близко. В нескольких сантиметрах он увидел лицо Джулии, мертвенно бледное, белое, как мел. Даже губы были белые. Убита! Он прижал ее к себе и вдруг оказалось, что целует он живое теплое лицо, только на губах у него все время какой-то порошок. Лица у обоих были густо засыпаны алебастровой пылью.

Случались и такие вечера, когда они приходили на место встречи и расходились, не взглянув друг на друга: то ли патруль появился из-за поворота, то ли зависал над головой вертолет. Не говоря об опасности, им было попросту трудно выкроить время для встреч. Уинстон работал шестьдесят часов в неделю, Джулия еще больше, выходные дни зависели от количества работы и совпадали нечасто. Вдобавок у Джулии редко выдавался вполне свободный вечер. Удивительно много времени она тратила на посещение лекций и демонстраций, на раздачу литературы в Молодежном антиполовом союзе, изготовление лозунгов к Неделе ненависти, сбор всяческих добровольных взносов и тому подобные дела. Это окупается, сказала она,— маскировка. Если соблюдаешь мелкие правила, можно нарушать большие. Она и Уинстона уговорила пожертвовать еще одним вечером — записаться на работу по изготовлению боеприпасов, которую добровольно выполняли во внеслужебное время усердные партийцы. И теперь раз в неделю, изнемогая от скуки, в сумрачной мастерской, где гуляли сквозняки и унылый стук молотков мешался с телемузыкой, Уинстон по четыре часа свинчивал какие-то железки — наверно, детали бомбовых взрывателей.

Когда они встретились на колокольне, пробелы в их отрывочных разговорах были заполнены. День стоял знойный. В квадратной комнатке над звонницей было душно и нестерпимо пахло голубиным пометом. Они сидели на пыльном полу, замусоренном хворостинками, и разговаривали; иногда один из них вставал и подходил к окошкам — посмотреть, не идет ли кто.

Джулии было двадцать шесть лет. Она жила в общежитии еще с тридцатью молодыми женщинами («Все провоняло бабами! До чего я ненавижу баб!» — заметила она мимоходом), а работала, как он и догадывался, в отделе литературы на машине для сочинения романов. Работа ей нравилась — она обслуживала мощный, но капризный электромотор. Она была «неспособной», но любила работать руками и хорошо разбиралась в технике. Могла описать весь процесс сочинения романа — от общей директивы, выданной плановым комитетом, до заключительной правки в редакционной группе. Но сам конечный продукт ее не интересовал. «Читать не охотница»,— сказала она. Книги были одним из потребительских товаров, как повидло и шнурки для ботинок.

О том, что происходило до 60-х годов, воспоминаний у нее не сохранилось, а среди людей, которых она знала, лишь один человек часто говорил о дореволюционной жизни — это был ее дед, но он исчез, когда ей шел девятый год. В школе она была капитаном хоккейной команды и два года подряд выигрывала первенство по гимнастике. В разведчицах она была командиром отряда, а в Союзе юных, до того, как вступила в Молодежный антиполовой союз,— секретарем отделения. Всюду — на отличном счету. Ее даже выдвинули (признак хорошей репутации) на работу в порносеке, подразделении литературного отдела, выпускающем дешевую порнографию для пролов. Сотрудники называли его Навозным домом, сказала она. Там Джулия проработала год, занимаясь изготовлением таких книжечек, как «Озорные рассказы» и «Одна ночь в женской школе»,— эту литературу рассылают в запечатанных пакетах, и пролетарская молодежь покупает ее украдкой, полагая, что покупает запретное.

— Что это за книжки? — спросил Уинстон.

— Жуткая дребедень. И скучища, между прочим. Есть всего шесть сюжетов, их слегка тасуют. Я, конечно, работала только на калейдоскопах. В редакционной группе — никогда. Я, милый, мало смыслю в литературе.

Он с удивлением узнал, что, кроме главного, все сотрудники порносека — девушки. Идея в том, что половой инстинкт у мужчин труднее контролируется, чем у женщин, а, следовательно, набраться грязи на такой работе мужчина может с большей вероятностью.

— Там даже замужних женщин не держат,— сказала Джулия.— Считается ведь, что девушки — чистые создания. Перед тобой пример обратного.

Первый роман у нее был в шестнадцать лет — с шестидесятилетним партийцем, который впоследствии покончил с собой, чтобы избежать ареста. «И правильно сделал,— добавила Джулия.— У него бы и мое имя вытянули на допросе». После этого у нее были разные другие. Жизнь в ее представлении была штука простая. Ты хочешь жить весело; «они», то есть партия, хотят тебе помешать; ты нарушаешь правила как можешь. То, что «они» хотят отнять у тебя удовольствия, казалось ей таким же естественным, как то, что ты не хочешь попасться. Она ненавидела партию и выражала это самыми грубыми словами, но в целом ее не критиковала. Партийным учением Джулия интересовалась лишь в той степени, в какой оно затрагивало ее личную жизнь. Уинстон заметил, что и новоязовских слов она не употребляет — за исключением тех, которые вошли в общий обиход. О Братстве она никогда не слышала и верить в его существование не желала. Любой организованный бунт против партии, поскольку он обречен, представлялся ей глупостью. Умный тот, кто нарушает правила и все-таки остается жив. Уинстон рассеянно спросил себя, много ли таких, как она, в молодом поколении — среди людей, которые выросли в революционном мире, ничего другого не знают и прини-

мают партию как нечто незыблемое, как небо, не восстают против ее владычества, а просто пытаются из-под него ускользнуть, как кролик от собаки.

О женитьбе они не заговаривали. Слишком призрачное дело — не стоило о нем и думать. Даже если бы удалось избавиться от Кэтрин, жены Уинстона, ни один комитет не даст им разрешения. Даже как мечта это безнадежно.

— Какая она была — твоя жена? — спросила Джулия.

— Она?.. Ты знаешь, в новоязе есть слово «благомыслящий». Означает: правоверный от природы, не способный на дурную мысль.

— Нет, слова не знаю, а породу эту знаю, и даже очень.

Он стал рассказывать ей о своей супружеской жизни, но, как ни странно, все самое главное она знала и без него. Она описала ему, да так, словно сама видела или чувствовала, как цепенела при его прикосновении Кэтрин, как, крепко обнимая его, в то же время будто отталкивала изо всей силы. С Джулией ему было легко об этом говорить, да и Кэтрин из мучительного воспоминания давно превратилась всего лишь в противное.

— Я бы вытерпел, если бы не одна вещь.— Он рассказал ей о маленькой холодной церемонии, к которой его принуждала Кэтрин, всегда в один и тот же день недели.— Терпеть этого не могла, но помешать ей было нельзя никакими силами. У нее это называлось... никогда не догадаешься.

— Наш партийный долг,— без промедления отозвалась Джулия.

— Откуда ты знаешь?

— Милый, я тоже ходила в школу. После шестнадцати лет — раз в месяц беседы на половые темы. И в Союзе юных. Это вбивают годами. И я бы сказала, во многих случаях действует. Конечно, никогда не угадаешь: люди — лицемеры...

Она увлеклась темой. У Джулии все неизменно сводилось к ее сексуальности. И когда речь заходила об этом, ее суждения бывали очень проницательны. В отличие от Уинстона она поняла смысл пуританства, насаждаемого партией. Дело не только в том, что половой инстинкт творит свой собственный мир, который неподвластен партии, а значит, должен быть по возможности уничтожен. Еще важнее то, что половой голод вызывает истерию, а она желательна, ибо ее можно преобразовать в военное неистовство и в поклонение вождю. Джулия выразила это так:

— Когда спишь с человеком, тратишь энергию; а потом тебе хорошо и на все наплевать. Им это — поперек горла. Они хотят, чтобы энергия в тебе бурлила постоянно. Вся эта маршировка, крики, махание флагами — просто секс протухший. Если ты сам по себе счастлив, зачем тебе возбуждаться из-за Старшего Брата, трехлетних планов, двухминуток ненависти и прочей гнусной ахинеи?

Очень верно, подумал он. Между воздержанием и политической правоверностью есть прямая и тесная связь. Как еще

разогреть до нужного градуса ненависть, страх и кретинскую доверчивость, если не закупорив наглухо какой-то могучий инстинкт, дабы он превратился в топливо? Половое влечение было опасно для партии, и партия поставила его себе на службу. Такой же фокус проделали с родительским инстинктом. Семью отменить нельзя; напротив, любовь к детям, сохранившуюся почти в прежнем виде, поощряют. Детей же систематически настраивают против родителей, учат шпионить за ними и доносить об их отклонениях. По существу, семья стала придатком полиции мыслей. К каждому человеку круглые сутки приставлен осведомитель — его близкий.

Неожиданно мысли Уинстона вернулись к Кэтрин. Если бы Кэтрин была не так глупа и смогла уловить неортодоксальность его мнений, она непременно донесла бы в полицию мыслей. А напомнили ему о жене зной и духота, испарина на лбу. Он стал рассказывать Джулии о том, что произошло, а вернее, не произошло в такой же жаркий день одиннадцать лет назад.

Случилось это через три или четыре месяца после женитьбы. В туристском походе, где-то в Кенте, они отстали от группы. Замешкались на какие-нибудь две минуты, но повернули не туда и вскоре вышли к старому меловому карьеру. Путь им преградил обрыв в десять или двадцать метров; на дне лежали валуны. Спросить дорогу было не у кого. Сообразив, что они сбились с пути, Кэтрин забеспокоилась. Отстать от шумной ватаги туристов хотя бы на минуту для нее уже было нарушением. Она хотела сразу бежать назад, искать группу в другой стороне. Но тут Уинстон заметил дербенник, росший пучками в трещинах каменного обрыва. Один был с двумя цветками — ярко-красным и кирпичным,— они росли из одного корня. Уинстон ничего подобного не видел и позвал Кэтрин.

— Кэтрин, смотри! Смотри, какие цветы. Вон тот кустик в самом низу. Видишь, двухцветный?

Она уже пошла прочь, но вернулась, не скрывая раздражения. И даже наклонилась над обрывом, чтобы разглядеть, куда он показывает. Уинстон стоял сзади и придерживал ее за талию. Вдруг ему пришло в голову, что они здесь совсем одни. Ни души кругом, листик не шелохнется, птицы и те затихли. В таком месте можно было почти не бояться скрытого микрофона, да если и есть микрофон — что он уловит, кроме звука? Был самый жаркий, самый сонный послеполуденный час. Солнце палило, пот щекотал лицо. И у него мелькнула мысль...

— Толкнул бы ее как следует,— сказала Джулия.— Я бы обязательно толкнула.

— Да, милая, ты бы толкнула. И я бы толкнул, будь я таким, как сейчас. А может... Не уверен.

— Жалеешь, что не толкнул?

— Да. В общем, жалею.

Они сидели рядышком на пыльном полу. Он притянул ее поближе. Голова ее легла ему на плечо, и свежий запах ее волос был сильнее, чем запах голубиного помета. Она еще очень молодая, подумал он, еще ждет чего-то от жизни, она не пони-

мает, что, столкнув неприятного человека с кручи, ничего не решишь.

— По сути, это ничего бы не изменило.

— Тогда почему жалеешь, что не столкнул?

— Только потому, что действие предпочитаю бездействию. В этой игре, которую мы ведем, выиграть нельзя. Одни неудачи лучше других — вот и все.

Джулия упрямо передернула плечами. Когда он высказывался в таком духе, она ему возражала. Она не желала признавать законом природы то, что человек обречен на поражение. В глубине души она знала, что приговорена, что рано или поздно полиция мыслей настигнет ее и убьет, но вместе с тем верила, будто можно выстроить отдельный тайный мир и жить там как тебе хочется. Для этого нужно только везение да еще ловкость и дерзость. Она не понимала, что счастья не бывает, что победа возможна только в отдаленном будущем и тебя к тому времени давно не будет на свете, что с той минуты, когда ты объявил партии войну, лучше всего считать себя трупом.

— Мы покойники,— сказал он.

— Еще не покойники,— прозаически поправила его Джулия.

— Не телесно. Через полгода, через год... ну, предположим, через пять. Я боюсь смерти. Ты молодая и, надо думать, боишься больше меня. Ясно, что мы будем оттягивать ее как можем. Но разница маленькая. Покуда человек остается человеком, смерть и жизнь — одно и то же.

— Тьфу, чепуха. С кем ты захочешь спать — со мной или со скелетом? Ты не радуешься тому, что жив? Тебе неприятно чувствовать: вот я, вот моя рука, моя нога, я хожу, я дышу, я живу! *Это* тебе не нравится?

Она повернулась и прижалась к нему грудью. Он чувствовал ее грудь сквозь комбинезон — спелую, но твердую. В его тело будто переливалась молодость и энергия из ее тела.

— Нет, это мне нравится,— сказал он.

— Тогда перестань говорить о смерти. А теперь слушай, милый, нам надо условиться о следующей встрече. Свободно можем поехать на то место, в лес. Перерыв был вполне достаточный. Только ты должен добираться туда другим путем. Я уже все рассчитала. Садишься в поезд... подожди, я тебе нарисую.

И практичная, как всегда, она сгребла в квадратик пыль на полу и хворостинкой из голубиного гнезда стала рисовать карту.

IV

Уинстон обвел взглядом запущенную комнатушку над лавкой мистера Чаррингтона. Широченная с голым валиком кровать возле окна была застлана драными одеялами. На каминной доске тикали старинные часы с двенадцатичасовым циферблатом. В темном углу на раздвижном столе поблескивало стеклянное пресс-папье, которое он принес сюда в прошлый раз.

В камине стояла помятая керосинка, кастрюля и две чашки — все это было выдано мистером Чаррингтоном. Уинстон зажег керосинку и поставил кастрюлю с водой. Он принес с собой полный конверт кофе «Победа» и сахариновые таблетки. Часы показывали двадцать минут восьмого, это значило 19.20. Она должна была прийти в 19.30.

Безрассудство, безрассудство! — твердило ему сердце: самоубийственная прихоть и безрассудство. Из всех преступлений, какие может совершить член партии, это скрыть труднее всего. Идея зародилась у него как видение: стеклянное пресс-папье, отразившееся в крышке раздвижного стола. Как он и ожидал, мистер Чаррингтон охотно согласился сдать комнату. Он был явно рад этим нескольким лишним долларам. А когда Уинстон объяснил ему, что комната нужна для свиданий с женщиной, он и не оскорбился и не перешел на противный доверительный тон. Глядя куда-то мимо, он завел разговор на общие темы, причем с такой деликатностью, что сделался как бы отчасти невидим. Уединиться, сказал он, для человека очень важно. Каждому время от времени хочется побыть одному. И когда человек находит такое место, те, кто об этом знает, должны хотя бы из простой вежливости держать эти сведения при себе. Он добавил — причем создалось впечатление, будто его уже здесь почти нет,— что в доме два входа, второй — со двора, а двор открывается в проулок.

Под окном кто-то пел. Уинстон выглянул, укрывшись за муслиновой занавеской. Июньское солнце еще стояло высоко, а на освещенном дворе топала взад-вперед между корытом и бельевой веревкой громадная, мощная, как норманнский столб, женщина с красными мускулистыми руками и развешивала квадратные тряпочки, в которых Уинстон угадал детские пеленки. Когда ее рот освобождался от прищепок, она запевала сильным контральто:

Давно уж нет мечтаний, сердцу милых.
Они прошли, как первый день весны.
Но позабыть я и теперь не в силах
Тем голосом навеянные сны!

Последние недели весь Лондон был помешан на этой песенке. Их в бесчисленном множестве выпускала для пролов особая секция музыкального отдела. Слова сочинялись вообще без участия человека — на аппарате под названием «версификатор». Но женщина пела так мелодично, что эта страшная дребедень почти радовала слух. Уинстон слышал и ее песню, и шарканье ее туфель по каменным плитам, и детские выкрики на улице, и отдаленный гул транспорта, но при всем этом в комнате стояла удивительная тишина: тут не было телекрана.

Безрассудство, безрассудство! — снова подумал он. Несколько недель встречаться здесь и не попасться — мыслимое ли дело? Но слишком велико для них было искушение иметь *свое место*, под крышей и недалеко. После свидания на коло-

кольне они никак не могли встретиться. К Неделе ненависти рабочий день резко удлинили. До нее еще оставалось больше месяца, но громадные и сложные приготовления всем прибавили работы. Наконец Джулия и Уинстон выхлопотали себе свободное время после обеда в один день. Решили поехать на прогалину. Накануне они ненадолго встретились на улице. Пока они пробирались навстречу друг другу в толпе, Уинстон по обыкновению почти не смотрел в сторону Джулии, но даже одного взгляда ему было достаточно, чтобы заметить ее бледность.

— Все сорвалось,— пробормотала она, когда увидела, что можно говорить.— Я о завтрашнем.

— Что?

— Завтра. Не смогу после обеда.

— Почему?

— Да обычная история. В этот раз рано начали.

Сперва он ужасно рассердился. Теперь, через месяц после их знакомства, его тянуло к Джулии совсем по-другому. Тогда настоящей чувственности в этом было мало. Их первое любовное свидание было просто волевым поступком. Но после второго все изменилось. Запах ее волос, вкус губ, ощущение от ее кожи будто поселились в нем или же пропитали весь воздух вокруг. Она стала физической необходимостью, он ее не только хотел, но и как бы имел на нее право. Когда она сказала, что не сможет прийти, ему почудилось, что она его обманывает. Но тут как раз толпа прижала их друг к другу, и руки их нечаянно соединились. Она быстро сжала ему кончики пальцев, и это пожатие как будто просило не страсти, а просто любви. Он подумал, что, когда живешь с женщиной, такие осечки в порядке вещей и должны повторяться; и вдруг почувствовал глубокую, незнакомую доселе нежность к Джулии. Ему захотелось, чтобы они были мужем и женой и жили вместе уже десять лет. Ему захотелось идти с ней по улице, как теперь, только не таясь, без страха, говорить о пустяках и покупать всякую ерунду для дома. А больше всего захотелось найти такое место, где они смогли бы побыть вдвоем и не чувствовать, что обязаны урвать любви на каждом свидании. Однако не тут, а только на другой день родилась у него мысль снять комнату у мистера Чаррингтона. Когда он сказал об этом Джулии, она на удивление быстро согласилась. Оба понимали, что это — сумасшествие. Они сознательно делали шаг к могиле. И сейчас, сидя на краю кровати, он думал о подвалах министерства любви. Интересно, как этот неотвратимый кошмар то уходит из твоего сознания, то возвращается. Вот он поджидает тебя где-то в будущем, и смерть следует за ним так же, как за девяноста девятью следует сто. Его не избежать, но оттянуть, наверное, можно; а вместо этого каждым таким поступком ты умышленно, добровольно его приближаешь.

На лестнице послышались быстрые шаги. В комнату ворвалась Джулия. У нее была коричневая брезентовая сумка для инструментов — с такой он не раз видел ее в министерстве.

Он было обнял ее, но она поспешно освободилась — может быть, потому, что еще держала сумку.

— Подожди,— сказала она.— Дай покажу, что я притащила. Ты принес эту гадость, кофе «Победа»? Так и знала. Можешь отнести его туда, откуда взял,— он не понадобится. Смотри.

Она встала на колени, раскрыла сумку и вывалила лежавшие сверху гаечные ключи и отвертку. Под ними были спрятаны аккуратные бумажные пакеты. В первом, который она протянула Уинстону, было что-то странное, но как будто знакомое на ощупь. Тяжелое вещество подавалось под пальцами, как песок.

— Это не сахар? — спросил он.

— Настоящий сахар. Не сахарин, а сахар. А вот батон хлеба — порядочного белого хлеба, не нашей дряни... и баночка джема. Тут банка молока... и смотри! Вот моя главная гордость! Пришлось завернуть в мешковину, чтобы...

Но она могла не объяснять, зачем завернула. Запах уже наполнил комнату, густой и теплый; повеяло ранним детством, хотя и теперь случалось этот запах слышать: то в проулке им потянет до того, как захлопнулась дверь, то таинственно расплывется он вдруг в уличной толпе и тут же рассеется.

— Кофе,— пробормотал он,— настоящий кофе.

— Кофе для внутренней партии. Целый килограмм.

— Где ты столько всякого достала?

— Продукты для внутренней партии. У этих сволочей есть все на свете. Но, конечно, официанты и челядь воруют... смотри, еще пакетик чаю.

Уинстон сел рядом с ней на корточки. Он надорвал угол пакета.

— И чай настоящий. Не черносмородинный лист.

— Чай в последнее время появился. Индию заняли или вроде того,— рассеянно сказала она.— Знаешь что, милый? Отвернись на три минуты, ладно? Сядь на кровать с другой стороны. Не подходи близко к окну. И не оборачивайся, пока не скажу.

Уинстон праздно глядел на двор из-за муслиновой занавески. Женщина с красными руками все еще расхаживала между корытом и веревкой. Она вынула изо рта две прищепки и с сильным чувством запела:

Пусть говорят мне: время все излечит,
Пусть говорят: страдания забудь.
Но музыка давно забытой речи
Мне и сегодня разрывает грудь!

Всю эту идиотскую песенку она, кажется, знала наизусть. Голос плыл в нежном летнем воздухе, очень мелодичный, полный какой-то счастливой меланхолии. Казалось, что она будет вполне довольна, если никогда не кончится этот летний вечер, не иссякнут запасы белья, и готова хоть тысячу лет развешивать тут пеленки и петь всякую чушь. Уинстон с удив-

лением подумал, что ни разу не видел партийца, поющего в одиночку и для себя. Это сочли бы даже вольнодумством, опасным чудачеством, вроде привычки разговаривать с собой вслух. Может быть, людям только тогда и есть о чем петь, когда они на грани голода.

— Можешь повернуться,— сказала Джулия.

Уинстон обернулся и не узнал ее. Он ожидал увидеть ее голой. Но она была не голая. Превращение ее оказалось куда замечательнее. Она накрасилась.

Должно быть, она украдкой забежала в какую-нибудь из пролетарских лавочек и купила полный набор косметики. Губы — ярко-красные от помады, щеки нарумянены, нос напудрен; и даже глаза подвела: они стали ярче. Сделала она это не очень умело, но и запросы Уинстона были весьма скромны. Он никогда не видел и не представлял себе партийную женщину с косметикой на лице. Джулия похорошела удивительно. Чуть-чуть краски в нужных местах — и она стала не только красивее, но и, самое главное, женственнее. Короткая стрижка и мальчишеский комбинезон лишь усиливали впечатление. Когда он обнял Джулию, на него пахнуло синтетическим запахом фиалок. Он вспомнил сумрак полуподвальной кухни и рот женщины, похожий на пещеру. От нее пахло теми же духами, но сейчас это не имело значения.

— Духи! — сказал он.

— Да, милый, духи. И знаешь, что я теперь сделаю? Где-нибудь достану настоящее платье и надену вместо этих гнусных брюк. Надену шелковые чулки и туфли на высоком каблуке. В этой комнате я буду женщина, а не товарищ!

Они скинули одежду и забрались на громадную кровать из красного дерева. Он впервые разделся перед ней догола. До сих пор он стыдился своего бледного хилого тела, синих вен на икрах, красного пятна над щиколоткой. Белья не было, но одеяло под ними было вытертое и мягкое, а ширина кровати обоих изумила.

— Клопов, наверно, тьма, но какая разница? — сказала Джулия.

Двуспальную кровать можно было увидеть только в домах у пролов. Уинстон спал на похожей в детстве; Джулия, сколько помнила, не лежала на такой ни разу.

После они ненадолго уснули. Когда Уинстон проснулся, стрелки часов подбирались к девяти. Он не шевелился — Джулия спала у него на руке. Почти все румяна перешли на его лицо, на валик, но и то немногое, что осталось, все равно оттеняло красивую лепку ее скулы. Желтый луч закатного солнца падал на изножье кровати и освещал камин — там давно кипела вода в кастрюле. Женщина на дворе уже не пела, с улицы негромко доносились выкрики детей. Он лениво подумал: неужели в отмененном прошлом это было обычным делом — мужчина и женщина могли лежать в постели прохладным вечером, ласкать друг друга когда захочется, разговаривать о чем вздумается и никуда не спешить — просто лежать и слушать мир-

ный уличный шум? Нет, не могло быть такого времени, когда это считалось нормальным. Джулия проснулась, протерла глаза и, приподнявшись на локте, поглядела на керосинку.

— Вода наполовину выкипела,— сказала она.— Сейчас встану, заварю кофе. Еще час есть. У тебя в доме когда выключают свет?

— В двадцать три тридцать.

— А в общежитии — в двадцать три. Но возвращаться надо раньше, иначе... Ах ты! Пошла, гадина!

Она свесилась с кровати, схватила с пола туфлю и, размахнувшись по-мальчишески, швырнула в угол, как тогда на двухминутке ненависти — словарем в Голдстейна.

— Что там такое? — с удивлением спросил он.

— Крыса. Из панели, тварь, морду высунула. Нора у ней там. Но я ее хорошо пугнула.

— Крысы! — прошептал Уинстон.— В этой комнате?

— Да их полно,— равнодушно ответила Джулия и снова легла.— В некоторых районах кишмя кишат. А ты знаешь, что они нападают на детей? Нападают. Кое-где женщины на минуту не могут оставить грудного. Бояться надо старых, коричневых. А самое противное — что эти твари...

— Перестань! — Уинстон крепко зажмурил глаза.

— Миленький! Ты прямо побледнел. Что с тобой? Не переносишь крыс?

— Крыс... Нет ничего страшней на свете.

Она прижалась к нему, обвила его руками и ногами, словно хотела успокоить теплом своего тела. Он не сразу открыл глаза. Несколько мгновений у него было такое чувство, будто его погрузили в знакомый кошмар, который посещал его на протяжении всей жизни. Он стоит перед стеной мрака, а за ней — что-то невыносимое, настолько ужасное, что нет сил смотреть. Главным во сне было ощущение, что он себя обманывает: на самом деле ему известно, чтó находится за стеной мрака. Чудовищным усилием, выворотив кусок собственного мозга, он мог бы даже извлечь это на свет. Уинстон всегда просыпался, так и не выяснив, что там скрывалось... И вот прерванный на середине рассказ Джулии имел какое-то отношение к его кошмару.

— Извини,— сказал он.— Пустяки. Крыс не люблю, больше ничего.

— Не волнуйся, милый, мы этих тварей сюда не пустим. Перед уходом заткну дыру тряпкой. А в следующий раз принесу штукатурку и забью как следует.

Черный миг паники почти выветрился из головы. Слегка устыдившись, Уинстон сел к изголовью. Джулия слезла с кровати, надела комбинезон и сварила кофе. Аромат из кастрюли был до того силен и соблазнителен, что они закрыли окно: почует кто-нибудь на дворе и станет любопытничать. Самым приятным в кофе был даже не вкус, а шелковистость на языке, которую придавал сахар,— ощущение, почти забытое за многие годы питья с сахарином. Джулия, засунув одну руку в кар-

ман, а в другой держа бутерброд с джемом, бродила по комнате, безразлично скользила взглядом по книжной полке, объясняла, как лучше всего починить раздвижной стол, падала в кресло — проверить, удобное ли,— весело и снисходительно разглядывала двенадцатичасовой циферблат. Принесла на кровать, поближе к свету, стеклянное пресс-папье. Уинстон взял его в руки и в который раз залюбовался мягкой дождевой глубиною стекла.

— Для чего эта вещь, как думаешь? — спросила Джулия.

— Думаю, ни для чего... то есть ею никогда не пользовались. За это она мне и нравится. Маленький обломок истории, который забыли переделать. Весточка из прошлого века — знать бы, как ее прочесть.

— А картинка на стене,— она показала подбородком на гравюру,— неужели тоже прошлого века?

— Старше. Пожалуй, позапрошлого. Трудно сказать. Теперь ведь возраста ни у чего не установишь.

Джулия подошла к гравюре поближе.

— Вот откуда эта тварь высовывалась,— сказала она и пнула стену прямо под гравюрой.— Что это за дом? Я его где-то видела.

— Это церковь — по крайней мере была церковью. Называлась церковь святого Климента у датчан.— Он вспомнил начало стишка, которому его научил мистер Чаррингтон, и с грустью добавил: — Апельсинчики как мед, в колокол Сент-Клемент бьет.

К его изумлению она подхватила:

И звонит Сент-Мартин:
Отдавай мне фартинг!
А Олд-Бейли, ох, сердит,
Возвращай должок! — гудит.

Что там дальше, не могу вспомнить. Помню только, чем кончается: «Вот зажгу я пару свеч — ты в постельку можешь лечь. Вот возьму я острый меч — и головка твоя с плеч».

Это было как пароль и отзыв. Но после «Олд-Бейли» должно идти что-то еще. Может быть, удастся извлечь из памяти мистера Чаррингтона — если правильно его настроить.

— Кто тебя научил? — спросил он.

— Дед научил. Я была еще маленькой. Его распылили, когда мне было восемь лет... во всяком случае, он исчез... Интересно, какие они были, апельсины,— неожиданно сказала она.— А лимоны я видела. Желтоватые, остроносые.

— Я помню лимоны,— сказал Уинстон.— В пятидесятые годы их было много. Такие кислые, что только понюхаешь, и то уже слюна бежит.

— За картинкой наверняка живут клопы,— сказала Джулия.— Как-нибудь сниму ее и хорошенько почищу. Кажется, нам пора. Мне еще надо смыть краску. Какая тоска! А потом сотру с тебя помаду.

Уиистои еще иесколько мииут повалялся. В комиате темиело. Ои повериулся к свету и стал смотреть иа пресс-папье. Не коралл, а внутреииость самого стекла — вот что без коица притягивало взгляд. Глубииа и вместе с тем почти воздушная его прозрачность. Подобно иебесиому своду, стекло замкнуло в себе целый крохотиый мир вместе с атмосферой. И чудилось Уиистоиу, что ои мог бы попасть виутрь, что ои *уже* виутри — и ои, и эта кровать красного дерева, и раздвижиой стол, и часы, и гравюра, и само пресс-папье. Оио было этой комнатой, а коралл — жизнью его и Джулии, запаяниой, словио в вечиость, в сердцевииу хрусталя.

V

Исчез Сайм. Утром ие пришел иа работу; иедалекие люди поговорили о его отсутствии. На другой день о нем иикто ие вспоминал. На третий Уиистои сходил в вестибюль отдела докумеитации и посмотрел на доску объявлений. Там был печатиый список Шахматного комитета, где состоял Сайм. Список выглядел почти как раньше — иикто не вычеркиут,— только стал иа одну фамилию короче. Все ясио. Сайм перестал существовать; ои иикогда ие существовал.

Жара стояла изнурительная. В мииистерских лабириитах, в кабииах без окон коидиционеры поддерживали нормальиую температуру, ио иа улице тротуар обжигал иоги, и воиь в метро в часы пик была иесусветиая. Приготовления к Неделе иеиависти шли полиым ходом, и сотрудиики мииистерств работали сверхурочно. Шествия, митииги, военные парады, лекции, выставки восковых фигур, показ киiофильмов, специальиые телепрограммы — все это иадо было организовать; иадо было построить трибуны, смонтировать статуи, отшлифовать лозуиги, сочииить песии, запустить слухи, подделать фотографии. В отделе литературы секцию Джулии сняли с ромаиов и бросили иа брошюры о зверствах. Уиистон в дополиеиие к обычиой работе подолгу просиживал за подшивками «Таймс», меияя и разукрашивая сообщеиия, которые предстояло цитировать в докладах. Поздиими вечерами, когда по улицам бродили толпы буйиых пролов, Лоидон словио лихорадило. Ракеты падали иа город чаще обычиого, а иногда в отдалеиии слышались чудовищиые взрывы — объясиить эти взрывы иикто ие мог, и о иих ползли дикие слухи.

Сочинеиа уже была и беспрерывио передавалась по телекраиу музыкальиая тема Недели — иовая мелодия под иазванием «Песия иеиависти». Построеиная иа свирепом, лающем ритме и мало чем похожая иа музыку, она больше всего напоминала барабанный бой. Когда ее орали в тысячу глоток, под топот иог, впечатление получалось устрашающее. Оиа полюбилась пролам и тесиила иа иочиых улицах до сих пор популяриую «Давио уж иет мечтаиий». Дети Парсонса исполияли ее в любой час дня и иочи, убийствеиио, иа гребеиках. Теперь вечера Уиистона были загружеиы еще больше. Отряды

добровольцев, набранные Парсонсом, готовили улицу к Неделе ненависти, делали транспаранты, рисовали плакаты, ставили на крышах флагштоки, с опасностью для жизни натягивали через улицу проволоку для будущих лозунгов. Парсонс хвастал, что дом «Победа» один вывесит четыреста погонных метров флагов и транспарантов. Он был в своей стихии и радовался как дитя. Благодаря жаре и физическому труду он имел полное основание переодеваться вечером в шорты и свободную рубашку. Он был повсюду одновременно — тянул, толкал, пилил, заколачивал, изобретал, по-товарищески подбадривал и каждой складкой неиссякаемого тела источал едко пахнущий пот.

Вдруг весь Лондон украсился новым плакатом. Без подписи: огромный, в три-четыре метра, евразийский солдат с непроницаемым монголоидным лицом и в гигантских сапогах шел на зрителя с автоматом, целясь от бедра. Где бы ты ни стал, увеличенное перспективой дуло автомата смотрело на тебя. Эту штуку клеили на каждом свободном месте, на каждой стене, и численно она превзошла даже портреты Старшего Брата. У пролов, войной обычно не интересовавшихся, сделался, как это периодически с ними бывало, припадок патриотизма. И, словно для поддержания воинственного духа, ракеты стали уничтожать больше людей, чем всегда. Одна угодила в переполненный кинотеатр в районе Степни и погребла под развалинами несколько сот человек. На похороны собрались все жители района; процессия тянулась несколько часов и вылилась в митинг протеста. Другая ракета упала на пустырь, занятый под детскую площадку, и разорвала в клочья несколько десятков детей. Снова были гневные демонстрации, жгли чучело Голдстейна, сотнями срывали и предавали огню плакаты с евразийцем; во время беспорядков разграбили несколько магазинов; потом разнесся слух, что шпионы наводят ракеты при помощи радиоволн,— у старой четы, заподозренной в иностранном происхождении, подожгли дом, и старики задохнулись в дыму.

В комнате над лавкой мистера Чаррингтона Джулия и Уинстон ложились на незастланную кровать и лежали под окном голые из-за жары. Крыса больше не появлялась, но клоп плодился в тепле ужасающе. Их это не трогало. Грязная ли, чистая ли, комната была раем. Едва переступив порог, они посыпа́ли все перцем, купленным на черном рынке, скидывали одежду и, потные, предавались любви; потом их смаривало, а проснувшись, они обнаруживали, что клопы воспряли и стягиваются для контратаки.

Четыре, пять, шесть... семь раз встречались они так в июне. Уинстон избавился от привычки пить джин во всякое время дня. И как будто не испытывал в нем потребности. Он пополнел, варикозная язва его затянулась, оставив после себя только коричневое пятно над щиколоткой; прекратились и утренние приступы кашля. Процесс жизни перестал быть невыносимым; Уинстона уже не подмывало, как раньше, скорчить рожу теле-

крану или выругаться во весь голос. Теперь, когда у иих было иадежиое пристанище, почти свой дом, ие казалось лишением даже то, что приходить сюда оии могут только изредка и иа какие-нибудь два часа. Важно было, что у них есть эта комиата над лавкой старьевщика. Знать, что она есть и неприкосиовенна,— почти то же самое, что находиться в ией. Комиата была миром, заказииком прошлого, где могут бродить вымершие животные. Мистер Чаррингтои тоже вымершее животное, думал Уинстон. По дороге наверх ои останавливался поговорить с хозяиином. Старик, по-видимому, редко выходил иа улицу, если вообще выходил; с другой стороны, и покупателей у иего почти ие бывало. Незаметиая жизнь его протекала между крохотиой темной лавкой и еще более крохотиой кухонькой в тылу, где ои стряпал себе еду и где стоял среди прочих предметов иевероятио древний граммофон с огромнейшим раструбом. Старик был рад любому случаю поговорить. Длииионосый и сутулый, в толстых очках и бархатиом пиджаке, ои бродил среди своих бесполезных товаров, похожий скорее иа коллекциоиера, чем иа торговца. С иесколько остывшим энтузиазмом он брал в руку тот или иной пустяк — фарфоровую затычку для бутылки, разрисоваииую крышку бывшей табакерки, латунный медальон с прядкой волос иеведомого и давно умершего ребеика,— ие купить предлагая Уинстону, а просто полюбоваться. Беседовать с ним было все равно что слушать звои изиошеииой музыкальиой шкатулки. Он извлек из закоулков своей памяти еще несколько забытых детских стишков. Одии был: «Птицы в пироге», другой про корову с гнутым рогом, а еще одии про смерть малиновки. «Я подумал, что вам это может быть иитересио»,— говорил ои с иеодобрительным смешком, воспроизведя очередиой отрывок. Но ни в одном стихотворении он ие мог припомиить больше двух-трех строк.

Оии с Джулией поиимали — и, можно сказать, все время помнили,— что долго продолжаться это ие может. В иные минуты грядущая смерть казалась ие меиее ощутимой, чем кровать под ними, и они прижимались друг к другу со страстью отчаяиия — как обреченный хватает последиие крохи наслаждения за пять минут до боя часов. Впрочем, бывали такие дни, когда они тешили себя иллюзией ие только безопасиости, но и постояиства. Им казалось, что в этой комнате с ними не может случиться ничего плохого. Добираться сюда трудио и опасно, но сама комната — убежище. С похожим чувством Уинстои вглядывался однажды в пресс-папье: казалось, что можно попасть в сердцевииу стеклянного мира и, когда очутишься там, время остановится. Они часто предавались грезам о спасеиии. Удача их не покинет, и ромаи их ие коичится, пока оии ие умрут своей смертью. Или Кэтрин отправится иа тот свет, и путем разных ухищреиий Уииcтон с Джулией добьются разрешения иа брак. Или оии вместе покончат с собой. Или скроются: измеият виешиость, иаучатся пролетарскому выговору, устроятся на фабрику и, иикем ие узианные, доживут свой век иа задворках. Оба знали, что все это ерунда. В дейст-

вительности спасения нет. Реальным был один план — самоубийство, но и его они не спешили осуществить. В подвешенном состоянии, день за днем, из недели в неделю тянуть настоящее без будущего велел им непобедимый инстинкт — так легкие всегда делают следующий вдох, покуда есть воздух.

А еще они иногда говорили о деятельном бунте против партии — но не представляли себе, с чего начать. Даже если мифическое Братство существует, как найти к нему путь? Уинстон рассказал ей о странной близости, возникшей — или как будто возникшей — между ним и О'Брайеном, и о том, что у него бывает желание прийти к О'Брайену, объявить себя врагом партии и попросить помощи. Как ни странно, Джулия не сочла эту идею совсем безумной. Она привыкла судить о людях по лицам, и ей казалось естественным, что, один раз переглянувшись с О'Брайеном, Уинстон ему поверил. Она считала само собой разумеющимся, что каждый человек, почти каждый, тайно ненавидит партию и нарушит правила, если ему это ничем не угрожает. Но она отказывалась верить, что существует и может существовать широкое организованное сопротивление. Рассказы о Голдстейне и его подпольной армии — ахинея, придуманная партией для собственной выгоды, а ты должен делать вид, будто веришь. Невесть сколько раз на партийных собраниях и стихийных демонстрациях она надсаживала горло, требуя казнить людей, чьих имен никогда не слышала и в чьи преступления не верила ни секунды. Когда происходили открытые процессы, она занимала свое место в отрядах Союза юных, с утра до ночи стоявших в оцеплении вокруг суда, и выкрикивала с ними: «Смерть предателям!» На двухминутках ненависти громче всех поносила Голдстейна. При этом очень смутно представляла себе, кто такой Голдстейн и в чем состоят его теории. Она выросла после революции и по молодости лет не помнила идеологические баталии пятидесятых и шестидесятых годов. Независимого политического движения она представить себе не могла; да и в любом случае партия неуязвима. Партия будет всегда и всегда будет такой же. Противиться ей можно только тайным неповиновением, самое большее — частными актами террора: кого-нибудь убить, что-нибудь взорвать.

В некоторых отношениях она была гораздо проницательнее Уинстона и меньше подвержена партийной пропаганде. Однажды, когда он обмолвился в связи с чем-то о войне с Евразией, Джулия ошеломила его, небрежно сказав, что, по ее мнению, никакой войны нет. Ракеты, падающие на Лондон, может быть, пускает само правительство, «чтобы держать людей в страхе». Ему такая мысль просто не приходила в голову. А один раз он ей даже позавидовал: когда она сказала, что на двухминутках ненависти самое трудное для нее — удержаться от смеха. Но партийные идеи она подвергала сомнению только тогда, когда они прямо затрагивали ее жизнь. Зачастую она готова была принять официальный миф просто потому, что ей казалось неважным, ложь это или правда. Например, она ве-

рила, что партня нзобрела самолет,— так ее научнли в школе. (Когда Уннстон был школьннком — в конце 50-х годов,— партня претендовала только на нзобретение вертолета; десятью годамн позже, когда в школу пошла Джулня, нзобретеннем партнн стал уже и самолет, еще одно поколение — и она нзобретет паровую машнну.) Когда он сказал Джулин, что самолеты леталн до его рождения и задолго до революцнн, ее это нисколько не взволновало. В конце концов какая разннца, кто нзобрел самолет? Но больше поразило его другое: как выяснилось из одной мнмоходом брошенной фразы, Джулня не помнила, что четыре года назад у них с Евразией был мнр, а война — с Остазией. Правда, войну она вообще считала мошенничеством; но что противннк теперь другой, она даже не заметила. «Я думала, мы всегда воевалн с Евразией»,— сказала она равнодушно. Его это немного нспугало. Самолет нзобрели задолго до ее рождения, но враг-то переменился всего четыре года назад, она была уже вполне взрослой. Он растолковывал ей это, наверное, четверть часа. В конце концов ему удалось разбуднть ее память, н она с трудом вспомннла, что когда-то действнтельно врагом была не Евразня, а Остазня. Но отнеслась к этому безразлнчно. «Не все лн равно? — сказала она с раздраженнем.— Не одна сволочная война, так другая, и всем понятно, что сводкн врут».

Иногда он рассказывал ей об отделе документацнн, о том, как заннмаются наглымн подтасовками. Ее это не ужасало. Пропасть под ее ногами не разверзалась оттого, что ложь превращают в правду. Он рассказал ей о Джонсе, Аронсоне н Резерфорде, о том, как в руки ему попал клочок газеты — потрясающая улнка. На Джулню и это не пронзвело впечатлення. Она даже не сразу поняла смысл рассказа.

— Онн были твон друзья? — спросила она.

— Нет, я с нимн не был знаком. Онн были членамн внутренней партнн. Кроме того, онн гораздо старше меня. Это людн старого временн, дореволюцнонного. Я нх н в лнцо-то едва знал.

— Тогда почему столько пережнваний? Кого-то все время убивают, правда?

Он попытался объяснить.

— Это случай нсключнтельный. Дело не только в том, что кого-то убилн. Ты поннмаешь, что прошлое начнная со вчерашнего дня фактнческн отменено? Еслн оно где н уцелело, то только в материальных предметах, никак не привязанных к словам,— вроде этой стекляшкн. Ведь мы буквально ннчего уже не знаем о революцин н дореволюцнонной жнзни. Документы все до одного уннчтожены или подделаны, все книги нсправлены, картнны перепнсаны, статуи, улнцы и здання переименованы, все даты нзменены. И этот процесс не прерывается ни на однн день, ни на мннуту. История остановнлась. Нет ничего, кроме нескончаемого настоящего, где партия всегда права. *Я знаю*, конечно, что прошлое подделывают, но ннчем не смог бы это доказать — даже когда сам совершнл подделку. Как

только она совершена, свидетельства исчезают. Единственное свидетельство — у меня в голове, но кто поручится, что хоть у одного еще человека сохранилось в памяти то же самое? Только в тот раз, единственный раз в жизни, я располагал подлинным фактическим доказательством — *после* событий, несколько лет спустя.

— И что толку?

— Толку никакого, потому что через несколько минут я его выбросил. Но если бы такое произошло сегодня, я бы сохранил.

— А я — нет! — сказала Джулия.— Я согласна рисковать, но ради чего-то стоящего, не из-за клочков старой газеты. Ну сохранил ты его — и что бы ты сделал?

— Наверно, ничего особенного. Но это было доказательство. И кое в ком поселило бы сомнения — если бы я набрался духу кому-нибудь его показать. Я вовсе не воображаю, будто мы способны что-то изменить при нашей жизни. Но можно вообразить, что там и сям возникнут очажки сопротивления — соберутся маленькие группы людей, будут постепенно расти и, может быть, даже оставят после себя несколько документов, чтобы прочло следующее поколение и продолжило наше дело.

— Следующее поколение, милый, меня не интересует. Меня интересуем мы.

— Ты бунтовщица только ниже пояса,— сказал он.

Шутка показалась Джулии замечательно остроумной, и она в восторге обняла его.

Хитросплетения партийной доктрины ее не занимали совсем. Когда он рассуждал о принципах ангсоца, о двоемыслии, об изменчивости прошлого и отрицании объективной действительности, да еще употребляя новоязовские слова, она сразу начинала скучать, смущалась и говорила, что никогда не обращала внимания на такие вещи. Ясно ведь, что все это чепуха, так зачем волноваться? Она знает, когда кричать «ура» и когда улюлюкать — а больше ничего не требуется. Если он все-таки продолжал говорить на эти темы, она обыкновенно засыпала, чем приводила его в замешательство. Она была из тех людей, которые способны заснуть в любое время и в любом положении. Беседуя с ней, он понял, до чего легко представляться идейным, не имея даже понятия о самих идеях. В некотором смысле мировоззрение партии успешнее всего прививалось людям, не способным его понять. Они соглашаются с самыми вопиющими искажениями действительности, ибо не понимают всего безобразия подмены и, мало интересуясь общественными событиями, не замечают, что́ происходит вокруг. Непонятливость спасает их от безумия. Они глотают все подряд, и то, что они глотают, не причиняет им вреда, не оставляет осадка, подобно тому как кукурузное зерно проходит непереваренным через кишечник птицы.

VI

Случилось наконец. Пришла долгожданная весть. Всю жизнь, казалось ему, он ждал этого события.

Он шел по длинному коридору министерства и, приближаясь к тому месту, где Джулия сунула ему в руку записку, почувствовал, что по пятам за ним идет кто-то,— кто-то крупнее его. Неизвестный тихонько кашлянул, как бы намереваясь заговорить. Уинстон замер на месте, обернулся. Перед ним был О'Брайен.

Наконец-то они очутились с глазу на глаз, но Уинстоном владело как будто одно желание — бежать. Сердце у него выпрыгивало из груди. Заговорить первым он бы не смог. О'Брайен, продолжая идти прежним шагом, на миг дотронулся до руки Уинстона, и они пошли рядом. О'Брайен заговорил с важной учтивостью, которая отличала его от большинства членов внутренней партии.

— Я ждал случая с вами поговорить,— начал он.— На днях я прочел вашу статью на новоязе в «Таймс». Насколько я понимаю, ваш интерес к новоязу — научного свойства?

К Уинстону частично вернулось самообладание.

— Едва ли научного,— ответил он.— Я всего лишь дилетант. Это не моя специальность. В практической разработке языка я никогда не принимал участия.

— Но написана она очень изящно,— сказал О'Брайен.— Это не только мое мнение. Недавно я разговаривал с одним вашим знакомым — определенно специалистом. Не могу сейчас вспомнить его имя.

Сердце Уинстона опять заторопилось. Сомнений нет — речь о Сайме. Но Сайм не просто мертв, он отменен — *нелицо*. Даже завуалированное упоминание о нем смертельно опасно. Слова О'Брайена были ни чем иным, как сигналом, паролем. Совершив при нем это маленькое мыслепреступление, О'Брайен взял его в сообщники. Они продолжали медленно идти по коридору, но тут О'Брайен остановился. Поправил на носу очки — как всегда, в этом жесте было что-то обезоруживающее, дружелюбное. Потом продолжал:

— Я, в сущности, вот что хотел сказать: в вашей статье я заметил два слова, которые уже считаются устаревшими. Но устаревшими они стали совсем недавно. Вы видели десятое издание словаря новояза?

— Нет,— сказал Уинстон.— По-моему, оно еще не вышло. У нас в отделе документации пока пользуются девятым.

— Десятое издание, насколько я знаю, выпустят лишь через несколько месяцев. Но сигнальные экземпляры уже разосланы. У меня есть. Вам интересно было бы посмотреть?

— Очень интересно,— сказал Уинстон, сразу поняв, куда он клонит.

— Некоторые нововведения чрезвычайно остроумны. Сокращение количества глаголов... я думаю, это вам понравится. Давайте подумаем. Прислать вам словарь с курьером? Боюсь,

я крайне забывчив в подобных делах. Может, вы сами зайдете за ним ко мне домой — в любое удобное время? Минутку. Я дам вам адрес.

Они стояли перед телекраном. О'Брайен рассеянно порылся в обоих карманах, потом извлек кожаный блокнот и золотой чернильный карандаш. Прямо под телекраном, в таком месте, что наблюдающий на другом конце легко прочел бы написанное, он набросал адрес, вырвал листок и вручил Уинстону.

— Вечерами я, как правило, дома,— сказал он.— Если меня не будет, словарь вам отдаст слуга.

Он ушел, оставив Уинстона с листком бумаги, который на этот раз можно было не прятать. Тем не менее Уинстон заучил адрес и несколькими часами позже бросил листок в гнездо памяти вместе с другими бумагами.

Разговаривали они совсем недолго. И объяснить эту встречу можно только одним. Она подстроена для того, чтобы сообщить Уинстону адрес О'Брайена. Иного способа не было: выяснить, где человек живет, можно, лишь спросив об этом прямо. Адресных книг нет. «Если захотите со мной повидаться, найдете меня там-то» — вот что на самом деле сказал ему О'Брайен. Возможно, в словаре будет спрятана записка. Во всяком случае, ясно одно: заговор, о котором Уинстон мечтал, все-таки существует, и Уинстон приблизился к нему вплотную.

Рано или поздно он явится на зов О'Брайена. Завтра явится или будет долго откладывать — он сам не знал. То, что сейчас происходит,— просто развитие процесса, начавшегося сколько-то лет назад. Первым шагом была тайная нечаянная мысль, вторым — дневник. От мыслей он перешел к словам, а теперь от слов к делу. Последним шагом будет то, что произойдет в министерстве любви. С этим он примирился. Конец уже содержится в начале. Но это пугало; точнее, он как бы уже почуял смерть, как бы стал чуть менее живым. Когда он говорил с О'Брайеном, когда до него дошел смысл приглашения, его охватил озноб. Чувство было такое, будто он ступил в сырую могилу; он и раньше знал, что могила недалеко и ждет его, но легче ему от этого не стало.

VII

Уинстон проснулся в слезах. Джулия сонно привалилась к нему и пролепетала что-то невнятное, может быть: «Что с тобой?»

— Мне снилось...— начал он и осекся. Слишком сложно: не укладывалось в слова. Тут были и сам по себе сон, и воспоминание, с ним связанное,— оно всплыло через несколько секунд после пробуждения.

Он снова лег, закрыл глаза, все еще налитый сном... Это был просторный, светозарный сон, вся его жизнь раскинулась перед ним в этом сне, как пейзаж летним вечером после дождя. Происходило все внутри стеклянного пресс-папье, но поверхность стекла была небосводом, и мир под небосводом был залит

ясным мягким светом, открывшим глазу бескрайние дали. Кроме того, мотивом сна — и даже его содержанием — был жест материнской руки, повторившийся тридцать лет спустя в кинохронике, где еврейка пыталась загородить маленького мальчика от пуль, а потом вертолет разорвал обоих в клочья.

— Ты знаешь,— сказал Уинстон,— до этой минуты я думал, что убил мать.

— Зачем убил? — спросонок сказала Джулия.

— Нет, я ее не убил. Физически.

Во сне он вспомнил, как в последний раз увидел мать, а через несколько секунд после пробуждения восстановилась вся цепь мелких событий того дня. Наверное, он долгие годы отталкивал от себя это воспоминание. К какому времени оно относится, он точно не знал, но лет ему было тогда не меньше десяти, а то и все двенадцать.

Отец исчез раньше; намного ли раньше, он не помнил. Лучше сохранились в памяти приметы того напряженного и сумбурного времени: паника и сидение на станции метро по случаю воздушных налетов, груды битого кирпича, невразумительные воззвания, расклеенные на углах, ватаги парней в рубашках одинакового цвета, громадные очереди у булочных, пулеметная стрельба вдалеке и, в первую голову, вечная нехватка еды. Он помнил, как долгими послеполуденными часами вместе с другими ребятами рылся в мусорных баках и на помойках, отыскивая хряпу, картофельные очистки, а то и заплесневелую корку, с которой они тщательно соскабливали горелое; как ждали грузовиков с фуражом, ездивших по определенному маршруту: на разбитых местах дороги грузовик подбрасывало, иногда высыпалось несколько кусочков жмыха.

Когда исчез отец, мать ничем не выдала удивления или отчаяния, но как-то вдруг вся переменилась. Из нее будто жизнь ушла. Даже Уинстону было видно, что она ждет чего-то неизбежного. Дома она продолжала делать всю обычную работу — стряпала, стирала, штопала, стелила кровать, подметала пол, вытирала пыль,— только очень медленно и странно, без единого лишнего движения, словно оживший манекен. Ее крупное красивое тело как бы само собой впадало в неподвижность. Часами она сидела на кровати, почти не шевелясь, и держала на руках его младшую сестренку — маленькую, болезненную, очень тихую девочку двух или трех лет, от худобы похожую лицом на обезьянку. Иногда она обнимала Уинстона и долго прижимала к себе, не произнося ни слова. Он понимал, несмотря на свое малолетство и эгоизм, что это как-то связано с тем близким и неизбежным, о чем она никогда не говорит.

Он помнил их комнату, темную душную комнату, половину которой занимала кровать под белым стеганым покрывалом. В комнате был камин с газовой конфоркой, полка для продуктов, а снаружи, на лестничной площадке,— коричневая керамическая раковина, одна на несколько семей. Он помнил, как царственное тело матери склонялось над конфоркой — она мешала в кастрюле. Но лучше всего помнил непрерывный го-

лод, яростиые и безобразиые свары за едой. Он ныл и ныл, почему она ие дает добавки, он кричал на иее и скандалил (даже голос свой помиил — голос у иего стал раио ломаться и время от времеии ои вдруг взревывал басом) или бил иа жалость и хныкал, пытаясь добиться большей доли. Мать с готовностью давала ему больше. Ои прииимал это как должиое: ему, «мальчику», полагалось больше всех, но, сколько бы ии дала оиа лишиего, ои требовал еще и еще. Каждый раз она умоляла его не быть эгоистом, помнить, что сестренка больиа и тоже должна есть,— ио без толку. Когда она переставала иакладывать, он кричал от злости, вырывал у иее половник и кастрюлю, хватал куски с сестриной тарелки. Ои знал, что из-за него оии голодают, ио иичего ие мог с собой сделать; у него даже было ощущеиие своей правоты. Его как бы оправдывал голодиый бунт в желудке. А между трапезами, стоило матери отвериуться, тащил из жалких припасов на полке.

Одиажды им выдали по талоиу шоколад. Впервые за иесколько иедель или месяцев. Ои ясио помнил эту драгоцеиную плиточку. Две унции (тогда еще считали иа унции) на троих. Шоколад, поиятио, надо было разделить на три равные части. Вдруг, словно со стороны, Уинстои услышал свой громкий бас: ои требовал все. Мать сказала: не жадиичай. Начался долгий, нудиый спор, с бескоиечными повторениями, криками, иытьем, слезами, уговорами, торговлей. Сестра, вцепившись в мать обеими ручоиками, совсем как обезьяний детеныш, оглядывалась иа него через плечо большими печальиыми глазами. В конце коицов мать отломила от шоколадки три четверти и дала Уинстоиу, а оставшуюся четверть — сестре. Девочка взяла свой кусок и тупо смотрела иа иего, может быть, ие понимая, что это такое. Уиистои наблюдал за ией. Потом подскочил, выхватил у иее шоколад и бросился вон.

— Уинстои, Уинстон! — кричала вдогоику мать.— Вериись! Отдай сестре шоколад!

Он остаиовился, но иазад ие пошел. Мать ие сводила с иего тревожиых глаз. Даже сейчас оиа думала о том же, близком и неизбежном...— Уиистои ие зиал, о чем. Сестра поияла, что ее обидели, и слабо заплакала. Мать обхватила ее одиой рукой и прижала к груди. По этому жесту ои как-то догадался, что сестра умирает. Ои повернулся и сбежал по лестнице, держа в кулаке тающую шоколадку.

Матери ои больше ие видел. Когда ои проглотил шоколад, ему стало стыдио, и иесколько часов, покуда голод не погиал его домой, он бродил по улицам. Когда он вериулся, матери ие было. В ту пору такое уже становилось обычным. Из комиаты ничего не исчезло, кроме матери и сестры. Одежду не взяли, даже материио пальто. Ои до сих пор ие был вполие увереи, что мать погибла. Не исключеио, что ее лишь отправили в каторжный лагерь. Что до сестры, то ее могли поместить, как и самого Уинстоиа, в колонию для беспризорных (эти «воспитательные центры» возиикли в результате гражданской войны), или с матерью в лагерь, или просто оставили где-иибудь умирать.

Сновидение еще не погасло в голове — особенно обнимающий, охранный жест матери, в котором, кажется, и заключался весь его смысл. На память пришел другой сон, двухмесячной давности. В сегодняшнем она сидела на бедной кровати с белым покрывалом, держа сестренку на руках, в том тоже сидела, но на тонущем корабле, далеко внизу, и, с каждой минутой уходя все глубже, смотрела на него снизу сквозь темнеющий слой воды.

Он рассказал Джулии, как исчезла мать. Не открывая глаз, Джулия перевернулась и легла поудобнее.

— Вижу, ты был тогда порядочным свиненком,— пробормотала она.— Дети все свинята.

— Да. Но главное тут...

По дыханию ее было понятно, что она снова засыпает. Ему хотелось еще поговорить о матери. Из того, что он помнил, не складывалось впечатления о ней как о женщине необыкновенной, а тем более умной; но в ней было какое-то благородство, какая-то чистота — просто потому, что нормы, которых она придерживалась, были личными. Чувства ее были ее чувствами, их нельзя было изменить извне. Ей не пришло бы в голову, что, если действие безрезультатно, оно бессмысленно. Когда любишь кого-то, ты его любишь, и, если ничего больше не можешь ему дать, ты все-таки даешь ему любовь. Когда не стало шоколадки, она прижала ребенка к груди. Проку в этом не было, это ничего не меняло, это не вернуло шоколадку, не отвратило смерть — ни ее смерть, ни ребенка; но для нее было естественно так поступить. Беженка в шлюпке так же прикрыла ребенка рукой, хотя рука могла защитить от пуль не лучше, чем лист бумаги. Ужасную штуку сделала партия: убедила тебя, что сами по себе чувство, порыв ничего не значат, и в то же время отняла у тебя всякую власть над миром материальным. Как только ты попал к ней в лапы, что ты чувствуешь и чего не чувствуешь, что ты делаешь и чего не делаешь — все равно. Что бы ни произошло, ты исчезнешь, ни о тебе, ни о твоих поступках никто никогда не услышит. Тебя выдернули из потока истории. А ведь людям позапрошлого поколения это не показалось бы таким уж важным — они не пытались изменить историю. Они были связаны личными узами верности и не подвергали их сомнению. Важны были личные отношения, и совершенно беспомощный жест, объятье, слеза, слово, сказанное умирающему, были ценны сами по себе. Пролы, вдруг сообразил он, в этом состоянии и остались. Они верны не партии, не стране, не идее, а друг другу. Впервые в жизни он подумал о них без презрения — не как о косной силе, которая однажды пробудится и возродит мир. Пролы остались людьми. Они не зачерствели внутри. Они сохранили простейшие чувства, которым ему пришлось учиться сознательно. Подумав об этом, он вспомнил — вроде бы и не к месту,— как несколько недель назад увидел на тротуаре оторванную руку и пинком отшвырнул в канаву, словно это была капустная кочерыжка.

— Пролы — люди,— сказал он вслух.— Мы — не люди.

— Почему? — спросила Джулия, опять проснувшись.

— Тебе когда-нибудь приходило в голову, что самое лучшее для нас — выйти отсюда, пока не поздно, и больше не встречаться?

— Да, милый, приходило, не раз. Но я все равно буду с тобой встречаться.

— Нам везло, но долго это не продлится. Ты молодая. Ты выглядишь нормальной и неиспорченной. Будешь держаться подальше от таких, как я,— можешь прожить еще пятьдесят лет.

— Нет. Я все обдумала. Что ты делаешь, то и я буду делать. И не унывай. Живучести мне не занимать.

— Мы можем быть вместе еще полгода... год... никому это неведомо. В конце концов нас разлучат. Ты представляешь, как мы будем одиноки? Когда нас заберут, ни ты, ни я ничего не сможем друг для друга сделать, совсем ничего. Если я сознаюсь, тебя расстреляют, не сознаюсь — расстреляют все равно. Что бы я ни сказал и ни сделал, о чем бы ни умолчал, я и на пять минут твою смерть не отсрочу. Я даже не буду знать, жива ты или нет, и ты не будешь знать. Мы будем бессильны, полностью. Важно одно — не предать друг друга, хотя и это совершенно ничего не изменит.

— Если ты — о признании,— сказала она,— признаемся как миленькие. Там все признаются. С этим ничего не поделаешь. Там пытают.

— Я не о признании. Признание не предательство. Что ты сказал или не сказал — неважно, важно только чувство. Если меня заставят разлюбить тебя — вот будет настоящее предательство.

Она задумалась.

— Этого они не могут,— сказала она наконец.— Этого как раз и не могут. Сказать что угодно — *что угодно* — они тебя заставят, но поверить в это не заставят. Они не могут в тебя влезть.

— Да,— ответил он уже не так безнадежно,— да, это верно. Влезть в тебя они не могут. Если ты чувствуешь, что оставаться человеком стоит — пусть это ничего не дает,— ты все равно их победил.

Он подумал о телекране, этом недреманном ухе. Они могут следить за тобой день и ночь, но, если не потерял голову, ты можешь их перехитрить. При всей своей изощренности они так и не научились узнавать, что́ человек думает. Может быть, когда ты у них уже в руках, это не совсем так. Неизвестно, что́ творится в министерстве любви, но догадаться можно: пытки, наркотики, тонкие приборы, которые регистрируют твои нервные реакции, изматывание бессонницей, одиночеством и непрерывными допросами. Факты, во всяком случае, утаить невозможно. Их распутают на допросе, вытянут из тебя пыткой. Но если цель — не остаться живым, а остаться человеком, тогда какая в конце концов разница? Чувств твоих они изменить не могут; если на то пошло, ты сам не можешь их изменить,

даже если захочешь. Они могут выяснить до мельчайших подробностей все, что ты делал, говорил и думал, но душа, чьи движения загадочны даже для тебя самого, остается неприступной.

VIII

Удалось, удалось наконец!

Они стояли в длинной ровно освещенной комнате. Приглушенный телекран светился тускло, синий ковер мягкостью своей напоминал бархат. В другом конце комнаты, за столом, у лампы с зеленым абажуром сидел О'Брайен, слева и справа от него высились стопки документов. Когда слуга ввел Джулию и Уинстона, он даже не поднял головы.

Уинстон боялся, что не сможет заговорить — так стучало у него сердце. Удалось, удалось наконец — вот все, о чем он мог думать. Приход сюда был опрометчивостью, а то, что явились вдвоем, вообще безумие; правда, шли они разными дорогами и встретились только перед дверью О'Брайена. В дом войти — и то требовалось присутствие духа. Очень редко доводилось человеку видеть изнутри жилье членов внутренней партии и даже забредать в их кварталы. Сама атмосфера громадного дома, богатство его и простор, непривычные запахи хорошей еды и хорошего табака, бесшумные стремительные лифты, деловитые слуги в белых пиджаках — все внушало робость. Хотя он явился сюда под вполне основательным предлогом, страх не отставал от него ни на шаг: вот сейчас из-за угла появится охранник в черной форме, потребует документы и прикажет убираться. Однако слуга О'Брайена впустил их беспрекословно. Это был щуплый человек в белом пиджаке, черноволосый, с ромбовидным и совершенно непроницаемым лицом — возможно, китаец. Он провел их по коридору с толстым ковром, кремовыми обоями и белыми панелями, безукоризненно чистыми. И это внушало робость. Уинстон не помнил такого коридора, где стены не были бы обтерты телами.

О'Брайен держал в пальцах листок бумаги и внимательно читал. Его тяжелое лицо, повернутое так, что виден был очерк носа, казалось и грозным и умным. Секунд двадцать он сидел неподвижно. Потом подтянул к себе речепис и на гибридном министерском жаргоне отчеканил:

— Позиции первую запятая пятую запятая седьмую одобрить сквозь точка предложение по позиции шесть плюсплюс нелепость грани мыслепреступления точка не продолжать конструктивно до получения плюсовых цифр перевыполнения машиностроения точка конец записки.

Он неторопливо встал из-за стола и бесшумно подошел к ним по ковру. Официальность он частично отставил вместе с новоязовскими словами, но глядел угрюмее обычного, будто был недоволен тем, что его потревожили. К ужасу, владевшему Уинстоном, вдруг примешалась обыкновенная растерянность. А что, если он просто совершил дурацкую ошибку? С чего он

взял, что О'Брайен — политический заговорщик? Всего один взгляд да одна двусмысленная фраза; в остальном — лишь тайные мечтания, подкрепленные разве что сном. Он даже не может отговориться тем, что пришел за словарем: зачем тогда здесь Джулия? Проходя мимо телекрана, О'Брайен вдруг словно вспомнил о чем-то. Он остановился и нажал выключатель на стене. Раздался щелчок. Голос смолк.

Джулия тихонько взвизгнула от удивления. Уинстон, несмотря на панику, был настолько поражен, что не удержался и воскликнул:

— Вы можете его выключить?!

— Да,— сказал О'Брайен,— мы можем их выключать. Нам дано такое право.

Он уже стоял рядом. Массивный, он возвышался над ними, и выражение его лица прочесть было невозможно. С некоторой суровостью он ждал, что скажет Уинстон — но о чем говорить? Даже сейчас вполне можно было понять это так, что занятой человек О'Брайен раздражен и недоумевает: зачем его потревожили? Никто не произнес ни слова. Телекран был выключен, и в комнате стояла мертвая тишина. Секунды шли одна за другой, огромные. Уинстон с трудом смотрел в глаза О'Брайену. Вдруг угрюмое лицо хозяина смягчилось как бы обещанием улыбки. Характерным жестом он поправил очки на носу.

— Мне сказать или вы скажете? — начал он.

— Я скажу,— живо отозвался Уинстон.— Он в самом деле выключен?

— Да, все выключено. Мы одни.

— Мы пришли сюда потому, что...

Уинстон запнулся, только теперь поняв, насколько смутные привели его сюда побуждения. Он сам не знал, какой помощи ждет от О'Брайена, и объяснить, зачем он пришел, было нелегко. Тем не менее он продолжал, чувствуя, что слова его звучат неубедительно и претенциозно:

— Мы думаем, что существует заговор, какая-то тайная организация борется с партией, и вы в ней участвуете. Мы хотим в нее вступить и для нее работать. Мы враги партии. Мы не верим в принципы ангсоца. Мы мыслепреступники. Кроме того, мы развратники. Говорю это потому, что мы предаем себя вашей власти. Если хотите, чтобы мы сознались еще в каких-то преступлениях, мы готовы.

Он умолк и оглянулся — ему показалось, что сзади открыли дверь. И в самом деле, маленький желтолицый слуга вошел без стука. В руках у него был поднос с графином и бокалами.

— Мартин свой,— бесстрастно объяснил О'Брайен.— Мартин, несите сюда. Поставьте на круглый стол. Стульев хватает? В таком случае мы можем сесть и побеседовать с удобствами. Мартин, возьмите себе стул. У нас дело. На десять минут можете забыть, что вы слуга.

Маленький человек сел непринужденно, но вместе с тем почтительно — как низший, которому оказали честь. Уинстон наблюдал за ним краем глаза. Он подумал, что этот человек всю

жизнь разыгрывал роль и теперь боится сбросить личину даже на несколько мгновений. О'Брайен взял графин за горлышко и наполнил стаканы темно-красной жидкостью. Уинстону смутно вспомнилась виденная давным-давно — то ли на стене, то ли на ограде — громадная бутылка из электрических огней, перебегавших так, что из нее как бы лилось в стакан. Сверху жидкость казалась почти черной, а в графине, на просвет, горела, как рубин. Запах был кисло-сладкий. Джулия взяла свой стакан и с откровенным любопытством понюхала.

— Называется — вино,— с легкой улыбкой сказал О'Брайен.— Вы, безусловно, читали о нем в книгах. Боюсь, что членам внешней партии оно нечасто достается.— Лицо у него снова стало серьезным, и он поднял бокал.— Мне кажется, будет уместно начать с тоста. За нашего вождя — Эммануэля Голдстейна.

Уинстон взялся за бокал нетерпеливо. Он читал о вине, мечтал о вине. Подобно стеклянному пресс-папье и полузабытым стишкам мистера Чаррингтона, вино принадлежало мертвому романтическому прошлому — или, как Уинстон называл его про себя, минувшим дням. Почему-то он всегда думал, что вино должно быть очень сладким, как черносмородиновый джем, и сразу бросаться в голову. Но первый же глоток разочаровал его. Он столько лет пил джин, что сейчас, по правде говоря, и вкуса почти не почувствовал. Он поставил пустой бокал.

— Так значит есть такой человек — Голдстейн? — сказал он.

— Да, такой человек есть, и он жив. Где, я не знаю.

— И заговор, организация? Это в самом деле? Не выдумка полиции мыслей?

— Не выдумка. Мы называем ее Братством. Вы мало узнáете о Братстве, кроме того, что оно существует и вы в нем состоите. К этому я еще вернусь.— Он посмотрел на часы.— Выключать телекран больше чем на полчаса даже членам внутренней партии не рекомендуется. Вам не стоило приходить вместе, и уйдете вы порознь. Вы, товарищ,— он слегка поклонился Джулии,— уйдете первой. В нашем распоряжении минут двадцать. Как вы понимаете, для начала я должен задать вам несколько вопросов. В общем и целом что вы готовы делать?

— Все, что в наших силах,— ответил Уинстон.

О'Брайен слегка повернулся на стуле — лицом к Уинстону. Он почти не обращался к Джулии, полагая, видимо, что Уинстон говорит и за нее. Прикрыл на секунду глаза. Потом стал задавать вопросы — тихо, без выражения, как будто это было что-то заученное, катехизис, и ответы он знал заранее.

— Вы готовы пожертвовать жизнью?

— Да.

— Вы готовы совершить убийство?

— Да.

— Совершить вредительство, которое будет стоить жизни сотням ни в чем неповинных людей?

— Да.
— Изменить родине и служить иностранным державам?
— Да.
— Вы готовы обманывать, совершать подлоги, шантажировать, растлевать детские умы, распространять наркотики, способствовать проституции, разносить венерические болезни — делать все, что могло бы деморализовать население и ослабить могущество партии?
— Да.
— Если, например, для наших целей потребуется плеснуть серной кислотой в лицо ребенку — вы готовы это сделать?
— Да.
— Вы готовы подвергнуться полному превращению и до конца дней быть официантом или портовым рабочим?
— Да.
— Вы готовы покончить с собой по нашему приказу?
— Да.
— Готовы ли вы — оба — расстаться и больше никогда не видеть друг друга?
— Нет! — вмешалась Джулия.
А Уинстону показалось, что, прежде чем он ответил, прошло очень много времени. Он как будто лишился дара речи. Язык шевелился беззвучно, прилаживаясь к началу то одного слова, то другого, опять и опять. И покуда Уинстон не произнес ответ, он сам не знал, что скажет.
— Нет,— выдавил он наконец.
— Хорошо, что вы сказали. Нам необходимо знать все.— О'Брайен повернулся к Джулии и спросил уже не так бесстрастно:
— Вы понимаете, что, если даже он уцелеет, он может стать совсем другим человеком? Допустим, нам придется изменить его совершенно. Лицо, движения, форма рук, цвет волос... даже голос будет другой. И вы сама, возможно, подвергнетесь такому же превращению. Наши хирурги умеют изменить человека до неузнаваемости. Иногда это необходимо. Иногда мы даже ампутируем конечность.
Уинстон не удержался и еще раз искоса взглянул на монголоидное лицо Мартина. Никаких шрамов он не разглядел. Джулия побледнела, так что выступили веснушки, но смотрела на О'Брайена дерзко. Она пробормотала что-то утвердительное.
— Хорошо. Об этом мы условились.
На столе лежала серебряная коробка сигарет. С рассеянным видом О'Брайен подвинул коробку к ним, сам взял сигарету, потом поднялся и стал расхаживать по комнате, как будто ему легче думалось на ходу. Сигареты оказались очень хорошими — толстые, плотно набитые, в шелковистой бумаге. О'Брайен снова посмотрел на часы.
— Мартин, вам лучше вернуться в буфетную,— сказал он.— Через четверть часа я включу. Пока не ушли, хорошенько присмотритесь к лицам товарищей. Вам предстоит еще с ними встречаться. Мне — возможно, нет.

Точно так же как при входе, темные глаза слуги пробежали по их лицам. В его взгляде не было и намека на дружелюбие. Он запоминал их внешность, но интереса к ним не испытывал — по крайней мере не проявлял. Уинстон подумал, что синтетическое лицо просто не может изменить выражение. Ни слова не говоря и никак с ними не попрощавшись, Мартин вышел и бесшумно затворил за собой дверь. О'Брайен мерил комнату шагами, одну руку засунув в карман черного комбинезона, в другой держа сигарету.

— Вы понимаете,— сказал он,— что будете сражаться во тьме? Все время во тьме. Будете получать приказы и выполнять их, не зная для чего. Позже я пошлю вам книгу, из которой вы уясните истинную природу нашего общества и ту стратегию, при помощи которой мы должны его разрушить. Когда прочтете книгу, станете полноправными членами Братства. Но все, кроме общих целей нашей борьбы и конкретных рабочих заданий, будет от вас скрыто. Я говорю вам, что Братство существует, но не могу сказать, насчитывает оно сто членов или десять миллионов. По вашим личным связям вы не определите даже, наберется ли в нем десяток человек. В контакте с вами будут находиться трое или четверо; если кто-то из них исчезнет, на смену появятся новые. Поскольку здесь — ваша первая связь, она сохранится. Если вы получили приказ, знайте, что он исходит от меня. Если вы нам понадобитесь, найдем вас через Мартина. Когда вас схватят, вы сознаетесь. Это неизбежно. Но помимо собственных акций, сознаваться вам будет почти не в чем. Выдать вы сможете лишь горстку незначительных людей. Вероятно, даже меня не сможете выдать. К тому времени я погибну или стану другим человеком, с другой внешностью.

Он продолжал расхаживать по толстому ковру. Несмотря на громоздкость, О'Брайен двигался с удивительным изяществом. Оно сказывалось даже в том, как он засовывал руку в карман, как держал сигарету. В нем чувствовалась сила, но еще больше — уверенность и проницательный, ироничный ум. Держался он необычайно серьезно, но в нем не было и намека на узость, свойственную фанатикам. Когда он вел речь об убийстве, самоубийстве, венерических болезнях, ампутации конечностей, изменении лица, в голосе проскальзывали насмешливые нотки. «Это неизбежно,— говорил его тон,— мы пойдем на это не дрогнув. Но не этим мы будем заниматься, когда жизнь снова будет стоить того, чтоб люди жили». Уинстон почувствовал прилив восхищения, сейчас он почти преклонялся перед О'Брайеном. Неопределенная фигура Голдстейна отодвинулась на задний план. Глядя на могучие плечи О'Брайена, на тяжелое лицо, грубое и вместе с тем интеллигентное, нельзя было поверить, что этот человек потерпит поражение. Нет такого коварства, которого он бы не разгадал, нет такой опасности, которой он не предвидел бы. Даже на Джулию он произвел впечатление. Она слушала внимательно, и сигарета у нее потухла. О'Брайен продолжал:

— До вас, безусловно, доходили слухи о Братстве. И у вас сложилось о нем свое представление. Вы, наверное, воображали широкое подполье, заговорщиков, которые собираются в подвалах, оставляют на стенах надписи, узнают друг друга по условным фразам и особым жестам. Ничего подобного. Члены Братства не имеют возможности узнать друг друга, каждый знает лишь несколько человек. Сам Голдстейн, попади он в руки полиции мыслей, не смог бы выдать список Братства или такие сведения, которые вывели бы ее к этому списку. Списка нет. Братство нельзя истребить потому, что оно не организация в обычном смысле. Оно не скреплено ничем, кроме идеи, идея же неистребима. Вам не на что будет опереться, кроме идеи. Не будет товарищей, не будет одобрения. В конце, когда вас схватят, помощи не ждите. Мы никогда не помогаем нашим. Самое большее — если необходимо обеспечить чье-то молчание — нам иногда удается переправить в камеру бритву. Вы должны привыкнуть к жизни без результатов и без надежды. Какое-то время вы будете работать, вас схватят, вы сознаетесь, после чего умрете. Других результатов вам не увидеть. О том, что при нашей жизни наступят заметные перемены, думать не приходится. Мы покойники. Подлинная наша жизнь — в будущем. В нее мы войдем горсткой праха, обломками костей. Когда наступит это будущее, неведомо никому. Быть может, через тысячу лет. Сейчас же ничто невозможно — только понемногу расширять владения здравого ума. Мы не можем действовать сообща. Можем лишь передавать наше знание — от человека к человеку, из поколения в поколение. Против нас — полиция мыслей, иного пути у нас нет.

Он умолк и третий раз посмотрел на часы.

— Вам, товарищ, уже пора,— сказал он Джулии.— Подождите. Графин наполовину не выпит.

Он наполнил бокалы и поднял свой.

— Итак, за что теперь? — сказал он с тем же легким оттенком иронии.— За посрамление полиции мыслей? За смерть Старшего Брата? За человечность? За будущее?

— За прошлое,— сказал Уинстон.

— Прошлое важнее,— веско подтвердил О'Брайен.

Они осушили бокалы, и Джулия поднялась. О'Брайен взял со шкафчика маленькую коробку и дал ей белую таблетку, велев сосать.

— Нельзя, чтобы от вас пахло вином,— сказал он,— лифтеры весьма наблюдательны.

Едва за Джулией закрылась дверь, он словно забыл о ее существовании. Сделав два-три шага, он остановился.

— Надо договориться о деталях,— сказал он.— Полагаю, у вас есть какого-либо рода убежище?

Уинстон объяснил, что есть комната над лавкой мистера Чаррингтона.

— На первое время годится. Позже мы устроим вас в другое место. Убежища надо часто менять. А пока что постараюсь как можно скорее послать вам *книгу*,— Уинстон отметил, что

даже О'Брайен произносит это слово с нажимом,— книгу Голдстейна, вы понимаете. Возможно, я достану ее только через несколько дней. Как вы догадываетесь, экземпляров в наличии мало. Полиция мыслей разыскивает их и уничтожает чуть ли не так же быстро, как мы печатаем. Но это не имеет большого значения. Книга неистребима. Если погибнет последний экземпляр, мы сумеем воспроизвести ее почти дословно. На работу вы ходите с портфелем?

— Как правило, да.

— Какой у вас портфель?

— Черный, очень обтрепанный. С двумя застежками.

— Черный, с двумя застежками, очень обтрепанный... Хорошо. В ближайшее время — день пока не могу назвать — в одном из ваших утренних заданий попадется слово с опечаткой, и вы затребуете повтор. На следующий день вы отправитесь на работу без портфеля. В этот день на улице вас тронет за руку человек и скажет: «По-моему, вы обронили портфель». Он даст вам портфель с книгой Голдстейна. Вы вернете ее ровно через две недели.

Наступило молчание.

— До ухода у вас минуты три,— сказал О'Брайен.— Мы встретимся снова... если встретимся...

Уинстон посмотрел ему в глаза.

— Там, где нет темноты? — неуверенно закончил он.

О'Брайен кивнул, нисколько не удивившись.

— Там, где нет темноты,— повторил он так, словно это был понятный ему намек.— А пока — не хотели бы вы что-нибудь сказать перед уходом? Пожелание? Вопрос?

Уинстон задумался. Спрашивать ему было больше не о чем; еще меньше хотелось изрекать на прощание высокопарные банальности. В голове у него возникло нечто, не связанное прямо ни с Братством, ни с О'Брайеном: видение, в котором совместилась темная спальня, где провела последние дни мать, и комнатка у мистера Чаррингтона, со стеклянным пресс-папье и гравюрой в рамке розового дерева. Почти непроизвольно он спросил:

— Вам не приходилось слышать один старый стишок с таким началом: «Апельсинчики как мед, в колокол Сент-Клемент бьет»?

О'Брайен и на этот раз кивнул. Любезно и с некоторой важностью он закончил строфу:

Апельсинчики как мед,
В колокол Сент-Клемент бьет.
И звонит Сент-Мартин:
Отдавай мне фартинг!
И Олд-Бейли, ох, сердит.
Возвращай должок! — гудит.
Все верну с получки! — хнычет
Колокольный звон Шордитча.

— Вы знаете последний стих! — сказал Уинстон.

— Да, я знаю последний стих. Но боюсь, вам пора уходить. Постойте. Разрешите и вам дать таблетку.

Уинстон встал, О'Брайен подал руку. Ладонь Уинстона была смята его пожатием. В дверях Уинстон оглянулся: О'Брайен уже думал о другом. Он ждал, положив руку на выключатель телекрана. За спиной у него Уинстон видел стол с лампой под зеленым абажуром, речепис и проволочные корзинки, полные документов. Эпизод закончился. Через полминуты, подумал Уинстон, хозяин вернется к ответственной партийной работе.

IX

От усталости Уинстон превратился в студень. Студень — подходящее слово. Оно пришло ему в голову неожиданно. Он чувствовал себя не только дряблым, как студень, но и таким же полупрозрачным. Казалось, если поднять ладонь, она будет просвечивать. Трудовая оргия выпила из него кровь и лимфу, оставила только хрупкое сооружение из нервов, костей и кожи. Все ощущения обострились чрезвычайно. Комбинезон тер плечи, тротуар щекотал ступни, даже кулак сжать стоило такого труда, что хрустели суставы.

За пять дней он отработал больше девяноста часов. И так — все в министерстве. Но теперь аврал кончился, делать было нечего — совсем никакой партийной работы до завтрашнего утра. Шесть часов он мог провести в убежище и еще девять — в своей постели. Под мягким вечерним солнцем, не торопясь, он шел по грязной улочке к лавке мистера Чаррингтона и, хоть поглядывал настороженно, нет ли патруля, в глубине души был уверен, что сегодня вечером можно не бояться, никто не остановит. Тяжелый портфель стукал по колену при каждом шаге, и удары легким покалыванием отдавались по всей ноге. В портфеле лежала *книга*, лежала уже шестой день, но до сих пор он не то что раскрыть ее — даже взглянуть на нее не успел.

На шестой день Недели ненависти, после шествий, речей, криков, пения, лозунгов, транспарантов, фильмов, восковых чучел, барабанной дроби, визга труб, маршевого топота, лязга танковых гусениц, рева эскадрилий и орудийной пальбы, при заключительных судорогах всеобщего оргазма, когда ненависть дошла до такого кипения, что, попадись толпе те две тысячи евразийских военных преступников, которых предстояло публично повесить в последний день мероприятий, их непременно растерзали бы,— в этот самый день было объявлено, что Океания с Евразией не воюет. Война идет с Остазией. Евразия — союзник.

Ни о какой перемене, естественно, и речи не было. Просто стало известно — вдруг и всюду разом,— что враг — Остазия, а не Евразия. Когда это произошло, Уинстон как раз участвовал в демонстрации на одной из центральных площадей Лондона. Был уже вечер, мертвенный свет прожекторов падал на белые лица и алые знамена. На площади столпилось несколько тысяч

человек, среди них — примерно тысяча школьников, одной группой, в форме разведчиков. С затянутой кумачом трибуны выступал оратор из внутренней партии — тощий человечек с необычайно длинными руками и большой лысой головой, на которой развевались отдельные мягкие прядки волос. Корчась от ненависти, карлик одной рукой душил за шейку микрофон, а другая, громадная на костлявом запястье, угрожающе загребала воздух над головой. Металлический голос из репродукторов гремел о бесконечных зверствах, бойнях, выселениях целых народов, грабежах, насилиях, пытках военнопленных, бомбардировках мирного населения, пропагандистских вымыслах, наглых агрессиях, нарушенных договорах. Слушая его, через минуту не поверить, а через две не взбеситься было почти невозможно. То и дело ярость в толпе перекипала через край и голос оратора тонул в зверском реве, вырывавшемся из тысячи глоток. Свирепее всех кричали школьники. Речь продолжалась уже минут двадцать, как вдруг на трибуну взбежал курьер и подсунул оратору бумажку. Тот развернул ее и прочел, не переставая говорить. Ничто не изменилось ни в голосе его, ни в повадке, ни в содержании речи, но имена вдруг стали иными. Без всяких слов по толпе прокатилась волна понимания. Воюем с Остазией! В следующий миг возникла гигантская суматоха. Все плакаты и транспаранты на площади были неправильные! На половине из них — совсем не те лица! Вредительство! Работа голдстейновских агентов! Была бурная интерлюдия: со стен сдирали плакаты, рвали в клочья и топтали транспаранты. Разведчики показывали чудеса ловкости, карабкаясь по крышам и срезая лозунги, трепетавшие между дымоходами. Через две-три минуты все было кончено. Оратор, еще державший за горло микрофон, продолжал речь без заминки, сутулясь и загребая воздух. Еще минута — и толпа вновь разразилась первобытными криками злобы. Ненависть продолжалась как ни в чем не бывало — только предмет стал другим.

Задним числом Уинстон поразился тому, как оратор сменил линию буквально на полуфразе, не только не запнувшись, но даже не нарушив синтаксиса. Но сейчас ему было не до этого. Как раз во время суматохи, когда срывали плакаты, кто-то тронул его за плечо и произнес: «Прошу прощения, по-моему, вы обронили портфель». Он рассеянно принял портфель и ничего не ответил. Он знал, что в ближайшие дни ему не удастся заглянуть в портфель. Едва кончилась демонстрация, он пошел в министерство правды, хотя время было — без чего-то двадцать три. Все сотрудники министерства поступили так же. Распоряжения явиться на службу, которые уже неслись из телекранов, были излишни.

Океания воюет с Остазией: Океания всегда воевала с Остазией. Бóльшая часть всей политической литературы последних пяти лет устарела. Всякого рода сообщения и документы, книги, газеты, брошюры, фильмы, фонограммы, фотографии — все это следовало молниеносно уточнить. Хотя указания на этот счет не было, стало известно, что руководители решили уничтожить

в течение недели всякое упоминание о войне с Евразией и союзе с Остазией. Работы было невпроворот, тем более что процедуры, с ней связанные, нельзя было называть своими именами. В отделе документации трудились по восемнадцать часов в сутки с двумя трехчасовыми перерывами для сна. Из подвалов принесли матрасы и разложили в коридорах; из столовой на тележках возили еду — бутерброды и кофе «Победа». К каждому перерыву Уинстон старался очистить стол от работы, и каждый раз, когда он приползал обратно, со слипающимися глазами и ломотой во всем теле, его ждал новый сугроб бумажных трубочек, почти заваливший речепис и даже осыпавшийся на пол; первым делом, чтобы освободить место, он собирал их в более или менее аккуратную горку. Хуже всего, что работа была отнюдь не механическая. Иногда достаточно было заменить одно имя другим; но всякое подробное сообщение требовало внимательности и фантазии. Чтобы только перенести войну из одной части света в другую, и то нужны были немалые географические познания.

На третий день глаза у него болели невыносимо, и каждые несколько минут приходилось протирать очки. Это напоминало какую-то непосильную физическую работу: ты как будто и можешь от нее отказаться, но нервический азарт подхлестывает тебя и подхлестывает. Задумываться ему было некогда, но, кажется, его нисколько не тревожило то, что каждое слово, сказанное им в речепис, каждый росчерк чернильного карандаша — преднамеренная ложь. Как и все в отделе, он беспокоился только об одном — чтобы подделка была безупречна. Утром шестого дня поток заданий стал иссякать. За полчаса на стол не выпало ни одной трубочки; потом одна — и опять ничего. Примерно в то же время работа пошла на спад повсюду. По отделу пронесся глубокий и, так сказать, затаенный вздох. Великий негласный подвиг совершен. Ни один человек на свете документально не докажет, что война с Евразией была. В 12.00 неожиданно объявили, что до завтрашнего утра сотрудники министерства свободны. С книгой в портфеле (во время работы он держал его между ног, а когда спал — под собой) Уинстон пришел домой, побрился и едва не уснул в ванне, хотя вода была чуть теплая.

Сладостно хрустя суставами, он поднялся по лестнице в комнатку у мистера Чаррингтона. Усталость не прошла, но спать уже не хотелось. Он распахнул окно, зажег грязную керосинку и поставил воду для кофе. Джулия скоро придет, а пока — *книга*. Он сел в засаленное кресло и расстегнул портфель.

На самодельном черном переплете толстой книги заглавия не было. Печать тоже оказалась слегка неровной. Страницы, обтрепанные по краям, раскрывались легко — книга побывала во многих руках. На титульном листе значилось:

ЭММАНУЭЛЬ ГОЛДСТЕЙН
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ОЛИГАРХИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВИЗМА

Уинстон начал читать.

Глава 1

Незнание — сила

На протяжении всей зафиксированной истории и, по-видимому, с конца неолита в мире были люди трех сортов: высшие, средние и низшие. Группы подразделялись самыми разными способами, носили всевозможные наименования, их численные пропорции, а также взаимные отношения от века к веку менялись; но неизменной оставалась фундаментальная структура общества. Даже после колоссальных потрясений и необратимых, казалось бы, перемен структура эта восстанавливалась, подобно тому как восстанавливает свое положение гироскоп, куда бы его ни толкнули.

Цели этих трех групп совершенно несовместимы...

Уинстон прервал чтение — главным образом для того, чтобы еще раз почувствовать: он *читает,* спокойно и с удобствами. Он был один: ни телекрана, ни уха у замочной скважины, ни нервного позыва оглянуться и прикрыть страницу рукой. Издалека тихо доносились крики детей; в самой же комнате — ни звука, только часы стрекотали, как сверчок. Он уселся поглубже и положил ноги на каминную решетку. Вдруг, как бывает при чтении, когда знаешь, что все равно книгу прочтешь и перечтешь от доски до доски, он раскрыл ее наугад и попал на начало третьей главы. Он стал читать:

Глава 3

Война — это мир

Раскол мира на три сверхдержавы явился событием, которое могло быть предсказано и было предсказано еще до середины XX века. После того как Россия поглотила Европу, а Соединенные Штаты — Британскую империю, фактически сложились две их них. Третья, Остазия, оформилась как единое целое лишь спустя десятилетие, наполненное беспорядочными войнами. Границы между сверхдержавами кое-где не установлены, кое-где сдвигаются в зависимости от военной фортуны, но в целом совпадают с естественными географическими рубежами. Евразия занимает всю северную часть Европейского и Азиатского континентов, от Португалии до Берингова пролива. В Океанию входят обе Америки, атлантические острова, включая Британские, Австралазия и Юг Африки. Остазия, наименьшая из трех и с не вполне установившейся западной границей, включает в себя Китай, страны к югу от него, Японские острова и большие, но не постоянные части Маньжурии, Монголии и Тибета.

В том или ином сочетаиии три сверхдержавы постояиио ведут войну, которая длится уже двадцать пять лет. Войиа, одиако, уже не то отчаянное, смертельное противоборство, каким оиа была в первой половиие XX века. Это воеииые действия с ограниченными целями, причем противники ие в состояиии уиичтожить друг друга, материально в войне не заиитересоваиы и не противостоят друг другу идеологически. Но неверно думать, что методы ведения войиы и преобладающее отношеиие к ней стали меиее жестокими и кровавыми. Напротив, во всех страиах воеииая истерия имеет всеобщий и постояииый характер, а такие акты, как насилие, мародерство, убийство детей, обращение всех жителей в рабство, репрессии против плеииых, доходящие до варки или погребеиия живьем, считаются иормой и даже доблестью — если совершеиы своей стороной, а ие противником. Но физически войной занята малая часть населения — в осиовном хорошо обучеииые профессионалы, и людские потери сравнительио иевелики. Бои — когда бои идут — развертываются на отдаленных границах, о местоположении которых рядовой граждаиии может только гадать, или вокруг плавающих крепостей, которые контролируют морские коммуиикации. В центрах цивилизации войиа дает о себе знать лишь постояниой нехваткой потребительских товаров да от случая к случаю — взрывом ракеты, уиосящим порой несколько десятков жизией. Войиа, в сущности, изменила свой характер. Точнее, вышли на первый плаи прежде второстепенные причины войны. Мотивы, присутствовавшие до иекоторой степени в больших войнах иачала XX века, стали доминировать, их осозиали и ими руководствуются.

Дабы понять природу ныиешней войиы — а, иесмотря на перегруппировки, происходящие раз в иесколько лет, это все время одиа и та же война,— надо прежде всего усвоить, что она иикогда не стаиет решающей. Ни одиа из трех сверхдержав ие может быть завоеваиа даже объединеииыми армиями двух других. Силы их слишком равиы, и естествеииый оборонный потенциал неисчерпаем. Евразия защищеиа своими необозримыми простраиствами, Океаиия — шириiной Атлаитического и Тихого океанов, Остазия — плодовитостью и трудолюбием ее иаселения. Кроме того, в материальиом смысле сражаться больше ие за что. С образованием самодостаточных экоиомических систем борьба за рынки — главная причина прошлых войн — прекратилась, соперничество из-за сырьевых баз перестало быть жизиенно важиым. Каждая из трех держав настолько огромиа, что может добыть почти все нужиое сырье иа своей территории. А если уж говорить о чисто экоиомических целях войны, то это войиа за рабочую силу. Между граиицами сверхдержав, ие принадлежа ии одной из иих постоянно, располагается иеправильный четерыхугольник с вершинами в Таижере, Браззавиле, Дарвине и Гоиконге, в нем проживает примерно одиа пятая иаселеиия Земли. За обладаиие этими густонаселеииыми областями, а также арктической ледяной шапкой и борются постояиио три державы. Фактически ни одиа из них иикогда

полностью не контролировала спорную территорию. Части ее постоянно переходят из рук в руки; возможность захватить ту или иную часть внезапным предательским маневром как раз и диктует бесконечную смену партнеров.

Все спорные земли располагают важными минеральными ресурсами, а некоторые производят ценные растительные продукты, как, например, каучук, который в холодных странах приходится синтезировать, причем сравнительно дорогими способами. Но самое главное, они располагают неограниченным резервом дешевой рабочей силы. Тот, кто захватывает Экваториальную Африку, или страны Ближнего Востока, или индонезийский архипелаг, приобретает сотни миллионов практически даровых рабочих рук. Население этих районов, более или менее открыто низведенное до состояния рабства, беспрерывно переходит из-под власти одного оккупанта под власть другого и лихорадочно расходуется ими, подобно углю и нефти, чтобы произвести больше оружия, чтобы захватить больше территории, чтобы получить больше рабочей силы, чтобы произвести больше оружия — и так до бесконечности. Надо отметить, что боевые действия ведутся в основном лишь на окраинах спорных территорий. Рубежи Евразии перемещаются взад и вперед между Конго и северным побережьем Средиземного моря; острова в Индийском и Тихом океанах захватывает то Океания, то Остазия; в Монголии линия раздела между Евразией и Остазией непостоянна; в Арктике все три державы претендуют на громадные территории — по большей части незаселенные и неисследованные; однако приблизительное равновесие сил всегда сохраняется, и метрополии всегда неприступны. Больше того, мировой экономике, по существу, не нужна рабочая сила эксплуатируемых тропических стран. Они ничем не обогащают мир, ибо все, что там производится, идет на войну, а задача войны — подготовить лучшую позицию для новой войны. Своим рабским трудом эти страны просто позволяют наращивать темп непрерывной войны. Но если бы их не было, структура мирового сообщества и процессы, ее поддерживающие, существенно не изменились бы.

Главная цель современной войны (в соответствии с принципом *двоемыслия* эта цель одновременно признается и не признается руководящей головкой внутренней партии) — израсходовать продукцию машины, не повышая общего уровня жизни. Вопрос, как быть с излишками потребительских товаров в индустриальном обществе, подспудно назрел еще в конце XIX века. Ныне, когда мало кто даже ест досыта, вопрос этот, очевидно, не стоит; возможно, он не встал бы даже в том случае, если бы не действовали искусственные процессы разрушения. Сегодняшний мир — скудное, голодное, запущенное место по сравнению с миром, существовавшим до 1914 года, а тем более если сравнивать его с безоблачным будущим, которое воображали люди той поры. В начале XX века мечта о будущем обществе, невероятно богатом, с обилием досуга, упорядоченном, эффективном — о сияющем антисептическом мире из стекла, стали

и сиежио-белого бетоиа — жила в созиаиии чуть ли ие каждого грамотиого человека. Наука и техиика развивались с удивительиой быстротой, и естествеиио было предположить, что так оии и будут развиваться. Этого ие произошло — отчасти из-за обиищаиия, вызваииого длиииой чередой вои и революций, отчасти из-за того, что иаучио-техиический прогресс осиовывался иа эмпирическом мышлеиии, которое ие могло уцелеть в жестко регламеитироваииом обществе. В целом мир сегодия примитивиее, чем пятьдесят лет иазад. Развились иекоторые отсталые области, создаиы разиообразиые иовые устройства — правда, так или ииаче связаииые с войиой и полицейской слежкой,— ио экспернмеит и изобретательство в осиовиом отмерли, и разруха, вызваииая атомиой войиой 50-х годов, полиостью ие ликвидироваиа. Тем ие меиее опасиости, которые иесет с собой машииа, иикуда ие делись. С того момеита, когда машииа заявила о себе, всем мыслящим людям стало ясио, что исчезла иеобходимость в чериой работе — а зиачит, и главиая предпосылка человеческого иеравеиства. Если бы машииу иаправлеиио использовали для этой цели, то через иесколько поколеиий было бы покоичеио и с голодом, и с изиурительиым трудом, и с грязью, и с иеграмотиостью, и с болезиями. Да и ие будучи употреблеиа для этой цели, а, так сказать, стихийиым порядком — производя блага, которые иногда иевозможио было распределить,— машииа за пять десятков лет в коице XIX века и иачале XX разительио подияла жизиеииый уровеиь обыкиовеииого человека.

Но так же ясио было и то, что общий рост благосостояиия угрожает иерархическому обществу гибелью, а в каком-то смысле и есть уже его гибель. В мире, где рабочий деиь короток, где каждый сыт и живет в доме с ваииой и холодильииком, владеет автомобилем или даже самолетом, самая очевидиая, а быть может, и самая важиая форма иеравеиства уже исчезла. Став всеобщим, богатство перестает порождать различия. Можио, коиечио, вообразить общество, где *блага*, в смысле личиой собствеииости и удовольствий, будут распределеиы поровиу, а *власть* остается у малеиькой привилегироваииой касты. Но иа деле такое общество ие может долго быть устойчивым. Ибо если обеспечеииостью и досугом смогут иаслаждаться все, то громадиая масса людей, отупевших от иищеты, стаиет грамотиой и иаучится думать самостоятельио; после чего эти люди раио или поздио поймут, что привилегироваииое меиьшииство ие выполияет иикакой фуикции, и выбросят его. В коиечиом счете иерархическое общество зиждется только иа иищете и иевежестве. Вериуться к сельскому образу жизии, как мечтали иекоторые мыслители в иачале XX века,— выход иереальиый. Ои противоречит стремлеиию к иидустриализации, которое почти повсеместио стало квазиистииктом; кроме того, иидустриальио отсталая страиа беспомощиа в воеииом отиошеиии и прямо или косвеиио попадет в подчииеиие к более развитым сопериикам.

Не оправдал себя и другой способ: держать массы в иище-

те, ограничив производство товаров. Это уже отчасти наблюдалось на конечной стадии капитализма — приблизительно между 1920 и 1940 годами. В экономике многих стран был допущен застой, земли не возделывались, оборудование не обновлялось, большие группы населения были лишены работы и кое-как поддерживали жизнь за счет государственной благотворительности. Но это также ослабляло военную мощь, и, поскольку лишения явно не были вызваны необходимостью, неизбежно возникала оппозиция. Задача состояла в том, чтобы промышленность работала на полных оборотах, не увеличивая количество материальных ценностей в мире. Товары надо производить, но не надо распределять. На практике единственный путь к этому — непрерывная война.

Сущность войны — уничтожение не только человеческих жизней, но и плодов человеческого труда. Война — это способ разбивать вдребезги, распылять в стратосфере, топить в морской пучине материалы, которые могли бы улучшить народу жизнь и тем самым в конечном счете сделать его разумнее. Даже когда оружие не уничтожается на поле боя, производство его — удобный способ истратить человеческий труд и не произвести ничего для потребления. Плавающая крепость, например, поглотила столько труда, сколько пошло бы на строительство нескольких сот грузовых судов. В конце концов она устаревает, идет на лом, не принеся никому материальной пользы, и вновь с громадными трудами строится другая плавающая крепость. Теоретически военные усилия всегда планируются так, чтобы поглотить все излишки, которые могли бы остаться после того, как будут удовлетворены минимальные нужды населения. Практически нужды населения всегда недооцениваются, и в результате — хроническая нехватка предметов первой необходимости; но она считается полезной. Это обдуманная политика: держать даже привилегированные слои на грани лишений, ибо общая скудость повышает значение мелких привилегий и тем увеличивает различия между одной группой и другой. По меркам начала XX века даже член внутренней партии ведет аскетическую и многотрудную жизнь. Однако немногие преимущества, которые ему даны,— большая, хорошо оборудованная квартира, одежда из лучшей ткани, лучшего качества пища, табак и напитки, два или три слуги, персональный автомобиль или вертолет — пропастью отделяют его от члена внешней партии, а тот в свою очередь имеет такие же преимущества перед беднейшей массой, которую мы именуем «пролы». Это социальная атмосфера осажденного города, где разница между богатством и нищетой заключается в обладании куском конины. Одновременно благодаря ощущению войны, а следовательно, опасности передача всей власти маленькой верхушке представляется естественным, необходимым условием выживания.

Война, как нетрудно видеть, не только осуществляет нужные разрушения, но и осуществляет их психологически приемлемым способом. В принципе было бы очень просто израсходовать избыточный труд на возведение храмов и пирамид, рытье ям,

а затем их засыпку или даже на производство огромного количества товаров, с тем чтобы после предавать их огню. Однако так мы создадим только экономическую, а не эмоциональную базу иерархического общества. Дело тут не в моральном состоянии масс — их настроения роли не играют, покуда массы приставлены к работе,— а в моральном состоянии самой партии. От любого, пусть самого незаметного члена партии требуется знание дела, трудолюбие и даже ум в узких пределах, но так же необходимо, чтобы он был невопрошающим невежественным фанатиком и в душе его господствовали страх, ненависть, слепое поклонение и оргиастический восторг. Другими словами, его ментальность должна соответствовать состоянию войны. Неважно, идет ли война на самом деле, и, поскольку решительной победы быть не может, неважно, хорошо идут дела на фронте или худо. Нужно одно: находиться в состоянии войны. Осведомительство, которого партия требует от своих членов и которого легче добиться в атмосфере войны, приняло всеобщий характер, но, чем выше люди по положению, тем активнее оно проявляется. Именно во внутренней партии сильнее всего военная истерия и ненависть к врагу. Как администратор, член внутренней партии нередко должен знать, что та или иная военная сводка не соответствует истине, нередко ему известно, что вся война — фальшивка и либо вообще не ведется, либо ведется совсем не с той целью, которую декларируют; но такое знание легко нейтрализуется методом двоемыслия. При всем этом ни в одном члене внутренней партии не пошатнется мистическая вера в то, что война — настоящая, кончится победоносно и Океания станет безраздельной хозяйкой земного шара.

Для всех членов внутренней партии эта грядущая победа — догмат веры. Достигнута она будет либо постепенным расширением территории, что обеспечит подавляющее превосходство в силе, либо благодаря какому-то новому, неотразимому оружию. Поиски нового оружия продолжаются постоянно, и это одна из немногих областей, где еще может найти себе применение изобретательный и теоретический ум. Ныне в Океании наука в прежнем смысле почти перестала существовать. На новоязе нет слова «наука». Эмпирический метод мышления, на котором основаны все научные достижения прошлого, противоречит коренным принципам ангсоца. И даже технический прогресс происходит только там, где результаты его можно как-то использовать для сокращения человеческой свободы. В полезных ремеслах мир либо стоит на месте, либо движется вспять. Поля пашут конным плугом, а книги сочиняют на машинах. Но в жизненно важных областях, то есть в военной и полицейско-сыскной, эмпирический метод поощряют или по крайней мере терпят. У партии две цели: завоевать весь земной шар и навсегда уничтожить возможность независимой мысли. Поэтому она озабочена двумя проблемами. Первая — как вопреки желанию человека узнать, что он думает, и вторая — как за несколько секунд, без предупреждения, убить несколько сот миллионов

человек. Таковы суть предметы, которыми занимается оставшаяся наука. Сегодняшний ученый — это либо гибрид психолога и инквизитора, дотошно исследующий характер мимики, жестов, интонаций и испытывающий действие медикаментов, шоковых процедур, гипноза и пыток в целях извлечения правды из человека; либо это химик, физик, биолог, занятый исключительно такими отраслями своей науки, которые связаны с умерщвлением. В громадных лабораториях министерства мира и на опытных полигонах, скрытых в бразильских джунглях, австралийской пустыне, на уединенных островах Антарктики, неутомимо трудятся научные коллективы. Одни планируют материально-техническое обеспечение будущих войн, другие разрабатывают все более мощные ракеты, все более сильные взрывчатые вещества, все более прочную броню; третьи изобретают новые смертоносные газы или растворимые яды, которые можно будет производить в таких количествах, чтобы уничтожить растительность на целом континенте, или новые виды микробов, неуязвимые для антител; четвертые пытаются сконструировать транспортное средство, которое сможет прошивать землю, как подводная лодка — морскую толщу, или самолет, не привязанный к аэродромам и авианосцам; пятые изучают совсем фантастические идеи наподобие того, чтобы фокусировать солнечные лучи линзами в космическом пространстве или провоцировать землетрясения путем проникновения к раскаленному ядру Земли.

Ни один из этих проектов так и не приблизился к осуществлению, и ни одна из трех сверхдержав решительного преимущества никогда не достигала. Но самое удивительное: все три уже обладают атомной бомбой — оружием гораздо более мощным, чем то, что могли бы дать нынешние разработки. Хотя партия, как заведено, приписывает это изобретение себе, бомбы появились еще в 40-х годах и впервые были применены массированно лет десять спустя. Тогда на промышленные центры — главным образом в европейской России, Западной Европе и Северной Америке — были сброшены сотни бомб. В результате правящие группы всех стран убедились: еще несколько бомб — и конец организованному обществу, а следовательно, их власти. После этого, хотя никакого официального соглашения не было даже в проекте, атомные бомбардировки прекратились. Все три державы продолжают лишь производить и накапливать атомные бомбы в расчете на то, что рано или поздно представится удобный случай, когда они смогут решить войну в свою пользу. В целом же последние тридцать-сорок лет военное искусство топчется на месте. Шире стали использоваться вертолеты; бомбардировщики по большей части вытеснены беспилотными снарядами, боевые корабли с их невысокой живучестью уступили место почти непотопляемым плавающим крепостям; в остальном боевая техника изменилась мало. Так, подводная лодка, пулемет, даже винтовка и ручная граната по-прежнему в ходу. И, несмотря на бесконечные сообщения о кровопролитных боях в прессе и по телекранам, грандиозные

сражения прошлых войн, когда за несколько недель гибли сотни тысяч и даже миллионы, уже не повторяются.

Все три сверхдержавы никогда не предпринимают маневров, чреватых риском тяжелого поражения. Если и осуществляется крупная операция, то, как правило, это — внезапное нападение на союзника. Все три державы следуют — или уверяют себя, что следуют,— одной стратегии. Идея ее в том, чтобы посредством боевых действий, переговоров и своевременных изменнических ходов полностью окружить противника кольцом военных баз, заключить с ним пакт о дружбе и сколько-то лет поддерживать мир, дабы усыпить всякие подозрения. Тем временем во всех стратегических пунктах можно смонтировать ракеты с атомными боевыми частями и наконец нанести массированный удар, столь разрушительный, что противник лишится возможности ответного удара. Тогда можно будет подписать договор о дружбе с третьей мировой державой и готовиться к новому нападению. Излишне говорить, что план этот — всего лишь греза, он неосуществим. Да и бои если ведутся, то лишь вблизи спорных областей у экватора и у полюса; вторжения на территорию противника не было никогда. Этим объясняется и неопределенность некоторых границ между сверхдержавами. Евразии, например, нетрудно было бы захватить Британские острова, географически принадлежащие Европе; с другой стороны, и Океания могла бы отодвинуть свои границы к Рейну и даже Висле. Но тогда был бы нарушен принцип, хотя и не провозглашенный, но соблюдаемый всеми сторонами,— принцип культурной целостности. Если Океания завоюет области, прежде называвшиеся Францией и Германией, то возникнет необходимость либо истребить жителей, что физически трудноосуществимо, либо ассимилировать стомиллионный народ, в техническом отношении находящийся примерно на том же уровне развития, что и Океания. Перед всеми тремя державами стоит одна и та же проблема. Их устройство, безусловно, требует, чтобы контактов с иностранцами не было — за исключением военнопленных и цветных рабов, да и то в ограниченной степени. С глубочайшим подозрением смотрят даже на официального (в данную минуту) союзника. Если не считать пленных, гражданин Океании никогда не видит граждан Евразии и Остазии, и знать иностранные языки ему запрещено. Если разрешить ему контакт с иностранцами, он обнаружит, что это такие же люди, как он, а рассказы о них — по большей части ложь. Закупоренный мир, где он обитает, раскроется, и страх, ненависть, убежденность в своей правоте, которыми жив его гражданский дух, могут испариться. Поэтому все три стороны понимают, что, как бы часто ни переходили из рук в руки Персия и Египет, Ява и Цейлон, основные границы не должно пересекать ничто, кроме ракет.

Под этим скрывается факт, никогда не обсуждаемый вслух, но молчаливо признаваемый и учитываемый при любых действиях, а именно: условия жизни во всех трех державах весьма схожи. В Океании государственное учение именуется ангсоцем,

в Евразии — необольшевизмом, а в Остазии его называют китайским словом, которое обычно переводится как «культ смерти», но лучше, пожалуй, передало бы его смысл «стирание личности». Гражданину Океании не дозволено что-либо знать о догмах двух других учений, но он привык проклинать их как варварское надругательство над моралью и здравым смыслом. На самом деле эти три идеологии почти неразличимы, а общественные системы, на них основанные, неразличимы совсем. Везде та же пирамидальная структура, тот же культ полубога-вождя, та же экономика, живущая постоянной войной и для войны. Отсюда следует, что три державы не только не могут покорить одна другую, но и не получили бы от этого никакой выгоды. Напротив, покуда они враждуют, они подпирают друг друга, подобно трем снопам. И как всегда, правящие группы трех стран и сознают и одновременно не сознают, что делают. Они посвятили себя завоеванию мира, но вместе с тем понимают, что война должна длиться постоянно, без победы. А благодаря тому, что опасность быть покоренным государству не грозит, становится возможным отрицание действительности — характерная черта и ангсоца и конкурирующих учений. Здесь надо повторить сказанное ранее: став постоянной, война изменила свой характер.

В прошлом война, можно сказать, по определению, была чем-то, что рано или поздно кончалось — как правило, несомненной победой или поражением. Кроме того, в прошлом война была одним из главных инструментов, не дававших обществу оторваться от физической действительности. Во все времена все правители пытались навязать подданным ложные представления о действительности; но иллюзий, подрывающих военную силу, они позволить себе не могли. Покуда поражение влечет за собой потерю независимости или какой-то другой результат, считающийся нежелательным, поражения надо остерегаться самым серьезным образом. Нельзя игнорировать физические факты. В философии, в религии, в этике, в политике дважды два может равняться пяти, но, если вы конструируете пушку или самолет, дважды два должно быть четыре. Недееспособное государство раньше или позже будет побеждено, а дееспособность не может опираться на иллюзии. Кроме того, чтобы быть дееспособным, необходимо умение учиться на уроках прошлого, а для этого надо более или менее точно знать, что происходило в прошлом. Газеты и книги по истории, конечно, всегда страдали пристрастностью и предвзятостью, но фальсификация в сегодняшних масштабах прежде была бы невозможна. Война всегда была стражем здравого рассудка, и, если говорить о правящих классах, вероятно, главным стражем. Пока войну можно было выиграть или проиграть, никакой правящий класс не имел права вести себя совсем безответственно.

Но когда война становится буквально бесконечной, она перестает быть опасной. Когда война бесконечна, такого понятия, как военная необходимость, нет. Технический прогресс может прекратиться, можно игнорировать и отрицать самые

очевидные факты. Как мы уже видели, исследования, называемые научными, еще ведутся в военных целях, но, по существу, это своего рода мечтания, и никого не смущает, что они безрезультатны. Дееспособность и даже боеспособность больше не нужны. В Океании все плохо действует, кроме полиции мыслей. Поскольку сверхдержавы непобедимы, каждая представляет собой отдельную вселенную, где можно предаваться почти любому умственному извращению. Действительность оказывает давление только через обиходную жизнь: надо есть и пить, надо иметь кров и одеваться, нельзя глотать ядовитые вещества, выходить через окно на верхнем этаже и так далее. Между жизнью и смертью, между физическим удовольствием и физической болью разница все-таки есть — но и только. Отрезанный от внешнего мира и от прошлого, гражданин Океании, подобно человеку в межзвездном пространстве, не знает, где верх, где низ. Правители такого государства обладают абсолютной властью, какой не было ни у цезарей, ни у фараонов. Они не должны допустить, чтобы их подопечные мерли от голода в чрезмерных количествах, когда это уже представляет известные неудобства, они должны поддерживать военную технику на одном невысоком уровне; но, коль скоро этот минимум выполнен, они могут извращать действительность так, как им заблагорассудится.

Таким образом, война, если подходить к ней с мерками прошлых войн,— мошенничество. Она напоминает схватки некоторых жвачных животных, чьи рога растут под таким углом, что они не способны ранить друг друга. Но хотя война нереальна, она не бессмысленна. Она пожирает излишки благ и позволяет поддерживать особую душевную атмосферу, в которой нуждается иерархическое общество. Ныне, как нетрудно видеть, война — дело чисто внутреннее. В прошлом правители всех стран, хотя и понимали порой общность своих интересов, а потому ограничивали разрушительность войн, воевали все-таки друг с другом, и победитель грабил побежденного. В наши дни они друг с другом не воюют. Войну ведет правящая группа против своих подданных, и цель войны — не избежать захвата своей территории, а сохранить общественный строй. Поэтому само слово «война» вводит в заблуждение. Мы, вероятно, не погрешим против истины, если скажем, что, сделавшись постоянной, война перестала быть войной. То особое давление, которое она оказывала на человечество со времен неолита и до начала XX века, исчезло и сменилось чем-то совсем другим. Если бы три державы не воевали, а согласились вечно жить в мире и каждая оставалась бы неприкосновенной в своих границах, результат был бы тот же самый. Каждая была бы замкнутой вселенной, навсегда избавленной от отрезвляющего влияния внешней опасности. Постоянный мир был бы то же самое, что постоянная война. Вот в чем глубинный смысл — хотя большинство членов партии понимают его поверхностно — партийного лозунга ВОЙНА — ЭТО МИР.

Уинстон перестал читать. Послышался гром — где-то вдале-

ке разорвалась ракета. Блаженное чувство — один с запретной книгой, в комнате без телекрана — не проходило. Одиночество и покой он ощущал физически, так же как усталость в теле, мягкость кресла, ветерок из окна, дышавший в щеку. Книга завораживала его, а вернее, укрепляла. В каком-то смысле книга не сообщила ему ничего нового — но в этом-то и заключалась ее прелесть. Она говорила то, что он сам бы мог сказать, если бы сумел привести в порядок отрывочные мысли. Она была произведением ума, похожего на его ум, только гораздо более сильного, более систематического и не изъязвленного страхом. Лучшие книги, понял он, говорят тебе то, что ты уже сам знаешь. Он хотел вернуться к первой главе, но тут услышал на лестнице шаги Джулии и встал, чтобы ее встретить. Она уронила на пол коричневую сумку с инструментами и бросилась ему на шею. Они не виделись больше недели.

— *Книга* у меня,— объявил Уинстон, когда они отпустили друг друга.

— Да, уже? Хорошо,— сказала она без особого интереса и тут же стала на колени у керосинки, чтобы сварить кофе.

К разговору о книге они вернулись после того, как полчаса провели в постели. Вечер был нежаркий, и они натянули на себя одеяло. Снизу доносилось привычное пение и шарканье ботинок по каменным плитам. Могучая краснорукая женщина, которую Уинстон увидел здесь еще в первый раз, будто и не уходила со двора. Не было такого дня и часа, когда бы она не шагала взад-вперед между корытом и веревкой, то затыкая себя прищепками для белья, то снова разражаясь зычной песней. Джулия перевернулась на бок и совсем уже засыпала. Он поднял книгу, лежавшую на полу, и сел к изголовью.

— Нам надо ее прочесть,— сказал он.— Тебе тоже. Все, кто в Братстве, должны ее прочесть.

— Ты читай,— отозвалась она с закрытыми глазами.— Вслух. Так лучше. По дороге будешь мне все объяснять.

Часы показывали шесть, то есть 18. Оставалось еще часа три-четыре. Он положил книгу на колени и начал читать:

Глава 1

Незнание — сила

На протяжении всей зафиксированной истории и, по-видимому, с конца неолита в мире были люди трех сортов: высшие, средние и низшие. Группы подразделялись самыми разными способами, носили всевозможные наименования, их численные пропорции, а также взаимные отношения от века к веку менялись; но неизменной оставалась фундаментальная структура общества. Даже после колоссальных потрясений и необратимых, казалось бы, перемен структура эта восстанавливалась, подобно тому как восстанавливает свое положение гироскоп, куда бы его ни толкнули.

— Джулия, ие спишь? — спросил Уиистон.
— Нет, милый, я слушаю. Читай. Это чудесио.
Ои продолжал:

Цели этих трех групп совершеиио иесовместимы. Цель высших — остаться там, где они есть. Цель средиих — помеияться местами с высшими, цель иизших — когда у них есть цель, ибо для иизших то и характерно, что оии задавлеиы тяжким трудом и лишь от случая к случаю иаправляют взгляд за пределы повседиевиой жизии,— отмеиить все различия и создать общество, где все люди должны быть равиы. Таким образом, иа протяжении всей истории виовь и виовь вспыхивает борьба, в общих чертах всегда одииаковая. Долгое время высшие как будто бы прочно удерживают власть, ио рано или поздио иаступает момеит, когда оии теряют либо веру в себя, либо способиость управлять эффективио, либо то и другое. Тогда их свергают средиие, которые привлекли иизших иа свою сторону тем, что разыгрывали роль борцов за свободу и справедливость. Достигиув своей цели, оии сталкивают низших в прежнее рабское положеиие и сами становятся высшими. Тем временем иовые средиие отслаиваются от одиой из двух других групп или от обеих, и борьба начииается сызиова. Из трех групп только иизшим никогда ие удается достичь своих целей, даже иа время. Было бы преувеличеиием сказать, что история ие сопровождалась материальиым прогрессом. Даже сегодия, в период упадка, обыкиовеииый человек материальио живет лучше, чем иесколько веков назад. Но иикакой рост благосостояния, никакое смягчеиие иравов, иикакие революции и реформы не приблизили человеческое равеиство ни иа миллиметр. С точки зрения иизших, все исторические перемены значили иемногим больше, чем смеиа хозяев.

К коицу XIX века для многих иаблюдателей стала очевидиой повторяемость этой схемы. Тогда возникли учения, толкующие историю как циклический процесс и доказывающие, что неравеиство есть неизмениый закои человеческой жизии. У этой доктрины, конечно, и раиьше были привержеицы, ио теперь оиа преподносилась существеиио иначе. Необходимость иерархического строя прежде была доктриной высших. Ее проповедовали короли и аристократы, а также паразитировавшие иа них священники, юристы и прочие, и смягчали обещаниями иаграды в воображаемом загробиом мире. Средиие, пока боролись за власть, всегда прибегали к помощи таких слов, как свобода, справедливость и братство. Теперь же на идею человеческого братства ополчились люди, которые еще не располагали властью, а только иадеялись вскоре ее захватить. Прежде средиие устраивали революции под зиаменем равенства и, свергиув старую тиранию, иемедленно устанавливали иовую. Теперь средиие фактически провозгласили свою тиранию зараиее. Социализм — теория, которая возиикла в иачале XIX века и явилась последиим звеном в идейиой традиции, ведущей

начало от восстаний рабов в древности,— был еще весь пропитан утопическими идеями прошлых веков. Однако все варианты социализма, появлявшиеся после 1900 года, более или менее открыто отказывались считать своей целью равенство и братство. Новые движения, возникшие в середине века,— ангсоц в Океании, необольшевизм в Евразии и культ смерти, как его принято называть, в Остазии ставили себе целью увековечение *не*свободы и *не*равенства. Эти новые движения родились, конечно, из прежних, сохранили их названия и на словах оставались верными их идеологии, но целью их было в нужный момент остановить развитие и заморозить историю. Известный маятник должен качнуться еще раз — и застыть. Как обычно, высшие будут свергнуты средними, и те сами станут высшими; но на этот раз благодаря продуманной стратегии высшие сохранят свое положение навсегда.

Возникновение этих новых доктрин отчасти объясняется накоплением исторических знаний и ростом исторического мышления, до XIX века находившегося в зачаточном состоянии. Циклический ход истории стал понятен или представился понятным, а раз он понятен, значит, на него можно воздействовать. Но основная, глубинная предпосылка заключалась в том, что уже в начале XX века равенство людей стало технически осуществимо. Верно, разумеется, что люди по-прежнему не были равны в отношении природных талантов и разделение функций ставило бы одного человека в более благоприятное положение, чем другого; отпала, однако, нужда в классовых различиях и в большом материальном неравенстве. В прошлые века классовые различия были не только неизбежны, но и желательны. За цивилизацию пришлось платить неравенством. Но с развитием машинного производства ситуация изменилась. Хотя люди по-прежнему должны были выполнять неодинаковые работы, исчезла необходимость в том, чтобы они стояли на разных социальных и экономических уровнях. Поэтому с точки зрения новых групп, готовившихся захватить власть, равенство людей стало уже не идеалом, к которому надо стремиться, а опасностью, которую надо предотвратить. В более примитивные времена, когда справедливое и мирное общество нельзя было построить, в него легко было верить. Человека тысячелетиями преследовала мечта о земном рае, где люди будут жить по-братски, без законов и без тяжкого труда. Видение это влияло даже на те группы, которые выигрывали от исторических перемен. Наследники английской, французской и американской революций отчасти верили в собственные фразы о правах человека, о свободе слова, о равенстве перед законом и т. п. и до некоторой степени даже подчиняли им свое поведение. Но к четвертому десятилетию XX века все основные течения политической мысли были уже авторитарными. В земном рае разуверились именно тогда, когда он стал осуществим. Каждая новая политическая теория, как бы она ни именовалась, звала назад, к иерархии и регламентации. И в соответствии с общим ужесточением взглядов, обозна-

чившимся примерно к 1930 году, возродились давно (иногда сотни лет назад) оставленные обычаи — тюремное заключение без суда, рабский труд военнопленных, публичные казни, пытки, чтобы добиться признания, взятие заложников, выселение целых народов; мало того: их терпели и даже оправдывали люди, считавшие себя просвещенными и прогрессивными.

Должно было пройти еще десятилетие, полное войн, гражданских войн, революций и контрреволюций, чтобы ангсоц и его конкуренты оформились как законченные политические теории. Но у них были провозвестники — разные системы, возникшие ранее в этом же веке и в совокупности именуемые тоталитарными; давно были ясны и очертания мира, который родится из наличного хаоса. Кому предстоит править этим миром, было столь же ясно. Новая аристократия составилась в основном из бюрократов, ученых, инженеров, профсоюзных руководителей, специалистов по обработке общественного мнения, социологов, преподавателей и профессиональных политиков. Этих людей, по происхождению служащих, и верхний слой рабочего класса сформировал и свел вместе выхолощенный мир монополистической промышленности и централизованной власти. По сравнению с аналогичными группами прошлых веков они были менее алчны, менее склонны к роскоши, зато сильнее жаждали чистой власти, а самое главное, отчетливее сознавали, чтó они делают, и настойчивее стремились сокрушить оппозицию. Это последнее отличие оказалось решающим. Рядом с тем, что существует сегодня, все тирании прошлого выглядят нерешительными и расхлябанными. Правящие группы всегда были более или менее заражены либеральными идеями, всюду оставляли люфт, реагировали только на явные действия и не интересовались тем, чтó думают их подданные. По сегодняшним меркам даже католическая церковь средневековья была терпимой. Объясняется это отчасти тем, что прежде правительства не могли держать граждан под постоянным надзором. Когда изобрели печать, стало легче управлять общественным мнением; радио и кино позволили шагнуть в этом направлении еще дальше. А с развитием телевизионной техники, когда стало возможно вести прием и передачу одним аппаратом, частной жизни пришел конец. Каждого гражданина, по крайней мере каждого, кто по своей значительности заслуживает слежки, можно круглые сутки держать под полицейскими наблюдениями и круглые сутки питать официальной пропагандой, перекрыв все остальные каналы связи. Впервые появилась возможность добиться не только полного подчинения воле государства, но и полного единства мнений по всем вопросам.

После революционного периода 50—60-х годов общество, как всегда, расслоилось на высших, средних и низших. Но новые высшие в отличие от своих предшественников действовали не по наитию: они знали, что надо делать, дабы сохранить свое положение. Давно стало понятно, что единственная надежная основа для олигархии — коллективизм. Богатство и привилегии легче всего защитить, когда ими владеют сообща. Так назы-

ваемая отмена частной собственности, осуществленная в середине века, на самом деле означала сосредоточение собственности в руках у гораздо более узкой группы — но с той разницей, что теперь собственницей была группа, а не масса индивидуумов. Индивидуально ни один член партии не владеет ничем, кроме небольшого личного имущества. Коллективно партия владеет в Океании всем, потому что она всем управляет и распоряжается продуктами так, как считает нужным. В годы после революции она смогла занять господствующее положение почти беспрепятственно потому, что процесс шел под флагом коллективизации. Считалось, что, если класс капиталистов лишить собственности, наступит социализм; и капиталистов, несомненно, лишили собственности. У них отняли все — заводы, шахты, землю, дома, транспорт; а раз все это перестало быть частной собственностью, значит, стало общественной собственностью. Ангсоц, выросший из старого социалистического движения и унаследовавший его фразеологию, в самом деле выполнил главный пункт социалистической программы — с результатом, который он предвидел и к которому стремился: экономическое неравенство было закреплено навсегда.

Но проблемы увековечения иерархического общества этим не исчерпываются. Правящая группа теряет власть по четырем причинам. Либо ее победил внешний враг, либо она правила так неумело, что массы поднимают восстание, либо она позволила образоваться сильной и недовольной группе средних, либо потеряла уверенность в себе и желание править. Причины эти не изолированные; обычно в той или иной степени сказываются все четыре. Правящий класс, который сможет предохраниться от них, удержит власть навсегда. В конечном счете решающим фактором является психическое состояние самого правящего класса.

В середине нынешнего века первая опасность фактически исчезла. Три державы, поделившие мир, по сути дела, непобедимы и ослабеть могут только за счет медленных демографических изменений; однако правительству с большими полномочиями легко их предотвратить. Вторая опасность — тоже всего лишь теоретическая. Массы никогда не восстают сами по себе и никогда не восстают только потому, что они угнетены. Больше того, они даже не сознают, что угнетены, пока им не дали возможности сравнивать. В повторявшихся экономических кризисах прошлого не было никакой нужды, и теперь их не допускают; могут происходить и происходят другие, столь же крупные неурядицы, но политических последствий они не имеют, потому что не оставлено никакой возможности выразить недовольство во внятной форме. Что же до проблемы перепроизводства, подспудно зревшей в нашем обществе с тех пор, как развилась машинная техника, то она решена при помощи непрерывной войны (см. главу 3), которая полезна еще и в том отношении, что позволяет подогреть общественный дух. Таким образом, с точки зрения наших нынешних правителей, подлинные опасности — это образование новой группы способных, не

полностью занятых, рвущихся к власти людей и рост либерализма и скептицизма в их собственных рядах. Иначе говоря, проблема стоит воспитательная. Это проблема непрерывной формовки сознания направляющей группы и более многочисленной исполнительной группы, которая помещается непосредственно под ней. На сознание масс достаточно воздействовать лишь в отрицательном плане.

Из сказанного выше нетрудно вывести — если бы кто не знал ее — общую структуру государства Океания. Вершина пирамиды — Старший Брат. Старший Брат непогрешим и всемогущ. Каждое достижение, каждый успех, каждая победа, каждое научное открытие, все познания, вся мудрость, все счастье, вся доблесть — непосредственно проистекают из его руководства и им вдохновлены. Старшего Брата никто не видел. Его лицо — на плакатах, его голос — в телекране. Мы имеем все основания полагать, что он никогда не умрет, и уже сейчас существует значительная неопределенность касательно даты его рождения. Старший Брат — это образ, в котором партия желает предстать перед миром. Назначение его — служить фокусом для любви, страха и почитания, чувств, которые легче обратить на отдельное лицо, чем на организацию. Под Старшим Братом — внутренняя партия; численность ее ограничена шестью миллионами — это чуть меньше двух процентов населения Океании. Под внутренней партией — внешняя партия; если внутреннюю уподобить мозгу государства, то внешнюю можно назвать руками. Ниже — бессловесная масса, которую мы привычно именуем «пролами»; они составляют, по-видимому, восемьдесят пять процентов населения. По нашей прежней классификации пролы — низшие, ибо рабское население экваториальных областей, переходящее от одного завоевателя к другому, нельзя считать постоянной и необходимой частью общества.

В принципе принадлежность к одной из этих трех групп не является наследственной. Ребенок членов внутренней партии не принадлежит к ней по праву рождения. И в ту и в другую часть партии принимают после экзамена в возрасте шестнадцати лет. В партии нет предпочтений ни по расовому, ни по географическому признаку. В самых верхних эшелонах можно встретить и еврея, и негра, и латиноамериканца, и чистокровного индейца; администраторов каждой области набирают из этой же области. Ни в одной части Океании жители не чувствуют себя колониальным народом, которым управляют из далекой столицы. Столицы в Океании нет; где находится номинальный глава государства, никто не знает. За исключением того, что в любой части страны можно объясняться на английском, а официальный язык ее — новояз, жизнь никак не централизована. Правители соединены не кровными узами, а приверженностью доктрине. Конечно, общество расслоено, причем весьма четко, и на первый взгляд расслоение имеет наследственный характер. Движения вверх и вниз по социальной лестнице гораздо меньше, чем было при капитализме и даже в до-

индустриальную эпоху. Между двумя частями партии определенный обмен происходит — но лишь в той мере, в какой необходимо избавиться от слабых во внутренней партии и обезопасить честолюбивых членов внешней, дав им возможность повышения. Пролетариям дорога в партию практически закрыта. Самых способных — тех, кто мог бы стать катализатором недовольства,— полиция мыслей просто берет на заметку и устраняет. Но такое положение дел непринципиально для строя и не является неизменным. Партия — не класс в старом смысле слова. Она не стремится завещать власть своим детям как таковым; и, если бы не было другого способа собрать наверху самых способных, она, не колеблясь, набрала бы целое новое поколение руководителей в среде пролетариата. То, что партия не наследственный корпус, в критические годы очень помогло нейтрализовать оппозицию. Социализм старого толка, приученный бороться с чем-то называвшимся «классовыми привилегиями», полагал, что ненаследственное не может быть постоянным. Он не понимал, что преемственность олигархии не обязательно должна быть биологической, и не задумывался над тем, что наследственные аристократии всегда были недолговечными, тогда как организации, основанные на наборе,— католическая церковь, например,— держались сотни, а то и тысячи лет. Суть олигархического правления не в наследной передаче от отца к сыну, а в стойкости определенного мировоззрения и образа жизни, диктуемых мертвыми живым. Правящая группа — до тех пор правящая группа, пока она в состоянии назначать наследников. Партия озабочена не тем, чтобы увековечить свою кровь, а тем, чтобы увековечить себя. Кто облечен властью — неважно, лишь бы иерархический строй сохранялся неизменным.

Все верования, обычаи, вкусы, чувства, взгляды, свойственные нашему времени, на самом деле служат тому, чтобы поддержать таинственный ореол вокруг партии и скрыть подлинную природу нынешнего общества. Ни физический бунт, ни даже первые шаги к бунту сейчас невозможны. Пролетариев бояться нечего. Предоставленные самим себе, они из поколения в поколение, из века в век будут все так же работать, плодиться и умирать, не только не покушаясь на бунт, но даже не представляя себе, что жизнь может быть другой. Опасными они могут стать только в том случае, если прогресс техники потребует, чтобы им давали лучшее образование; но, поскольку военное и коммерческое соперничество уже не играет роли, уровень народного образования фактически снижается. Каких взглядов придерживаются массы и каких не придерживаются — безразлично. Им можно предоставить интеллектуальную свободу, потому что интеллекта у них нет. У партийца же, напротив, малейшее отклонение во взглядах, даже по самому маловажному вопросу, считается нетерпимым.

Член партии с рождения до смерти живет на глазах у полиции мыслей. Даже оставшись один, он не может быть уверен, что он один. Где бы он ни был, спит он или бодрствует, работает

или отдыхает, в ванне ли, в постели — за ним могут наблюдать, и он не будет знать, что за ним наблюдают. Небезразличен ни один его поступок. Его друзья, его развлечения, его обращение с женой и детьми, выражение лица, когда он наедине с собой, слова, которые он бормочет во сне, даже характерные движения тела — все это тщательно изучается. Не только поступок, но любое, пусть самое невинное чудачество, любая новая привычка и нервный жест, которые могут оказаться признаками внутренней неурядицы, непременно будут замечены. Свободы выбора у него нет ни в чем. С другой стороны, его поведение не регламентируется законом или четкими нормами. В Океании нет закона. Мысли и действия, караемые смертью (если их обнаружили), официально не запрещены, а бесконечные чистки, аресты, посадки, пытки и распыления имеют целью не наказать преступника, а устранить тех, кто мог бы когда-нибудь в будущем стать преступником. У члена партии должны быть не только правильные воззрения, но и правильные инстинкты. Требования к его взглядам и убеждениям зачастую не сформулированы в явном виде — их и нельзя сформулировать, не обнажив противоречивости, свойственной ангсоцу. Если человек от природы правоверен (*благомыслящий* на новоязе), он при всех обстоятельствах, не задумываясь, знает, какое убеждение правильно и какое чувство желательно. Но в любом случае тщательная умственная тренировка в детстве, основанная на новоязовских словах *самостоп, белочерный* и *двоемыслие*, отбивает у него охоту глубоко задумываться над какими бы то ни было вопросами.

Партийцу не положено иметь никаких личных чувств и никаких перерывов в энтузиазме. Он должен жить в постоянном неистовстве — ненавидя внешних врагов и внутренних изменников, торжествуя очередную победу, преклоняясь перед могуществом и мудростью партии. Недовольство, порожденное скудной и безрадостной жизнью, планомерно направляют на внешние объекты и рассеивают при помощи таких приемов, как двухминутка ненависти, а мысли, которые могли бы привести к скептическому или мятежному расположению духа, убиваются в зародыше воспитанной сызмала внутренней дисциплиной. Первая и простейшая ступень дисциплины, которую могут усвоить даже дети, называется на новоязе *самостоп*. Самостоп означает как бы инстинктивное умение остановиться на пороге опасной мысли. Сюда входит способность не видеть аналогий, не замечать логических ошибок, неверно истолковывать даже простейший довод, если он враждебен ангсоцу, испытывать скуку и отвращение от хода мыслей, который может привести к ереси. Короче говоря, самостоп означает спасительную глупость. Но глупости недостаточно. Напротив, от правоверного требуется такое же владение своими умственными процессами, как от человека-змеи в цирке — своим телом. В конечном счете строй зиждется на том убеждении, что Старший Брат всемогущ, а партия непогрешима. Но поскольку Старший Брат не всемогущ и непогрешимость партии не свойственна,

необходима неустанная и ежеминутная гибкость в обращении с фактами. Ключевое слово здесь — *белочерный*. Как и многие слова новояза, оно обладает двумя противоположными значениями. В применении к оппоненту оно означает привычку бесстыдно утверждать, что черное — это белое, вопреки очевидным фактам. В применении к члену партии — благонамеренную готовность назвать черное белым, если того требует партийная дисциплина. Но не только назвать: еще и *верить*, что черное — это белое, больше того, *знать*, что черное — это белое, и забыть, что когда-то ты думал иначе. Для этого требуется непрерывная переделка прошлого, которую позволяет осуществлять система мышления, по сути, охватывающая все остальные и именуемая на новоязе двоемыслием.

Переделка прошлого нужна по двум причинам. Одна из них, второстепенная и, так сказать, профилактическая, заключается в следующем. Партиец, как и пролетарий, терпит нынешние условия отчасти потому, что ему не с чем сравнивать. Он должен быть отрезан от прошлого так же, как от зарубежных стран, ибо ему надо верить, что он живет лучше предков и что уровень материальной обеспеченности неуклонно повышается. Но несравненно более важная причина для исправления прошлого — в том, что надо охранять непогрешимость партии. Речи, статистика, всевозможные документы должны подгоняться под сегодняшний день для доказательства того, что предсказания партии всегда были верны. Мало того: нельзя признавать никаких перемен в доктрине и политической линии. Ибо изменить воззрения или хотя бы политику — это значит признаться в слабости. Если, например, сегодня враг — Евразия (или Остазия, неважно, кто), значит, она всегда была врагом. А если факты говорят обратное, тогда факты надо изменить. Так непрерывно переписывается история. Эта ежедневная подчистка прошлого, которой занято министерство правды, так же необходима для устойчивости режима, как репрессивная и шпионская работа, выполняемая министерством любви.

Изменчивость прошлого — главный догмат ангсоца. Утверждается, что события прошлого объективно не существуют, а сохраняются только в письменных документах и в человеческих воспоминаниях. Прошлое есть то, что согласуется с записями и воспоминаниями. А поскольку партия полностью распоряжается документами и умами своих членов, прошлое таково, каким его желает сделать партия. Отсюда же следует, что, хотя прошлое изменчиво, его ни в какой момент не меняли. Ибо если оно воссоздано в том виде, какой сейчас надобен, значит, эта новая версия *и есть* прошлое, и никакого другого прошлого быть не могло. Сказанное справедливо и тогда, когда прошлое событие, как нередко бывает, меняется до неузнаваемости несколько раз в год. В каждое мгновение партия владеет абсолютной истиной; абсолютное же, очевидно, не может быть иным, чем сейчас. Понятно также, что управление прошлым прежде всего зависит от тренировки памяти. Привести

все документы в соответствие с требованиями дня — дело чисто механическое. Но ведь необходимо и *помнить*, что события происходили так, как требуется. А если необходимо переиначить воспоминания и подделать документы, значит, необходимо *забыть*, что это сделано. Этому фокусу можно научиться так же, как любому методу умственной работы. И большинство членов партии (а умные и правоверные — все) ему научаются. На старояе это прямо называют «покорением действительности». Но новояе — двоемыслием, хотя двоемыслие включает в себя и многое другое.

Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоположных убеждений. Партийный интеллигент знает, в какую сторону менять свои воспоминания; следовательно, сознает, что мошенничает с действительностью; однако при помощи двоемыслия он уверяет себя, что действительность осталась неприкосновенна. Этот процесс должен быть сознательным, иначе его не осуществишь аккуратно, но должен быть и бессознательным, иначе возникнет ощущение лжи, а значит, и вины. Двоемыслие — душа ангсоца, поскольку партия пользуется намеренным обманом, твердо держа курс к своей цели, а это требует полной честности. Говорить заведомую ложь и одновременно в нее верить, забыть любой факт, ставший неудобным, и извлечь его из забвения, едва он опять понадобился, отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь,— все это абсолютно необходимо. Даже пользуясь словом «двоемыслие», необходимо прибегать к двоемыслию. Ибо, пользуясь этим словом, ты признаешь, что мошенничаешь с действительностью; еще один акт двоемыслия — и ты стер это в памяти; и так до бесконечности, причем ложь все время на шаг впереди истины. В конечном счете именно благодаря двоемыслию партии удалось (и кто знает, еще тысячи лет может удаваться) остановить ход истории.

Все прошлые олигархии лишались власти либо из-за окостенения, либо из-за дряблости. Либо они становились тупыми и самонадеянными, переставали приспосабливаться к новым обстоятельствам и рушились, либо становились либеральными и трусливыми, шли на уступки, когда надо было применить силу,— и опять-таки рушились. Иначе говоря, губила их сознательность или, наоборот, атрофия сознания. Успехи партии зиждятся на том, что она создала систему мышления, где оба состояния существуют одновременно. И ни на какой другой интеллектуальной основе ее владычество нерушимым быть не могло. Тому, кто правит и намерен править дальше, необходимо умение искажать чувство реальности. Секрет владычества в том, чтобы вера в свою непогрешимость сочеталась с умением учиться на прошлых ошибках.

Излишне говорить, что тоньше всех владеют двоемыслием те, кто изобрел двоемыслие и понимает его как грандиозную систему умственного надувательства. В нашем обществе те, кто лучше всех осведомлен о происходящем, меньше всех способ-

ны увидеть мир таким, каков он есть. В общем, чем больше понимания, тем сильнее иллюзии: чем умнее, тем безумнее. Наглядный пример — военная истерия, нарастающая по мере того, как мы поднимаемся по социальной лестнице. Наиболее разумное отношение к войне — у покоренных народов на спорных территориях. Для этих народов война — просто нескончаемое бедствие, снова и снова прокатывающееся по их телам, подобно цунами. Какая сторона побеждает, им безразлично. Они знают, что при новых властителях будут делать прежнюю работу и обращаться с ними будут так же, как прежде. Находящиеся в чуть лучшем положении рабочие, которых мы называем «пролами», замечают войну лишь время от времени. Когда надо, их можно возбудить до исступленного гнева или страха, но, предоставленные самим себе, они забывают о ведущейся войне надолго. Подлинный военный энтузиазм мы наблюдаем в рядах партии, особенно внутренней партии. В завоевание мира больше всех верят те, кто знает, что оно невозможно. Это причудливое сцепление противоположностей — знания с невежеством, цинизма с фанатизмом — одна из отличительных особенностей нашего общества. Официальное учение изобилует противоречиями даже там, где в них нет реальной нужды. Так, партия отвергает и чернит все принципы, на которых первоначально стоял социализм,— и занимается этим во имя социализма. Она проповедует презрение к рабочему классу, невиданное в минувшие века,— и одевает своих членов в форму, некогда привычную для людей физического труда и принятую именно по этой причине. Она систематически подрывает сплоченность семьи — и зовет своего вождя именем, прямо апеллирующим к чувству семейной близости. Даже в названиях четырех министерств, которые нами управляют,— беззастенчивое опрокидывание фактов. Министерство мира занимается войной, министерство правды — ложью, министерство любви — пытками, министерство изобилия морит голодом. Такие противоречия не случайны и происходят не просто от лицемерия: это двоемыслие в действии. Ибо лишь примирение противоречий позволяет удерживать власть неограниченно долго. По-иному извечный цикл прервать нельзя. Если человеческое равенство надо навсегда сделать невозможным, если высшие, как мы их называем, хотят сохранить свое место навеки, тогда господствующим душевным состоянием должно быть управляемое безумие.

Но есть один вопрос, который мы до сих пор не затрагивали. *Почему* надо сделать невозможным равенство людей? Допустим, механика процесса описана верно — каково же все-таки побуждение к этой колоссальной, точно спланированной деятельности, направленной на то, чтобы заморозить историю в определенной точке?

Здесь мы подходим к главной загадке. Как мы уже видели, мистический ореол вокруг партии, и прежде всего внутренней партии, обусловлен двоемыслием. Но под этим кроется исходный мотив, неисследованный инстинкт, который привел сперва к захвату власти, а затем породил и двоемыслие, и полицию

мыслей, и постоянную войну, и прочие обязательные принадлежности строя. Мотив этот заключается...

Уинстон ощутил тишину, как ощущаешь новый звук. Ему показалось, что Джулия давно не шевелится. Она лежала на боку, до пояса голая, подложив ладонь под щеку, и темная прядь упала ей на глаза. Грудь у нее вздымалась медленно и мерно.

— Джулия.

Нет ответа.

— Джулия, ты не спишь?

Нет ответа. Она спала. Он закрыл книгу, опустил на пол, лег и натянул повыше одеяло — на нее и на себя.

Он подумал, что так и не знает главного секрета. Он понимал *как*; он не понимал *зачем*. Первая глава, как и третья, не открыла ему, в сущности, ничего нового. Она просто привела его знания в систему. Однако книга окончательно убедила его в том, что он не безумец. Если ты в меньшинстве — и даже в единственном числе,— это не значит, что ты безумен. Есть правда и есть неправда, и, если ты держишься правды, пусть наперекор всему свету, ты не безумен. Желтый луч закатного солнца протянулся от окна к подушке. Уинстон закрыл глаза. От солнечного тепла на лице, оттого, что к нему прикасалось гладкое женское тело, им овладело спокойное, сонное чувство уверенности. Им ничто не грозит... все хорошо. Он уснул, бормоча: «Здравый рассудок — понятие не статистическое»,— и ему казалось, что в этих словах заключена глубокая мудрость.

X

Проснулся он с ощущением, что спал долго, но по старинным часам получалось, что сейчас только 20.30. Он опять задремал, а потом во дворе запел знакомый грудной голос:

Давно уж нет мечтаний, сердцу милых.
Они прошли, как первый день весны.
Но позабыть я и теперь не в силах
Былых надежд волнующие сны!

Дурацкая песенка, кажется, не вышла из моды. Ее пели по всему городу. Она пережила «Песню ненависти». Джулия, разбуженная пением, сладко потянулась и вылезла из постели.

— Хочу есть,— сказала она.— Сварим еще кофе? Черт, керосинка погасла, вода остыла.— Она подняла керосинку и поболтала.— Керосину нет.

— Наверное, можно попросить у старика.

— Удивляюсь, она у меня была полная. Надо одеться. Похолодало как будто.

Уинстон тоже встал и оделся. Неугомонный голос продолжал петь:

Пусть говорят мне: время все излечит,
Пусть говорят: страдания забудь.
Но музыка давно забытой речи
Мне и сегодня разрывает грудь!

Застегнув пояс комбинезона, он подошел к окну. Солнце опустилось за дома — уже не светило на двор. Каменные плиты были мокрые, как будто их только что вымыли, и ему показалось, что небо тоже мыли — так свежо и чисто голубело оно между дымоходами. Без устали шагала женщина взад и вперед, закупоривала себе рот и раскупоривала, запевала, умолкала и все вешала пеленки, вешала, вешала. Он подумал: зарабатывает она стиркой или просто обстирывает двадцать-тридцать внуков? Джулия подошла и стала рядом: мощная фигура во дворе приковывала взгляд. Вот женщина опять приняла обычную позу — протянула толстые руки к веревке, отставив могучий круп, и Уинстон впервые подумал, что она красива. Ему никогда не приходило в голову, что тело пятидесятилетней женщины, чудовищно раздавшееся от многих родов, а потом загрубевшее, затвердевшее от работы, сделавшееся плотным, как репа, может быть красиво. Но оно было красиво, и Уинстон подумал: а почему бы, собственно, нет? С шершавой красной кожей, прочное и бесформенное, словно гранитная глыба, оно так же походило на девичье тело, как ягода шиповника — на цветок. Но кто сказал, что плод хуже цветка?

— Она красивая,— прошептал Уинстон.

— У нее бедра два метра в обхвате,— отозвалась Джулия.

— Да, это красота в другом роде.

Он держал ее, обхватив кругом талии одной рукой. Ее бедро прижималось к его бедру. Их тела никогда не произведут ребенка. Этого им не дано. Только устным словом, от разума к разуму, передадут они дальше свой секрет. У женщины во дворе нет разума — только сильные руки, горячее сердце, плодоносное чрево. Он подумал: скольких она родила? Такая свободно могла и полтора десятка. Был и у нее недолгий расцвет, на год какой-нибудь распустилась, словно дикая роза, а потом вдруг набухла, как завязь, стала твердой, красной, шершавой, и пошло: стирка, уборка, штопка, стряпня, подметание, натирка, починка, уборка, стирка — сперва на детей, потом на внуков — и так тридцать лет без передышки. И после этого еще поет. Мистическое благоговение перед ней как-то наложилось на картину чистого бледного неба над дымоходами, уходившего в бесконечную даль. Странно было думать, что небо у всех то же самое — и в Евразии, и в Остазии, и здесь. И люди под небом те же самые — всюду, по всему свету, сотни, тысячи миллионов людей таких же, как эта: они не ведают о существовании друг друга, они разделены стенами ненависти и лжи и все же почти одинаковы: они не научились думать, но копят в сердцах, и чреслах, и мышцах мощь, которая однажды перевернет мир. Если есть надежда, то она — в пролах. Он знал, что таков будет и вывод Голдстейна, хотя не дочел книгу до конца. Будущее за

пролами. А можно ли быть уверенным, что, когда придет их время, для него, Уинстона Смита, мир, ими созданный, не будет таким же чужим, как мир партии? Да, можно, ибо новый мир будет наконец миром здравого рассудка. Где есть равенство, там может быть здравый рассудок. Рано или поздно это произойдет — сила превратится в сознание. Пролы бессмертны: героическая фигура во дворе — лучшее доказательство. И пока этого не произойдет — пусть надо ждать еще тысячу лет,— они будут жить наперекор всему, как птицы, передавая от тела к телу жизненную силу, которой партия лишена и которую она не может убить.

— Ты помнишь,— спросил он,— как в первый день на прогалине нам пел дрозд?

— Он не нам пел,— сказала Джулия.— Он пел для собственного удовольствия. И даже не для этого. Просто пел.

Поют птицы, поют пролы, партия не поет. По всей земле, в Лондоне и Нью-Йорке, в Африке и Бразилии, в таинственных запретных странах за границей, на улицах Парижа и Берлина, в деревнях на бескрайних равнинах России, на базарах Китая и Японии — всюду стоит эта крепкая непобедимая женщина, чудовищно раздавшаяся от родов и вековечного труда,— и вопреки всему поет. Из этого мощного лона когда-нибудь может выйти племя сознательных существ. Ты — мертвец; будущее — за ними. Но ты можешь причаститься к этому будущему, если сохранишь живым разум, как они сохранили тело, и передашь дальше тайное учение о том, что дважды два — четыре.

— Мы — покойники,— сказал он.

— Мы — покойники,— послушно согласилась Джулия.

— Вы покойники,— раздался железный голос у них за спиной.

Они отпрянули друг от друга. Внутренности у него превратились в лед. Он увидел, как расширились глаза у Джулии. Лицо стало молочно-желтым. Румяна на скулах выступили ярче, как что-то отдельное от кожи.

— Вы покойники,— повторил железный голос.

— Это за картинкой,— прошептала Джулия.

— Это за картинкой,— произнес голос.— Оставаться на своих местах. Двигаться только по приказу.

Вот оно, началось! Началось! Они не могли пошевелиться и только смотрели друг на друга. Спасаться бегством, удрать из дома, пока не поздно,— это им даже в голову не пришло. Немыслимо ослушаться железного голоса из стены. Послышался щелчок, как будто отодвинули щеколду, зазвенело разбитое стекло. Гравюра упала на пол, и под ней открылся телекран.

— Теперь они нас видят,— сказала Джулия.

— Теперь мы вас видим,— сказал голос.— Встаньте в центре комнаты. Стоять спиной к спине. Руки за голову. Не прикасаться друг к другу.

Уинстон не прикасался к Джулии, но чувствовал, как она дрожит всем телом. А может, это он сам дрожал. Зубами он еще мог не стучать, но колени его не слушались. Внизу — в доме

и снаружи — топали тяжелые башмаки. Дом будто наполнился людьми. По плитам тащили какой-то предмет. Песня женщины оборвалась. Что-то загромыхало по камням — как будто через весь двор швырнули корыто, потом поднялся галдеж, закончившийся криком боли.

— Дом окружен,— сказал Уинстон.

— Дом окружен,— сказал голос.

Он услышал, как лязгнули зубы у Джулии.

— Кажется, мы можем попрощаться,— сказала она.

— Можете попрощаться,— сказал голос.

Тут вмешался другой голос — высокий, интеллигентный, показавшийся Уинстону знакомым:

— И раз уж мы коснулись этой темы: «Вот зажгу я пару свеч — ты в постельку можешь лечь, вот возьму я острый меч — и головка твоя с плеч!»

Позади Уинстона что-то со звоном посыпалось на кровать. В окно просунули лестницу, и конец ее торчал в раме. Кто-то лез к окну. На лестнице в доме послышался топот многих ног. Комнату наполнили крепкие мужчины в черной форме, в кованых башмаках и с дубинками наготове.

Уинстон больше не дрожал. Даже глаза у него почти остановились. Одно было важно: не шевелиться, не шевелиться, чтобы у них не было повода бить! Задумчиво покачивая в двух пальцах дубинку, перед ним остановился человек с тяжелой челюстью боксера и щелью вместо рта. Уинстон встретился с ним взглядом. Ощущение наготы оттого, что ты стоишь, сцепив руки на затылке, а лицо и тело не защищены, было почти непереносимым. Человек высунул кончик белого языка, облизнул то место, где полагалось быть губам, и прошел дальше. Опять раздался треск. Кто-то взял со стола стеклянное пресс-папье и вдребезги разбил о камин.

По половику прокатился осколок коралла — крохотная розовая морщинка, как кусочек карамели с торта. Какой маленький, подумал Уинстон, какой же он был маленький! Сзади послышался удар по чему-то мягкому, кто-то охнул; Уинстона с силой пнули в лодыжку, чуть не сбив с ног. Один из полицейских ударил Джулию в солнечное сплетение, и она сложилась пополам. Она корчилась на полу и не могла вздохнуть. Уинстон не осмеливался повернуть голову ни на миллиметр, но ее бескровное лицо с разинутым ртом очутилось в поле его зрения. Несмотря на ужас, он словно чувствовал ее боль в своем теле — смертельную боль, и все же не такую невыносимую, как удушье. Он знал, что это такое: боль ужасная, мучительная, никак не отступающая — но терпеть ее еще не надо, потому что все заполнено одним: воздуху! Потом двое подхватили ее за колени и за плечи и вынесли из комнаты, как мешок. Перед Уинстоном мелькнуло ее лицо, запрокинувшееся, искаженное, желтое, с закрытыми глазами и пятнами румян на щеках; он видел ее в последний раз.

Он застыл на месте. Пока что его не били. В голове замелькали мысли, совсем ненужные. Взяли или нет мистера Чарринг-

тона? Что они сделали с женщиной во дворе? Он заметил, что ему очень хочется по малой нужде, и это его слегка удивило: он был в уборной всего два-три часа назад. Заметил, что часы на камине показывают девять, то есть 21. Но на дворе было совсем светло. Разве в августе не темнеет к двадцати одному часу? А может быть, они с Джулией все-таки перепутали время — проспали полсуток, и было тогда не 20.30, как они думали, а уже 8.30 утра? Но развивать эту мысль не стал. Она его не занимала.

В коридоре послышались еще чьи-то шаги, более легкие. В комнату вошел мистер Чаррингтон. Люди в черном сразу притихли. И сам мистер Чаррингтон как-то изменился. Взгляд его упал на осколки пресс-папье.

— Подберите стекло,— резко сказал он.

Один человек послушно нагнулся. Простонародный лондонский выговор у хозяина исчез; Уинстон вдруг сообразил, что это его голос только что звучал в телекране. Мистер Чаррингтон по-прежнему был в старом бархатном пиджаке, но его волосы, почти совсем седые, стали черными. И очков на нем не было. Он кинул на Уинстона острый взгляд, как бы опознавая его, и больше им не интересовался. Он был похож на себя прежнего, но это был другой человек. Он выпрямился, как будто стал крупнее. В лице произошли только мелкие изменения — но при этом оно преобразилось совершенно. Черные брови казались не такими кустистыми, морщины исчезли, изменился и очерк лица; даже нос стал короче. Это было лицо настороженного хладнокровного человека лет тридцати пяти. Уинстон подумал, что впервые в жизни видит перед собой с полной определенностью сотрудника полиции мыслей.

Третья

I

Уинстон не знал, где он. Вероятно, его привезли в министерство любви, но удостовериться в этом не было никакой возможности.

Он находился в камере без окон, с высоким потолком и белыми сияющими кафельными стенами. Скрытые лампы заливали ее холодным светом, и слышалось тихое гудение — он решил, что это вентиляция. Вдоль всех стен, с промежутком только в двери, тянулась то ли скамья, то ли полка, как раз такой ширины, чтобы сесть, а в дальнем конце, напротив двери, стояло ведро без стульчака. На каждой стене было по телекрану — четыре штуки.

Он чувствовал тупую боль в животе. Заболело еще тогда, когда Уинстона запихнули в фургон и повезли. Ему хотелось есть — голод был сосущий, нездоровый. Он не ел, наверное, сутки, а то и полтора суток. Он так и не понял и, скорее всего, не поймет, когда же его арестовали, вечером или утром. После ареста ему не давали есть.

Как можно тише он сел на узкую скамью и сложил руки на колене. Он уже научился сидеть тихо. Если делаешь неожиданное движение, на тебя кричит телекран. А голод донимал все злее. Больше всего ему хотелось хлеба. Он предполагал, что в кармане комбинезона завалялись крошки. Или даже — что еще там могло щекотать ногу? — кусок корки. В конце концов искушение пересилило страх; он сунул руку в карман.

— Смит! — гаркнуло из телекрана.— Шестьдесят — семьдесят девять, Смит У.! Руки из карманов в камере!

Он опять застыл, сложив руки на колене. Перед тем как попасть сюда, он побывал в другом месте — не то в обыкновенной тюрьме, не то в камере предварительного заключения у патрульных. Он не знал, долго ли там пробыл — во всяком случае, не один час: без окна и без часов о времени трудно судить. Место было шумное, вонючее. Его поместили в камеру вроде этой, но

отвратительно грязную, и тесиилось в ией ие меньше десяти — пятнадцати человек. В большиистве обыкновеииые уголовиики, ио были и политические. Он молча сидел у стеиы, стисиутый грязными телами, от страха и боли в животе почти ие обращал виимаиия иа сокамерииков — и тем ие меиее удивился, до чего по-разиому ведут себя партийцы и остальиые. Партийцы были молчаливы и иапугаиы, а уголовники, казалось, не боятся иикого. Они выкрикивали оскорблеиия надзирателям, яростно сопротивлялись, когда у них отбирали пожитки, писали на полу иепристойиости, ели пищу, проиесеииую коитрабаидой и спрятаииую в непонятиых местах под одеждой, и даже огрызались иа телекраиы, призывавшие к порядку. С другой стороны, иекоторые из иих как будто были иа дружеской иоге с иадзирателями, звали их по кличкам и через глазок кляичили у иих сигареты. Надзиратели отиосились к уголовиикам снисходительио, даже когда приходилось примеиять к ним силу. Много было разговоров о каторжных лагерях, куда предстояло отправиться большинству арестоваиных. В лагерях «иормальио», поиял Уиистои, если знаешь, что к чему и имеешь связи. Там подкуп, блат и всяческое вымогательство, там педерастия и проституция и даже самогои из картошки. На должностях только уголовиики, особеиио бандиты и убийцы — это аристократия. Самая чериая работа достается политическим.

Через камеру непрерывно текли самые разиые арестаиты: торговцы наркотиками, воры, баидиты, спекулянты, пьяницы, проститутки. Пьяиицы иногда буяиили так, что остальным приходилось усмирять их сообща. Четверо надзирателей втащили, растяиув за четыре коиечиости, громадиую растерзаииую бабищу лет шестидесяти с большой вислой грудью; оиа кричала, дрыгала ногами, и от возни ее седые волосы рассыпались толстыми извилистыми прядями. Оиа все время иоровила пнуть иадзирателей, и, сорвав с нее ботинки, они свалили ее на Уиистоиа, чуть не сломав ему ноги. Жеищина села и крикнула им вдогоику: «За...цы!» Потом почувствовала, что сидит иа иеровиом, и сползла с его колеи иа скамью.

— Извини, голубок,— сказала она,— Я ие сама на тебя села — паразиты посадили. Видал, что с жеищиной творят? — Оиа замолчала, похлопала себя по груди и рыгиула.— Извиияюсь. Сама не своя.

Оиа наклонилась, и ее обильно вырвало иа пол.

— Все полегче,— сказала она, с закрытыми глазами откииувшись к стеие.— Я так говорю: никогда в себе ие задерживай. Выпускай, чтоб в животе ие закисло.

Она слегка ожила, повернулась, еще раз взглянула иа Уинстона и иемедлеино к иему расположилась. Толстой ручищей оиа обияла его за плечи и притянула к себе, дыша в лицо пивом и рвотой.

— Звать-то тебя как, голубок?

— Смит,— сказал Уиистои.

— Смит? Смотри ты. И я Смит.— И, расчувствовавшись, добавила: — Я тебе матерью могла быть.

Могла быть и матерью, подумал Уиистон. И по возрасту, и по телосложеиию — а за двадцать лет в лагере человек, надо полагать, меняется.

Больше иикто с иим не заговаривал. Удивительно было, иасколько уголовиики игиорируют партийиых. Называли оии их с иескрываемым презреиием «политики». Арестоваииые партийцы вообще боялись разговаривать, а друг с другом — в особеииости. Только раз, когда двух партийных женщии притисиули друг к дружке на скамье, ои услышал в общем гомоие обрывки их торопливого шепота — в частиости, о какой-то «комиате сто один», что-то совершеиио иепоиятное.

В иовой камере ои сидел, иаверио, уже два часа, а то и три. Тупая боль в животе ие проходила, ио времеиами ослабевала, а временами усиливалась — соответствеиио мысли его то распространялись, то съеживались. Когда боль усиливалась, ои думал только о ией и о том, что хочется есть. Когда оиа отступала, его охватывала паника. Ииой раз предстоящее рисовалось ему так ясио, что дух занимался и сердце иеслось вскачь. Ои ощущал удары дубиики по локтю и подкованиых сапог — по щиколоткам; видел, как ползает по полу и, выплевывая зубы, кричит «не иадо!». О Джулии он почти ие думал. Не мог на ией сосредоточиться. Он любил ее, и он ее ие предаст; ио это был просто факт, известиый, как известно правило арифметики. Любви ои не чувствовал и даже не особенно думал о том, что сейчас происходит с Джулией. О'Брайена ои вспомииал чаще — и с проблесками надежды. О'Брайеи должен зиать, что его арестовали. Братство, сказал ои, никогда не пытается выручить своих. Но — бритвеииое лезвие; если удастся, оии передадут ему бритву. Пока надзиратели прибегут в камеру, пройдет секунд пять. Лезвие вопьется обжигающим холодом, и даже пальцы, сжавшие его, будут прорезаиы до кости. Все это он ощущал явствеино, а измучениое тело и так дрожало и сжималось от малейшей боли. Уиистои не был уверен, что воспользуется бритвой, даже если получит ее в руки. Человеку свойственно жить мгновеиием, ои согласится продлить жизнь хоть иа десять минут, даже зиая иаверияка, что в конце его ждет пытка.

Несколько раз ои пытался сосчитать изразцы в стеиах камеры. Казалось бы, простое дело, но всякий раз ои сбивался со счета. Чаще он думал о том, куда его посадили и какое сейчас время суток. Минуту назад ои был увереи, что иа улице день в разгаре, а сейчас так же твердо — что за стеиами тюрьмы глухая ночь. Иистиикт подсказывал, что в таком месте свет вообще не выключают. Место, где нет темноты; теперь ему стало ясно, почему О'Брайеи как будто сразу поиял эти слова. В миiистерстве любви не было окои. Камера его может быть и в середке здаиия, и у виешией стеиы, может быть под землей на десятом этаже, а может — иа тридцатом иад землей. Ои мыслеино двигался с места иа место — ие подскажет ли тело, где ои, высоко иад улицей или погребеи в иедрах.

Сиаружи послышался мериый топот. Стальиая дверь с лязгом распахиулась. Браво вошел молодой офицер в ладиом чер-

ном мундире, весь сияющий кожей, с бледным правильным лицом, похожим на восковую маску. Он знаком приказал надзирателям за дверью ввести арестованного. Спотыкаясь, вошел поэт Амплфорт. Дверь с лязгом захлопнулась.

Поэт неуверенно ткнулся в одну сторону и в другую, словно думая, что где-то будет еще одна дверь, выход, а потом стал ходить взад и вперед по камере. Уинстона он еще не заметил. Встревоженный взгляд его скользил по стене на метр выше головы Уинстона. Амплфорт был разут; из дыр в носках выглядывали крупные грязные пальцы. Он несколько дней не брился. Лицо, до скул заросшее щетиной, приобрело разбойничий вид, не вязавшийся с его большой расхлябанной фигурой и нервностью движений.

Уинстон старался стряхнуть оцепенение. Он должен поговорить с Амплфортом — даже если за этим последует окрик из телекрана. Не исключено, что с Амплфортом прислали бритву.

— Амплфорт,— сказал он.

Телекран молчал. Амплфорт, слегка опешив, остановился. Взгляд его медленно сфокусировался на Уинстоне.

— А-а, Смит! — сказал он.— И вы тут!

— За что вас?

— По правде говоря...— Он неуклюже опустился на скамью напротив Уинстона.— Ведь есть только одно преступление?

— И вы его совершили?

— Очевидно, да.

Он поднес руку ко лбу и сжал пальцами виски, словно что-то припоминая.

— Такое случается,— неуверенно начал он.— Я могу припомнить одно обстоятельство... возможное обстоятельство. Неосторожность с моей стороны — это несомненно. Мы готовили каноническое издание стихов Киплинга. Я оставил в конце строки слово «молитва». Ничего не мог сделать! — добавил он почти с негодованием и поднял глаза на Уинстона.— Невозможно было изменить строку. Рифмовалось с «битвой». Вам известно, что с «битвой» рифмуются всего три слова? Ломал голову несколько дней. Не было другой рифмы.

Выражение его лица изменилось. Досада ушла, и сейчас вид у него был чуть ли не довольный. Сквозь грязь и щетину проглянул энтузиазм, радость педанта, откопавшего какой-то бесполезный фактик.

— Вам когда-нибудь приходило в голову, что все развитие нашей поэзии определялось бедностью рифм в языке?

Нет, эта мысль Уинстону никогда не приходила в голову. И в нынешних обстоятельствах она тоже не показалась ему особенно интересной и важной.

— Вы не знаете, который час? — спросил он.

Амплфорт опять опешил.

— Я об этом как-то не задумывался. Меня арестовали... дня два назад... или три.— Он окинул взглядом стены, словно все-таки надеялся увидеть окно.— Тут день от ночи не отличишь. Не понимаю, как тут можно определить время.

Они поговорили бессвязно еще несколько минут, а потом, без всякой видимой причины, телекран рявкнул на них: замолчать. Уинстон затих, сложив руки на колене. Большому Амплфорту было неудобно на узкой скамье, он ерзал, сдвигался влево, вправо, обхватывал худыми руками то одно колено, то другое. Телекран снова рявкнул: сидеть тихо. Время шло. Двадцать минут, час — понять было трудно. Снаружи опять затопали башмаки. У Уинстона схватило живот. Скоро, очень скоро, может быть, через пять минут затопают так же, и это будет значить, что настал его черед.

Открылась дверь. Офицер с безучастным лицом вошел в камеру. Легким движением руки он показал на Амплфорта.

— В комнату сто один,— произнес он.

Амплфорт в смутной тревоге и недоумении неуклюже вышел с двумя надзирателями.

Прошло как будто много времени. Уинстона донимала боль в животе. Мысли снова и снова ползли по одним и тем же предметам, как шарик, все время застревающий в одних и тех же лунках. Мыслей у него было шесть. Болит живот; кусок хлеба; кровь и вопли; О'Брайен; Джулия; бритва. Живот опять схватило: тяжелый топот башмаков приближался. Дверь распахнулась, и Уинстона обдало запахом старого пота. В камеру вошел Парсонс. Он был в шортах защитного цвета и в майке.

От изумления Уинстон забыл обо всем.

— Вы здесь! — сказал он.

Парсонс бросил на Уинстона взгляд, в котором не было ни интереса, ни удивления, а только пришибленность. Он нервно заходил по камере — по-видимому, не мог сидеть спокойно. Заметно было, как дрожат его пухлые колени. Широко раскрытые глаза неподвижно смотрели вперед, словно не могли оторваться от какого-то предмета вдалеке.

— За что вас арестовали? — спросил Уинстон.

— Мыслепреступление! — сказал Парсонс, чуть не плача. В голосе его слышалось и глубокое раскаяние, и смешанный с изумлением ужас: неужели это слово относится к нему? Он стал напротив Уинстона и страстно, умоляюще начал:

— Ведь меня не расстреляют, скажите, Смит? У нас же не расстреливают, если ты ничего не сделал... только за мысли, а мыслям ведь не прикажешь. Я знаю, там разберутся, выслушают. В это я твердо верю. Там же знают, как я старался. Вы-то знаете, что я за человек. Неплохой по-своему. Ума, конечно, небольшого, но увлеченный. Сил для партии не жалел, правда ведь? Как думаете, пятью годами отделаюсь? Ну, пускай десятью? Такой, как я, может принести пользу в лагере. За то, что один раз споткнулся, ведь не расстреляют?

— Вы виноваты? — спросил Уинстон.

— Конечно, виноват! — вскричал Парсонс, подобострастно взглянув на телекран.— Неужели же партия арестует невиноватого, как по-вашему? — Его лягушачье лицо стало чуть спокойней, и на нем даже появилось ханжеское выражение.— Мыслепреступление — это жуткая штука, Смит,— нравоучи-

тельно произнес он.— Коварная. Нападает так, что не заметишь. Знаете, как на меня напало? Во сне. Верно вам говорю. Работал вовсю, вносил свою лепту — и даже не знал, что в голове у меня есть какая-то дрянь. А потом стал во сне разговаривать. Знаете, что от меня услышали?

Он понизил голос, как человек, вынужденный по медицинским соображениям произнести непристойность:

— Долой Старшего Брата! Вот что я говорил. И кажется, много раз. Между нами, я рад, что меня забрали, пока это дальше не зашло. Знаете, что я скажу, когда меня поставят перед трибуналом? Я скажу: «Спасибо вам. Спасибо, что спасли меня вовремя».

— Кто о вас сообщил? — спросил Уинстон.

— Дочурка,— со скорбной гордостью ответил Парсонс.— Подслушивала в замочную скважину. Услышала, что я говорю, и на другой же день — шасть к патрулям. Недурно для семилетней пигалицы, а? Я на нее не в обиде. Наоборот, горжусь. Это показывает, что я воспитал ее в правильном духе.

Он несколько раз судорожно присел, с тоской поглядывая на ведро для экскрементов. И вдруг сдернул шорты.

— Прошу прощения, старина. Не могу больше. Это от волнения.

Он плюхнулся пышными ягодицами на ведро. Уинстон закрыл лицо ладонями.

— Смит! — рявкнул телекран.— Шестьдесят — семьдесят девять, Смит У.! Откройте лицо. В камере лицо не закрывать!

Уинстон опустил руки. Парсонс обильно и шумно опростался в ведро. Потом выяснилось, что крышка подогнана плохо, и еще несколько часов в камере стояла ужасная вонь.

Парсонса забрали. Таинственно появлялись и исчезали все новые арестанты. Уинстон заметил, как одна женщина, направленная в «комнату 101», съежилась и побледнела, услышав эти слова. Если его привели сюда утром, то сейчас уже была, наверно, вторая половина дня; а если привели днем — то полночь. В камере осталось шесть арестованных, мужчин и женщин. Все сидели очень тихо. Напротив Уинстона находился человек с длинными зубами и почти без подбородка, похожий на какого-то большого безобидного грызуна. Его толстые крапчатые щеки оттопыривались снизу, и очень трудно было отделаться от ощущения, что у него там спрятана еда. Светло-серые глаза пугливо перебегали с одного лица на другое, а встретив чей-то взгляд, тут же устремлялись прочь.

Открылась дверь, и ввели нового арестанта, при виде которого Уинстон похолодел. Это был обыкновенный неприятный человек, какой-нибудь инженер или техник. Поразительной была изможденность его лица. Оно напоминало череп. Из-за худобы рот и глаза казались непропорционально большими, а в глазах будто застыла смертельная, неукротимая ненависть к кому-то или чему-то.

Новый сел на скамью неподалеку от Уинстона. Уинстон больше не смотрел на него, но измученное лицо-череп так

и стояло перед глазами. Он вдруг сообразил, в чем дело. Человек умирал от голода. Эта мысль, по-видимому, пришла в голову всем обитателям камеры почти одновременно. На всей скамье произошло легкое движение. Человек без подбородка то и дело поглядывал на лицо-череп, виновато отводил взгляд и снова смотрел, как будто это лицо притягивало его неудержимо. Он начал ерзать. Наконец встал, вперевалку подошел к скамье напротив, залез в карман комбинезона и смущенно протянул человеку-черепу грязный кусок хлеба.

Телекран загремел яростно, оглушительно. Человек без подбородка вздрогнул всем телом. Человек-череп отдернул руки и спрятал за спину, как бы показывая всему свету, что не принял дар.

— Бамстед! — прогремело из телекрана.— Двадцать семь — тридцать один, Бамстед Д.! Бросьте хлеб!

Человек без подбородка уронил хлеб на пол.

— Стоять на месте! Лицом к двери. Не двигаться.

Человек без подбородка подчинился. Его одутловатые щеки заметно дрожали. С лязгом распахнулась дверь. Молодой офицер вошел и отступил в сторону, а из-за его спины появился коренастый надзиратель с могучими руками и плечами. Он стал против арестованного и по знаку офицера нанес ему сокрушительный удар в зубы, вложив в этот удар весь свой вес. Арестованного будто подбросило в воздух. Он отлетел к противоположной стене и свалился у ведра. Он лежал там, оглушенный, а изо рта и носа у него текла темная кровь. Потом он стал не то повизгивать, не то хныкать, как бы еще в беспамятстве. Потом перевернулся на живот и неуверенно встал на четвереньки. Изо рта со слюной и кровью вывалились две половинки зубного протеза.

Арестованные сидели очень тихо, сложив руки на коленях. Человек без подбородка забрался на свое место. Одна сторона лица у него уже темнела. Рот распух, превратившись в бесформенную, вишневого цвета массу с черной дырой посередине. Время от времени на грудь его комбинезона падала капля крови. Его серые глаза опять перебегали с лица на лицо, только еще более виновато, словно он пытался понять, насколько презирают его остальные за это унижение.

Дверь открылась. Легким движением руки офицер показал на человека-черепа.

— В комнату сто один,— распорядился он.

Рядом с Уинстоном послышался шумный вздох и возня. Арестант упал на колени, умоляюще сложив ладони перед грудью.

— Товарищ! Офицер! — заголосил он.— Не отправляйте меня туда! Разве я не все вам рассказал? Что еще вы хотите узнать? Я во всем признаюсь, что вам надо, во всем! Только скажите, в чем, и я сразу признаюсь. Напишите — я подпишу... что угодно! Только не в комнату сто один!

— В комнату сто один,— сказал офицер.

Лицо арестанта, и без того бледное, окрасилось в такой цвет,

6—193

который Уинстону до сих пор представлялся невозможным. Оно приобрело отчетливый зеленый оттенок.

— Делайте со мной что угодно! — вопил он.— Вы неделями морили меня голодом. Доведите дело до конца, дайте умереть. Расстреляйте меня. Повесьте. Посадите на двадцать пять лет. Кого еще я должен выдать? Только назовите, я скажу все, что вам надо. Мне все равно, кто он и что вы с ним сделаете. У меня жена и трое детей. Старшему шести не исполнилось. Заберите их всех, перережьте им глотки у меня на глазах — я буду стоять и смотреть. Только не в комнату сто один!

— В комнату сто один,— сказал офицер.

Безумным взглядом человек окинул остальных арестантов, словно задумав подсунуть вместо себя другую жертву. Глаза его остановились на разбитом лице без подбородка. Он вскинул исхудалую руку.

— Вам не меня, а вот кого надо взять! — крикнул он.— Вы не слышали, что он говорил, когда ему разбили лицо. Я все вам перескажу слово в слово, разрешите. Это он против партии, а не я.— К нему шагнули надзиратели. Его голос взвился до визга.— Вы его не слышали! Телекран не сработал. Вот кто вам нужен. Его берите, не меня!

Два дюжих надзирателя нагнулись, чтобы взять его под руки. Но в эту секунду он бросился на пол и вцепился в железную ножку скамьи. Он завыл, как животное, без слов. Надзиратели схватили его, хотели оторвать от ножки, но он цеплялся за нее с поразительной силой. Они пытались оторвать его секунд двадцать. Арестованные сидели тихо, сложив руки на коленях, и глядели прямо перед собой. Вой смолк; сил у человека осталось только на то, чтобы цепляться. Потом раздался совсем другой крик. Ударом башмака надзиратель сломал ему пальцы. Потом вдвоем они подняли его на ноги.

— В комнату сто один,— сказал офицер.

Арестованного вывели: он больше не противился и шел еле-еле, повесив голову и поддерживая изувеченную руку.

Прошло много времени. Если человека с лицом-черепом увели ночью, то сейчас было утро; если увели утром — значит, приближался вечер. Уинстон был один, уже несколько часов был один. От сидения на узкой скамье иногда начиналась такая боль, что он вставал и ходил по камере, и телекран не кричал на него. Кусок хлеба до сих пор лежал там, где его уронил человек без подбородка. Вначале было очень трудно не смотреть на хлеб, но в конце концов голод оттеснила жажда. Во рту было липко и противно. Из-за гудения и ровного белого света он чувствовал дурноту, какую-то пустоту в голове. Он вставал, когда боль в костях от неудобной лавки становилась невыносимой, и почти сразу снова садился, потому что кружилась голова и он боялся упасть. Стоило ему более или менее отвлечься от чисто физических неприятностей, как возвращался ужас. Иногда, со слабеющей надеждой, он думал о бритве и О'Брайене. Он допускал мысль, что бритву могут передать в еде, если ему вообще дадут есть. О Джулии он думал более смутно. Так или иначе,

она страдает и, может быть, больше его. Может быть, в эту секунду она кричит от боли. Он думал: «Если бы я мог спасти Джулию, удвоив собственные мучения, согласился бы я на это? Да, согласился бы». Но решение это было чисто умственное и принято потому, что он считал нужным его принять. Он его *не чувствовал.* В таком месте чувств не остается, есть только боль и предчувствие боли. Да и возможно ли, испытывая боль, желать по какой бы то ни было причине, чтобы она усилилась? Но на этот вопрос он пока не мог ответить.

Снова послышались шаги. Дверь открылась. Вошел О'Брайен.

Уинстон вскочил на ноги. Он был настолько поражен, что забыл всякую осторожность. Впервые за много лет он не подумал о том, что рядом телекран.

— И вы у них! — закричал он.

— Я давно у них,— ответил О'Брайен с мягкой иронией, почти с сожалением. Он отступил в сторону. Из-за его спины появился широкоплечий надзиратель с длинной черной дубинкой в руке.

— Вы знали это, Уинстон,— сказал О'Брайен.— Не обманывайте себя. Вы знали это... всегда знали.

Да, теперь он понял: он всегда это знал. Но сейчас об этом некогда было думать. Сейчас он видел только одно: дубинку в руке надзирателя. Она может обрушиться куда угодно: на макушку, на ухо, на плечо, на локоть...

По локтю! Почти парализованный болью, Уинстон повалился на колени, схватившись за локоть. Все вспыхнуло желтым светом. Немыслимо, немыслимо, чтобы один удар мог причинить такую боль! Желтый свет ушел, и он увидел, что двое смотрят на него сверху. Охранник смеялся над его корчами. Одно по крайней мере стало ясно. Ни за что, ни за что на свете ты не захочешь, чтобы усилилась боль. От боли хочешь только одного: чтобы она кончилась. Нет ничего хуже в жизни, чем физическая боль. Перед лицом боли нет героев, нет героев, снова и снова повторял он про себя и корчился на полу, держась за отбитый левый локоть.

II

Он лежал на чем-то вроде парусиновой койки, только она была высокая и устроена как-то так, что он не мог пошевелиться. В лицо ему бил свет, более сильный, чем обычно. Рядом стоял О'Брайен и пристально смотрел на него сверху. По другую сторону стоял человек в белом и держал шприц.

Хотя глаза у него были открыты, он не сразу стал понимать, где находится. Еще сохранялось впечатление, что он вплыл в эту комнату из совсем другого мира, какого-то подводного мира, расположенного далеко внизу. Долго ли он там пробыл, он не знал. С тех пор как его арестовали, не существовало ни дневного света, ни тьмы. Кроме того, его воспоминания не были непрерывными. Иногда сознание — даже такое, какое бывает

во сне,— выключалось полностью, а потом возникало снова после пустого перерыва. Но длились эти перерывы днями, неделями или только секундами, понять было невозможно.

С того первого удара по локтю начался кошмар. Как он позже понял, все, что с ним происходило, было лишь подготовкой, обычным допросом, которому подвергаются почти все арестованные. Каждый должен был признаться в длинном списке преступлений — шпионаже, вредительстве и прочем. Признание было формальностью, но пытки — настоящими. Сколько раз его били и подолгу ли, он не мог вспомнить. Каждый раз им занимались человек пять или шесть в черной форме. Били кулаками, били дубинками, били стальными прутьями, били ногами. Бывало так, что он катался по полу, бесстыдно, как животное, извивался ужом, тщетно пытаясь уклониться от пинков и только вызывал этим все новые пинки — в ребра, в живот, по локтям, по лодыжкам, в пах, в мошонку, в крестец. Бывало так, что это длилось и длилось без конца, и самым жестоким, страшным, непростительным казалось ему не то, что его продолжают бить, а то, что он не может потерять сознание. Бывало так, что мужество совсем покидало его, он начинал молить о пощаде еще до побоев и при одном только виде поднятого кулака каялся во всех грехах, подлинных и вымышленных. Бывало так, что начинал он с твердым решением ничего не признавать, и каждое слово вытягивали из него вместе со стонами боли; бывало и так, что он малодушно заключал с собой компромисс, говорил себе: «Я признаюсь, но не сразу. Буду держаться, пока боль не станет невыносимой. Еще три удара, еще два удара, и я скажу все, что им надо». Иногда после избиения он едва стоял на ногах; его бросали, как мешок картофеля, на пол камеры и, дав несколько часов передышки, чтобы он опомнился, снова уводили бить. Случались и более долгие перерывы. Их он помнил смутно, потому что почти все время спал или пребывал в оцепенении. Он помнил камеру с дощатой лежанкой, прибитой к стене, и тонкой железной раковиной, помнил еду — горячий суп с хлебом, иногда кофе. Помнил, как угрюмый парикмахер скоблил ему подбородок и стриг волосы, как деловитые, безразличные люди в белом считали у него пульс, проверяли рефлексы, отворачивали веки, щупали жесткими пальцами — не сломана ли где кость, кололи в руку снотворное.

Бить стали реже, битьем больше угрожали: если будет плохо отвечать, этот ужас в любую минуту может возобновиться. Допрашивали его теперь не хулиганы в черных мундирах, а следователи-партийцы — мелкие круглые мужчины с быстрыми движениями, в поблескивающих очках; они работали с ним, сменяя друг друга, иногда по десять — двенадцать часов подряд — так ему казалось, точно он не знал. Эти новые следователи старались, чтобы он все время испытывал небольшую боль, но не боль была их главным инструментом. Они били его по щекам, крутили уши, дергали за волосы, заставляли стоять на одной ноге, не отпускали помочиться, держали под ярким светом, так что у него слезились глаза; однако делалось это лишь для

того, чтобы унизить его и лишить способности спорить и рассуждать. Подлинным их оружием был безжалостный многочасовой допрос: они путали его, ставили ему ловушки, перевирали все, что он сказал, на каждом шагу доказывали, что он лжет и сам себе противоречит, покуда он не начинал плакать — и от стыда, и от нервного истощения. Случалось, он плакал по пять-шесть раз на протяжении одного допроса. Чаще всего они грубо кричали на него и при малейшей заминке угрожали снова отдать охранникам; но иногда вдруг меняли тон, называли его товарищем, заклинали именем ангсоца и Старшего Брата и огорченно спрашивали, неужели и сейчас в нем не заговорила преданность партии и он не хочет исправить весь причиненный им вред. Нервы, истрепанные многочасовым допросом, не выдерживали, и он мог расплакаться даже от такого призыва. В конце концов сварливые голоса сломали его еще хуже, чем кулаки и ноги охранников. От него остались только рот и рука, говоривший и подписывавшая все, что требовалось. Лишь одно его занимало: уяснить, какого признания от него хотят, и скорее признаться, пока снова не начали изводить. Он признался в убийстве видных деятелей партии, в распространении подрывных брошюр, в присвоении общественных фондов, в продаже военных тайн и всякого рода вредительстве. Он признался, что стал платным шпионом Остазии еще в 1968 году. Признался в том, что он верующий, что он сторонник капитализма, что он извращенец. Признался, что убил жену — хотя она была жива, и следователям это наверняка было известно. Признался, что много лет лично связан с Голдстейном и состоит в подпольной организации, включающей почти всех людей, с которыми он знаком. Легче было во всем признаться и всех припутать. Кроме того, в каком-то смысле это было правдой. Он, правда, был врагом партии, а в глазах партии нет разницы между деянием и мыслью.

Сохранились воспоминания и другого рода. Между собой не связанные — картинки, окруженные чернотой.

Он был в камере — светлой или темной, неизвестно, потому что он не видел ничего, кроме пары глаз. Рядом медленно и мерно тикал какой-то прибор. Глаза росли и светились все сильнее. Вдруг он взлетел со своего места, нырнул в глаза, и они его поглотили.

Он был пристегнут к креслу под ослепительным светом и окружен шкалами приборов. Человек в белом следил за шкалами. Снаружи раздался топот тяжелых башмаков. Дверь распахнулась с лязгом. В сопровождении двух охранников вошел офицер с восковым лицом.

— В комнату сто один,— сказал офицер.

Человек в белом не оглянулся. На Уинстона тоже не посмотрел; он смотрел только на шкалы.

Он катился по гигантскому, в километр шириной, коридору, залитому чудесным золотым светом, громко хохотал и во все горло выкрикивал признания. Он признавался во всем — даже в том, что сумел скрыть под пытками. Он рассказывал всю

свою жизнь — публике, которая и так все знала. С ним были охранники, следователи, люди в белом, О'Брайен, Джулия, мистер Чаррингтон — все валились по коридору толпой и громко хохотали. Что-то ужасное, поджидавшее его в будущем, ему удалось проскочить, и оно не сбылось. Все было хорошо, не стало боли, каждая подробность его жизни обнажилась, объяснилась, была прощена.

Вздрогнув, он привстал с дощатой лежанки в полной уверенности, что слышал голос О'Брайена. О'Брайен ни разу не появился на допросах, но все время было ощущение, что он тут, за спиной, просто его не видно. Это он всем руководит. Он напускает на Уинстона охранников, и он им не позволяет его убить. Он решает, когда Уинстон должен закричать от боли, когда ему дать передышку, когда его накормить, когда ему спать, когда вколоть ему в руку наркотик. Он задавал вопросы и предлагал ответы. Он был мучитель, он был защитник, он был инквизитор, он был друг. А однажды — Уинстон не помнил, было это в наркотическом сне, или просто во сне, или даже наяву,— голос прошептал ему на ухо: «Не волнуйтесь, Уинстон, вы на моем попечении. Семь лет я наблюдал за вами. Настал переломный час. Я спасу вас, я сделаю вас совершенным». Он не был уверен, что голос принадлежит О'Брайену, но именно этот голос сказал ему семь лет назад, в другом сне: «Мы встретимся там, где нет темноты».

Он не помнил, был ли конец допросу. Наступила чернота, а потом из нее постепенно материализовалась камера или комната, где он лежал. Лежал он навзничь и не мог пошевелиться. Тело было закреплено в нескольких местах. Даже затылок как-то прихватили. О'Брайен стоял, глядя сверху серьезно и не без сожаления. Лицо О'Брайена с опухшими подглазьями и резкими носогубными складками казалось снизу грубым и утомленным. Он выглядел старше, чем Уинстону помнилось; ему было, наверно, лет сорок восемь или пятьдесят. Рука его лежала на рычаге с круговой шкалой, размеченной цифрами.

— Я сказал вам,— обратился он к Уинстону,— что если мы встретимся, то — здесь.

— Да,— ответил Уинстон.

Без всякого предупредительного сигнала, если не считать легкого движения руки О'Брайена, в тело его хлынула боль. Боль устрашающая: он не видел, что с ним творится, и у него было чувство, что ему причиняют смертельную травму. Он не понимал, на самом ли деле это происходит или ощущения вызваны электричеством; но тело его безобразно скручивалось и суставы медленно разрывались. От боли на лбу у него выступил пот, но хуже боли был страх, что хребет у него вот-вот переломится. Он стиснул зубы и тяжело дышал через нос, решив не кричать, пока можно.

— Вы боитесь,— сказал О'Брайен, наблюдая за его лицом,— что сейчас у вас что-нибудь лопнет. И особенно боитесь, что лопнет хребет. Вы ясно видите картину, как отрываются

один от другого позвонки и из них каплет спинномозговая жидкость. Вы ведь об этом думаете, Уинстон?

Уинстон не ответил. О'Брайен отвел рычаг назад. Боль схлынула почти так же быстро, как началась.

— Это было сорок,— сказал О'Брайен.— Видите, шкала проградуирована до ста. В ходе нашей беседы помните, пожалуйста, что я имею возможность причинить вам боль когда мне угодно и какую угодно. Если будете лгать или уклоняться от ответа или просто окажетесь глупее, чем позволяют ваши умственные способности, вы закричите от боли, немедленно. Вы меня поняли?

— Да,— сказал Уинстон.

О'Брайен несколько смягчился. Он задумчиво поправил очки и прошелся по комнате. Теперь его голос звучал мягко и терпеливо. Он стал похож на врача или даже священника, который стремится убеждать и объяснять, а не наказывать.

— Я трачу на вас время, Уинстон,— сказал он,— потому что вы этого стоите. Вы отлично сознаете, в чем ваше несчастье. Вы давно о нем знаете, но сколько уже лет не желаете себе в этом признаться. Вы психически ненормальны. Вы страдаете расстройством памяти. Вы не в состоянии вспомнить подлинные события и убедили себя, что помните то, чего никогда не было. К счастью, это излечимо. Вы себя не пожелали излечить. Достаточно было небольшого усилия воли, но вы его не сделали. Даже теперь, я вижу, вы цепляетесь за свою болезнь, полагая, что это доблесть. Возьмем такой пример. С какой страной воюет сейчас Океания?

— Когда меня арестовали, Океания воевала с Остазией.

— С Остазией. Хорошо. Океания всегда воевала с Остазией, верно?

Уинстон глубоко вздохнул. Он открыл рот, чтобы ответить,— и не ответил. Он не мог отвести глаза от шкалы.

— Будьте добры, правду, Уинстон. Вашу правду. Скажите, что вы, по-вашему мнению, помните?

— Я помню, что всего за неделю до моего ареста мы вовсе не воевали с Остазией. Мы были с ней в союзе. Война шла с Евразией. Она длилась четыре года. До этого...

О'Брайен остановил его жестом.

— Другой пример,— сказал он.— Несколько лет назад вы впали в очень серьезное заблуждение. Вы решили, что три человека, три бывших члена партии — Джонс, Аронсон и Резерфорд,— казненные за вредительство и измену после того, как они полностью во всем сознались, неповинны в том, за что их осудили. Вы решили, будто видели документ, безусловно доказывавший, что их признания были ложью. Вам привиделась некая фотография. Вы решили, что держали ее в руках. Фотография в таком роде.

В руке у О'Брайена появилась газетная вырезка. Секунд пять она находилась перед глазами Уинстона. Это была фотография — и не приходилось сомневаться, какая именно. Та самая. Джонс, Аронсон и Резерфорд на партийных торжествах

в Нью-Йорке — тот снимок, который он случайно получил одиннадцать лет назад и сразу уничтожил. Одно мгновение он был перед глазами Уинстона, а потом его не стало. Но он видел снимок, несомненно, видел! Отчаянным, мучительным усилием Уинстон попытался оторвать спину от койки. Но не мог сдвинуться ни на сантиметр, ни в какую сторону. На миг он даже забыл о шкале. Сейчас он хотел одного: снова подержать фотографию в руке, хотя бы разглядеть ее.

— Она существует! — крикнул он.

— Нет,— сказал О'Брайен.

Он отошел. В стене напротив было гнездо памяти. О'Брайен поднял проволочное забрало. Невидимый легкий клочок бумаги уносился прочь с потоком теплого воздуха; он исчезал в ярком пламени. О'Брайен отвернулся от стены.

— Пепел,— сказал он.— Да и пепла не разглядишь. Прах. Фотография не существует. Никогда не существовала.

— Но она существовала! Существует! Она существует в памяти. Я ее помню. Вы ее помните.

— Я ее не помню,— сказал О'Брайен.

Уинстон ощутил пустоту в груди. Это — двоемыслие. Им овладело чувство смертельной беспомощности. Если бы он был уверен, что О'Брайен солгал, это не казалось бы таким важным. Но очень может быть, что О'Брайен в самом деле забыл фотографию. А если так, то он уже забыл и то, как отрицал, что ее помнит, и что это забыл — тоже забыл. Можно ли быть уверенным, что это просто фокусы? А вдруг такой безумный вывих в мозгах на самом деле происходит? — вот что приводило Уинстона в отчаяние.

О'Брайен задумчиво смотрел на него. Больше, чем когда-либо, он напоминал сейчас учителя, бьющегося с непослушным, но способным учеником.

— Есть партийный лозунг относительно управления прошлым,— сказал он.— Будьте любезны, повторите его.

«Кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым»,— послушно произнес Уинстон.

— «Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым»,— одобрительно кивнув, повторил О'Брайен.— Так вы считаете, Уинстон, что прошлое существует в действительности?

Уинстон снова почувствовал себя беспомощным. Он скосил глаза на шкалу. Мало того, что он не знал, какой ответ, «нет» или «да» избавит его от боли; он не знал уже, какой ответ сам считает правильным.

О'Брайен слегка улыбнулся.

— Вы плохой метафизик, Уинстон. До сих пор вы ни разу не задумывались, что значит «существовать». Сформулирую яснее. Существует ли прошлое конкретно, в пространстве? Есть ли где-нибудь такое место, такой мир физических объектов, где прошлое все еще происходит?

— Нет.

— Тогда где оно существует, если оно существует?

— В документах. Оно записано.

— В документах. И...?

— В уме. В воспоминаниях человека.

— В памяти. Очень хорошо. Мы, партия, контролируем все документы и управляем воспоминаниями. Значит, мы управляем прошлым, верно?

— Но как вы помешаете людям вспоминать? — закричал Уинстон, опять забыв про шкалу.— Это же происходит помимо воли. Это от тебя не зависит. Как вы можете управлять памятью? Моей же вы не управляете?

О'Брайен снова посуровел. Он опустил руку на рычаг.

— Напротив,— сказал он,— это вы ею не управляете. Поэтому вы и здесь. Вы здесь потому, что не нашли в себе смирения и самодисциплины. Вы не захотели подчиниться — а за это платят душевным здоровьем. Вы предпочли быть безумцем, остаться в меньшинстве, в единственном числе. Только дисциплинированное сознание видит действительность, Уинстон. Действительность вам представляется чем-то объективным, внешним, существующим независимо от вас. Характер действительности представляется вам самоочевидным. Когда, обманывая себя, вы думаете, будто что-то видите, вам кажется, что все остальные видят то же самое. Но говорю вам, Уинстон, действительность не есть нечто внешнее. Действительность существует в человеческом сознании и больше нигде. Не в индивидуальном сознании, которое может ошибаться и в любом случае преходяще,— только в сознании партии, коллективном и бессмертном. То, что партия считает правдой, и есть правда. Невозможно видеть действительность иначе, как глядя на нее глазами партии. И этому вам вновь предстоит научиться, Уинстон. Для этого требуется акт самоуничтожения, усилие воли. Вы должны смирить себя, прежде чем станете психически здоровым.

Он умолк, как бы выжидая, когда Уинстон усвоит его слова.

— Вы помните,— снова заговорил он,— как написали в дневнике: «Свобода — это возможность сказать, что дважды два — четыре?»

— Да.

О'Брайен поднял левую руку, тыльной стороной к Уинстону, спрятав большой палец и растопырив четыре.

— Сколько я показываю пальцев, Уинстон?

— Четыре.

— А если партия говорит, что их не четыре, а пять — тогда сколько?

— Четыре.

На последнем слоге он охнул от боли. Стрелка на шкале подскочила к пятидесяти пяти. Все тело Уинстона покрылось потом. Воздух врывался в его легкие и выходил обратно с тяжелыми стонами — Уинстон стиснул зубы и все равно не мог сдержать стон. О'Брайен наблюдал за ним, показывая четыре пальца. Он отвел рычаг. На этот раз боль лишь слегка утихла.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре.

Стрелка дошла до шестидесяти.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре! Четыре! Что еще я могу сказать? Четыре!

Стрелка, наверно, опять поползла, но Уинстон не смотрел. Он видел только тяжелое, суровое лицо и четыре пальца. Пальцы стояли перед его глазами, как колонны: громадные, они расплывались и будто дрожали, но их было только четыре.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре! Перестаньте, перестаньте! Как вы можете? Четыре! Четыре!

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Пять! Пять! Пять!

— Нет, напрасно, Уинстон. Вы лжете. Вы все равно думаете, что их четыре. Так сколько пальцев?

— Четыре! Пять! Четыре! Сколько вам нужно. Только перестаньте, перестаньте делать больно!

Вдруг оказалось, что он сидит и О'Брайен обнимает его за плечи. По-видимому, он на несколько секунд потерял сознание. Захваты, державшие его тело, были отпущены. Ему было очень холодно, он трясся, зубы стучали, по щекам текли слезы. Он прильнул к О'Брайену как младенец; тяжелая рука, обнимавшая плечи, почему-то утешала его. Сейчас ему казалось, что О'Брайен — его защитник, что боль пришла откуда-то со стороны, что у нее другое происхождение и спасет от нее — О'Брайен.

— Вы — непонятливый ученик,— мягко сказал О'Брайен.

— Что я могу сделать? — со слезами пролепетал Уинстон.— Как я могу не видеть, что у меня перед глазами? Два и два — четыре.

— Иногда, Уинстон. Иногда — пять. Иногда — три. Иногда — все, сколько есть. Вам надо постараться. Вернуть душевное здоровье нелегко.

Он уложил Уинстона. Захваты на руках и ногах снова сжались, но боль потихоньку отступила, дрожь прекратилась, остались только слабость и озноб. О'Брайен кивнул человеку в белом, все это время стоявшему неподвижно. Человек в белом наклонился, заглянув Уинстону в глаза, проверил пульс, приложил ухо к груди, простукал там и сям; потом кивнул О'Брайену.

— Еще раз,— сказал О'Брайен.

В тело Уинстона хлынула боль. Стрелка, наверно, стояла на семидесяти — семидесяти пяти. На этот раз он зажмурился. Он знал, что пальцы перед ним, их по-прежнему четыре. Важно было одно: как-нибудь пережить эти судороги. Он уже не знал, кричит он или нет. Боль опять утихла. Он открыл глаза. О'Брайен отвел рычаг.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре. Наверное, четыре. Я увидел бы пять, если б мог. Я стараюсь увидеть пять.

— Чего вы хотите: убедить меня, что видите пять, или в самом деле увидеть?

— В самом деле увидеть.

— Еще раз,— сказал О'Брайен.

Стрелка остановилась, наверное, на восьмидесяти-девяноста. Уинстон лишь изредка понимал, почему ему больно. За сжатыми веками извивался в каком-то танце лес пальцев, они множились и редели, исчезали один позади другого и появлялись снова. Он пытался их сосчитать, а зачем — сам не помнил. Он знал только, что сосчитать их невозможно по причине какого-то таинственного тождества между четырьмя и пятью. Боль снова затихла. Он открыл глаза, и оказалось, что видит то же самое. Бесчисленные пальцы, как ожившие деревья, струились во все стороны, скрещивались и расходились. Он опять зажмурил глаза.

— Сколько пальцев я показываю, Уинстон?

— Не знаю. Вы убьете меня, если еще раз включите. Четыре, пять, шесть... Честное слово, не знаю.

— Лучше,— сказал О'Брайен.

В руку Уинстона вошла игла. И сейчас же по телу разлилось блаженное, целительное тепло. Боль уже почти забылась. Он открыл глаза и благодарно посмотрел на О'Брайена. При виде тяжелого, в складках, лица, такого уродливого и такого умного, у него оттаяло сердце. Если бы он мог пошевелиться, он протянул бы руку и тронул бы за руку О'Брайена. Никогда еще он не любил его так сильно, как сейчас,— и не только за то, что О'Брайен прекратил боль. Вернулось прежнее чувство: неважно, друг О'Брайен или враг. О'Брайен — тот, с кем можно разговаривать. Может быть, человек не так нуждается в любви, как в понимании. О'Брайен пытал его и почти свел с ума, а вскоре, несомненно, отправит его на смерть. Это не имело значения. В каком-то смысле их соединяло нечто большее, чем дружба. Они были близки; было где-то такое место, где они могли встретиться и поговорить — пусть даже слова не будут произнесены вслух. О'Брайен смотрел на него сверху с таким выражением, как будто думал о том же самом. И голос его зазвучал мирно, непринужденно.

— Вы знаете, где находитесь, Уинстон? — спросил он.

— Не знаю. Догадываюсь. В министерстве любви.

— Знаете, сколько времени вы здесь?

— Не знаю. Дни, недели, месяцы... месяцы, я думаю.

— А как вы думаете, зачем мы держим здесь людей?

— Чтобы заставить их признаться.

— Нет, не для этого. Подумайте еще.

— Чтобы их наказать.

— Нет! — воскликнул О'Брайен. Голос его изменился до неузнаваемости, а лицо вдруг стало и строгим и возбужденным.— Нет! Не для того, чтобы наказать, и не только для того, чтобы добиться от вас признания. Хотите, я объясню, зачем вас здесь держат? Чтобы вас излечить! Сделать вас нормальным! Вы понимаете, Уинстон, что тот, кто здесь побывал, не

уходит из наших рук неизлеченным? Нам неинтересны ваши глупые преступления. Партию не беспокоят явные действия; мысли — вот о чем наша забота. Мы не просто уничтожаем наших врагов, мы их исправляем. Вы понимаете, о чем я говорю?

Он наклонился над Уинстоном. Лицо его, огромное вблизи, казалось отталкивающе уродливым оттого, что Уинстон смотрел на него снизу. И на нем была написана одержимость, сумасшедший восторг. Сердце Уинстона снова сжалось. Если бы можно было, он зарылся бы в койку. Он был уверен, что сейчас О'Брайен дернет рычаг просто для развлечения. Однако О'Брайен отвернулся. Он сделал несколько шагов туда и обратно. Потом продолжал без прежнего исступления:

— Раньше всего вам следует усвоить, что в этом месте не бывает мучеников. Вы читали о религиозных преследованиях прошлого? В средние века существовала инквизиция. Она оказалась несостоятельной. Она стремилась выкорчевать ереси, а в результате их увековечила. За каждым еретиком, сожженным на костре, вставали тысячи новых. Почему? Потому что инквизиция убивала врагов открыто, убивала нераскаявшихся; в сущности, потому и убивала, что они не раскаялись. Люди умирали за то, что не хотели отказаться от своих убеждений. Естественно, вся слава доставалась жертве, а позор — инквизитору, палачу. Позже, в двадцатом веке, были так называемые тоталитарные режимы. Были германские нацисты и русские коммунисты. Русские преследовали ересь безжалостнее, чем инквизиция. И они думали, что извлекли урок из ошибок прошлого; во всяком случае, они поняли, что мучеников создавать не надо. Прежде чем вывести жертву на открытый процесс, они стремились лишить ее достоинства. Арестованных изматывали пытками и одиночеством и превращали в жалких, раболепных людишек, которые признавались во всем, что им вкладывали в уста, обливали себя грязью, сваливали вину друг на друга, хныкали и просили пощады. И, однако, всего через несколько лет произошло то же самое. Казненные стали мучениками, ничтожество их забылось. Опять-таки — почему? Прежде всего потому, что их признания были явно вырваны силой и лживы. Мы таких ошибок не делаем. Все признания, которые здесь произносятся,— правда. Правдой их делаем мы. А самое главное, мы не допускаем, чтобы мертвые восставали против нас. Не воображайте, Уинстон, что будущее за вас отомстит. Будущее о вас никогда не услышит. Вас выдернут из потока истории. Мы превратим вас в газ и выпустим в стратосферу. От вас ничего не останется: ни имени в списках, ни памяти в разуме живых людей. Вас сотрут и в прошлом и в будущем. Будет так, как если бы вы никогда не жили на свете.

Зачем тогда трудиться, пытать меня? — с горечью подумал Уинстон. О'Брайен прервал свою речь, словно Уинстон произнес это вслух. Он приблизил к Уинстону большое уродливое лицо, и глаза его сузились.

— Вы думаете,— сказал он,— что раз мы намерены уничто-

жить вас и ни слова ваши, ни дела ничего не будут значить, зачем тогда мы взяли на себя труд вас допрашивать? Вы ведь об этом думаете, верно?

— Да,— ответил Уинстон.

О'Брайен слегка улыбнулся.

— Вы — изъян в общем порядке, Уинстон. Вы — пятно, которое надо стереть. Разве я не объяснил вам, чем мы отличаемся от прежних карателей? Мы не довольствуемся негативным послушанием и даже самой униженной покорностью. Когда вы окончательно нам сдадитесь, вы сдадитесь по собственной воле. Мы уничтожаем еретика не потому, что он нам сопротивляется; покуда он сопротивляется, мы его не уничтожим. Мы обратим его, мы захватим его душу до самого дна, мы его переделаем. Мы выжжем в нем все зло и все иллюзии; он примет нашу сторону — не формально, а искренне, умом и сердцем. Он станет одним из нас, и только тогда мы его убьем. Мы не потерпим, чтобы где-то в мире существовало заблуждение, пусть тайное, пусть бессильное. Мы не допустим отклонения даже в миг смерти. В прежние дни еретик всходил на костер все еще еретиком, провозглашая свою ересь, восторгаясь ею. Даже жертва русских чисток, идя по коридору и ожидая пули, могла хранить под крышкой черепа бунтарскую мысль. Мы же, прежде чем вышибить мозги, делаем их безукоризненными. Заповедь старых деспотий начиналась словами: «Не смей». Заповедь тоталитарных: «Ты должен». Наша заповедь: «Ты есть». Ни один из тех, кого приводят сюда, не может устоять против нас. Всех промывают дочиста. Даже этих жалких предателей, которых вы считали невиновными,— Джонса, Аронсона и Резерфорда — даже их мы в конце концов сломали. Я сам участвовал в допросах. Я видел, как их перетирали, как они скулили, пресмыкались, плакали — и под конец не от боли, не от страха, а только от раскаяния. Когда мы закончили с ними, они были только оболочкой людей. В них ничего не осталось, кроме сожалений о том, что они сделали, и любви к Старшему Брату. Трогательно было видеть, как они его любили. Они умоляли, чтобы их скорее увели на расстрел,— хотели умереть, пока их души еще чисты.

В голосе его слышались мечтательные интонации. Лицо по-прежнему горело восторгом, ретивостью сумасшедшего. Он не притворяется, подумал Уинстон; он не лицемер, он убежден в каждом своем слове. Больше всего Уинстона угнетало сознание своей умственной неполноценности. О'Брайен с тяжеловесным изяществом расхаживал по комнате, то появляясь в поле его зрения, то исчезая. О'Брайен был больше его во всех отношениях. Не родилось и не могло родиться в его голове такой идеи, которая не была бы давно известна О'Брайену, взвешена им и отвергнута. Ум О'Брайена *содержал* в себе его ум. Но в таком случае как О'Брайен может быть сумасшедшим? Сумасшедшим должен быть он, Уинстон. О'Брайен остановился, посмотрел на него. И опять заговорил суровым тоном:

— Не воображайте, что вы спасетесь, Уинстон,— даже

ценой полной капитуляции. Ни один из сбившихся с пути уцелеть не может. И если даже мы позволим вам дожить до естественной смерти, вы от нас не спасетесь. То, что делается с вами здесь, делается навечно. Знайте это наперед. Мы сомнем вас так, что вы уже никогда не подниметесь. С вами произойдет такое, от чего нельзя оправиться, проживи вы еще хоть тысячу лет. Вы никогда не будете способны на обыкновенное человеческое чувство. Внутри у вас все отомрет. Любовь, дружба, радость жизни, смех, любопытство, храбрость, честность — всего этого у вас уже никогда не будет. Вы станете полым. Мы выдавим из вас все до капли — а потом заполним собой.

Он умолк и сделал знак человеку в белом. Уинстон почувствовал, что сзади к его голове подвели какой-то тяжелый аппарат. О'Брайен сел у койки, и лицо его оказалось почти вровень с лицом Уинстона.

— Три тысячи,— сказал он через голову Уинстона человеку в белом.

К вискам Уинстона прилегли две мягкие подушечки, как будто влажные. Он сжался. Снова будет боль, какая-то другая боль. О'Брайен успокоил его, почти ласково взяв за руку:

— На этот раз больно не будет. Смотрите мне в глаза.

Произошел чудовищный взрыв — или что-то показавшееся ему взрывом, хотя он не был уверен, что это сопровождалось звуком. Но ослепительная вспышка была несомненно. Уинстона не ушибло, а только опрокинуло. Хотя он уже лежал навзничь, когда это произошло, чувство было такое, будто его бросили на спину. Его распластал ужасный безболезненный удар. И что-то произошло в голове. Когда зрение прояснилось, Уинстон вспомнил, кто он и где находится, узнал того, кто пристально смотрел ему в лицо; но где-то, непонятно где, существовала область пустоты, словно кусок вынули из его мозга.

— Это пройдет,— сказал О'Брайен.— Смотрите мне в глаза. С какой страной воюет Океания?

Уинстон думал. Он понимал, что означает «Океания» и что он — гражданин Океании. Помнил он и Евразию с Остазией; но кто с кем воюет, он не знал. Он даже не знал, что была какая-то война.

— Не помню.

— Океания воюет с Остазией. Теперь вы вспомнили?

— Да.

— Океания всегда воевала с Остазией. С первого дня вашей жизни, с первого дня партии, с первого дня истории война шла без перерыва — все та же война. Это вы помните?

— Да.

— Одиннадцать лет назад вы сочинили легенду о троих людях, приговоренных за измену к смертной казни. Выдумали, будто видели клочок бумаги, доказывавший их невиновность. Такой клочок бумаги никогда не существовал. Это был ваш вымысел, а потом вы в него поверили. Теперь вы вспомнили ту минуту, когда это было выдумано. Вспомнили?

— Да.

— Только что я показывал вам пальцы. Вы видели пять пальцев. Вы это помните?

— Да.

О'Брайен показал ему левую руку, спрятав большой палец.

— Пять пальцев. Вы видите пять пальцев?

— Да.

И он их видел, одно мимолетное мгновение, до того, как в голове у него все стало на свои места. Он видел пять пальцев и никакого искажения не замечал. Потом рука приняла естественный вид, и разом нахлынули прежний страх, ненависть, замешательство. Но был такой период — он не знал долгий ли, может быть, полминуты,— светлой определенности, когда каждое новое внушение О'Брайена заполняло пустоту в голове и становилось абсолютной истиной, когда два и два так же легко могли стать тремя, как и пятью, если требовалось. Это состояние прошло раньше, чем О'Брайен отпустил его руку; и, хотя вернуться в это состояние Уинстон не мог, он его помнил, как помнишь яркий случай из давней жизни, когда ты был, по существу, другим человеком.

— Теперь вы по крайней мере понимаете,— сказал О'Брайен,— что это возможно.

— Да,— отозвался Уинстон.

О'Брайен с удовлетворенным видом встал. Уинстон увидел, что слева человек в белом сломал ампулу и набирает из нее в шприц. О'Брайен с улыбкой обратился к Уинстону. Почти как раньше, он поправил на носу очки.

— Помните, как вы написали про меня в дневнике: неважно, друг он или враг,— этот человек может хотя бы понять меня, с ним можно разговаривать. Вы были правы. Мне нравится с вами разговаривать. Меня привлекает ваш склад ума. Мы с вами похоже мыслим, с той только разницей, что вы безумны. Прежде чем мы закончим беседу, вы можете задать мне несколько вопросов, если хотите.

— Любые вопросы?

— Какие угодно.— Он увидел, что Уинстон скосился на шкалу.— Отключено. Ваш первый вопрос?

— Что вы сделали с Джулией? — спросил Уинстон.

О'Брайен снова улыбнулся.

— Она предала вас, Уинстон. Сразу, безоговорочно. Мне редко случалось видеть, чтобы кто-нибудь так живо шел нам навстречу. Вы бы ее вряд ли узнали. Все ее бунтарство, лживость, безрассудство, испорченность — все это выжжено из нее. Это было идеальное обращение, прямо для учебников.

— Вы ее пытали.

На это О'Брайен не ответил.

— Следующий вопрос,— сказал он.

— Старший Брат существует?

— Конечно, существует. Партия существует. Старший Брат — олицетворение партии.

— Существует он в том смысле, в каком существую я?

— Вы не существуете,— сказал О'Брайен.

Снова на него навалилась беспомощность. Он знал, мог представить себе, какими аргументами будут доказывать, что он не существует, но все они — бессмыслица, просто игра слов. Разве в утверждении: «Вы не существуете» — не содержится логическая нелепость? Но что толку говорить об этом? Ум его съежился при мысли о неопровержимых, безумных аргументах, которыми его разгромит О'Брайен.

— По-моему, я существую,— устало сказал он.— Я сознаю себя. Я родился, и я умру. У меня есть руки и ноги. Я занимаю определенный объем в пространстве. Никакое твердое тело не может занимать этот объем одновременно со мной. В этом смысле существует Старший Брат?

— Это неважно. Он существует.

— Старший Брат когда-нибудь умрет?

— Конечно, нет. Как он может умереть? Следующий вопрос.

— Братство существует?

— А этого, Уинстон, вы никогда не узнаете. Если мы решим выпустить вас, когда кончим, и вы доживете до девяноста лет, вы все равно не узнаете, как ответить на этот вопрос: нет или да. Сколько вы живете, столько и будете биться над этой загадкой.

Уинстон лежал молча. Теперь его грудь поднималась и опускалась чуть чаще. Он так и не задал вопроса, который первым пришел ему в голову. Он должен его задать, но язык отказывался служить ему. На лице О'Брайена как будто промелькнула насмешка. Даже очки у него блеснули иронически. Он знает, вдруг подумал Уинстон, знает, что я хочу спросить! И тут же у него вырвалось:

— Что делают в комнате сто один?

Лицо О'Брайена не изменило выражения. Он сухо ответил:

— Уинстон, вы знаете, что делается в комнате сто один. Все знают, что делается в комнате сто один.

Он сделал пальцем знак человеку в белом. Беседа, очевидно, подошла к концу. В руку Уинстону воткнулась игла. И почти сразу он уснул глубоким сном.

III

— В вашем восстановлении — три этапа,— сказал О'Брайен.— Учеба, понимание и приятие. Пора перейти ко второму этапу.

Как всегда, Уинстон лежал на спине. Но захваты держали его не так туго. Они по-прежнему притягивали его к койке, однако он мог слегка сгибать ноги в коленях, поворачивать голову влево и вправо и поднимать руки от локтя. И шкала с рычагом не внушала прежнего ужаса. Если он соображал быстро, то мог избежать разрядов; теперь О'Брайен брался за рычаг чаще всего тогда, когда был недоволен его глупостью. Порою все собеседование проходило без единого удара. Сколько их было, он уже не мог запомнить. Весь этот процесс тянулся

долго — наверно, уже не одну неделю,— а перерывы между беседами бывали иногда в несколько дней, а иногда — час-другой.

— Пока вы здесь лежали,— сказал О'Брайен,— вы часто задавались вопросом — и меня спрашивали,— зачем министерство любви тратит на вас столько трудов и времени. Когда оставались одни, вас занимал, в сущности, тот же самый вопрос. Вы понимаете механику нашего общества, но не понимали побудительных мотивов. Помните, как вы записали в дневнике: «Я понимаю *как*; не понимаю *зачем*?» Когда вы думали об этом «зачем», вот тогда вы и сомневались в своей нормальности. Вы прочли *книгу*, книгу Голдстейна,— по крайней мере какие-то главы. Прочли вы в ней что-нибудь такое, чего не знали раньше?

— Вы ее читали? — сказал Уинстон.

— Я ее писал. Вернее, участвовал в написании. Как вам известно, книги не пишутся в одиночку.

— То, что там сказано,— правда?

— В описательной части — да. Предложенная программа — вздор. Тайно накапливать знания... просвещать массы... затем пролетарское восстание... свержение партии. Вы сами догадывались, что там сказано дальше. Пролетарии никогда не восстанут — ни через тысячу лет, ни через миллион. Они не могут восстать. Причину вам объяснять не надо; вы сами знаете. И если вы тешились мечтами о вооруженном восстании — оставьте их. Никакой возможности свергнуть партию нет. Власть партии — навеки. Возьмите это за отправную точку в ваших размышлениях.

О'Брайен подошел ближе к койке.

— Навеки! — повторил он.— А теперь вернемся к вопросам «как?» и «зачем?». Вы более или менее поняли, как партия сохраняет свою власть. Теперь скажите мне, для чего мы держимся за власть. Каков побудительный мотив? Говорите же,— приказал он молчавшему Уинстону.

Тем не менее Уинстон медлил. Его переполняла усталость. А в глазах О'Брайена опять зажегся тусклый безумный огонек энтузиазма. Он заранее знал, что скажет О'Брайен: что партия ищет власти не ради нее самой, а ради блага большинства. Ищет власти, потому что люди в массе своей — слабые, трусливые создания, они не могут выносить свободу, не могут смотреть в лицо правде, поэтому ими должны править и систематически их обманывать те, кто сильнее их. Что человечество стоит перед выбором: свобода или счастье, и для подавляющего большинства счастье — лучше. Что партия — вечный опекун слабых, преданный идее орден, который творит зло во имя добра, жертвует собственным счастьем ради счастья других. Самое ужасное, думал Уинстон, самое ужасное — что, когда О'Брайен скажет это, он сам себе поверит. Это видно по его лицу. О'Брайен знает все. Знает в тысячу раз лучше Уинстона, в каком убожестве живут люди, какой ложью и жестокостью партия удерживает их в этом состоянии. Он понял все, все

оценил и не поколебался в своих убеждениях: все оправдано конечной целью. Что ты можешь сделать, думал Уинстон, против безумца, который умнее тебя, который беспристрастно выслушивает твои аргументы и продолжает упорствовать в своем безумии?

— Вы правите нами для нашего блага,— слабым голосом сказал он.— Вы считаете, что люди не способны править собой, и поэтому...

Он вздрогнул и чуть не закричал. Боль пронзила его тело. О'Брайен поставил рычаг на тридцать пять.

— Глупо, Уинстон, глупо! — сказал он. Я ожидал от вас лучшего ответа.

Он отвел рычаг обратно и продолжал:

— Теперь я сам отвечу на этот вопрос. Вот как. Партия стремится к власти исключительно ради нее самой. Нас не занимает чужое благо, нас занимает только власть. Ни богатство, ни роскошь, ни долгая жизнь, ни счастье — только власть, чистая власть. Что означает чистая власть, вы скоро поймете. Мы знаем, что делаем, и в этом наше отличие от всех олигархий прошлого. Все остальные, даже те, кто напоминал нас, были трусы и лицемеры. Германские нацисты и русские коммунисты были уже очень близки к нам по методам, но у них не хватило мужества разобраться в собственных мотивах. Они делали вид и, вероятно, даже верили, что захватили власть вынужденно, на ограниченное время, а впереди, рукой подать, уже виден рай, где люди будут свободны и равны. Мы не такие. Мы знаем, что власть никогда не захватывают для того, чтобы от нее отказаться. Власть — не средство; она — цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий — репрессии. Цель пытки — пытка. Цель власти — власть. Теперь вы меня немного понимаете?

Уинстон был поражен, и уже не в первый раз, усталостью на лице О'Брайена. Оно было сильным, мясистым и грубым, в нем видны были ум и сдерживаемая страсть, перед которой он чувствовал себя бессильным; но это было усталое лицо. Под глазами набухли мешки, и кожа под скулами обвисла. О'Брайен наклонился к нему — нарочно приблизил утомленное лицо.

— Вы думаете,— сказал он,— что лицо у меня старое и усталое. Вы думаете, что я рассуждаю о власти, а сам не в силах предотвратить даже распад собственного тела. Неужели вы не понимаете, Уинстон, что индивид — всего лишь клетка? Усталость клетки — энергия организма. Вы умираете, когда стрижете ногти?

Он отвернулся от Уинстона и начал расхаживать по камере, засунув одну руку в карман.

— Мы — жрецы власти,— сказал он.— Бог — это власть. Но что касается вас, власть — покуда только слово. Пора объяснить вам, что значит «власть». Прежде всего вы должны понять, что власть коллективна. Индивид обладает властью

настолько, насколько он перестал быть индивидом. Вы знаете партийный лозунг: «Свобода — это рабство». Вам не приходило в голову, что его можно перевернуть? Рабство — это свобода. Один — свободный — человек всегда терпит поражение. Так и должно быть, ибо каждый человек обречен умереть, и это его самый большой изъян. Но если он может полностью, без остатка подчиниться, если он может отказаться от себя, если он может раствориться в партии так, что он *станет* партией, тогда он всемогущ и бессмертен. Во-вторых, вам следует понять, что власть — это власть над людьми, над телом, но самое главное — над разумом. Власть над материей — над внешней реальностью, как вы бы ее назвали,— не имеет значения. Материю мы уже покорили полностью.

На миг Уинстон забыл о шкале. Напрягая все силы, он попытался сесть, но только сделал себе больно.

— Да как вы можете покорить материю? — вырвалось у него.— Вы даже климат, закон тяготения не покорили. А есть еще болезни, боль, смерть...

О'Брайен остановил его движением руки.

— Мы покорили материю, потому что мы покорили сознание. Действительность — внутри черепа. Вы это постепенно уясните, Уинстон. Для нас нет ничего невозможного. Невидимость, левитация — что угодно. Если бы я пожелал, я мог бы взлететь сейчас с пола, как мыльный пузырь. Я этого не желаю, потому что этого не желает партия. Вы должны избавиться от представлений девятнадцатого века относительно законов природы. *Мы* создаем законы природы.

— Как же вы создаете? Вы даже на планете не хозяева. А Евразия, Остазия? Вы их пока не завоевали.

— Неважно. Завоюем, когда нам будет надо. А если не завоюем — какая разница? Мы можем исключить их из нашей жизни. Океания — это весь мир.

— Но мир сам — всего лишь пылинка. А человек мал... беспомощен! Давно ли он существует? Миллионы лет Земля была необитаема.

— Чепуха. Земле столько же лет, сколько нам, она не старше. Как она может быть старше? Вне человеческого сознания ничего не существует.

— Но в земных породах — кости вымерших животных... мамонтов, мастодонтов, огромных рептилий — они жили задолго до того, как стало известно о человеке.

— Вы когда-нибудь видели эти кости, Уинстон? Нет, конечно. Их выдумали биологи девятнадцатого века. До человека не было ничего. После человека, если он кончится, не будет ничего. Нет ничего, кроме человека.

— Кроме нас, есть целая вселенная. Посмотрите на звезды! Некоторые — в миллионах световых лет от нас. Они всегда будут недоступны.

— Что такое звезды? — равнодушно возразил О'Брайен.— Огненные крупинки в скольких-то километрах отсюда. Если бы мы захотели, мы бы их достигли или сумели бы их погасить.

Земля — центр вселенной. Солнце и звезды обращаются вокруг нас.

Уинстон снова попытался сесть. Но на этот раз ничего не сказал. О'Брайен продолжал, как бы отвечая на его возражение:

— Конечно, для определенных задач это не годится. Когда мы плывем по океану или предсказываем затмение, нам удобнее предположить, что Земля вращается вокруг Солнца и что звезды удалены на миллионы и миллионы километров. Но что из этого? Думаете, нам не по силам разработать двойную астрономию? Звезды могут быть далекими или близкими в зависимости от того, что нам нужно. Думаете, наши математики с этим не справятся? Вы забыли о двоемыслии?

Уинстон вытянулся на койке. Что бы он ни сказал, мгновенный ответ сокрушал его, как дубинка. И все же он знал, он знал, что прав. Идея, что вне твоего сознания ничего не существует... ведь доказали наверняка есть какой-то способ опровергнуть ее. Разве не доказали давным-давно, что это — заблуждение? Оно даже както называлось, только он забыл как. О'Брайен смотрел сверху, слабая улыбка кривила ему рот.

— Я вам говорю, Уинстон, метафизика — не ваша сильная сторона. Слово, которое вы пытаетесь вспомнить,— солипсизм. Но вы ошибаетесь. Это не солипсизм. Коллективный солипсизм, если угодно. И все-таки это — нечто другое; в сущности — противоположное. Мы уклонились от темы,— заметил он уже другим тоном.— Подлинная власть, власть, за которую мы должны сражаться день и ночь,— это власть не над предметами, а над людьми.— Он смолк, а потом спросил, как учитель способного ученика: — Уинстон, как человек утверждает свою власть над другими?

Уинстон подумал.

— Заставляя его страдать,— сказал он.

— Совершенно верно. Заставляя его страдать. Послушания недостаточно. Если человек не страдает, как вы можете быть уверены, что он исполняет вашу волю, а не свою собственную? Власть состоит в том, чтобы причинять боль и унижать. В том, чтобы разорвать сознание людей на куски и составить снова в таком виде, в каком вам угодно. Теперь вам понятно, какой мир мы создаем? Он будет противоположностью тем глупым гедонистическим утопиям, которыми тешились прежние реформаторы. Мир страха, предательства и мучений, мир топчущих и растоптанных, мир, который, совершенствуясь, будет становиться не менее, а более безжалостным; прогресс в нашем мире будет направлен к росту страданий. Прежние цивилизации утверждали, что они основаны на любви и справедливости. Наша основана на ненависти. В нашем мире не будет иных чувств, кроме страха, гнева, торжества и самоуничижения. Все остальные мы истребим. Все. Мы искореняем прежние способы мышления — пережитки дореволюционных времен. Мы разорвали связи между родителем и ребенком, между мужчиной и женщиной, между одним человеком и другим. Никто уже не доверяет ни жене, ни ребенку, ни другу. А скоро

и жен и друзей не будет. Новорожденных мы заберем у матери, как забираем яйца из-под несушки. Половое влечение вытравим. Размножение станет ежегодной формальностью, как возобновление продовольственной карточки. Оргазм мы сведем на нет. Наши неврологи уже ищут средства. Не будет иной верности, кроме партийной верности. Не будет иной любви, кроме любви к Старшему Брату. Не будет иного смеха, кроме победного смеха над поверженным врагом. Не будет искусства, литературы, науки. Когда мы станем всесильными, мы обойдемся без науки. Не будет различия между уродливым и прекрасным. Исчезнет любознательность, жизнь не будет искать себе применения. С разнообразием удовольствий мы покончим. Но всегда — запомните, Уинстон,— всегда будет опьянение властью, и чем дальше, тем сильнее, тем острее. Всегда, каждый миг, будет пронзительная радость победы, наслаждение оттого, что наступил на беспомощного врага. Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека — вечно.

Он умолк, словно ожидая, что ответит Уинстон. Уинстону опять захотелось зарыться в койку. Он ничего не мог сказать. Сердце у него стыло. О'Брайен продолжал:

— И помните, что это — навечно. Лицо для растаптывания всегда найдется. Всегда найдется еретик, враг общества для того, чтобы его снова и снова побеждали и унижали. Все, что вы перенесли с тех пор, как попали к нам в руки,— все это будет продолжаться, только хуже. Никогда не прекратятся шпионство, предательства, аресты, пытки, казни, исчезновения. Это будет мир террора — в такой же степени, как мир торжества. Чем могущественнее будет партия, тем она будет нетерпимее; чем слабее сопротивление, тем суровее деспотизм. Голдстейн и его ереси будут жить вечно. Каждый день, каждую минуту их будут громить, позорить, высмеивать, оплевывать — а они сохранятся. Эта драма, которую я с вами разыгрывал семь лет, будет разыгрываться снова и снова, и с каждым поколением — все изощреннее. У нас всегда найдется еретик — и будет здесь кричать от боли, сломленный и жалкий, а в конце, спасшись от себя, раскаявшись до глубины души, сам прижмется к нашим ногам. Вот какой мир мы построим, Уинстон. От победы к победе, за триумфом триумф и новый триумф: щекотать, щекотать, щекотать нерв власти. Вижу, вам становится понятно, какой это будет мир. Но в конце концов вы не просто поймете. Вы примете его, будете его приветствовать, станете его частью.

Уинстон немного опомнился и без убежденности возразил:

— Вам не удастся.

— Что вы хотите сказать?

— Вы не сможете создать такой мир, какой описали. Это мечтание. Это невозможно.

— Почему?

— Невозможно построить цивилизацию на страхе, ненависти и жестокости. Она не устоит.

— Почему?

— Она нежизнеспособна. Она рассыплется. Она кончит самоубийством.

— Чепуха. Вы внушили себе, что ненависть изнурительнее любви. Да почему же? А если и так — какая разница? Положим, мы решили, что будем быстрее изнашиваться. Положим, увеличили темп человеческой жизни так, что к тридцати годам наступает маразм. И что же от этого изменится? Неужели вам непонятно, что смерть индивида — это не смерть? Партия бессмертна.

Как всегда, его голос поверг Уинстона в состояние беспомощности. Кроме того, Уинстон боялся, что, если продолжать спор, О'Брайен снова возьмется за рычаг. Но смолчать он не мог. Бессильно, не находя доводов — единственным подкреплением был немой ужас, который вызывали у него речи О'Брайена,— он возобновил атаку:

— Не знаю... все равно. Вас ждет крах. Что-то вас победит. Жизнь победит.

— Жизнью мы управляем, Уинстон, на всех уровнях. Вы воображаете, будто существует нечто, называющееся человеческой натурой, и она возмутится тем, что мы творим,— восстанет. Но человеческую натуру создаем мы. Люди бесконечно податливы. А может быть, вы вернулись к своей прежней идее, что восстанут и свергнут нас пролетарии или рабы? Выбросьте это из головы. Они беспомощны, как скот. Человечество — это партия. Остальные — вне — ничего не значат.

— Все равно. В конце концов они вас победят. Рано или поздно поймут, кто вы есть, и разорвут вас в клочья.

— Вы уже видите какие-нибудь признаки? Или какое-нибудь основание для такого прогноза?

— Нет. Я просто верю. Я знаю, что вас ждет крах. Есть что-то во вселенной, не знаю... какой-то дух, какой-то принцип, и вам его не одолеть.

— Уинстон, вы верите в бога?

— Нет.

— Так что за принцип нас победит?

— Не знаю. Человеческий дух.

— И себя вы считаете человеком?

— Да.

— Если вы человек, Уинстон, вы — последний человек. Ваш вид вымер; мы наследуем Землю. Вы понимаете, что вы *один*? Вы вне истории, вы не существуете.— Он вдруг посуровел и резко произнес: — Вы полагаете, что вы морально выше нас, лживых и жестоких?

— Да, считаю, что я выше вас.

О'Брайен ничего не ответил. Уинстон услышал два других голоса. Скоро он узнал в одном из них свой. Это была запись их разговора с О'Брайеном в тот вечер, когда он вступил в Братство. Уинстон услышал, как он обещает обманывать, красть, совершать подлоги, убивать, способствовать наркомании и проституции, разносить венерические болезни, плеснуть в лицо ребенку серной кислотой. О'Брайен нетерпеливо махнул рукой,

как бы говоря, что слушать дальше нет смысла. Потом повернул выключатель, и голоса смолкли.

— Встаньте с кровати,— сказал он.

Захваты сами собой открылись. Уинстон опустил ноги на пол и неуверенно встал.

— Вы последний человек,— сказал О'Брайен.— Вы хранитель человеческого духа. Вы должны увидеть себя в натуральную величину. Разденьтесь.

Уинстон развязал бечевку, державшую комбинезон. Молнию из него давно вырвали. Он не мог вспомнить, раздевался ли хоть раз догола с тех пор, как его арестовали. Под комбинезоном его тело обвивали грязные желтоватые тряпки, в которых с трудом можно было узнать остатки белья. Спустив их на пол, он увидел в дальнем углу комнаты трельяж. Он подошел к зеркалам и замер. У него вырвался крик.

— Ну-ну,— сказал О'Брайен.— Станьте между створками зеркала. Полюбуйтесь на себя и сбоку.

Уинстон замер от испуга. Из зеркала к нему шло что-то согнутое, серого цвета, скелетообразное. Существо это пугало даже не тем, что Уинстон признал в нем себя, а одним своим видом. Он подошел ближе к зеркалу. Казалось, что он выставил лицо вперед,— так он был согнут. Измученное лицо арестанта с шишковатым лбом, лысый череп, загнутый нос и словно разбитые скулы, дикий, настороженный взгляд. Щеки изрезаны морщинами, рот запал. Да, это было его лицо, но ему казалось, что оно изменилось больше, чем он изменился внутри. Чувства, изображавшиеся на лице, не могли соответствовать тому, что он чувствовал на самом деле. Он сильно облысел. Сперва ему показалось, что и поседел вдобавок, но это просто череп стал серым. Серым от старой, въевшейся грязи стало у него все — кроме лица и рук. Там и сям из-под грязи проглядывали красные шрамы от побоев, а варикозная язва превратилась в воспаленное месиво, покрытое шелушащейся кожей. Но больше всего его испугала худоба. Ребра, обтянутые кожей, грудная клетка скелета; ноги усохли так, что колени стали толще бедер. Теперь он понял, почему О'Брайен велел ему посмотреть на себя сбоку. Еще немного и тощие плечи сойдутся, грудь превратилась в яму; тощая шея сгибалась под тяжестью головы. Если бы его спросили, он сказал бы, что это — тело шестидесятилетнего старика, страдающего неизлечимой болезнью.

— Вы иногда думали,— сказал О'Брайен,— что мое лицо — лицо члена внутренней партии — выглядит старым и потрепанным. А как вам ваше лицо?

Он схватил Уинстона за плечо и повернул к себе.

— Посмотрите, в каком вы состоянии! — сказал он.— Посмотрите, какой отвратительной грязью покрыто ваше тело. Посмотрите, сколько грязи между пальцами на ногах. Посмотрите на эту мокрую язву на голени. Вы знаете, что от вас воняет козлом? Вы уже, наверно, принюхались. Посмотрите, до чего вы худы. Видите? Я могу обхватить ваш бицепс двумя пальцами. Я могу переломить вам шею, как морковку. Знаете, что с тех

пор, как вы попали к нам в руки, вы потеряли двадцать пять килограммов? У вас даже волосы вылезают клоками. Смотрите! — Он схватил Уинстона за волосы и вырвал клок.

— Откройте рот. Девять... десять, одиннадцать зубов осталось. Сколько было, когда вы попали к нам? Да и оставшиеся во рту не держатся. Смотрите!

Двумя пальцами он залез Уинстону в рот. Десну пронзила боль. О'Брайен вырвал передний зуб с корнем. Он кинул его в угол камеры.

— Вы гниете заживо,— сказал он,— разлагаетесь. Что вы такое? Мешок слякоти. Ну-ка, повернитесь к зеркалу еще раз. Видите, кто на вас смотрит? Это — последний человек. Если вы человек — таково человечество. А теперь одевайтесь.

Медленно, непослушными руками, Уинстон стал натягивать одежду. До сих пор он будто и не замечал, худобы и слабости. Одно вертелось в голове: он не представлял себе, что находится здесь так давно. И вдруг, когда он наматывал на себя тряпье, ему стало жалко погубленного тела. Не соображая, что делает, он упал на маленькую табуретку возле кровати и расплакался. Он сознавал свое уродство, сознавал постыдность этой картины: живой скелет в грязном белье сидит и плачет под ярким белым светом; но он не мог остановиться. О'Брайен положил ему руку на плечо, почти ласково.

— Это не будет длиться бесконечно,— сказал он.— Вы можете прекратить это когда угодно. Все зависит от вас.

— Это вы! — всхлипнул Уинстон.— Вы довели меня до такого состояния.

— Нет, Уинстон, вы сами себя довели. Вы пошли на это, когда противопоставили себя партии. Все это уже содержалось в вашем поступке. И вы предвидели все, что с вами произойдет.

Помолчав немного, он продолжал:

— Мы били вас, Уинстон. Мы сломали вас. Вы видели, во что превратилось ваше тело. Ваш ум в таком же состоянии. Не думаю, что в вас осталось много гордости. Вас пинали, пороли, оскорбляли, вы визжали от боли, вы катались по полу в собственной крови и рвоте. Вы скулили о пощаде, вы предали все и вся. Как по-вашему, может ли человек дойти до большего падения, чем вы?

Уинстон перестал плакать, но слезы еще сами собой текли из глаз. Он поднял лицо к О'Брайену.

— Я не предал Джулию,— сказал он.

О'Брайен посмотрел на него задумчиво.

— Да,— сказал он,— да. Совершенно верно. Вы не предали Джулию.

Сердце Уинстона снова наполнилось глубоким уважением к О'Брайену — уважения этого разрушить не могло ничто. Сколько ума, подумал он, сколько ума! Не было еще такого случая, чтобы О'Брайен его не понял. Любой другой сразу возразил бы, что Джулию он предал. Ведь чего только не вытянули из него под пыткой! Он рассказал им все, что о ней знал,— о ее при-

вычках, о ее характере, о ее прошлом; в мельчайших деталях описал все их встречи, все, что ои ей говорил и оиа ему говорила, их ужины с провизией, купленной на черном рыике, их любовную жизнь, их иевнятиый заговор против партии — все. Однако в том смысле, в каком ои сейчас поиимал это слово, ои Джулию не предал. Ои не перестал ее любить; его чувства к ией остались прежиими. О'Брайен понял это без всяких объяснений.

— Скажите,— попросил Уиистои,— скоро меия расстреляют?

— Может статься, и не скоро,— ответил О'Брайеи.— Вы — трудный случай. Но ие теряйте надежду. Все раио или поздио излечиваются. А тогда мы вас расстреляем.

IV

Ему стало много лучше. Ои полиел и чувствовал себя крепче с каждым дием — если имело смысл говорить о днях.

Как и раньше, в камере горел белый свет и слышалось гудеиие, но сама камера была чуть удобнее прежиих. Тут можио было сидеть иа табурете, а дощатая лежаика была с матрасом и подушкой. Его сводили в баню, а потом довольно часто позволяли мыться в шайке. Приносили даже теплую воду. Выдали иовое белье и чистый комбинезои. Варикозную язву забинтовали с какой-то успокаивающей мазью. Оставшиеся зубы ему вырвали и сделали протезы.

Прошло, иаверио, иесколько иедель или месяцев. При желании ои мог бы вести счет времеии, потому что кормили его теперь как будто бы регулярио. Ои пришел к выводу, что еду прииосят три раза в сутки; иногда спрашивал себя без интереса, дием дают есть или ночью. Еда была на удивлеиие хорошая, каждый третий раз — мясо. Один раз дали даже пачку сигарет. Спичек у иего ие было, но безмолвный надзиратель, приносивший ему пищу, давал огоиьку. В первый раз его затошнило, но он перетерпел и растянул пачку иадолго, выкуривая по полсигареты после каждой еды.

Ему выдали белую грифельную доску с привязанным к углу огрызком карандаша. Сперва ои ею не пользовался. Он пребывал в полиом оцепеиеиии, даже бодрствуя. Ои мог пролежать от одиой еды до другой, почти ие шевелясь, и промежутки сиа сменялись мутным забытьем, когда даже глаза открыть стоило больших трудов. Ои давио привык спать под ярким светом, бьющим в лицо. Разиицы иикакой, разве что сиы были более связиые. Сны все это время снились часто — и всегда счастливые сиы. Ои был в Золотой страие или сидел среди громадиых, великолепных, залитых солицем руии с матерью, с Джулией, с О'Брайеиом — иичего не делал, просто сидел иа солнце и разговаривал о чем-то мирном. А иаяву если у него и бывали какие мысли, то по большей части о сиах. Теперь, когда болевой стимул исчез, он как будто потерял способиость совершать умствеииое усилие. Ои не скучал; ему не хотелось ни разговаривать, ии чем-иибудь отвлечься. Он был вполие доволен тем,

что он один и его не бьют и не допрашивают, что он не грязен и ест досыта.

Со временем спать он стал меньше, но по-прежнему не испытывал потребности встать с кровати. Хотелось одного: лежать спокойно и ощущать, что телу возвращаются силы. Он трогал себя пальцем, чтобы проверить, не иллюзия ли это, в самом ли деле у него округляются мускулы и расправляется кожа. Наконец он вполне убедился, что полнеет: бедра у него теперь были определенно толще колен. После этого, с неохотой поначалу, он стал регулярно упражняться. Вскоре он мог пройти уже три километра — отмеряя их шагами по камере, и согнутая спина его понемногу распрямлялась. Он попробовал сделать что-нибудь потруднее и, к изумлению и унижению своему, выяснил, что почти ничего не может. Передвигаться мог только шагом, табуретку на вытянутой руке держать не мог, на одной ноге стоять не мог — падал. Он присел на корточки и едва сумел встать, испытывая мучительную боль в икрах и бедрах. Он лег на живот и попробовал отжаться на руках. Безнадежно: не мог даже грудь оторвать от пола. Но еще через несколько дней — через несколько обедов и завтраков — он совершил и этот подвиг. И еще через какое-то время стал отжиматься по шесть раз подряд. Он даже начал гордиться своим телом, а иногда ему верилось, что и лицо принимает нормальный вид. Только тронув случайно свою лысую голову, вспоминал он морщинистое разрушенное лицо, которое смотрело на него из зеркала.

Ум его отчасти ожил. Он садился на лежанку спиной к стене, клал на колени грифельную доску и занимался самообразованием.

Он капитулировал; это было решено. На самом деле, как он теперь понимал, капитулировать он был готов задолго до того, как принял это решение. Он осознал легкомысленность и вздорность своего бунта против партии и в то мгновение, когда очутился в министерстве любви,— нет, еще в те минуты, когда они с Джулией беспомощно стояли в комнате, а железный голос из телекрана отдавал им команды. Теперь он знал, что семь лет полиция мыслей наблюдала его, как жука в лупу. Ни одно его действие, ни одно слово, произнесенное вслух, не укрылось от нее, ни одна мысль не осталась неразгаданной. Даже белесую крупинку на переплете его дневника они аккуратно клали на место. Они проигрывали ему записи, показывали фотографии. В том числе — фотографии его с Джулией. Да, даже... Он больше не мог бороться с партией. Кроме того, партия права. Наверное, права: как может ошибаться бесссмертный коллективный мозг? По каким внешним критериям оценить его суждения? Здравый рассудок — понятие статистическое. Чтобы думать, как они, надо просто учиться. Только...

Карандаш в пальцах казался толстым и неуклюжим. Он начал записывать то, что ему приходило в голову. Сперва большими корявыми буквами написал:

СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО.

А под этим почти сразу же:

$$2\times 2=5$$

Но тут наступила какая-то заминка. Ум его, словно пятясь от чего-то, не желал сосредоточиться. Он знал, что следующая мысль уже готова, но не мог ее вспомнить. А когда вспомнил, случилось это не само собой — он пришел к ней путем рассуждений. Он записал:

БОГ — ЭТО ВЛАСТЬ.

Он принял ее. Прошлое изменяемо. Прошлое никогда не изменялось. Океания воюет с Остазией. Океания всегда воевала с Остазией. Джонс, Аронсон и Резерфорд виновны в тех преступлениях, за которые их судили. Он никогда не видел фотографию, опровергавшую их виновность. Она никогда не существовала; он ее выдумал. Он помнил, что помнил факты, говорившие обратное, но это — аберрация памяти, самообман. Как все просто! Только сдаться — все остальное отсюда следует. Это все равно что плыть против течения — сколько ни старайся, оно относит тебя назад,— и вдруг ты решаешь повернуть и плыть по течению, а не бороться с ним. Ничего не изменилось, только твое отношение к этому: чему быть, того не миновать. Он сам не понимал, почему стал бунтовщиком. Все было просто. Кроме...

Все, что угодно, может быть истиной. Так называемые законы природы — вздор. Закон тяготения — вздор. «Если бы я пожелал,— сказал О'Брайен,— я мог бы взлететь сейчас с пола, как мыльный пузырь». Уинстон обосновал эту мысль. «Если он думает, что взлетает с пола, и я одновременно думаю, что вижу это, значит, так оно и есть». Вдруг, как обломок кораблекрушения поднимается на поверхность воды, в голове у него всплыло: «На самом деле этого нет. Мы это воображаем. Это галлюцинация». Он немедленно отказался от своей мысли. Очевидная логическая ошибка. Предполагается, что где-то, вне тебя, есть «действительный» мир, где происходят «действительные» события. Но откуда может взяться этот мир? О вещах мы знаем только то, что содержится в нашем сознании. Все происходящее происходит в сознании. То, что происходит в сознании у всех, происходит в действительности.

Он легко обнаружил ошибку, и опасности впасть в ошибку не было. Однако он понял, что ему и в голову не должна была прийти такая мысль. Как только появляется опасная мысль, в мозгу должно возникать слепое пятно. Этот процесс должен быть автоматическим, инстинктивным. *Самостоп* называют его на новоязе.

Он стал упражняться в самостопе. Он предлагал себе утверждения: «партия говорит, что земля плоская», «партия говорит, что лед тяжелее воды» — и учился не видеть и не понимать опровергающих доводов. Это было нелегко. Требовалась способность рассуждать и импровизация. Арифметические же проблемы, связанные, например, с таким утверждением, как «дважды два — пять», оказались ему не по силам. Тут нужен

был еще некий умственный атлетизм, способность тончайшим образом применять логику, а в следующий миг не замечать грубейшей логической ошибки. Глупость была так же необходима, как ум, и так же трудно давалась.

И все время его занимал вопрос, когда же его расстреляют. «Все зависит от вас»,— сказал О'Брайен; но Уинстон понимал, что никаким сознательным актом приблизить это не может. Это может произойти и через десять минут, и через десять лет. Они могут годами держать его в одиночной камере; могут отправить в лагерь; могут ненадолго выпустить — и так случалось. Вполне возможно, что вся драма ареста и допросов будет разыграна сызнова. Достоверно одно: смерть не приходит тогда, когда ее ждешь. Традиция, негласная традиция — ты откуда-то знаешь о ней, хотя не слышал, чтобы о ней говорили,— такова, что стреляют сзади, только в затылок, без предупреждения, когда идешь по коридору из одной камеры в другую.

В один прекрасный день — впрочем, «день» — неправильное слово; это вполне могло быть и ночью,— однажды он погрузился в странное, глубокое забытье. Он шел по коридору, ожидая пули. Он знал, что это случится сию минуту. Все было заглажено, улажено, урегулировано. Тело его было здоровым и крепким. Он ступал легко, радуясь движению, и, кажется, шел под солнцем. Это было уже не в длинном белом коридоре министерства любви; он находился в огромном солнечном проходе, в километр шириной, и двигался по нему как будто в наркотическом бреду. Он был в Золотой стране, шел тропинкой через старый выщипанный кроликами луг. Под ногами пружинил дерн, а лицо ему грело солнце. На краю луга чуть шевелили ветвями вязы, а где-то дальше был ручей, и там в зеленых заводях под ветлами стояла плотва.

Он вздрогнул и очнулся в ужасе. Между лопатками пролился пот. Он услышал свой крик:

«Джулия! Джулия! Джулия, моя любимая! Джулия!»

У него было полное впечатление, что она здесь. И не просто с ним, а как будто внутри него. Словно стала составной частью его тела. В этот миг он любил ее гораздо сильнее, чем на воле, когда они были вместе. И он знал, что она где-то есть, живая, и нуждается в его помощи.

Он снова лег и попробовал собраться с мыслями. Что он сделал? На сколько лет удлинил свое рабство этой минутной слабостью?

Сейчас он услышит топот башмаков за дверью. Такую выходку они не оставят безнаказанной. Теперь они поймут — если раньше не поняли,— что он нарушил соглашение. Он подчинился партии, но по-прежнему ее ненавидит. В прежние дни он скрывал еретические мысли под показным конформизмом. Теперь он отступил еще на шаг: разумом сдался, но душу рассчитывал сохранить в неприкосновенности. Он знал, что не прав, и держался за свою неправоту. Они это поймут — О'Брайен поймет. И выдало его одно глупое восклицание.

Придется начать все сначала. На это могут уйти годы. Он

провел ладонью по лицу, чтобы яснее представить себе, как оно теперь выглядит. В щеках залегли глубокие борозды, скулы заострились, нос показался приплюснутым. Вдобавок он в последний раз видел себя в зеркале до того, как ему сделали зубы. Трудно сохранить непроницаемость, если не знаешь, как выглядит твое лицо. Во всяком случае, одного лишь владения мимикой недостаточно. Впервые он осознал, что, если хочешь сохранить секрет, надо скрывать его и от себя. Ты должен знать, конечно, что он есть, но, покуда он не понадобился, нельзя допускать его до сознания в таком виде, когда его можно назвать. Отныне он должен не только думать правильно; он должен правильно чувствовать, видеть правильные сны. А ненависть должен запереть в себе, как некое физическое образование, которое является его частью и, однако, с ним не связано,— вроде кисты.

Когда-нибудь они решат его расстрелять. Неизвестно, когда это случится, но за несколько секунд, наверное, угадать можно. Стреляют сзади, когда идешь по коридору. Десяти секунд хватит. За это время внутренний мир может перевернуться. И тогда, внезапно, не сказав ни слова, не сбившись с шага, не изменившись в лице, внезапно он сбросит маскировку — и грянут батареи его ненависти! Ненависть наполнит его, словно исполинское ревущее пламя. И почти в тот же миг — выстрел! — слишком поздно или слишком рано. Они разнесут ему мозг раньше, чем выправят. Еретическая мысль, ненаказанная, нераскаянная, станет недосягаемой для них навеки. Они прострелят дыру в своем идеале. Умереть, ненавидя их,— это и есть свобода.

Он закрыл глаза. Это труднее, чем принять дисциплину ума. Тут надо уронить себя, изувечить. Погрузиться в грязнейшую грязь. Что самое жуткое, самое тошнотворное? Он подумал о Старшем Брате. Огромное лицо (он постоянно видел его на плакатах, и поэтому казалось, что оно должно быть шириной в метр), черноусое, никогда не спускавшее с тебя глаз, возникло перед ним, словно помимо его воли. Как он на самом деле относится к Старшему Брату?

В коридоре послышался тяжелый топот. Стальная дверь с лязгом распахнулась. В камеру вошел О'Брайен. За ним — офицер с восковым лицом и надзиратели в черном.

— Встаньте,— сказал О'Брайен.— Подойдите сюда.

Уинстон встал против него. О'Брайен сильными руками взял Уинстона за плечи и пристально посмотрел в лицо.

— Вы думали меня обмануть,— сказал он.— Это было глупо. Стойте прямо. Смотрите мне в глаза.

Он помолчал и продолжал чуть мягче:

— Вы исправляетесь. В интеллектуальном плане у вас почти все в порядке. В эмоциональном же никакого улучшения не произошло. Скажите мне, Уинстон,— только помните: не лгать, ложь от меня не укроется, это вам известно,— скажите, как вы на самом деле относитесь к Старшему Брату?

— Я его ненавижу.

— Вы его ненавидите. Хорошо. Тогда для вас настало время

сделать последний шаг. Вы должны любить Старшего Брата. Повиноваться ему мало; вы должны его любить.

Он отпустил плечи Уинстона, слегка толкнув его к надзирателям.

— В комнату сто один,— сказал он.

V

На каждом этапе заключения Уинстон знал — или представлял себе,— несмотря на отсутствие окон, в какой части здания он находится. Возможно, ощущал разницу в атмосферном давлении. Камеры, где его избивали надзиратели, находились ниже уровня земли. Комната, где его допрашивал О'Брайен, располагалась наверху, близко к крыше. А нынешнее место было глубоко под землей, может быть, в самом низу.

Комната была просторнее почти всех его прежних камер. Но он не замечал подробностей обстановки. Заметил только два столика прямо перед собой, оба с зеленым сукном. Один стоял метрах в двух; другой подальше, у двери. Уинстон был привязан к креслу так туго, что не мог пошевелить даже головой. Голову держало сзади что-то вроде мягкого подголовника, и смотреть он мог только вперед. Он был один, потом дверь открылась и вошел О'Брайен.

— Вы однажды спросили,— сказал О'Брайен,— что делают в комнате сто один. Я ответил, что вы сами знаете. Это все знают. В комнате сто один — то, что хуже всего на свете.

Дверь снова открылась. Надзиратель внес что-то проволочное, то ли корзинку, то ли клетку. Он поставил эту вещь на дальний столик. О'Брайен мешал разглядеть, что это за вещь.

— То, что хуже всего на свете,— сказал О'Брайен,— разное для разных людей. Это может быть погребение заживо, смерть на костре, или в воде, или на колу — да сто каких угодно смертей. А иногда это какая-то вполне ничтожная вещь, даже не смертельная.

Он отошел в сторону, и Уинстон разглядел, чт́о стоит на столике. Это была продолговатая клетка с ручкой наверху для переноски. К торцу было приделано что-то вроде фехтовальной маски, вогнутой стороной наружу. Хотя до клетки было метра три или четыре, Уинстон увидел, что она разделена продольной перегородкой и в обоих отделениях — какие-то животные. Это были крысы.

— Для вас,— сказал О'Брайен,— хуже всего на свете — крысы.

Дрожь предчувствия, страх перед неведомым Уинстон ощутил еще в ту секунду, когда разглядел клетку. А сейчас он понял, чт́о означает маска в торце. У него схватило живот.

— Вы этого не сделаете! — крикнул он высоким надтреснутым голосом.— Вы не будете, не будете! Как можно?

— Помните,— сказал О'Брайен,— тот миг паники, который бывал в ваших снах? Перед вами стена мрака, и рев в ушах. Там, за стеной,— что-то ужасное. В глубине души вы знали, чт́о

скрыто за стеной, но не решались себе признаться. Крысы были за стеной.

— О'Брайен! — сказал Уинстон, пытаясь совладать с голосом.— Вы знаете, что в этом нет необходимости. Чего вы от меня хотите?

О'Брайен не дал прямого ответа. Напустив на себя менторский вид, как иногда с ним бывало, он задумчиво смотрел вдаль, словно обращался к слушателям за спиной Уинстона.

— Боли самой по себе,— начал он,— иногда недостаточно. Бывают случаи, когда индивид сопротивляется боли до смертного мига. Но для каждого человека есть что-то непереносимое, немыслимое. Смелость и трусость здесь ни при чем. Если падаешь с высоты, схватиться за веревку — не трусость. Если вынырнул из глубины, вдохнуть воздух — не трусость. Это просто инстинкт, и его нельзя ослушаться. То же самое — с крысами. Для ва́с они непереносимы. Это та форма давления, которой вы не можете противостоять, даже если бы захотели. Вы сделаете то, что от вас требуют.

— Но что, что требуют? Как я могу сделать, если не знаю, что от меня надо?

О'Брайен взял клетку и перенес к ближнему столику. Аккуратно поставил ее на сукно. Уинстон слышал гул крови в ушах. Ему казалось сейчас, что он сидит в полном одиночестве. Он посреди громадной безлюдной равнины, в пустыне, залитой солнечным светом, и все звуки доносятся из бесконечного далека. Между тем клетка с крысами стояла от него в каких-нибудь двух метрах. Крысы были огромные. Они достигли того возраста, когда морда животного становится тупой и свирепой, а шкура из серой превращается в коричневую.

— Крыса,— сказал О'Брайен, по-прежнему обращаясь к невидимой аудитории,— грызун, но при этом — плотоядное. Вам это известно. Вы, несомненно, слышали о том, что́ творится в бедных районах нашего города. На некоторых улицах мать боится оставить грудного ребенка без присмотра в доме даже на пять минут. Крысы непременно на него нападут. И очень быстро обгложут его до костей. Они нападают также на больных и умирающих. Крысы удивительно угадывают беспомощность человека.

В клетке поднялся визг. Уинстону казалось, что он доносится издалека. Крысы дрались; они пытались добраться друг до дружки через перегородку. Еще Уинстон услышал глубокий стон отчаяния. Он тоже шел как будто извне.

О'Брайен поднял клетку и что-то в ней нажал. Раздался резкий щелчок. В исступлении Уинстон попробовал вырваться из кресла. Напрасно: все части тела и даже голова были намертво закреплены. О'Брайен поднес клетку ближе. Теперь она была в метре от лица.

— Я нажал первую ручку,— сказал О'Брайен.— Конструкция клетки вам понятна. Маска охватит вам лицо, не оставив выхода. Когда я нажму другую ручку, дверца в клетке поднимется. Голодные звери вылетят оттуда пулями. Вы видели, как

прыгают крысы? Оии прыгнут вам на лицо и начнут вгрызаться. Иногда они первым делом иабрасываются на глаза. Иногда прогрызают щеки и пожирают язык.

Клетка приблизилась; скоро надвииется вплотную. Уинстон услышал частые пронзительиые вопли, раздававшиеся как будто в воздухе иад головой. Но ои яростио боролся с паникой. Думать, думать, даже если осталась секуида... Думать — только на это надежда. Гнусный затхлый запах зверей ударил в иос. Рвотная спазма подступила к горлу, и он почти потерял сознание. Все исчезло в черноте. На миг он превратился в обезумевшее вопящее животное. Однако он вырвался из чериоты, зацепившись за мысль. Есть один-единствеииый путь к спасеиию. Надо поставить другого человека, *тело* другого человека между собой и крысами.

Овал маски приблизился уже настолько, что заслонил все остальное. Сетчатая дверца была в двух пядях от лица. Крысы поняли, что́ готовится. Одиа иетерпеливо прыгала на месте; другая — коржавый ветераи сточиых канав — встала, упершись розовыми лапами в решетку и сильно втягивая носом воздух. Уинстои видел усы и желтые зубы. Черная паиика снова иакатила иа него. Он был слеп, беспомощен, иичего ие соображал.

— Это наказаиие было принято в Китайской империи,— сказал О'Брайен по-прежиему нравоучительно.

Маска придвигалась к лицу. Проволока косиулась щеки. И тут... иет, это было не спасеиие, а только надежда, искра иадежды. Поздио, может быть, поздно. Но он вдруг понял, что иа свете есть только один человек, на которого он может перевалить свое иаказание,— только одним телом он может заслоиить себя от крыс. И он исступлеиио кричал, раз за разом:

— Отдайте им Джулию! Отдайте им Джулию! Не меня! Джулию! Мие все равно, что вы с ней сделаете. Разорвите ей лицо, обгрызите до костей. Не меия! Джулию! Не меня!

Ои падал спиной в бездонную глубь, прочь от крыс. Ои все еще был пристегнут к креслу, ио проваливался сквозь пол, сквозь стеиы здаиия, сквозь землю, сквозь океаны, сквозь атмосферу, в космос, в межзвездиые бездиы — все дальше, прочь, прочь, прочь от крыс. Его отделяли от иих уже световые годы, хотя О'Брайен по-прежнему стоял рядом. И холодная проволока все еще прикасалась к щеке. Но сквозь тьму, объявшую его, ои услышал еще один металлический щелчок и поиял, что дверца клетки захлопнулась, а ие открылась.

VI

«Под каштаном» было безлюдио. Косые желтые лучи солнца падали через окио на пыльные крышки столов. Было пятнадцать часов — время затишья. Из телекранов точилась бодрая музыка.

Уинстон сидел в своем углу, уставясь в пустой стакан. Время от времени он поднимал взгляд на громадное лицо, наблюдавшее за ним со стеиы иапротив. СТАРШИЙ БРАТ

СМОТРИТ НА ТЕБЯ, гласила подпись. Без зова подошел официант, наполнил его стакан джином «Победа» и добавил несколько капель из другой бутылки с трубочкой в пробке. Это был раствор сахарина, настоянный на гвоздике,— фирменный напиток заведения.

Уинстон прислушался к телекрану. Сейчас передавали только музыку, но с минуты на минуту можно было ждать специальной сводки из министерства мира. Сообщения с африканского фронта поступали крайне тревожные. С самого утра он то и дело с беспокойством думал об этом. Евразийские войска (Океания воевала с Евразией; Океания всегда воевала с Евразией) с устрашающей быстротой продвигались на юг. В полуденной сводке не назвали конкретных мест, но вполне возможно, что бои идут уже возле устья Конго. Над Браззавилем и Леопольдвилем нависла опасность. Понять, что это означает, нетрудно и без карты. Это грозит не просто потерей Центральной Африки; впервые за всю войну возникла угроза самой Океании.

Бурное чувство — не совсем страх, а скорее какое-то беспредметное волнение — вспыхнуло в нем, а потом потухло. Он перестал думать о войне. Теперь он мог задержать мысли на каком-то одном предмете не больше чем на несколько секунд. Он взял стакан и залпом выпил. Как обычно, передернулся и тихонько рыгнул. Пойло было отвратительное. Гвоздика с сахарином, сама по себе противная, не могла перебить унылый маслянистый запах джина, но, что хуже всего, запах джина, сопровождавший его день и ночь, был неразрывно связан с запахом тех...

Он никогда не называл их, даже про себя, и очень старался, не увидеть их мысленно. Они были чем-то не вполне осознанным, скорее, угадывались где-то перед лицом и только все время пахли. Джин всколыхнулся в желудке, и он рыгнул, выпятив красные губы. С тех пор как его выпустили, он располнел и к нему вернулся прежний румянец, даже стал ярче. Черты лица у него огрубели, нос и скулы сделались шершавыми и красными, даже лысая голова приобрела яркий розовый оттенок. Официант, опять без зова, принес шахматы и свежий выпуск «Таймс», раскрытый на шахматной задаче. Затем, увидев, что стакан пуст, вернулся с бутылкой джина и налил. Заказы можно было не давать. Обслуга знала его привычки. Шахматы неизменно ждали его и свободный столик в углу; даже когда кафе наполнялось народом, он занимал его один — никому не хотелось быть замеченным в его обществе. Ему даже не приходилось подсчитывать, сколько он выпил. Время от времени ему подавали грязную бумажку и говорили, что это счет, но у него сложилось впечатление, что берут меньше, чем следует. Если бы они поступали наоборот, его бы это тоже не взволновало. Он всегда был при деньгах. Ему дали должность — синекуру — и платили больше, чем на прежнем месте.

Музыка в телекране смолкла, вступил голос. Уинстон поднял голову и прислушался. Но передали не сводку с фронта. Сообщало министерство изобилия. Оказывается, в прошлом квартале

план десятой трехлетки по шнуркам перевыполнен на девяносто восемь процентов.

Он глянул на шахматную задачу и расставил фигуры. Это было хитрое окончание с двумя конями. «Белые начинают и дают мат в два хода». Он поднял глаза на портрет Старшего Брата. Белые всегда ставят мат, подумал он с неясным мистическим чувством. Всегда, исключений не бывает, так устроено. Испокон веку ни в одной шахматной задаче черные не выигрывали. Не символ ли это вечной, неизменной победы Добра над Злом? Громадное, полное спокойной силы лицо ответило ему взглядом. Белые всегда ставят мат.

Телекран смолк, а потом другим, гораздо более торжественным тоном сказал: «Внимание: в пятнадцать часов тридцать минут будет передано важное сообщение! Известия чрезвычайной важности. Слушайте нашу передачу. В пятнадцать тридцать!» Снова пустили бодрую музыку.

Сердце у него сжалось. Это — сообщение с фронта; инстинкт подсказывал ему, что новости будут плохие. Весь день с короткими приступами волнения он то и дело мысленно возвращался к сокрушительному поражению в Африке. Он зрительно представлял себе, как евразийские полчища валят через нерушимую прежде границу и растекаются по оконечности континента, подобно колоннам муравьев. Почему нельзя было выйти им во фланг? Перед глазами у него возник контур Западного побережья. Он взял белого коня и переставил в другой угол доски. Вот где правильное место. Он видел, как черные орды катятся на юг, и в то же время видел, как собирается таинственно другая сила, вдруг оживает у них в тылу, режет их коммуникации на море и на суше. Он чувствовал, что желанием своим вызывает эту силу к жизни. Но действовать надо без промедления. Если они овладеют всей Африкой, захватят аэродромы и базы подводных лодок на мысе Доброй Надежды, Океания будет рассечена пополам. А это может повлечь за собой что угодно: разгром, передел мира, крушение партии! Он глубоко вздохнул. В груди его клубком сплелись противоречивые чувства — вернее, не сплелись, а расположились слоями, и невозможно было понять, какой глубже всего.

Спазма кончилась. Он вернул белого коня на место, но никак не мог сосредоточиться на задаче. Мысли опять ушли в сторону. Почти бессознательно он вывел пальцем на пыльной крышке стола:

$$2 \times 2 = 5$$

«Они не могут в тебя влезть»,— сказала Джулия. Но они смогли влезть. «То, что делается с вами здесь, делается навечно»,— сказал О'Брайен. Правильное слово. Есть такое — твои собственные поступки,— от чего ты никогда не оправишься. В твоей груди что-то убито — вытравлено, выжжено.

Он ее видел; даже разговаривал с ней. Это ничем не грозило. Инстинкт ему подсказывал, что теперь его делами почти не интересуются. Если бы кто-то из них двоих захотел, они могли бы

условиться о новом свидании. А встретились они нечаянно. Произошло это в парке, в пронизывающий, мерзкий мартовский денек, когда земля была как железо и вся трава казалась мертвой, и не было нигде ни почки, лишь несколько крокусов вылезли из грязи, чтобы их расчленил ветер. Уинстон шел торопливо, с озябшими руками, плача от ветра, и вдруг метрах в десяти увидел ее. Она разительно переменилась, но непонятно было, в чем эта перемена заключается. Они разошлись, как незнакомые; потом он повернул и нагнал ее, хотя и без особой охоты. Он знал, что это ничем не грозит, никому они неинтересны. Она не заговорила. Она свернула на газон, словно желая избавиться от него, но через несколько шагов как бы примирилась с тем, что он идет рядом. Вскоре они очутились среди корявых голых кустов, не защищавших ни от ветра, ни от посторонних глаз. Остановились. Холод был лютый. Ветер свистел в ветках и трепал редкие грязные крокусы. Он обнял ее за талию.

Телекрана рядом не было, были, наверно, скрытые микрофоны; кроме того, их могли увидеть. Но это не имело значения — ничто не имело значения. Они спокойно могли бы лечь на землю и заняться чем угодно. При одной мысли об этом у него мурашки поползли по спине. Она никак не отозвалась на объятие, даже не попыталась освободиться. Теперь он понял, что́ в ней изменилось. Лицо приобрело землистый оттенок, через весь лоб к виску тянулся шрам, отчасти прикрытый волосами. Но дело было не в этом. А в том, что талия у нее стала толще и, как ни странно, отвердела. Он вспомнил, как однажды, после взрыва ракеты, помогал вытаскивать из развалин труп, и поражен был не только невероятной тяжестью тела, но и его жесткостью, тем, что его так неудобно держать — словно оно было каменное, а не человеческое. Таким же на ощупь оказалось ее тело. Он подумал, что и кожа у нее, наверно, стала совсем другой.

Он даже не попытался поцеловать ее, и оба продолжали молчать. Когда они уже выходили из ворот, она впервые посмотрела на него в упор. Это был короткий взгляд, полный презрения и неприязни. Он не понял, вызвана эта неприязнь только их прошлым или вдобавок его расплывшимся лицом и слезящимися от ветра глазами. Они сели на железные стулья, рядом, но не вплотную друг к другу. Он понял, что сейчас она заговорит. Она передвинула на несколько сантиметров грубую туфлю и нарочно смяла былинку. Он заметил, что ступни у нее раздались.

— Я предала тебя,— сказала она без обиняков.

— Я предал тебя,— сказал он.

Она снова взглянула на него с неприязнью.

— Иногда,— сказала она,— тебе угрожают чем-то таким... таким, чего ты не можешь перенести, о чем не можешь даже подумать. И тогда ты говоришь: «Не делайте этого со мной, сделайте с кем-нибудь другим, сделайте с таким-то». А потом ты можешь притворяться перед собой, что это была только уловка, что ты сказала это просто так, лишь бы перестали, а на

самом деле ты этого не хотела. Неправда. Когда это происходит, желание у тебя именно такое. Ты думаешь, что другого способа спастись нет, ты согласна спастись таким способом. Ты *хочешь*, чтобы это сделали с другим человеком. И тебе плевать на его мучения. Ты думаешь только о себе.

— Думаешь только о себе,— эхом отозвался он.

— А после ты уже по-другому относишься к тому человеку.

— Да,— сказал он,— относишься по-другому.

Говорить было больше не о чем. Ветер лепил тонкие комбинезоны к их телам. Молчание почти сразу стало тягостным, да и холод не позволял сидеть на месте. Она пробормотала, что опоздает на поезд в метро, и поднялась.

— Нам надо встретиться еще,— сказал он.

— Да,— сказала она,— надо встретиться еще.

Он нерешительно пошел за ней, приотстав на полшага. Больше они не разговаривали. Она не то чтобы старалась от него отделаться, но шла быстрым шагом, не давая себя догнать. Он решил, что проводит ее до станции метро, но вскоре почувствовал, что тащиться за ней по холоду бессмысленно и невыносимо. Хотелось не столько даже уйти от Джулии, сколько очутиться в кафе «Под каштаном» — его никогда еще не тянуло туда так, как сейчас. Он затосковал по своему угловому столику с газетой и шахматами, по неиссякаемому стакану джина. Самое главное, в кафе будет тепло. Тут их разделила небольшая кучка людей, чему он не особенно препятствовал. Он попытался — правда, без большого рвения — догнать ее, потом сбавил шаг, повернул и отправился в другую сторону. Метров через пятьдесят он оглянулся. Народу было мало, но узнать ее он уже не мог. Всего несколько человек торопливо двигались по улице, и любой из них сошел бы за Джулию. Ее раздавшееся, огрубевшее тело, наверное, нельзя было узнать сзади.

«Когда это происходит,— сказала она,— желание у тебя именно такое». И у него оно было. Он не просто сказал так, он этого хотел. Он хотел, чтобы ее, а не его отдали...

В музыке, лившейся из телекрана, что-то изменилось. Появился надтреснутый, глумливый тон, желтый тон. А затем — может быть, этого и не было на самом деле, может быть, просто память оттолкнулась от тонального сходства — голос запел:

Под развесистым каштаном
Продали средь бела дня —
Я тебя, а ты меня...

У него навернулись слезы. Официант, проходя мимо, заметил, что стакан его пуст, и вернулся с бутылкой джина.

Он поднял стакан и понюхал. С каждым глотком пойло становилось не менее, а только более отвратительным. Но оно стало его стихией. Это была его жизнь, его смерть и его воскресение. Джин гасил в нем каждый вечер последние проблески мысли, и джин каждое утро возвращал его к жизни. Проснувшись — как правило, не раньше одиннадцати ноль-ноль — со слипшин-

мнся векамн, пересохшим ртом и такой болью в спнне, какая бывает, наверно, при переломе, он не мог бы даже принять вертикальное положение, еслн бы рядом с кроватью не стояла наготове бутылка и чайная чашка. Первую половину дня он с мутнымн глазами проснживал перед бутылкой, слушая телекран. С пятнадцати часов до закрытня пребывал в кафе «Под каштаном». Никому не было дела до него, свисток его не будил, телекран не наставлял. Изредка, раза два в неделю, он посещал пыльную, заброшенную контору в министерстве правды н немного работал — еслн это можно назвать работой. Его определнли в подкомнтет подкомитета, отпочковавшегося от одного из бесчнсленных комнтетов, которые занимались второстепенными проблемамн, связаннымн с однннадцатым нзданнем словаря новояза. Сейчас готовнлн так называемый Предварнтельный доклад, но что́ нм предстояло доложить, он в точностн так н не выяснил. Какие-то заключення касательно того, где ставить запятую — до скобкн нлн после. В подкомитете работали еще четверо, людн вроде него. Бывалн днн, когда онн собирались и почтн сразу расходилнсь, честно прнзнавшись друг другу, что делать им нечего. Но случались н другие дни: они бралнсь за работу рьяно, с помпой велн протокол, составлялн длинные меморандумы — ни разу, правда, не доведя их до конца — н в спорах по поводу того, о чем они спорят, забнрались в совершенные дебрн, с нзощреннымн препнрательствамн нз-за дефнннций, с пространнымн отступлениямн — даже с угрозамн обратиться к начальству. И вдруг жизнь уходнла нз них, и они сиделн вокруг стола, глядя друг на друга погасшнми глазами, словно привидения, которые рассеиваются прн первом крике петуха.

Телекран замолчал. Уннстон снова поднял голову. Сводка? Нет, просто сменили музыку. Перед глазамн у него стояла карта Афрнкн. Движенне армнй он видел графическн: черная стрела грозно устремнлась вннз, на юг, белая двннулась горнзонтально, к востоку, отсекая хвост черной. Словно нща подтверждения, он поднял взгляд к невозмутнмому лнцу на портрете. Мыслнмо ли, что вторая стрела вообще не существует?

Интерес его опять потух. Он глотнул джнну н для пробы пошел белым конем. Шах. Но ход был явно неправнльный, потому что...

Незваное, явнлось воспомннание. Комната, освещенная свечой, громадная кровать под белым покрывалом, н сам он, мальчнк девяти или десятн лет, снднт на полу, встряхивает стаканчнк с нгральнымн костямн н возбужденно смеется. Мать снднт напротнв него н тоже смеется.

Это было, наверно, за месяц до ее исчезновения. Ненадолго восстановился мир в семье — забыт был сосущнй голод, н прежняя любовь к матери ожнла на время. Он хорошо помннл тот день: ненастье, пролнвной дождь, вода струнтся по оконным стеклам, н в комнате сумрак, даже нельзя чнтать. Двум детям в темной тесной спальне было невыносимо скучно. Уннстон ныл, капрнзничал, напрасно требовал еды, слонялся по комнате, стаскивал все вещн с места, пинал обшитые деревом стены, так

что с той стороны стучали соседи, а младшая сестренка то и дело принималась вопить. Наконец мать не выдержала: «Веди себя хорошо, куплю тебе игрушку. Хорошую игрушку... Тебе понравится» — и в дождь пошла на улицу, в маленький универмаг неподалеку, который еще время от времени открывался, а вернулась с картонной коробкой — игрой «змейки-лесенки». Он до сих пор помнил запах мокрого картона. Набор был изготовлен скверно. Доска в трещинах, кости вырезаны так неровно, что чуть не переворачивались сами собой. Уинстон смотрел на игру надувшись и без всякого интереса. Но потом мать зажгла огарок свечи, и сели играть на пол. Очень скоро его разобрал азарт, и он уже заливался смехом, и блошки карабкались к победе по лесенкам и скатывались по змейкам обратно, чуть ли не к старту. Они сыграли восемь конов, каждый выиграл по четыре. Маленькая сестренка не понимала игры, она сидела в изголовье и смеялась, потому что они смеялись. До самого вечера они были счастливы втроем, как в первые годы его детства.

Он отогнал эту картину. Ложное воспоминание. Ложные воспоминания время от времени беспокоили его. Это не страшно, когда знаешь им цену. Что-то происходило на самом деле, что-то не происходило. Он вернулся к шахматам, снова взял белого коня. И сразу же со стуком уронил на доску. Он вздрогнул, словно его укололи булавкой.

Тишину прорезали фанфары. Сводка! Победа! Если перед известиями играют фанфары, это значит — победа. По всему кафе прошел электрический разряд. Даже официанты встрепенулись и навострили уши.

Вслед за фанфарами обрушился неслыханной силы шум. Телекран лопотал взволнованно и невнятно — его сразу заглушили ликующие крики на улице. Новость обежала город с чудесной быстротой. Уинстон расслышал немногое, но и этого было достаточно — все произошло так, как он предвидел: скрытно сосредоточившаяся морская армада, внезапный удар в тыл противнику, белая стрела перерезает хвост черной. Сквозь гам прорывались обрывки фраз: «Колоссальный стратегический маневр... безупречное взаимодействие... беспорядочное бегство... полмиллиона пленных... полностью деморализован... полностью овладели Африкой... завершение войны стало делом обозримого будущего... победа... величайшая победа в человеческой истории... победа, победа, победа!»

Ноги Уинстона судорожно двигались под столом. Он не встал с места, но мысленно уже бежал, бежал быстро, он был с толпой на улице и глох от собственного крика. Он опять посмотрел на портрет Старшего Брата. Колосс, вставший над земным шаром! Скала, о которую разбиваются азийские орды! Он подумал, что десять минут назад, всего десять минут назад в душе его еще жило сомнение и он не знал, какие будут известия: победа или крах. Нет, не только евразийская армия канула в небытие! Многое изменилось в нем с того первого дня в министерстве любви, но окончательное, необходимое исцеление совершилось лишь сейчас.

Голос из телекрана все еще сыпал подробностями — о побоище, о пленных, о трофеях,— но крики на улицах немного утихли. Официанты принялись за работу. Один из них подошел с бутылкой джина. Уинстон, в блаженном забытьи, даже не заметил, как ему наполнили стакан. Он уже не бежал и не кричал с толпой. Он снова был в министерстве любви, и все было прощено, и душа его была чиста, как родниковая вода. Он сидел на скамье подсудимых, во всем признавался, на всех давал показания. Он шагал по вымощенному кафелем коридору с ощущением, как будто на него светит солнце, а сзади следовал вооруженный охранник. Долгожданная пуля входила в его мозг.

Он остановил взгляд на громадном лице. Сорок лет ушло у него на то, чтобы понять, какая улыбка прячется в черных усах. О жестокая, ненужная размолвка! О упрямый, своенравный беглец, оторвавшийся от любящей груди! Две сдобренные джином слезы прокатились по крыльям носа. Но все хорошо, теперь все хорошо, борьба закончилась. Он одержал над собой победу. Он любил Старшего Брата.

ПРИЛОЖЕНИЕ

О новоязе

Новояз, официальный язык Океании, был разработан для того, чтобы обслуживать идеологию ангсоца, или английского социализма. В 1984 году им еще никто не пользовался как единственным средством общения — ни устно, ни письменно. Передовые статьи в «Таймс» писались на новоязе, но это дело требовало исключительного мастерства, и его поручали специалистам. Предполагали, что старояз (т. е. современный литературный язык) будет окончательно вытеснен новоязом к 2050 году. А пока что он неуклонно завоевывал позиции: члены партии стремились употреблять в повседневной речи все больше новоязовских слов и грамматических форм. Вариант, существовавший в 1984 году и зафиксированный в девятом и десятом изданиях Словаря новояза, считался промежуточным и включал в себя много лишних слов и архаических форм, которые надлежало со временем упразднить. Здесь пойдет речь об окончательном, усовершенствованном варианте, закрепленном в одиннадцатом издании Словаря.

Новояз должен был не только обеспечить знаковыми средствами мировоззрение и мыслительную деятельность приверженцев ангсоца, но и сделать невозможными любые иные течения мысли. Предполагалось, что, когда новояз утвердится навеки, а старояз будет забыт, неортодоксальная, то есть чуждая ангсоцу, мысль, постольку поскольку она выражается в словах, станет буквально немыслимой. Лексика была сконструирована так, чтобы точно, а зачастую и весьма тонко выразить любое дозволенное значение, нужное члену партии, а кроме того, отсечь все остальные значения, равно как и возможности прийти к ним окольными путями. Это достигалось изобретением новых слов, но в основном исключением слов нежелательных и очищением оставшихся от неортодоксальных значений — по возможности от всех побочных значений. Приведем только один пример. Слово «свободный» в новоязе осталось, но его можно было исполь-

зовать лишь в таких высказываниях, как «свободные сапоги», «туалет свободен». Оно не употреблялось в старом значении «политически свободный», «интеллектуально свободный», поскольку свобода мысли и политическая свобода не существовали даже как понятия, а следовательно, не требовали обозначений. Помимо отмены неортодоксальных смыслов, сокращение словаря рассматривалось как самоцель, и все слова, без которых можно обойтись, подлежали изъятию. Новояз был призван не расширить, а сузить горизонты мысли, и косвенно этой цели служило то, что выбор слов сводили к минимуму.

Новояз был основан на сегодняшнем литературном языке, но многие новоязовские предложения, даже без новоизобретенных слов, показались бы нашему современнику непонятными. Лексика подразделялась на три класса: словарь А, словарь В (составные слова) и словарь С. Проще всего рассмотреть каждый из них отдельно; грамматические же особенности языка можно проследить в разделе, посвященном словарю А, поскольку правила для всех трех категорий — одни и те же.

Словарь А заключал в себе слова, необходимые в повседневной жизни,— связанные с едой, работой, одеванием, хождением по лестнице, ездой, садоводством, кухней и т. п. Он почти целиком состоял из слов, которыми мы пользуемся сегодня, таких, как «бить», «дать», «дом», «хвост», «лес», «сахар», но по сравнению с сегодняшним языком число их было крайне мало, а значения определены гораздо строже. Все неясности, оттенки смысла были вычищены. Насколько возможно, слово этой категории представляло собой отрывистый звук или звуки и выражало лишь *одно* четкое понятие. Словарь А был совершенно непригоден для литературных целей и философских рассуждений. Он предназначался для того, чтобы выражать только простейшие целенаправленные мысли, касавшиеся в основном конкретных объектов и физических действий.

Грамматика новояза отличалась двумя особенностями. Первая — чисто гнездовое строение словаря. Любое слово в языке могло породить гнездо, и в принципе это относилось даже к самым отвлеченным, как, например, «если»: «еслить», «есленно» и т. д. Никакой этимологический принцип тут не соблюдался; словом-производителем могли стать и глагол, и существительное, и даже союз; суффиксами пользовались свободнее, что позволяло расширить гнездо до немыслимых прежде размеров. Таким способом были образованы, например, слова: «едка», «рычёвка», «хвостист», «настроенческий», «убежденец». Если существительное и родственный по смыслу глагол были этимологически не связаны, один из двух корней аннулировался: так, слово «писатель» означало «карандаш», поскольку с изобретением версификатора писание стало означать чисто физический процесс. Понятно, что при этом соответствующие эпитеты сохранялись, и писатель мог быть химическим, простым и т. д. Прилагательное можно было произвести от любого существи-

тельного, как, например: «пальтовый», «жабный», от них — соответствующие наречия и т. д.

Кроме того, для любого слова — в принципе это опять-таки относилось к каждому слову — могло быть построено отрицание при помощи «не». Так, например, образованы слова «нелицо» и «недонос». Система единообразного усиления слов приставками «плюс-» и «плюсплюс-», однако, не привилась ввиду неблагозвучия многих новообразований (см. ниже). Сохранились прежние способы усиления, несколько обновленные. Так, у прилагательных появились две сравнительные степени: «лучше» и «более лучше». Косвенно аналогичный процесс применялся и к существительным (чаще отглагольным) путем сцепления близких слов в родительном падеже: «наращивание ускорения темпов развития». Как и в современном языке, можно было изменить значение слова приставками, но принцип этот проводился гораздо последовательнее и допускал гораздо большее разнообразие форм, таких, например, как «подустать», «надвязать», «отоварить», «беспреступность» (коэффициент), «зарыбление», «обескоровить», «довыполнить» и «недододать». Расширение гнезд позволило радикально уменьшить их общее число, то есть свести разнообразие живых корней в языке к минимуму.

Второй отличительной чертой грамматики новояза была ее регулярность. Всякого рода особенности в образовании множественного числа существительных, в их склонении, в спряжении глаголов были по возможности устранены. Например, глагол «пахать» имел деепричастие «пахая», «махать» спрягался единственным образом — «махаю» и т. д. Слова «цыпленок», «крысенок» во множественном числе имели форму «цыпленки», «крысенки» и соответственно склонялись, «молоко» имело множественное число — «молоки», «побои» употреблялось в единственном числе, а у некоторых существительных единственное число было произведено от множественного: «займ». Степенями сравнения обладали все без исключения прилагательные, как, например, «бесконечный», «невозможный», «равный», «тракторный» и «двухвесельный». В соответствии с принципом покорения действительности все глаголы считались переходными: завозразить (проект), задействовать (человека), растаять (льды), умалчивать (правду), взмыть (пилот взмыл свой вертолет над вражескими позициями). Местоимения с их особой нерегулярностью сохранились, за исключением «кто» и «чей». Последние были упразднены и во всех случаях их заменило местоимение «который» («которого»). Отдельные неправильности словообразования пришлось сохранить ради быстроты и плавности речи. Труднопроизносимое слово или такое, которое может быть неверно услышано, считалось ipso facto[1] плохим словом, поэтому в целях благозвучия вставлялись лишние буквы или возрождались архаические формы. Но по

---

[1] В силу одного этого *(лат.)*.

преимуществу это касалось словаря В. Почему придавалось такое значение удобопроизносимости, будет объяснено в этом очерке несколько позже.

Словарь В состоял из слов, специально сконструированных для политических нужд, иначе говоря, слов, которые не только обладали политическим смыслом, но и навязывали человеку, их употребляющему, определенную позицию. Не усвоив полностью основ ангсоца, правильно употреблять эти слова было нельзя. В некоторых случаях их смысл можно было передать староязовским словом или даже словами из словаря А, но это требовало длинного описательного перевода и всегда было сопряжено с потерей подразумеваемых смыслов. Слова В представляли собой своего рода стенограмму: в несколько слогов они вмещали целый круг идей, в то же время выражая их точнее и убедительнее, чем в обыкновенном языке.

Все слова В были составными[1]. Они состояли из двух или более слов или частей слов, соединенных так, чтобы их удобно было произносить. От каждого из них по обычным образцам производилось гнездо. Для примера: от «благомыслия», означавшего приблизительно «ортодоксию», «правоверность», происходили глагол «благомыслить», причастие «благомыслящий», прилагательное «благомысленный», наречие «благомысленно» и т. д.

Слова В создавались без какого-либо этимологического плана. Они могли состоять из любых частей речи, соединенных в любом порядке и как угодно препарированных — лишь бы их было удобно произносить и оставалось понятным их происхождение. В слове «мыслепреступление», например, мысль стояла первой, а в слове «благомыслие» — второй. Поскольку в словаре В удобопроизносимость достигалась с бóльшим трудом, слова здесь образовывались не по такой жесткой схеме, как в словаре А. Например, прилагательные от «минилюба» и «миниправа» были соответственно «минилюбный» и «миниправный» просто потому, что «-любовный» и «-праведный» было не совсем удобно произносить. В принципе же их склоняли и спрягали, как обычно.

Некоторые слова В обладали такими оттенками значения, которых почти не улавливал человек, не овладевший языком в целом. Возьмем, например, типичное предложение из передовой статьи в «Таймс»: «Старомыслы не нутрят ангсоц». Кратчайшим образом на староязе это можно изложить так: «Те, чьи идеи сложились до Революции, не воспринимают всей душой принципов английского социализма». Но это неадекватный перевод. Во-первых, чтобы как следует понять смысл приведен-

[1] Составные слова, такие, как «речепис», «рабдень», встречались, конечно, и в словаре А, но они были просто удобными сокращениями и особого идеологического оттенка не имели.— *Прим. автора.*

ной фразы, надо иметь четкое представление о том, что означает слово «ангсоц». Кроме того, лишь человек, воспитанный в ангсоце, почувствует всю силу слова «нутрить», подразумевающего слепое восторженное принятие, которое в наши дни трудно вообразить, или слова «старомысл», неразрывно связанного с понятиями порока и вырождения. Но особая функция некоторых новоязовских слов наподобие «старомысла» состояла не только в том, чтобы выражать значения, сколько в том, чтобы их уничтожать. Значение этих слов, разумеется немногочисленных, расширялось настолько, что обнимало целую совокупность понятий; упаковав эти понятия в одно слово, их уже легко было отбросить и забыть. Сложнее всего для составителей Словаря новояза было не изобрести новое слово, но, изобретя его, определить, что оно значит, то есть определить, какую совокупность слов оно аннулирует.

Как мы уже видели на примере слова «свободный», некоторые слова, прежде имевшие вредный смысл, иногда сохранялись ради удобства — но очищенными от нежелательных значений. Бесчисленное множество слов, таких, как «честь», «справедливость», «мораль», «интернационализм», «демократия», «религия», «наука», просто перестали существовать. Их покрывали и тем самым отменяли несколько обобщающих слов. Например, все слова, группировавшиеся вокруг понятий свободы и равенства, содержались в одном слове «мыслепреступление», а слова, группировавшиеся вокруг понятий рационализма и объективности,— в слове «старомыслие». Бóльшая точность была бы опасна. По своим воззрениям член партии должен был напоминать древнего еврея, который знал, не вникая в подробности, что все остальные народы поклоняются «ложным богам». Ему не надо было знать, что имена этих богов — Ваал, Осирис, Молох, Астарта и т. д.; чем меньше он о них знает, тем полезнее для его правоверности. Он знал Иегову и заветы Иеговы, а поэтому знал, что все боги с другими именами и другими атрибутами — ложные боги. Подобным образом член партии знал, чтó такое правильное поведение, и до крайности смутно, лишь в общих чертах представлял себе, какие отклонения от него возможны. Его половая жизнь, например, полностью регулировалась двумя новоязовскими словами: «злосекс» (половая аморальность) и «добросекс» (целомудрие). «Злосекс» покрывал все нарушения в этой области. Им обозначались блуд, прелюбодеяние, гомосексуализм и другие извращения, а кроме того, нормальное совокупление, рассматриваемое как самоцель. Не было нужды называть их по отдельности, все были преступлениями и в принципе карались смертью. В словаре С, состоявшем из научных и технических слов, для некоторых сексуальных отклонений могли понадобиться отдельные термины, но рядовой гражданин в них не нуждался. Он знал, что такое «добросекс», то есть нормальное сожительство мужчины и женщины с целью зачатия и без физического удовольствия для женщины. Все остальное — «злосекс». Новояз почти не давал возможности проследить

за вредной мыслью дальше того пункта, что она вредна; дальше не было нужных слов.

В словаре В не было ни одного идеологически нейтрального слова. Многие являлись эвфемизмами. Такие слова, например, как «радлаг» (лагерь радости, т. е. каторжный лагерь) или «минимир» (министерство мира, то есть министерство войны), обозначали нечто противоположное тому, что они говорили. Другие слова, напротив, демонстрировали откровенное и презрительное понимание подлинной природы строя, например «нарпит», означавший низкосортные развлечения и лживые новости, которые партия скармливала массам. Были и двусмысленные слова — с «хорошим» оттенком, когда их применяли к партии, и с «плохим», когда их применяли к врагам. Кроме того, существовало множество слов, которые на первый взгляд казались просто сокращениями,— идеологическую окраску им придавало не значение, а их структура.

Настолько, насколько позволяла человеческая изобретательность, все, что имело или могло иметь политический смысл, было сведено в словарь В. Названия всех организаций, групп, доктрин, стран, институтов, общественных зданий кроились по привычной схеме: одно удобопроизносимое слово с наименьшим числом слогов, позволяющим понять его происхождение. В министерстве правды отдел документации, где работал Уинстон Смит, назывался доко, отдел литературы — лито, отдел телепрограмм — телео и т. д. Делалось это не только для экономии времени. Слова-цепи стали одной из характерных особенностей политического языка еще в первой четверти XX века; особенная тяга к таким сокращениям была отмечена в тоталитарных странах и тоталитарных организациях. Примерами могут служить такие слова, как «наци», «гестапо», «коминтерн», «агитпроп». Сначала к этому методу прибегали, так сказать, инстинктивно, в новоязе же он практиковался с осознанной целью. Стало ясно, что, сократив таким образом имя, ты сузил и незаметно изменил его смысл, ибо отрезал большинство вызываемых им ассоциаций. Слова «Коммунистический Интернационал» приводят на ум сложную картину: всемирное человеческое братство, красные флаги, баррикады, Карл Маркс, Парижская коммуна. Слово же «Коминтерн» напоминает всего лишь о крепко спаянной организации и жесткой системе доктрин. Оно относится к предмету столь же ограниченному в своем назначении, как стол или стул. «Коминтерн» — это слово, которое можно произнести, почти не размышляя, в то время как «Коммунистический Интернационал» заставляет пусть на миг, но задуматься. Подобным же образом «миниправ» вызывает гораздо меньше ассоциаций (и их легче предусмотреть), чем «министерство правды». Этим объяснялось не только стремление сокращать все, что можно, но и на первый взгляд преувеличенная забота о том, чтобы слово легко было выговорить.

Благозвучие перевешивало все остальные соображения, кроме ясности смысла. Когда надо было, регулярность грамматики

неизменно приносилась ему в жертву. И справедливо — ибо для политических целей прежде всего требовались четкие стриженые слова, которые имели ясный смысл, произносились быстро и рождали минимальное количество отзвуков в сознании слушателя. А от того, что все они были скроены на один лад, слова В только прибавляли в весе. Многие из них — ангсоц, злосекс, радлаг, нарпит, старомысл, мыслепол (полиция мыслей) — были двух- и трехсложными, причем ударения падали и на первый и на последний слог. Они побуждали человека тараторить, речь его становилась отрывистой и монотонной. Это как раз и требовалось. Задача состояла в том, чтобы сделать речь — в особенности такую, которая касалась идеологических тем,— по возможности независимой от сознания. В повседневной жизни, разумеется, необходимо — по крайней мере иногда необходимо — подумать, перед тем как заговоришь; партиец же, которому предстояло высказаться по политическому или этическому вопросу, должен был выпускать правильные суждения автоматически, как выпускает очередь пулемет. Обучением он подготовлен к этому, новояз — его орудие — предохранит его от ошибок, фактура слов с их жестким звучанием и преднамеренным уродством, отвечающим духу ангсоца, еще больше облегчит ему дело.

Облегчалось оно еще и тем, что выбор слов был крайне скудный. По сравнению с нашим языком лексикон новояза был ничтожен, и все время изобретались новые способы его сокращения. От других языков новояз отличался тем, что словарь его с каждым годом не увеличивался, а уменьшался. Каждое сокращение было успехом, ибо, чем меньше выбор слов, тем меньше искушение задуматься. Предполагалось, что в конце концов членораздельная речь будет рождаться непосредственно в гортани, без участия высших нервных центров. На эту цель прямо указывало новоязовское слово «речекряк», то есть «крякающий по-утиному». Как и некоторые другие слова В, «речекряк» имел двойственное значение. Если крякали в ортодоксальном смысле, это слово было не чем иным, как похвалой, и, когда «Таймс» писала об одном из партийных ораторов: «идейно крепкий речекряк»,— это был весьма теплый и лестный отзыв.

Словарь С был вспомогательным и состоял исключительно из научных и технических терминов. Они напоминали сегодняшние термины, строились на тех же корнях, но, как и в остальных случаях, были определены строже и очищены от нежелательных значений. Они подчинялись тем же грамматическим правилам, что и остальные слова. Лишь немногие из них имели хождение в бытовой речи и в политической речи. Любое нужное слово научный или инженерный работник мог найти в особом списке, куда были включены слова, встречающиеся в других списках. Слов, общих для всех списков, было очень мало, а таких, которые обозначали бы науку как область

сознания и метод мышления независимо от конкретного ее раздела, не существовало вовсе. Не было и самого слова «наука»: все допустимые его значения вполне покрывало слово «ангсоц».

Из вышесказанного явствует, что выразить неортодоксальное мнение сколько-нибудь общего порядка новояз практически не позволял. Еретическое высказывание, разумеется, было возможно — но лишь самое примитивное, в таком, примерно, роде, как богохульство. Можно было, например, сказать: «Старший Брат плохой». Но это высказывание, очевидно нелепое для ортодокса, нельзя было подтвердить никакими доводами, ибо отсутствовали нужные слова. Идеи, враждебные ангсоцу, могли посетить сознание лишь в смутном, бессловесном виде, и обозначить их можно было не по отдельности, а только общим термином, разные ереси свалив в одну кучу и заклеймив совокупно. В сущности, использовать новояз для неортодоксальных целей можно было не иначе, как с помощью преступного перевода некоторых слов обратно на старояз. Например, новояз позволял сказать: «Все люди равны»,— но лишь в том смысле, в каком старояз позволял сказать: «Все люди рыжие». Фраза не содержала грамматических ошибок, но утверждала явную неправду, а именно что все люди равны по росту, весу и силе. Понятие гражданского равенства больше не существовало, и это второе значение слова «равный», разумеется, отмерло. В 1984 году, когда старояз еще был обычным средством общения, теоретически существовала опасность того, что, употребляя новоязовские слова, человек может вспомнить их первоначальные значения. На практике любому воспитанному в двоемыслии избежать этого было нетрудно, а через поколение-другое должна была исчезнуть даже возможность такой ошибки. Человеку, с рождения не знавшему другого языка, кроме новояза, в голову не могло прийти, что «равенство» когда-то имело второй смысл — «гражданское равенство», а свобода когда-то означала «свободу мысли», точно так же как человек, в жизни своей не слыхавший о шахматах, не подозревал бы о другом значении слов «слон» и «конь». Он был бы не в силах совершить многие преступления и ошибки — просто потому, что они безымянны, а следовательно, немыслимы. Ожидалось, что со временем отличительные особенности новояза будут проявляться все отчетливей и отчетливей — все меньше и меньше будет оставаться слов, все у́же и у́же становиться их значение, все меньше и меньше будет возможностей употребить их не должным образом.

Когда старояз окончательно отомрет, порвется последняя связь с прошлым. История уже была переписана, но фрагменты старой литературы, не вполне подчищенные, там и сям сохранились, и, покуда люди помнили старояз, их можно было прочесть. В будущем такие фрагменты, если бы даже они сохранились, стали бы непонятны и непереводимы. Перевести текст со старояза на новояз было невозможно, если только он не описывал какой-либо технический процесс или простейшее

бытовое действие или не был в оригинале идейно выдержанным (выражаясь на новоязе — благомысленным). Практически это означало, что ни одна книга, написанная до 1960 года, не может быть переведена целиком. Дореволюционную литературу можно было подвергнуть только идеологическому переводу, то есть с заменой не только языка, но и смысла. Возьмем, например, хорошо известный отрывок из Декларации Независимости.

«Мы полагаем самоочевидными следующие истины: все люди сотворены равными, всех их создатель наделил определенными неотъемлемыми правами, к числу которых принадлежат жизнь, свобода и стремление к счастью. Дабы обеспечить эти права, учреждены среди людей правительства, берущие на себя справедливую власть с согласия подданных. Всякий раз, когда какая-либо форма правления становится губительной для этих целей, народ имеет право изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство...»

Перевести это на новояз с сохранением смысла нет никакой возможности. Самое большее, что тут можно сделать,— это вогнать весь отрывок в одно слово: мыслепреступление. Полным переводом мог стать бы только идеологический перевод, в котором слова Джефферсона превратились бы в панегирик абсолютной власти.

Именно таким образом и переделывалась, кстати, значительная часть литературы прошлого. Из престижных соображений было желательно сохранить память о некоторых исторических лицах, в то же время приведя их труды в согласие с учением ангсоца. Уже шла работа над переводом таких писателей, как Шекспир, Мильтон, Свифт, Байрон, Диккенс, и некоторых других; по завершении этих работ первоначальные тексты, а также все остальное, что сохранилось от литературы прошлого, предстояло уничтожить. Эти переводы были делом трудным и кропотливым; ожидалось, что завершатся они не раньше первого или второго десятилетия XXI века. Существовало, кроме того, множество чисто утилитарных текстов — технических руководств и т. п.,— их надо было подвергнуть такой же переработке. Окончательный переход на новояз был отложен до 2050 года именно с той целью, чтобы оставить время для предварительных работ по переводу.

Ида Мейбл Блэйр,
мать писателя. 1897

Родители — Ида Мейбл и Ричард Уолмсли Блэйр с детьми Марджори и Эриком.

Эрик Блэйр — Джордж Оруэлл в студенческие годы

Полицейская школа в Бирме (Джордж Оруэлл — третий слева во втором ряду. 1923)

Школьный учитель. 1933

Барселона, 1937 (крайний слева — Джордж Оруэлл)

Встреча ветеранов Гражданской войны в Испании. 1937

NATIONAL UNION OF JOURNALISTS

7 John Street, Bedford Row, London, W.C.1

'Phone : HOLborn 2258 | Telegrams : Natujay Holb, London

This is to certify that

Mr. GEORGE ORWELL

of The Tribune

is a member of the T. + P.
Branch of the National Union of Journalists.

Leslie R. Alrons *Branch Sec.*

(Address) 66, Priory Gdns., N.6.

Member's Sig.

Членский билет Союза журналистов Англии. 1943

Восточная редакция Би-би-си (сидит третий слева — Т. С. Элиот, над ним склонился Дж. Оруэлл. Третий справа сидит индийский писатель Мулк Радж Ананд)

На Би-би-си в годы войны

Эпизод сельской жизни. 1939

С сыном Ричардом. 1945

2.6.39. Very hot, very dry, a good deal of wind. Young seedlings tending to droop. Titley has peonies, columbines full out. Honeysuckle also full out. A sweet william here & there beginning to open. Apples on the grenadier about the size of marbles. Ditto T's cherries.
Stacked up some dried nettles etc. for litter. Set 10 duck eggs. Prepared ground for lettuces. Moved chicks.
M's milk has gone right back as a result of the upset. Less than a pint yesterday.
15 eggs. Weighed some eggs & found that only a very few are under 2 oz.
M. gave about 1½ pts., so perhaps is going back to normal.
3.6.39. Very hot & dry. Planted 1 score of T's lettuces & about a dozen (smaller) of our own. Protected with sacking, as with the tomatoes. E. planted 7 dahlias.
The hen had pushed away 4 of the duck eggs, which had become quite cold. Put in another hen, removing one egg. Not certain whether this will have killed these eggs (which had been set on 24 hours.)
12 eggs. Sold 40 at 2/- a score. Total this week 98 (+ 7 = 105)

Страница дневника

В часы досуга. 1945

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Я родился в 1903 году в Матихари, в Бенгалии, вторым ребенком англо-индийской семьи. Учился в Итоне в 1917—1921 годах и был столь удачлив, что получал стипендию, хотя занимался очень мало и мало чему обучился. Не думаю, чтобы Итон оказал решающее влияние на мою судьбу.

С 1922 по 1927 год я служил в индийской Имперской полиции в Бирме. Я оставил службу отчасти из-за климата, разрушившего мое здоровье, отчасти из-за того, что уже тогда у меня было смутное сознание писательского призвания, но больше всего потому, что я больше не мог служить империализму, грабительский характер которого я осознал. Вернувшись в Европу, я около полутора лет жил в Париже, писал романы и короткие рассказы, которые никто не хотел издавать. Когда мои сбережения кончились, я несколько лет жил в крайне суровой бедности, сменив среди других профессии судомойки, репетитора и учителя бедной частной школы. Около года я был помощником продавца в лондонском книжном магазине — работа, интересная сама по себе, но понуждавшая меня жить в Лондоне, чего я терпеть не могу. Но с 1935 года я получил возможность жить на гонорары; в конце этого года я переехал в деревню и открыл небольшой магазинчик. Он едва окупал себя, но дал мне торговый опыт, который может пригодиться, если я захочу опять предпринять что-либо в этом направлении. Летом 1936 года я женился; в конце этого же года я уехал в Испанию, чтобы принять участие в гражданской войне; моя жена вскоре последовала за мной. Я пробыл четыре месяца на Арагонском фронте в составе ополчения ПОУМ и был тяжко ранен, к счастью, без серьезных последствий. С этого времени, по совести говоря, я не делал ничего, кроме писания книг и выращивания цыплят и овощей (исключая одну зиму, прожитую мной в Марокко).

То, что я видел в Испании и позже во внутренней жизни левых политических партий, вселило в меня отвращение к политике. Я был одно время членом Независимой лейбористской партии, но вышел из нее в начале этой войны, поскольку пришел к выводу, что ее позиция абсурдна и только облегчит дело Гитлеру. По чувствам своим я определенно «левый», но убежден, что писатель может сохранить честность, только будучи свободен от партийных лозунгов.

Писатели, которыми я никогда не устаю восхищаться: Шекспир, Свифт, Филдинг, Диккенс, Чарльз Рид, Сэмюэль Батлер, Золя, Флобер; из современников — Джеймс Джойс, Т. С. Элиот и Д. Лоуренс. Но я думаю, что наибольшее влияние из современников на меня оказал Сомерсет Моэм; его искусством прямого, без вычурностей повествования я восхищаюсь. Кроме писательства, я больше всего люблю огородничество. Мне нравится английская кухня и английское пиво, французские красные вина, испанские белые вина, индийский чай, крепкий табак, камины, свечи и уютные кресла. Я не люблю большие города, шум, автомобили, радио, консервы, центральное отопление и «современную» мебель. Вкусы моей жены почти полностью совпадают с моими. У меня никудышное здоровье, но оно никогда не мешало мне делать то, что хочу, исключая только участие в идущей сейчас войне. Я должен добавить, что, хотя все здесь написанное — правда, Джордж Оруэлл — не мое настоящее имя.

Сейчас я не работаю над романом в основном из-за обстоятельств, связанных с войной. Но я обдумываю большой роман в трех частях, который будет называться либо «Лев и Единорог», либо «Живые и мертвые», и я надеюсь закончить первую часть, видимо, в 1941 году.

Публикации: «Собачья жизнь в Париже и Лондоне» (Down and Out in Paris and London, 1933); «Дни в Бирме» (Burmese Days, опубликован в Америке; до этого — в несколько измененном виде — в Англии в 1934 году); «Дочь священника» (A Clergyman's Daughter, 1935); «Пусть цветет аспидистра» (Keep the Aspidistra Flying, 1936); «Дорога на Уиган-Пирс» (The Road to Wigan Pier, 1937); «Памяти Каталонии» (Homage to Catalonia, 1939); «За глотком свежего воздуха» (Coming up for Air, 1939); «Во чреве кита» (Inside the Whale, 1940).

УБИЙСТВО СЛОНА

В Моульмейне, Нижняя Бирма, меня ненавидели многие — единственный раз в жизни я оказался настолько значительной персоной, чтобы такое могло случиться. Я служил полицейским офицером в маленьком городке, где ненависть к европейцам была очень сильна, хотя и отличалась какой-то бессмысленной мелочностью. Никто не отваживался на бунт, но, если европейская женщина одна ходила по базару, кто-нибудь обычно оплевывал ее платье бетельной жвачкой. В качестве офицера полиции я представлял очевидный объект подобных чувств, и меня

задирали всякий раз, когда это казалось безопасным. Когда ловкий бирманец сбивал меня с ног на футбольном поле, а судья (тоже бирманец) смотрел в другую сторону, толпа разражалась отвратительным хохотом. Такое случалось не раз. Насмешливые желтые лица молодых людей смотрели на меня отовсюду, ругательства летели мне вслед с безопасной дистанции, и в конце концов все это стало действовать мне на нервы. Хуже других были юные буддийские монахи. В городе их было несколько тысяч, и создавалось впечатление, что у них не существовало иного занятия, как стоять на перекрестках и насмехаться над европейцами.

Все это озадачивало и раздражало. Дело в том, что уже тогда я пришел к выводу, что империализм — это зло и, чем скорее я распрощаюсь со своей службой и уеду, тем будет лучше. Теоретически — и, разумеется, втайне — я был всецело на стороне бирманцев и против их угнетателей, британцев. Что касается работы, которую я выполнял, то я ненавидел ее сильнее, чем это можно выразить словами. На такой службе грязное дело Империи видишь с близкого расстояния. Несчастные заключенные, набитые в зловонные клетки тюрем, серые, запуганные лица приговоренных на долгие сроки, покрытые шрамами ягодицы людей после наказаний бамбуковыми палками — все это переполняло меня невыносимым, гнетущим чувством вины. Однако мне нелегко было разобраться в происходящем. Я был молод, малообразован, и над своими проблемами мне приходилось размышлять в отчаянном одиночестве, на которое обречен каждый англичанин, живущий на Востоке. Я даже не отдавал себе отчета в том, что Британская империя близится к краху, и еще меньше понимал, что она гораздо лучше молодых империй, идущих ей на смену. Я знал лишь, что мне приходится жить, разрываясь между ненавистью к Империи, которой я служил, и возмущением теми злокозненными тварями, которые старались сделать невозможной мою работу. Одна часть моего сознания полагала, что British Raj[1] — незыблемая тирания, тиски, сдавившие saecula saeculorum[2] волю порабощенных народов; другая же часть внушала, что нет большей радости на свете, чем всадить штык в пузо буддийского монаха. Подобные чувства — нормальные побочные продукты империализма; спросите любого чиновника англо-индийской службы, если вам удастся застать его врасплох.

Однажды случилось событие, которое неким окольным путем способствовало моему просвещению. Сам по себе то был незначительный инцидент, но он открыл мне с гораздо большей ясностью, чем все прочее, истинную природу империализма — истинные мотивы действия деспотических правительств. Ранним утром мне позвонил полицейский инспектор участка в другом конце города и сказал, что слон бесчинствует на базаре. Не буду ли я столь любезен, чтобы пойти туда и что-нибудь

[1] Британское колониальное правление *(хинди)*.
[2] На веки вечные *(лат.)*.

предпринять? Я не знал, что́ я могу сделать, но хотел посмотреть, что происходит, сел верхом на пони и двинулся в путь. Я захватил ружье, старый винчестер 44-го калибра, слишком мелкого для слона, но я полагал, что шум выстрела будет нелишним in terrorem[1]. Бирманцы останавливали меня по дороге и рассказывали о деяниях слона. Конечно, это был не дикий слон, а домашний, у которого настал «период охоты». Он был на цепи, всех домашних слонов сажают на цепь, когда приближается этот период, но ночью он сорвал цепь и убежал. Его махаут[2], единственный, кто мог с ним совладать в таком состоянии, погнался за ним, но взял не то направление и теперь находится в двенадцати часах пути отсюда; утром же слон внезапно снова появился в городе. У бирманского населения не было оружия, и оно оказалось совершенно беспомощным. Слон уже раздавил чью-то бамбуковую хижину, убил корову, набросился на лоток с фруктами и все сожрал; кроме того, он встретил муниципальную повозку с мусором и, когда возница пустился наутек, опрокинул ее и злобно растоптал.

Бирманец-инспектор и несколько констеблей-индийцев ждали меня в том месте, где видели слона. Это был бедный квартал, лабиринт жалких бамбуковых хижин, крытых пальмовыми листьями и полого взбегающих по склону горы. Помню, стояло облачное, душное утро в начале сезона дождей. Мы начали опрашивать людей, пытаясь выяснить, куда двинулся слон, и, как всегда в таких случаях, не получили четкой информации. На Востоке так бывает всегда; история издали кажется вполне ясной, но, чем ближе вы подбираетесь к месту событий, тем более смутной она становится. Одни говорили, что он двинулся в одном направлении, другие — в другом, а некоторые уверяли, что ни о каком слоне вообще не слышали. Я уже почти уверился, что вся эта история — сплошная выдумка, когда мы услышали крики неподалеку. Кто-то громко кричал: «Дети, марш отсюда! Уходите сию минуту» — и старая женщина с хлыстом в руке выбежала из-за угла хижины, прогоняя стайку голопузых детишек. За ней высыпали еще женщины, они визжали и кричали; очевидно, было нечто такое, чего дети не должны видеть. Я обошел хижину и увидел на земле мертвого. Индиец с юга, темнокожий кули, почти нагой, умерший совсем недавно. Люди рассказали, что на него из-за угла хижины внезапно напал слон, схватил его своим хоботом, наступил ему на спину и вдавил в землю. Стоял сезон дождей, земля размякла, и его лицо прорыло канаву в фут глубиной и в несколько ярдов длиной. Он лежал на животе, разбросав руки, откинув набок голову. Лицо его покрывала глина, глаза были широко открыты, зубы оскалены в ужасной агонии. (Кстати, никогда не говорите мне, что мертвые выглядят умиротворенно. Большинство мертвых, которых я видел, имели ужасный вид). Ступня громадного живот-

[1] Для устрашения *(лат.)*.
[2] Погонщик слонов *(хинди)*.

него содрала кожу с его спины, ну, точно шкурку с кролика. Как только я увидел погибшего, я послал ординарца в дом моего друга, жившего неподалеку, за ружьем для охоты на слонов. Я также избавился от пони, чтобы бедное животное не обезумело от страха и не сбросило меня на землю, почуяв слона.

Ординарец появился через несколько минут, неся ружье и пять патронов, а тем временем подошли бирманцы и сказали, что слон в рисовых полях неподалеку, в нескольких сотнях ярдов отсюда. Когда я зашагал в том направлении, наверное, все жители высыпали из домов и двинулись за мною следом. Они увидели ружье и возбужденно кричали, что я собираюсь убить слона. Они не проявляли особого интереса к слону, когда он крушил их дома, но теперь, когда его собирались убить, все стало иначе. Для них это служило развлечением, как это было бы и для английской толпы; кроме того, они рассчитывали на мясо. Все это выводило меня из себя. Мне не хотелось убивать слона — я послал за ружьем прежде всего для самозащиты,— да к тому же, когда за вами следует толпа, это действует на нервы. Я спустился по склону горы и выглядел, да и чувствовал, себя идиотом: с ружьем за плечом и все прибывающей толпой, едва не наступающей мне на пятки. Внизу, когда хижины остались позади, была щебеночная дорога, а за ней топкие рисовые поля, еще не вспаханные, но вязкие от первых дождей и поросшие кое-где жесткой травой. Слон стоял ярдах в восьми от дороги, повернувшись к нам левым боком. Он не обратил на приближающуюся толпу ни малейшего внимания. Он выдирал траву пучками, ударял ее о колено, чтобы отряхнуть землю, и отправлял себе в пасть.

Я остановился на дороге. Увидев слона, я совершенно четко осознал, что мне не надо его убивать. Застрелить рабочего слона — дело серьезное; это все равно что разрушить громадную, дорогостоящую машину, и, конечно, этого не следует делать без крайней необходимости. На расстоянии слон, мирно жевавший траву, выглядел не опаснее коровы. Я подумал тогда и думаю теперь, что его позыв к охоте уже проходил; он будет бродить, не причиняя никому вреда, пока не вернется махаут и не поймает его. Да и не хотел я его убивать. Я решил, что буду следить за ним некоторое время, дабы убедиться, что он снова не обезумел, а потом отправлюсь домой.

Но в этот момент я оглянулся и посмотрел на толпу, шедшую за мной. Толпа была громадная, как минимум две тысячи человек, и все прибывала. Она запрудила дорогу на большом расстоянии в обе стороны. Я смотрел на море желтых лиц над яркими одеждами — лиц счастливых, возбужденных потехой, уверенных, что слон будет убит. Они следили за мной, как за фокусником, который должен показать им фокус. Они меня не любили, но с ружьем в руках я удостоился их пристального внимания. И вдруг я понял, что мне все-таки придется убить слона. От меня этого ждали, и я был обязан это сделать; я чувствовал, как две тысячи воль неудержимо подталкивают меня вперед. И в этот момент, когда я стоял с ружьем в руках, я впер-

9—193

вые осознал всю тщету и бессмысленность правления белого человека на Востоке. Вот я, белый с ружьем, стою перед безоружной толпой туземцев — вроде бы главное действующее лицо драмы, но в действительности я был не более чем глупой марионеткой, которой управляет так и сяк воля желтых лиц за моей спиной. Я понял тогда, что, когда белый человек становится тираном, он уничтожает свою свободу. Он превращается в пустую, податливую куклу, условную фигуру сахиба. Потому что условием его правления становится необходимость жить, производя впечатление на «туземцев», и в каждой кризисной ситуации он должен делать то, чего ждут от него «туземцы». Он носит маску, и лицо его обживает эту маску. Я должен был убить слона. Я обрек себя на это, послав за ружьем. Сахиб обязан действовать как подобает сахибу, он должен выглядеть решительным, во всем отдавать себе отчет и действовать определенным образом. Пройдя весь этот путь с ружьем в руке, преследуемый двухтысячной толпой, я не мог смалодушничать, ничего не сделать — нет, такое немыслимо. Толпа поднимет меня на смех. А ведь вся моя жизнь, вся жизнь любого белого на Востоке представляет собой нескончаемую борьбу с одной целью — не стать посмешищем.

Но я не хотел убивать слона. Я смотрел, как он бьет пучками травы по колену, и была в нем какая-то добродушная сосредоточенность, так свойственная слонам. Мне подумалось, что застрелить его — настоящее преступление. В том возрасте я не испытывал угрызений совести от убийства животных, но я никогда не убивал слона и не хотел этого делать. (Почему-то всегда труднее убивать крупное животное). Кроме того, надо было считаться с владельцем слона. Слон стоил добрую сотню фунтов; мертвый, он будет стоить лишь столько, сколько стоят его бивни,— фунтов пять, не больше. Но действовать надо быстро. Я обратился к нескольким многоопытным с виду бирманцам, которые были на месте, когда мы туда явились, спросил, как ведет себя слон. Все они сказали одно и то же: он не обращает ни на кого внимания, если его оставляют в покое, но может стать опасным, если подойти близко.

Мне было совершенно ясно, что́ я должен делать. Я должен приблизиться к слону ярдов этак на двадцать пять и посмотреть, как он отреагирует. Если он проявит агрессивность, мне придется стрелять, если не обратит на меня внимания, то вполне можно дожидаться возвращения махаута. И все же я знал, что этому не бывать. Я был неважный стрелок, а земля под ногами представляла вязкую жижу, в которой будешь увязать при каждом шаге. Если слон бросится на меня и я промахнусь, у меня останется столько же шансов, как у жабы под паровым катком. Но даже тогда я думал не столько о собственной шкуре, сколько о следящих за мною желтых лицах. Потому что в тот момент, чувствуя на себе глаза толпы, я не испытывал страха в обычном смысле этого слова, как если бы был один. Белый человек не должен испытывать страха на глазах «туземцев», поэтому он в общем и целом бесстрашен. Единственная мысль крути-

лась в моем сознании: если что-нибудь выйдет не так, эти две тысячи бирманцев увидят меня удирающим, сбитым с ног, растоптанным, как тот оскаленный труп индийца на горе, с которой мы спустились. И если такое случится, то, не исключено, кое-кто из них станет смеяться. Этого не должно произойти. Есть лишь одна альтернатива. Я вложил патрон в магазин и лег на дороге, чтобы получше прицелиться.

Толпа замерла, и глубокий, низкий, счастливый вздох людей, дождавшихся наконец минуты, когда поднимается занавес, вырвался из бесчисленных глоток. Они дождались-таки своего развлечения. У меня в руках было отличное немецкое ружье с оптическим прицелом. Тогда я не знал, что, стреляя в слона, надо целиться в воображаемую линию, идущую от одной ушной впадины к другой. Я должен был поэтому — слон ведь стоял боком — целиться ему прямо в ухо; фактически я целился на несколько дюймов в сторону, полагая, что мозг находится чуть впереди.

Когда я спустил курок, я не услышал выстрела и не ощутил отдачи — так бывает всегда, когда попадаешь в цель,— но услышал дьявольский радостный рев, исторгнутый толпой. И в то же мгновение, чересчур короткое, если вдуматься, даже для того, чтобы пуля достигла цели, со слоном произошла страшная, загадочная метаморфоза. Он не пошевелился и не упал, но каждая линия его тела вдруг стала не такой, какой была прежде. Он вдруг начал выглядеть каким-то прибитым, сморщившимся, невероятно постаревшим, словно чудовищный контакт с пулей парализовал его, хотя и не сбил наземь. Наконец — казалось, что прошло долгое время, а минуло секунд пять, не больше,— он обмяк и рухнул на колени. Из его рта текла слюна. Ужасающая дряхлость овладела всем его телом. Казалось, что ему много тысяч лет. Я выстрелил снова, в то же место. Он не упал и от второго выстрела, с невыразимой медлительностью встал на ноги и с трудом распрямился; ноги его подкашивались, голова падала. Я выстрелил в третий раз. Этот выстрел его доконал. Было видно, как агония сотрясла его тело и выбила последние силы из ног. Но и падая, он, казалось, попытался на мгновение подняться, потому что, когда подкосились задние ноги, он как будто стал возвышаться, точно скала, а его хобот взметнулся вверх, как дерево. Он издал трубный глас, в первый и единственный раз. И затем рухнул, животом в мою сторону, с грохотом, который, казалось, поколебал землю даже там, где лежал я.

Я встал. Бирманцы уже бежали мимо меня по вязкому месиву. Было очевидно, что слон больше не поднимется, хотя он не был мертв. Он дышал очень ритмично, затяжными, хлюпающими вздохами, и его громадный бок болезненно вздымался и опадал. Пасть была широко открыта — мне была видна бледно-розовая впадина его глотки. Я ждал, когда он умрет, но дыхание его не ослабевало. Тогда я выстрелил двумя остающимися патронами в то место, где, по моим расчетам, находилось его сердце. Густая кровь, похожая на алый бархат, хлынула из него, и снова он не умер. Тело его даже не вздрогнуло от

выстрелов, и мучительное дыхание не прервалось. Он умирал в медленной и мучительной агонии и пребывал где-то в мире, настолько от меня отдаленном, что никакая пуля не могла уже причинить ему вреда. Я понимал, что мне следует положить этому конец. Ужасно было видеть громадное лежащее животное, бессильное шевельнуться, но и не имеющее сил умереть, и не уметь его прикончить. Я послал за моим малым ружьем и стрелял в его сердце и в глотку без счета. Все казалось без толку. Мучительные вздохи следовали друг за другом с постоянством хода часов.

Наконец я не выдержал и ушел прочь. Потом мне рассказали, что он умирал еще полчаса. Бирманцы принесли ножи и корзины, пока я был на месте; мне рассказали, что они разделали тушу до костей к полудню.

Потом, конечно, были нескончаемые разговоры об убийстве слона. Владелец был вне себя от гнева, но то был всего лишь индиец и он ничего не мог поделать. Кроме того, я с точки зрения закона поступил правильно, так как бешеных слонов следует убивать, как бешеных собак, тем более если владельцы не могут за ними уследить. Среди европейцев мнения разделились. Пожилые считали, что я прав, молодые говорили, что позорно убивать слона, растоптавшего какого-то кули, потому что слон дороже любого дрянного кули. В конце концов я был очень рад, что погиб кули: с юридической точки зрения это давало мне достаточный повод для убийства слона. Я часто спрашивал себя, догадался ли кто-нибудь, что я сделал это исключительно ради того, чтобы не выглядеть дураком.

1936

ВОСПОМИНАНИЯ КНИГОТОРГОВЦА

Когда я работал в букинистическом магазине (том самом, что со стороны представляется маленьким раем, где обаятельный старый джентльмен вечно роется в кожаных фолиантах), меня больше всего поражало, как мало настоящих любителей книги. В нашем магазине были очень интересные фонды, но едва ли десять процентов наших покупателей отличали хорошую книгу от плохой. Снобы, гоняющиеся за первыми изданиями, попадались гораздо чаще, чем любители литературы; много было восточных студентов, прицениваюшихся к дешевым хрестоматиям, но больше всего — растерянных женщин, ищущих подарки ко дню рождения племянников.

Большинство наших посетителей были из тех, что досаждают везде; но книжные магазины для них особенно привлекательны. Например, славная старая леди, которой «нужна книга для инвалида» (кстати, очень распространенная просьба), или другая почтенная леди, которая прочитала «такую замечательную книгу» в 1897 году и спрашивает, не можем ли мы ее достать. К несчастью, она не помнит ни названия, ни автора, ни содержания, но вспоминает, что у книги был красный переплет.

Есть еще два хорошо известных типа людей, тиранящих каждый букинистический магазин. Один — опустившийся старик, пахнущий заплесневелыми сухарями, который приходит ежедневно, порой по несколько раз в день и пытается продать вам никому не нужные книги. Другой заказывает огромное количество книг, за которые не имеет ни малейшего намерения платить. В нашем магазине ничего не продавалось в кредит, но мы могли откладывать книги или заказывать их для людей, которые обязывались их вернуть. Почти половина тех, кто заказывал у нас книги, никогда за ними не приходила. Сначала это поражало меня. Зачем они это делали? Они приходили, заказывали редкие, дорогие книги, напоминали нам о них несколько раз и потом исчезали навсегда. Многие из них, конечно, были чистыми параноиками. Они говорили о себе в выспреннем тоне и рассказывали самые трогательные истории о том, как они вышли из дому без денег,— истории, в которые они, по-моему, верили сами. В таких городах, как Лондон, всегда много полусумасшедших, слоняющихся по улицам; их словно притягивает к книжным магазинам — одному из немногих мест, где можно долго пробыть бесплатно. Со временем научаешься узнавать таких людей с первого взгляда. За их выспренними речами проглядывает что-то убогое и растерянное. Очень часто, когда приходил очевидный параноик, мы убирали с полок книги, которые он требовал, и ставили их на место, когда он уходил. Я заметил, что никто из них не пытался унести книги не заплатив; им достаточно было заказать, чтобы почувствовать себя платежеспособными людьми.

Как и большинство букинистических магазинов, мы делали разную побочную работу. Мы продавали подержанные пишущие машинки или, например, марки — я имею в виду использованные марки. Собиратели марок — это странное, молчаливое племя всех возрастов, но только мужского пола: очевидно, женщины не видят особой прелести в заполнении альбомов клейкими кусочками разноцветной бумаги. Мы продавали также шестипенсовые гороскопы, составленные неким субъектом, который уверял, что ему удалось предсказать землетрясение в Японии. Они были в запечатанных конвертах, ни один из них я ни разу не распечатал. Покупатели часто рассказывали, какими «правильными» оказались их гороскопы (разумеется, гороскоп «прав», если он говорит, что вы очень привлекательны для противоположного пола, а главный ваш недостаток — щедрость). Мы делали хороший бизнес на детских книгах, особенно на «распродажах». Современные детские книги ужасны, особенно в массе. Лично я скорее дал бы ребенку Петрония Арбитра, чем «Питера Пэна», но даже Барри кажется мужественным и цельным по сравнению с его позднейшими имитаторами. Под рождество мы проводили десять лихорадочных дней, рассылая рождественские открытки и календари — это дело утомительное, но в конечном счете прибыльное. Это дало мне возможность познакомиться с грубым цинизмом, с которым эксплуатировались христианские чувства. Фирмы, произ-

водящие рождественские открытки, присылали нам свои каталоги еще в июне. В моей памяти застряла одна строчка из накладной квитанции: «Две дюжины Иисуса-младенца с кроликами».

Но главным нашим побочным промыслом была библиотека — обычная библиотека, из тех, что «ни пенни в залог», в пять-шесть сотен томов исключительно художественной литературы. К таким библиотекам неравнодушны книжные воры. Нет ничего проще, как украсть в одной библиотеке книгу за два пенса и, стерев цену, продать ее в другой за шиллинг. Тем не менее книжные продавцы считают, что выгоднее лишиться части книг (у нас уносили около дюжины в месяц), чем отпугнуть клиентов требованием залога.

Наш магазин был расположен на границе Хэмпстэда и Кэмден-тауна и посещался кем угодно: от баронетов до автобусных кондукторов. Читатели нашей библиотеки, возможно, были срезом читающей публики Лондона. Поэтому небезынтересно, кто был самым «востребуемым» автором нашей библиотеки. Пристли? Хемингуэй? Уолпол? Уодхауз? Нет! Этель М. Делл — на первом, Уорвик Дипинг — на втором и Джеффри Фарнол на третьем месте. Романы Делл читали, конечно, только женщины, но женщины всех типов и возрастов, а не только тоскующие старые девы и толстые вдовы табачных киоскеров, как принято считать. Неверно, что мужчины вообще не читают романов, но есть тип романа, который они избегают. Так называемый *средний* роман — то есть обычный, плохо-хороший, разбавленный Голсуорси, ставший нормой английского романа,— кажется, существует только для женщин. Мужчины читают или солидные романы, или детективы. Но потребляют они детективы в чудовищном количестве. Один из наших читателей поглощал четыре-пять детективов в неделю в течение года только в нашей библиотеке (он брал их и в другой!). Больше всего меня удивляло, что он никогда не перечитывал книг. Весь этот внушительный поток макулатуры (прочитанные им за год страницы, я думаю, могли покрыть собой три четверти акра) навсегда оседал в его памяти. Не запоминая ни названий, ни авторов, он, едва взглянув на книгу, определял, прочитана ли она.

В библиотеке вы познаете реальные вкусы людей, а не их вкусовые претензии и удивляетесь полному забвению классических английских романистов. Совершенно бесполезно держать в обыкновенной библиотеке Диккенса, Теккерея, Джейн Остин, Троллопа и т. п.— их никто не возьмет. Едва открыв роман девятнадцатого века, люди говорят: «О, это *старье!*» — и немедленно закрывают его. Однако *продать* Диккенса и Шекспира почти всегда нетрудно. Диккенс — один из тех авторов, которого люди всегда «собираются прочитать» и о котором, как о Библии, имеют некоторое представление. Они знают понаслышке, что Билл Сикс был вор-взломщик и что мистер Микобер был лысым, так же как они знают понаслышке, что Моисей был найден в камышовой корзине и что он закрыл

свое лицо, чтобы не смотреть на Бога... Другая бросающаяся в глаза вещь — растущая непопулярность американских книг. И еще одна — издатели испытывают ее последствия каждые два-три года — непопулярность коротких рассказов. Люди, приходящие в библиотеку, обычно начинают со слов: «Только не короткий рассказ» или, как говорил один наш немецкий завсегдатай, «Я не желаю читать маленькие рассказы!». Если вы поинтересуетесь почему, вам ответят, что утомительно каждый раз знакомиться с новыми персонажами, а вот когда «войдешь» в роман в первой главе, дальше уже все знакомо. Я все же думаю, что здесь скорее виноваты писатели, чем читатели. Многие современные рассказы, английские и американские, более безжизненны и тусклы, чем романы. *Настоящие* рассказы достаточно популярны — рассказы Д. Лоуренса читаются так же, как его романы.

Хотел ли бы я быть профессиональным продавцом книг? В конечном счете — несмотря на доброту моего хозяина и счастливые дни, которые я провел там,— нет.

Достаточный и разумно используемый капитал дает возможность образованному человеку обойтись без этого. Тем не менее туда идут в поисках «редких» книг. Научиться этому делу несложно, а если вы что-то знаете о содержании книг, то это сразу обеспечивает успех. (Большинство продавцов книг не знают. Это легко обнаружить, посмотрев их заказы. Если вы не встретите там «Упадок и разрушение» Босуэлла, то уж обязательно встретите «Мельницу на Флоссе» Т. Элиота.) К тому же это гуманная профессия, которую можно вульгаризировать только до определенной степени. Синдикаты никогда не смогут вытеснить маленького независимого книготорговца, как они вытеснили бакалейщика и молочника. Но рабочий день там очень долог: я был там занят только часть дня, но мой хозяин работал 70 часов в неделю, не считая постоянных поездок за книгами. Это нездоровая работа: как правило, в книжном магазине холодно, потому что в тепле окна запотевают, а окна — это витрина. К тому же ни один предмет не собирает столько ядовитой пыли, как книги, и нигде так охотно не умирают мухи, как на книжных корешках. Но главное, из-за чего я не выбрал профессию книжного продавца,— то, что именно там я перестал любить книги. Обманывая покупателей, продавец переносит на книги связанные с этим неприятные ощущения; еще острее они оттого, что приходится постоянно протирать книги и переставлять их с места на место. Когда-то я действительно любил книги — любил их вид, их запах, прикосновение к ним, особенно если они были старше полувека. Не было большей радости, чем купить кучу книг за шиллинг на деревенском аукционе. Есть особая прелесть в потрепанных неожиданных находках этой коллекции: забытые поэты восемнадцатого века; газеты прошлых лет; разрозненные тома забытых романов; подшивки женских журналов «шестидесятых». Для случайного чтения — например, в ванне, или поздно ночью, когда вы так устали, что не можете уснуть, или в случайно вы-

павшие четверть часа перед лаичем — нет ничего лучше последнего номера «Газеты для девочек». Но с тех пор, как я стал работать в киижном магазиие, я перестал покупать кииги. Когда их видишь постояиио, массой в пять — десять тысяч томов, кииги утомляют и даже слегка надоедают. Теперь я покупаю их по одиой, от случая к случаю, и это всегда киига, которую я хочу прочитать и ие могу ни у кого заиять. И я никогда ие покупаю старья. Сладостный запах ветхой бумаги потерял для меня свое очарование. В моем созиании ои слишком близко связан с параиоидальными посетителями и мертвыми мухами.

1936

МЫСЛИ В ПУТИ

Читая блистательную и гнетущую киигу Малькольма Маггериджа «Тридцатые», я вспомиил, как одиажды жестоко обошелся с осой. Она ела джем с блюдечка, а я иожом разрубил ее пополам. Не обратив иа это виимания, она продолжала пировать, и сладкая струйка сочилась из ее рассечеиного брюшка. Но вот оиа собралась взлететь, и только тут ей стал поиятеи весь ужас ее положеиия. То же самое происходит с совремеиным человеком. Ему отсекли душу, а ои долго — пожалуй, лет двадцать — этого просто не замечал.

Отсечь душу было совершеиио иеобходимо. Было иеобходимо, чтобы человек отказался от религии в той форме, которая ее прежде отличала. Уже к девятнадцатому веку религия, по сути, стала ложью, помогавшей богатым оставаться богатыми, а бедиых держать бедными. Пусть бедные довольствуются своей бедиостью, ибо им воздастся за гробом, где ждет их райская жизнь, изображавшаяся так, что выходил наполовину ботанический сад Кью-гарденз, наполовину ювелирная лавка. Все мы дети Божии, только я получаю десять тысяч в год, а ты два фуита в неделю. Такой вот или сходной ложью иасквозь пронизывалась жизнь в капиталистическом обществе, и ложь эту подобало выкорчевать без остатка.

Оттого и иаступил долгий период, когда едва ли ие каждый думающий человек стаиовился в каком-то смысле буитарем, а часто безрассудным бунтарем. Литература преимуществеиио вдохиовлялась протестом и разрушеиием. Гиббои, Вольтер, Руссо, Шелли, Байрои, Диккеис, Стендаль, Сэмюэл Батлер, Ибсен, Золя, Флобер, Шоу, Джойс — в том или иином отношеиии все оии изиичтожают, подрывают, саботируют. Два столетия мы тем одним и занимались, что подпиливали да подпиливали сук, иа котором сидим. И вот с виезапиостью, мало кем предвидеиной, наши стараиия увеичались успехом — сук рухиул, а с ним и мы сами. К несчастью, вышло маленькое иедоразумение. Виизу оказалась ие мурава, усыпаииая лепестками роз, а выгребиая яма, затянутая колючей проволокой.

Впечатление такое, словно за какой-то десяток лет мы откатились ко временам каменного века. Вдруг ожили человеческие типы, казалось бы, вымершие давным-давно: пляшущий дервиш, и разбойничий атаман, и Великий Инквизитор,— причем сегодня они отнюдь не пациенты психиатрической лебечницы, а властители мира. Видимо, нельзя жить, полагаясь исключительно на могущество машин и на обобществленную экономику. Сами по себе они только помогают воцариться кошмару, в котором мы принуждены существовать,— этим бесконечным войнам и бесконечным лишениям из-за войн, и колючей проволоке, за которой оказались народы, обреченные на рабский труд, и лагерным баракам, куда гонят толпы исходящих криком женщин, и подвалам, где палачи расстреливают выстрелами в затылок, не слышными через обитые пробкой стены. Ампутация души — это, надо полагать, *не просто* хирургическая операция вроде удаления аппендикса. Такие раны имеют свойство гноиться.

Смысл книги Маггериджа поясняют два места из Екклесиаста: «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует,— все суета!»; «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Теперь смысл этот стал очень близок многим, кто всего несколько лет назад высмеивал его. Мы существуем среди кошмара именно *по той причине*, что пытались создать земной рай. Мы верили в «прогресс», в то, что нами под силу руководить простым смертным, воздавали кесарям Богово — примерно так принимаются рассуждать.

Сам Маггеридж, увы, тоже не дает повода допустить, что он верит в Бога. По крайней мере, исчезновение этой веры в человеке для него, очевидно, аксиома. Тут он, не приходится сомневаться, прав, а если считать действенными только санкции, исходящие свыше, ясно, чтó из этого следует. Нет иной мудрости, кроме страха перед Богом, однако никто не страшится Бога, а значит, никакой мудрости не существует. Человеческая история заключается лишь в подъемах и крушениях материальных цивилизаций — одна вавилонская башня вслед другой. А если так, можно с уверенностью представить, что нас ждет. Войны и снова войны, революции и контрреволюции, гитлеры и сверхгитлеры — вниз, вниз, в пропасть, куда страшно заглянуть, хотя, подозреваю, Маггеридж зачарован такой перспективой.

Прошло уж лет тридцать с той поры, как Хиллэр Беллок в своей книге «Государство рабов» на удивление точно предсказал происходящее в наши дни. К сожалению, ему нечего было предложить в качестве противоядия. У него все свелось к тому, что вместо рабства необходимо вернуться к мелкой собственности, хотя ясно, что такого возвращения не будет и что оно невозможно. Сегодня практически нет альтернативы коллективистскому обществу. Вопрос лишь в том, будет ли оно держаться силами добровольного сотрудничества или силой пулеметов. Решительно ничего не вышло из идеи Царства Божиего

на земле, как оно прежде мыслилось, но, впрочем, еще и до того, как явился Гитлер, стало понятно, насколько далека эта идея от реального будущего, которое нас ожидает. То, к чему мы идем сейчас, имеет более всего сходства с испанской инквизицией; может, будет и еще хуже — ведь в нашем мире плюс ко всему есть радио, есть тайная полиция. Шанс избежать такого будущего ничтожен, если мы не восстановим доверие к идеалу человеческого братства, значимому и без размышлений о «грядущей жизни». Эти размышления и побуждают неискушенных людей вроде настоятеля Кентерберийского собора всерьез верить, будто Советская Россия явила образец истинного христианства. Разумеется, они пали жертвами пропаганды, однако исповедуемый марксистами «реализм» тоже не оправдался, какими бы материальными достижениями он ни располагал. Получается, что нет альтернативы, помимо той, от которой нас так заботливо предостерегают Маггеридж, Ф. А. Фойгт и думающие в сходном духе: эта альтернатива — столько раз осмеянное Царство земное, иными словами, общество, в котором люди, памятуя, что они смертны, стремятся относиться друг к другу как братья.

Значит, у них должен быть общий отец. И поэтому часто говорят, что ощущения братства у людей не будет, пока их не сплотит вера в Бога. На это можно ответить, что большинство из них полуосознанно уже прониклись таким ощущением. Человек — не особь, он лишь клеточка вечносущего организма, и смутно он это осознает. Иначе не объяснить, отчего человек готов погибнуть в бою. Нелепо утверждать, что он так поступает исключительно по принуждению. Если бы принуждать приходилось целые армии, невозможной сделалась бы любая война. Люди погибают, сражаясь из-за абстракций, именуемых честью, долгом, патриотизмом и т. д.,— разумеется, не в охотку, но, во всяком случае, по собственному выбору.

Означает это лишь одно: они отдают себе отчет в существовании какой-то живой связи, которая важнее, нежели они сами, и простирается как в будущее, так и в прошлое, давая им чувство бессмертия, коль скоро они ее ощутили. «Погибших нет, коль Англия жива» — звучит высокопарной болтовней, но замените слово «Англия» любым другим по вашему предпочтению, и вы убедитесь, что тут схвачен один из главных стимулов человеческого поведения. Люди жертвуют жизнью во имя тех или иных сообществ — ради нации, народа, единоверцев, класса — и постигают, что перестали быть личностями, лишь в тот самый момент, как засвистят пули. Чувствуй они хоть немного глубже, и эта преданность сообществу стала бы преданностью самому человечеству, которое вовсе не абстракция.

«О дивный новый мир» Олдоса Хаксли был превосходным шаржем, запечатлевшим гедонистическую утопию, которая казалась достижимой, заставляя людей столь охотно обманываться собственной убежденностью, будто Царство Божие тем или

иным способом должно сделаться реальностью на Земле. Но нам надлежит оставаться детьми Божиими, даже если Бог из молитвенников более не существует.

Иной раз это постигали даже те, кто старался динамитом взорвать нашу цивилизацию. Знаменитое высказывание Маркса, что «религия есть *опиум* народа», как правило, вырывают из контекста, придавая ему существенно иной, нежели вкладывал в него автор, смысл, хотя подмена едва заметна. Маркс — по крайней мере в той работе, откуда эта фраза цитируется,— не утверждал, что религия есть наркотик, распространяемый свыше; он утверждал, что религию создают сами люди, удовлетворяя свойственную им потребность, насущность которой он не отрицал. «Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира... Религия есть *опиум* народа». Разве тут сказано не о том, что человеку *невозможно* жить хлебом единым, что одной ненависти *недостаточно*, что мир, достойный людского рода, не может держаться «реализмом» и силой пулеметов? Если бы Маркс предвидел, как велико окажется его интеллектуальное влияние, возможно, то же самое он сказал бы еще не раз и еще яснее.

1940

УЭЛЛС, ГИТЛЕР И ВСЕМИРНОЕ ГОСУДАРСТВО

«В марте или апреле, утверждают любители пророчеств, по Англии будет нанесен сокрушительный удар... Трудно сказать, каким способом Гитлер намерен его нанести. Его ослабленные и распыленные военные части в настоящее время, по-видимому, не намного превосходят силы итальянцев, перед тем как их проверили делом в Греции и в Африке».

«Воздушное могущество немцев почти иссякло. Их авиация не отвечает современному уровню, а лучшие летчики либо погибли, либо вымотались и утратили боевой дух».

«В 1914 году за Гогенцоллернами была лучшая армия в мире. А за этим крикливым берлинским пигмеем нет ничего, с нею сопоставимого... И все равно наши военные «эксперты» твердят об ожидаемом наступлении, хотя это только фантом. Им грезится, будто немецкие войска великолепно оснащены и безупречно выучены. То нам говорят, что будет осуществлен решающий «удар» через Испанию и Северную Африку, то рассуждают о броске через Балканы, о наступлении от Дуная к Анкаре и дальше — на Персию, на Индию,— то об «уничтожении» России, то о «лавине», которая обрушится на Италию через перевал Бреннер. Проходит неделя за неделей, а фантом все остается фантомом, и ни одно из этих предсказаний не сбывается — по очень простой причине. А причина та, что ничего этого немцы осуществить не могут. Их пушки, их снаряжение слишком несовершенны, да и то, что у них было, большей частью бессмысленно потеряно из-за глупых попыток Гитлера

вторгнуться на Британские острова. А вся их примитивная выучка насмарку идет прахом, едва появилось понимание, что блицкриг провалился и что война — дело долгое».

Приведенные цитаты заимствованы не из кавалерийского журнала, а из серии газетных статей Герберта Уэллса, написанных в начале этого года, а теперь изданных книгой под заглавием «Путеводитель по новому миру». С тех пор как они были напечатаны, немецкая армия оккупировала Балканы и снова заняла Киренаику, она может, как только сочтет это целесообразным, двинуться и через Турцию, и через Испанию, она вторглась в Россию. Чем закончится эта последняя ее кампания, сказать не берусь, но все-таки замечу, что германский Генеральный штаб, чьи расчеты следует принимать всерьез, не начал бы операцию без твердой уверенности, что ее можно успешно завершить месяца за три. Вот так обстоит дело с немецкой армией, которой всего лишь пугают, не сообразив, как плохо она оснащена, как ослабела боевым духом и пр.

А что может Уэллс противопоставить «крикливому берлинскому пигмею»? Лишь обычное пустословие насчет Всемирного государства да еще декларацию Сэнки, которая представляет собой попытку определить основные права человека, сопровождаясь антивоенными высказываниями. За вычетом того, что Уэллса ныне особенно заботит, чтобы мир договорился о контроле над военными операциями в воздухе, это все те же самые мысли, которые он вот уже лет сорок непрерывно преподносит с видом проповедника, возмущенного глупостью слушателей,— подумать только, они неспособны усвоить столь очевидные истины!

Но много ли проку утверждать, что необходим международный контроль над военными действиями в воздухе? Весь вопрос в том, как его добиться. Какой смысл разъяснять, до чего желательно было бы Всемирное государство? Главное, что ни одна из пяти крупнейших военных держав не допускает и мысли о подобном единении. Всякий разумный человек и прежде в основном соглашался с идеями Уэллса; но, на беду, власть не принадлежит разумным людям, и сами они слишком часто не выказывают готовности приносить себя в жертву. Гитлер — сумасшедший и преступник, однако же у Гитлера армия в миллионы солдат, у него тысячи самолетов и десятки тысяч танков. Ради его целей великий народ охотно пошел на то, чтобы пять лет работать с превышением сил, а вслед за тем еще два года воевать, тогда как ради разумных и в общем-то гедонистических взглядов, излагаемых Уэллсом, вряд ли кто-то согласится пролить хоть каплю крови. И, прежде чем заводить речь о переустройстве жизни, даже просто о мире, надо покончить с Гитлером, а для этого потребуется пробуждение энергии, которая не обязательно будет столь же слепой, как у нацистов, однако не исключено, что она окажется столь же неприемлемой для «просвещенных» гедонистов. Что позволило Англии устоять в последний год? Отчасти, бесспорно, некое смутное представление о лучшем будущем, но прежде всего

атавистическое чувство патриотизма, врожденное у тех, чей родной язык английский,— ощущение, что они превосходят всех остальных. Двадцать предвоенных лет главная цель английских левых интеллигентов состояла в том, чтобы подавить это ощущение, и, если бы им удалось добиться своего, мы бы уже видели сейчас эсэсовские патрули на улицах Лондона. А отчего русские с такой яростью сопротивляются немецкому вторжению? Отчасти, видимо, их одушевляет еще не до конца забытый идеал социалистической утопии, но прежде всего — необходимость защитить Святую Русь («священную землю отечества» и т. п.), о которой теперь вспомнил и говорит почти этими именно словами Сталин. Энергия, действительно делающая мир тем, что он есть, порождается чувствами — национальной гордости, преклонением перед вождем, религиозной верой, воинственным пылом, словом, эмоциями, от которых либерально настроенные интеллигенты отмахиваются бездумно, как от пережитка, искоренив этот пережиток в самих себе настолько, что ими утрачена всякая способность к действию.

Те, кто называет Гитлера Антихристом или, наоборот, святым, ближе к истине, нежели интеллектуалы, десять кошмарных лет утверждавшие, что это просто паяц из комической оперы, о котором нечего всерьез говорить. На поверку подобные настроения свидетельствуют лишь об изоляции, ставшей состоянием английской жизни. Книжный клуб левых, по существу, порождение Скотленд-Ярда, точно так же как Союз обета мира — порождение военного флота. Одной из примет последнего десятилетия стал статус серьезной литературы, который приобрела «политическая книга» — некий расширенный памфлет, сочетающий сведения по истории с критическими высказываниями о политике. Но даже самые заметные авторы таких книг — Троцкий, Раушнинг, Розенберг, Силоне, Боркенау, Кёстлер и другие — не были англичанами, и, кроме того, почти все они были отступниками, то есть отреклись от экстремизма партий, к которым прежде принадлежали, познакомившись с тоталитаризмом накоротке, испытав преследования и пережив изгнание. Лишь в англоязычных странах вплоть до начала войны было принято считать, что Гитлер не заслуживающий внимания фанатик, а немецкие танки сделаны из картона. По цитируемым мною высказываниям Уэллса видно, что он и сегодня думает примерно так же. Вряд ли его мнения переменились ввиду бомбардировок или успехов немцев в Греции. Чтобы понять, в чем сила Гитлера, он должен был бы отказаться от образа мыслей, которого придерживался всю жизнь.

Подобно Диккенсу, Уэллс происходит из среднего класса, которому чуждо все военное. Его оставляют абсолютно бесстрастным гром пушек, звяканье шпор и проносимое по улицам боевое знамя, при виде которого у других перехватывает дыхание. Сражения, преследования, схватки — эта сторона жизни внушает ему глубочайшее отвращение, что выразилось во всех его ранних книгах яростными выпадами против люби-

телей лошадей. Главный злодей в его «Историческом очерке» — Наполеон, искатель приключений на поле брани. Полистайте любую книгу Уэллса из написанных за последние сорок лет, и вы в ней обнаружите одну и ту же, бесконечно повторяющуюся мысль: человек науки, который, как предполагается, творит во имя разумного Всемирного государства, и реакционер, стремящийся реставрировать прошлое во всем его хаосе,— антиподы. Это противопоставление — постоянная линия в его романах, утопиях, эссе, сценариях, памфлетах. С одной стороны — наука, порядок, прогресс, интернационализм, аэропланы, сталь, бетон, гигиена; с другой — война, националистические страсти, религия, монархия, крестьяне, профессора древнегреческого, поэты, лошади. История в понимании Уэллса — это победа за победой, которые ученый одерживает над романтиком. Что же, Уэллс, вероятно, прав, полагая, что «разумное», плановое общество, где у руля будут ученые, а не шарлатаны, рано или поздно станет реальностью, но допускать это как перспективу вовсе не то же самое, что думать, будто такое общество возникнет со дня на день. Где-то должны отыскаться следы полемики Уэллса с Черчиллем, происходившей во время русской революции. Уэллс упрекает Черчилля в том, что тот сам не верит собственным пропагандистским заявлениям, будто большевики — это чудовища, утопающие в пролитой ими крови, и т. д.; просто Черчилля страшит, что большевики возвещают наступление эры здравого смысла и научного контроля, когда для охотников помахать жупелами — таких, как Черчилль,— не останется места. Но в действительности Черчилль судил о большевиках вернее, чем Уэллс. Возможно, первые большевики были чистыми ангелами или сущими дьяволами — это не так уж важно,— но разумными людьми их никак не назовешь. И тот порядок, который они вводили, был не утопией уэллсовского образца, а правлением избранных, представлявшим собой, подобно английскому правлению избранных, военную деспотию, подкрепленную процессами в духе «охоты на ведьм». То же непонимание сути дела сказалось в иной форме, когда Уэллс взялся судить о нацистах. Гитлер — это соединившиеся в одном лице агрессоры и шарлатаны, какие только известны из истории. А стало быть, рассуждает Уэллс, это абсурд, тень давнего прошлого, выродок, которому суждено стремительно исчезнуть. Увы, нельзя поставить знак равенства между наукой и здравым смыслом. Наглядным подтверждением этого служит аэроплан, которого так нетерпеливо ждали, видя в нем символ цивилизации; на деле он почти и не используется, кроме как для сбрасывания бомб. Современная Германия продвинулась по пути науки куда дальше, чем Англия, но стала куда более варварской страной. Многое из того, во что верил и ради чего трудился Уэллс, материально осуществлено в нацистской Германии. Там порядок, планирование, наука, поощряемая государством, сталь, бетон, аэропланы — и все это поставлено на службу идеям, подобающим каменному веку. Наука сражается на стороне предрассудка. Но Уэллс, само собой, не может этого

прииять. Ведь это противоречит мировоззрению, изложеииому в его собственных книгах. Агрессоры и шарлатаиы *должны быть* обречеиы, а идея Всемирного государства, каким его мыслит либерал прошлого столетья, чье сердце ие забьется при звуке боевой трубы, *должна* восторжествовать. Если не принимать во внимаиие измеииков и малодушиых, Гитлер ни для кого *не должен* выглядеть как опасность. Его конечиая победа означала бы иевозможиое возвращеиие истории вспять — вроде реставрации Якова II.

Впрочем, не стаиовится ли отцеубийцей человек моего возраста (а мие тридцать восемь), посягнувший иа авторитет Уэллса? Иителлигеиты, родившиеся примерно в начале века,— в каком-то смысле уэллсовское твореиие. Можно спорить о степеии влияиия любого писателя, в особеииости «популярного», чьи книги иаходят быстрый отзвук, но, иа мой взгляд, из писавших, во всяком случае по-английски, между 1900 и 1920 годами никто не повлиял на молодежь так сильио, как Уэллс. Все мы думали бы совсем иначе, если бы его не существовало, а зиачит, ииым был бы и мир вокруг нас. Но дело в том, что как раз целеиаправлениая сосредоточеииость и одиосторои-нее воображение, которые придавали ему вид вдохновеиного пророка в эдвардиаиский век, превращают его теперь в мелкого мыслителя, отставшего от времени. Когда Уэллс был молод, антитеза науки и реакции ие выглядела ложной. Обществом управляли недалекие, редкостио банальиые люди — алчные бизиесмеиы, тупые сквайры, епископы, политики, способные цитировать Горация, ио слыхом ие слыхавшие об алгебре. Наука почиталась иесколько безиравствеииой, а религия была иезыблемой. Казалось, что все это вещи одиого ряда — страсть к традициям, скудоумие, сиобизм, патриотические восторги, предрассудки, поклоиеиие войие; требовался кто-то способиый выразить противоположиый взгляд. На заре столетия подросток впадал в экстаз, открывая для себя Уэллса. Этот подросток жил среди педаитов, святош, игроков в гольф, будущие его работодатели помыкали им: «Не смей! Нельзя!» — родители изо всех сил старались уродовать его половое развитие, безмозглые учителя издевались, вдалбливая в него мертвую латыиь,— и вдруг являлся этот чудесиый человек, который мог рассказать о жизии иа других плаиетах или иа дие морей и твердо *знал*, что будущее предстаиет вовсе не таким, как полагали респектабельиые господа. Лет за десять или даже больше до того, как инженеры сумели построить аэроплан, Уэллс знал, что человек вскоре сможет летать. А зиал он это, оттого что сам *хотел* иаучиться летать и верил: исследования в данной области будут продолжаться. Но с другой стороиы, в годы, когда я был мальчишкой и братья Райт все-таки подияли с земли машину, продержавшуюся в воздухе пятьдесят девять секунд, общественым миеиием было: если бы Всевышнему угодио было, чтобы мы летали, Он бы сиабдил нас крыльями. До 1914 года Уэллс был истииным пророком. Что касается материальиых подробностей, его предвидеиие сбылось с удивительной точиостью.

Однако он принадлежал девятнадцатому веку, а также народу и сословию, не любящим воевать, и поэтому для него осталась тайной огромная сила старого мира, олицетворением которого он видел тори, занятых лисьей охотой. Он не смог, да и сейчас не в состоянии понять, что национализм, религиозное исступление и феодальная верность знамени — факторы куда более могущественные, чем то, что сам он называл ясным умом. Детища темных столетий чеканным шагом двинулись в нашу эпоху, и если это призраки, то такие, которые требуют очень сильной магии, чтобы совладать с ними. Фашизм лучше всего поняли либо те, кто пострадал от него, либо сами наделенные чем-то родственным фашизму. Незатейливая книга вроде «Железной пяты», написанная тридцать с небольшим лет назад, содержит куда более верное пророчество будущего, чем «О дивный новый мир» или «Образ надвигающегося мира». Если искать среди современников Уэллса писателя, который мог бы явиться в отношении него необходимым коррективом, следует упомянуть Киплинга, отнюдь не безразличного к понятиям силы и воинской «славы». Киплинг понял бы, чем притягивает Гитлер или, раз на то пошло, Сталин, хотя трудно сказать, как бы он к ним отнесся. А Уэллс слишком благоразумен, чтобы постичь современный мир. Серия романов о нижнем слое среднего класса — они его высшее достижение — прекратилась с началом той первой войны и уже не была возобновлена, а с 1920 года Уэллс растрачивает свой талант, сражая бумажных драконов. Но как это прекрасно, когда есть что растрачивать!

1941

ТОЛСТОЙ И ШЕКСПИР

На прошлой неделе я говорил о том, как трудно, почти невозможно отделить друг от друга искусство и пропаганду, и о том, что к «чисто» художественной оценке непременно примешиваются соображения, рожденные моральными, политическими или религиозными привязанностями. Во времена бедствий, такие, как десять последних лет, эти глубокие, порой неосознанные привязанности так или иначе наталкивают на конкретные сознательные поступки. Критики теперь все чаще занимают определенную позицию, едва-едва сохраняя видимость беспристрастности. Однако отсюда не следует делать вывод, будто вообще не существует такого явления, как художественная оценка, и что любое произведение искусства — это просто-напросто политический трактат, который и надо оценивать соответственно. Если мы будем рассуждать таким образом, то зайдем в тупик и не сумеем объяснить многие крупные и очевидные факты искусства. В качестве иллюстрации я предлагаю рассмотреть один из величайших в истории образцов моральной, неэстетической, точнее сказать, антиэстетической критики — статью Толстого о Шекспире.

Толстой написал ее на склоне лет и подверг Шекспира жесточайшей критике. Он хотел показать, что Шекспир — отнюдь не великий писатель, каким его считают, а, напротив, совсем никудышный сочинитель, один из самых недостойных и отвратительных сочинителей в мире. Статья вызвала взрыв негодования, однако, насколько мне известно, никто не сумел сколько-нибудь убедительно ответить Толстому. Больше того, я попытаюсь доказать, что на статью в целом вообще невозможно ответить. Кое-какие утверждения Толстого, строго говоря, верны, другие являются преимущественно делом вкуса, а о вкусах не спорят. Я вовсе не хочу сказать, что в статье нет ни единого пункта, по которому можно было бы выставить возражения. Местами Толстой просто противоречит сам себе; многое в текстах он понял неправильно, поскольку не проник в чужой язык; кроме того, мне кажется, есть основания говорить, что сильная неприязнь Толстого к Шекспиру, ревностное желание развенчать писателя толкнули его на некоторые передержки или, во всяком случае, побудили его намеренно закрывать глаза на очевидные вещи. Однако все это не имеет прямого отношения к существу дела. То, что написал Толстой, в основе своей и по-своему правомерно, и его высказывания внесли полезную поправку в слепое преклонение перед Шекспиром, которое было модно в то время. Какие бы доводы ни приводить, лучший ответ Толстому не в них, а в том, что вынужден сказать он сам.

Толстой утверждает, что Шекспир — ничтожный и пошлый писатель, что у него нет ни собственной философии, ни сто́ящих мыслей, нет интереса к общественным и религиозным проблемам, нет изображения характеров и естественности положений, что миросозерцание у него самое суетное, безнравственное, циничное — если вообще правомерно предполагать у него определенное и серьезное отношение к жизни. Он обвиняет Шекспира в том, что тот составлял свои драмы кое-как, нисколько не заботясь о правдоподобии, вводил в них немыслимые фантазии и невероятные события, заставлял своих героев говорить вычурным, ненатуральным языком, каким никогда не говорили живые люди. Он обвиняет Шекспира в том, что его пьесы — заимствованные, внешним образом, мозаично склеенные из монологов, баллад, дебатов, низменных шуток и прочего, и что автор не дал себе труда задуматься, насколько они уместны по ходу действия. Он обвиняет его в том, что он принимал как должное господство сильных и социальную несправедливость, которые царили в его время. Словом, Толстой считает Шекспира неряшливым писателем и сомнительным в нравственном отношении человеком и, главное, обвиняет его в том, что он *не мыслитель*.

Многие из этих обвинений вполне опровержимы. Неверно утверждение, будто Шекспир безнравственный писатель — в том понимании, которым пользуется Толстой. Совершенно очевидно, у Шекспира *есть* свой моральный кодекс, это видно во всех его сочинениях — другое дело, что он отличается от

толстовского. Шекспир больший моралист, чем, например, Чосер или Боккаччо. И он вовсе не глупец, каким его пытается выставить Толстой. Время от времени, можно сказать, как бы между прочим у него встречаешь такие прозрения, которые выходят далеко за пределы его времени. В этой связи хочется привлечь внимание к разбору «Тимона Афинского» Карлом Марксом — тот в отличие от Толстого восхищался Шекспиром. Однако повторю сказанное: в целом Толстой прав. Шекспир — отнюдь не мыслитель, и историки литературы, уверяющие, что Шекспир был одним из величайших философов в мире, порют вздор. Его идеи представляют собой мешанину из всякой всячины. Как и у большинства англичан, у него есть свой свод правил поведения, но никакой стройной философии и вообще способности к философствованию. Верно и то, что он не заботится о правдоподобии и логике характеров. Известно, что он безбожно заимствовал сюжеты у других писателей и переиначивал на свой лад, нередко привнося в них бессмыслицу и нелепости, которых не было в оригинале. Когда Шекспиру попадался верный, не запутанный сюжет, как, например, в «Макбете», характеры его достаточно логичны, но в большинстве случаев их поступки по обычным меркам совершенно невероятны. Во многих его пьесах нет даже той доли правдоподобия, которая должна присутствовать в сказках. Да он и сам не принимал свою драматургию всерьез, во всяком случае, мы не располагаем такими свидетельствами, и видел в ней только средство к существованию. В сонетах он нигде не говорит о пьесах, как будто и не писал их, и лишь однажды довольно стыдливо упоминает, что был актером. В этом отношении позиция Толстого оправданна. Заявления, будто Шекспир был глубоким мыслителем, развивающим оригинальную и стройную философию в безукоризненных с технической стороны и полных тонких психологических наблюдений пьесах, просто смехотворны.

Однако что доказал этим Толстой, чего он добился? Он, очевидно, полагал, что его сокрушительная критика должна уничтожить Шекспира. Как только он напишет статью или, во всяком случае, как только она дойдет до широких кругов читающей публики, звезда Шекспира должна закатиться. Поклонники Шекспира увидят, что их кумир повержен, поймут, что король гол и пора перестать восторгаться им. Ничего этого не произошло. Шекспир повержен и тем не менее высится как ни в чем не бывало. Его отнюдь не забыли благодаря толстовской критике — напротив, сама эта критика сегодня почти совершенно забыта. Толстого много читают в Англии, но вот оба перевода его статьи давно не переиздавались. Мне пришлось обегать пол-Лондона, прежде чем я раскопал ее в одной библиотеке.

Таким образом, получается, что Толстой объяснил нам в Шекспире почти все, за исключением одного-единственного обстоятельства: его небывалой популярности. Он и сам отдает себе в этом отчет и крайне удивлен фактом популярности Шекспира. Я уже сказал выше, что самое лучшее возражение Толстому заключено в том, что вынужден сказать он сам. Толстой

задается вопросом: как объяснить это всеобщее преклонение перед автором ничтожных, пошлых и безнравственных произведений? Разгадку Толстой усматривает в существовании некоего международного заговора с целью скрыть правду или же в массовом наваждении, как он выражается — в гипнозе, которому поддались все, кроме него. Вину за этот заговор или наваждение Толстой приписывает группе немецких эстетических критиков начала девятнадцатого века. Это они начали распространять гнусную ложь, будто Шекспир — великий писатель, и с тех пор ни у кого не хватило мужества дать им отпор.

Впрочем, не будем тратить времени на подобные теории. Все это несусветная чепуха. Подавляющее большинство людей, получающих удовольствие от шекспировских спектаклей, ни прямо, ни косвенно не испытывали влияния каких-то немецких критиков. Шекспир очень популярен, и его популярность не ограничивается начитанной публикой, а захватывает и обыкновенных людей. Шекспировские пьесы при жизни писателя занимали по постановкам первое место в Англии и занимают первое место сейчас. Шекспира хорошо знают не только в англоязычных странах, но и в большинстве других стран Европы и во многих частях Азии. Я сейчас говорю с вами, и почти в это самое время Советское правительство проводит торжества, посвященные триста двадцать пятой годовщине смерти Шекспира, а на Цейлоне мне однажды довелось побывать на шекспировском спектакле — он игрался на языке, о котором я слыхом не слыхивал. Значит, в Шекспире есть что-то бесспорное, великое, неподвластное времени, то, что сумели оценить миллионы простых людей и не сумел оценить Толстой. Шекспир будет жить, несмотря на то что он не оригинальный мыслитель и его пьесы неправдоподобны. Такими обвинениями не развенчать Шекспира — так же как гневной проповедью не погубить распустившийся цветок.

Случай со статьей Толстого, по-моему, добавляет кое-что важное к тому, о чем я говорил на прошлой неделе, а именно о границах искусства и пропаганды. Он показывает односторонность критики, занятой только материалом и смыслом произведения. Толстой разбирает не Шекспира-художника, а Шекспира —мыслителя и проповедника и при таком подходе легко ниспровергает его. Однако толстовская критика не достигает цели, Шекспир оказался неуязвим. И его известность, и наслаждение, которое мы получаем от его пьес, нисколько не пострадали. Очевидно, художник — это выше, чем мыслитель и моралист, хотя он должен быть и тем и другим. Всякая литература дает непосредственный пропагандистский эффект, но только тот роман, или пьеса, или стихотворение не канет в вечность, в котором заключено нечто помимо мысли и морали, то есть искусство. При определенных условиях неглубокие мысли и сомнительная мораль могут быть хорошим искусством. И если уж такой гигант, как Толстой, не сумел доказать обратное, то вряд ли кто еще докажет это.

1941

ЛИТЕРАТУРА И ТОТАЛИТАРИЗМ

Начиная свое первое выступление, я говорил, что наше время не назовешь веком критики. Это эпоха причастности, а не отстраненности, и поэтому стало так трудно признать литературные достоинства за книгой, содержащей мысли, с которыми вы не согласны. В литературу хлынула политика в самом широком смысле этого слова, она захватила литературу так, как при нормальных условиях не бывает,— вот отчего мы теперь столь обостренно чувствуем разлад между индивидуальным и общим, хотя он наблюдался всегда. Стоит только задуматься, до чего сложно сегодняшнему критику сохранить честную беспристрастность, и станет понятно, какие именно опасности ожидают литературу в самом близком будущем.

Время, в которое мы живем, угрожает покончить с независимой личностью, или, верней, с иллюзиями, будто она независима. Меж тем, толкуя о литературе, а уж тем паче о критике, мы, не задумываясь, исходим из того, что личность вполне независима. Вся современная европейская литература — то есть та, которая создавалась последние четыре века,— стоит на принципах честности, или, если хотите, на шекспировской максиме: «Своей природе верен будь». Первое наше требование к писателю — не лгать, писать то, что он действительно думает и чувствует. Худшее, что можно сказать о произведении искусства,— оно фальшиво. К критике это относится даже больше, чем непосредственно к литературе, где не так уж досаждает некое позерство, манерничанье, даже откровенное лукавство, если только писатель не лжет в самом главном. Современная литература по самому своему существу — творение личности. Либо она правдиво передает мысли и чувства личности, либо же ничего не стоит.

Как я уже сказал, это для нас само собой разумеется, но едва стоит нам это произнести, как осознаешь, какая над литературой нависла угроза. Ведь мы живем в эпоху тоталитарных государств, которые не предоставляют, а возможно, и не способны предоставить личности никакой свободы. Упомянув о тоталитаризме, сразу вспоминают Германию, Россию, Италию, но, думаю, надо быть готовым к тому, что это явление сделается всемирным. Очевидно, что времена свободного капитализма идут к концу, и то в одной стране, то в другой он сменяется централизованной экономикой, которую можно характеризовать как социализм или как государственный капитализм — выбор за вами. А значит, иссякает и экономическая свобода личности, то есть в большой степени подрывается ее свобода поступать как ей хочется, свободно выбирая себе профессию, свободно передвигаясь в любом направлении по всей планете. До недавней поры мы еще не предвидели последствий подобных перемен. Никто не понимал как следует, что исчезновение экономической свободы скажется на свободе интеллектуальной. Социализм обычно представляли себе как некую либеральную систему, одухотворенную высокой моралью. Государство возь-

мет на себя заботы о вашем экономическом благоденствии, освободив от страха перед нищетой, безработицей и т. д., но ему не будет никакой необходимости вмешиваться в вашу частную интеллектуальную жизнь. Искусство будет процветать точно так же, как в эпоху либерального капитализма, и даже еще нагляднее, поскольку художник более не будет испытывать экономического принуждения.

Опыт заставляет нас признать, что эти представления пошли прахом. Тоталитаризм посягнул на свободу мысли так, как никогда прежде не могли и вообразить. Важно отдавать себе отчет в том, что его контроль над мыслью преследует цели не только запретительные, но и конструктивные. Не просто возбраняется выражать — даже допускать — определенные мысли, но диктуется, что именно надлежит думать; создается идеология, которая должна быть принята личностью, норовят управлять ее эмоциями и навязывать ей образ поведения. Она изолируется, насколько возможно, от внешнего мира, чтобы замкнуть ее в искусственной среде, лишив возможности сопоставлений. Тоталитарное государство обязательно старается контролировать мысли и чувства своих подданных по меньшей мере столь же действенно, как контролирует их поступки.

Вопрос, приобретающий для нас важность, состоит в том, способна ли выжить литература в такой атмосфере. Думаю, ответ должен быть краток и точен: нет. Если тоталитаризм станет явлением всемирным и перманентным, литература, какой мы ее знали, перестанет существовать. И не надо (хотя поначалу это кажется допустимым) утверждать, будто кончится всего лишь литература определенного рода, та, что создана Европой после Ренессанса.

Есть несколько коренных различий между тоталитаризмом и всеми ортодоксальными системами прошлого, европейскими, равно как восточными. Главное из них то, что эти системы не менялись, а если менялись, то медленно. В средневековой Европе церковь указывала, во что веровать, но хотя бы позволяла держаться одних и тех же верований от рождения до смерти. Она не требовала, чтобы сегодня верили в одно, завтра в другое. И сегодня дело обстоит так же для приверженца любой ортодоксальной церкви: христианской, индуистской, буддистской, магометанской. В каком-то отношении круг его мыслей заведомо ограничен, но этого круга он держится всю свою жизнь. А на его чувства никто не посягает.

Тоталитаризм означает прямо противоположное. Особенность тоталитарного государства та, что, контролируя мысль, оно не фиксирует ее на чем-то одном. Выдвигаются догмы, не подлежащие обсуждению, однако изменяемые со дня на день. Догмы нужны, поскольку нужно абсолютное повиновение подданных, однако невозможно обойтись без коррективов, диктуемых потребностями политики власть предержащих. Объявив себя непогрешимым, тоталитарное государство вместе с тем отбрасывает само понятие объективной истины. Вот очевидный, самый простой пример: до сентября 1939 года каждому немцу

вменялось в обязанность испытывать к русскому большевизму отвращение и ужас, после сентября 1939 года — восторг и страстное сочувствие. Если между Россией и Германией начнется война, а это весьма вероятно в ближайшие несколько лет, с неизбежностью вновь произойдет крутая перемена. Чувства немца, его любовь, его ненависть при необходимости должны моментально обращаться в свою противоположность. Вряд ли есть надобность указывать, чем это чревато для литературы. Ведь творчество — прежде всего чувство, а чувства нельзя вечно контролировать извне. Легко определять отвечающие данному моменту установки, однако литература, имеющая хоть какую-то ценность, возможна лишь при условии, что пишущий ощущает истинность того, что он пишет; если этого нет, исчезнет творческий инстинкт. Весь накопленный опыт свидетельствует, что резкие эмоциональные переоценки, каких тоталитаризм требует от своих приверженцев, психологически невозможны, и вот прежде всего по этой причине я полагаю, что конец литературы, какой мы ее знали, неизбежен, если тоталитаризм установится повсюду в мире. Так ведь до сих пор и происходило там, где он возобладал. В Италии литература изуродована, а в Германии ее почти нет. Основное литературное занятие нацистов состоит в сжигании книг. Даже в России так и не свершилось одно время ожидавшееся нами возрождение литературы, видные русские писатели кончают с собой, исчезают в тюрьмах — обозначилась эта тенденция весьма определенно.

Я сказал, что либеральный капитализм с очевидностью идет к своему концу, а отсюда могут сделать вывод, что, на мой взгляд, обречённой оказывается и свобода мысли. Но я не думаю, что это действительно так, и в заключение просто хочу выразить свою веру в способность литературы устоять там, где корни либерального мышления особенно прочны,— в немилитаристских государствах, в Западной Европе, Северной и Южной Америке, Индии, Китае. Я верю — пусть это слепая вера, не больше,— что такие государства, тоже с неизбежностью придя к обобществленной экономике, сумеют создать социализм в нетоталитарной форме, позволяющей личности и с исчезновением экономической свободы сохранить свободу мысли. Как ни поворачивай, это единственная надежда, оставшаяся тем, кому дороги судьбы литературы. Каждый, кто понимает ее значение, каждый, кто ясно видит главенствующую роль, которая принадлежит ей в истории человечества, должен сознавать и жизненную необходимость противодействия тоталитаризму, навязывают ли его нам извне или изнутри.

1941

ВСПОМИНАЯ ВОЙНУ В ИСПАНИИ

I

Прежде всего о том, что запомнилось физически,— о звуках, запахах, зримом облике вещей.

Странно, что живее всего, что было потом на испанской войне, я помню неделю так называемой подготовки, перед тем как нас отправили на фронт,— громадные кавалерийские казармы в Барселоне, продуваемые ветрами денники и мощенные брусчаткой дворы, ледяная вода из колонки, где мы умывались, мерзкая еда, которую сдабривали фляжечки вина, девушки в брюках — служащие милиции, рубившие дрова под котел, переклички ранним утром и комическое впечатление, производимое моей простецкой английской фамилией рядом со звучными именами Мануэль Гонсалес, Педро Агилар, Рамон Фенелос, Роке Баластер, Хайме Доменен, Себастиан Вильтрон, Рамон Нуво Босх. Называю именно этих людей, потому что помню каждого из них. За исключением двоих, которые были просто подонками и теперь наверняка со рвением служат у фалангистов, все они, вероятно, погибли. О двоих я это знаю точно. Старшему из них было лет двадцать пять, младшему — шестнадцать.

Одно из существенных воспоминаний о войне — повсюду тебя преследующие отвратительные запахи человеческого происхождения. О сортирах слишком много сказано писавшими про войну, и я бы к этому не возвращался, если бы наш казарменный сортир не внес свою лепту в разрушение моих иллюзий насчет гражданской войны в Испании. Принятое в романских странах устройство уборной, когда надо садиться на корточки, отвратительно даже в лучшем своем исполнении, а наше отхожее место сложили из каких-то полированных камней, и было там до того скользко, что приходилось стараться изо всех сил, чтобы устоять на ногах. К тому же оно всегда оказывалось занято. Память сохранила много другого, столь же отталкивающего, но мысль, потом так часто меня изводившая, впервые мелькнула в этом вот сортире: «Мы солдаты революционной армии, мы защищаем демократию от фашизма, мы на войне, на *справедливой* войне, а нас заставляют терпеть такое скотство и унижение, словно мы в тюрьме, уж не говоря про буржуазные армии». Впоследствии было немало такого, что способствовало подобным мыслям,— скажем, тоска окопной жизни, когда нас мучил зверский голод, склоки да интриги из-за каких-нибудь объедков, затяжные скандалы, которые вспыхивали между людьми, измученными нехваткой сна.

Сам ужас армейского существования (каждый, кто был солдатом, поймет, что́ я имею в виду, говоря о всегдашнем ужасе этого существования) остается, в общем-то, одним и тем же, на какую бы войну ты ни угодил. Дисциплина — она одинакова во всех армиях. Приказы надо выполнять, а невыполняющих наказывают; между офицером и солдатом возможны лишь

отношения начальника и подчиненного. Картина войны, возникающая в таких книгах, как «На Западном фронте без перемен», в общем-то, верна. Визжат пули, воняют трупы, люди, очутившись под огнем, часто пугаются настолько, что мочатся в штаны. Конечно, социальная среда, создающая ту или другую армию, сказывается на методах ее подготовки, на тактике и вообще на эффективности ее действий, а сознание правоты дела, за которое сражается солдат, способно поднять боевой дух, хотя боевитость скорее свойство гражданского населения. (Забывают, что солдат, находящийся где-то поблизости от передовой, обычно слишком голоден и запуган, слишком намерзся, а главное, чересчур изнурен, чтобы думать о политических причинах войны.) Но законы природы неотменимы и для «красной» армии, и для «белой». Вши — это вши, а бомбы — это бомбы, хоть ты и дерешься за самое справедливое дело на свете.

Зачем разъяснять вещи, настолько очевидные? А затем, что и английская, и американская интеллигенция в массе своей явно не представляла их себе и не представляет по-прежнему. У людей короткая память, но оглянитесь чуток назад, полистайте старые номера «Нью массез» или «Дейли уоркер» — на вас обрушится лавина воинственной болтовни, до которой были тогда так охочи наши левые. Сколько там бессмысленных, избитых фраз! И какая невообразимая в них тупость! С каким ледяным спокойствием наблюдают из Лондона за бомбежками Мадрида! Я не имею в виду пропагандистов из правого лагеря, всех этих ланнов, гарвиннов et hoc genus[1]; о них что и толковать. Но вот люди, которые двадцать лет без передышки твердили, как глупо похваляться воинской «славой», высмеивали россказни об ужасах войны, патриотические чувства, даже просто проявления мужества,— вдруг они начали писать такое, что, если переменить несколько упомянутых ими имен, решишь, что это — из «Дейли мейл» образца 1918 года. Английская интеллигенция если во что и верила безоговорочно, так это в бессмысленность войны, в то, что она — только горы трупов да вонючие сортиры и что она никогда не может привести ни к чему хорошему. Но те, кто в 1933 году презрительно фыркал, услышав, что при определенных обстоятельствах необходимо сражаться за свою страну, в 1937 году начали клеймить троцкистом и фашистом всякого, кто усомнился бы в абсолютной правдивости статей из «Нью массез», описывающих, как раненые, едва их перевязали, рвутся снова в бой. Причем метаморфоза левой интеллигенции, кричавшей, что «война — это ад», а теперь объявившей, что «война — это дело чести», не только не породила чувства несовместимости подобных лозунгов, но и свершилась без промежуточных стадий. Впоследствии левая интеллигенция по большей части столь же резко меняла свою позицию, и не один раз. Видимо, их очень много, и они составляют основной костяк интеллигенции — те, кто в 1935 году поддерживал декларацию «Корона и страна», два года спустя

[1] И прочих в том же роде *(лат.)*.

потребовали «твердой линии» в отношениях с Германией, еще через три присоединились к Национальной конвенции, а сейчас настаивают на открытии второго фронта.

Что касается широких масс, их мнения, необычайно быстро меняющиеся в наши дни, их чувства, которые можно регулировать, как струю воды из крана,— все это результат гипнотического воздействия радио и телевидения. У интеллигентов подобные метаморфозы, я думаю, скорее вызваны заботами о личном благополучии и просто о физической безопасности. В любую минуту они могут оказаться и «за» войну, и «против» войны, ни в том, ни в другом случае отчетливо не представляя себе, что она такое. С энтузиазмом рассуждая о войне в Испании, они, разумеется, понимали, что на этой войне тоже убивают и что оказаться убитым нерадостно, однако считалось, будто солдат Республиканской армии война почему-то не обрекает на лишения. У республиканцев даже сортиры воняли не так противно, а дисциплина не была настолько суровой. Просмотрите «Нью стейтсмен», чтобы убедиться: именно так и рассуждали; да и теперь о Республиканской армии пишется все тот же вздор. Мы стали слишком цивилизованными, чтобы уразуметь самое очевидное. Меж тем истина совсем проста. Чтобы выжить, надо драться, а когда дерутся, нельзя не перепачкаться грязью. Война — зло, но часто меньшее из зол. Взявшие меч и погибают от меча, а не взявшие меча гибнут от гнусных болезней. Сам факт, что надо напоминать о таких банальностях, красноречиво говорит, до чего мы дошли за годы *паразитического* капитализма.

II

В добавление к сказанному несколько слов о жестокостях. Я мало видел жестокостей на войне в Испании. Знаю, что они иной раз чинились республиканцами и намного чаще (да и сегодня это продолжается) фашистами. Что меня поразило и продолжает поражать — так это привычка судить о жестокостях, веря в них или подвергая их сомнению, согласно политическим предпочтениям судящих. Все готовы поверить в жестокости, творимые врагом, и никто — в творимые армией, которой сочувствуют; факты при этом попросту не принимаются во внимание. Недавно я набросал перечень жестокостей, совершенных с 1918 года до сегодняшнего дня; оказалось, каждый год без исключения где-то совершают жестокости, и трудно припомнить, чтобы хоть раз и левые, и правые приняли на веру свидетельства об одних и тех же бесчинствах. Еще удивительнее, что в любой момент ситуация может круто перемениться, и то, что вчера еще считалось бесспорно доказанным бесчинством, превратится в нелепую клевету — лишь оттого, что иным стал политический ландшафт.

Что касается нынешней войны, ситуация необычна, поскольку наша «кампания жестокостей» была проведена еще до первых выстрелов, причем проводили ее главным образом левые,

хотя при нормальных условиях они всегда твердили, что не верят в рассказы про всякие бесчинства. Правые же, которые так много шумели о жестокостях, пока шла война 1914—1918 годов, предпочли бесстрастно наблюдать происходившее в нацистской Германии, решительно не замечая в ней никакого зла. Но как только началась война, вчерашние пронацисты вовсю закричали о чудовищных ужасах, тогда как антифашистами вдруг овладели сомнения, вправду ли существует гестапо. Тут не только результат советско-германского пакта. Частично все это вызвано тем, что до войны левые ошибочно полагали, будто никогда Германия не нападет на Англию, а оттого можно высказываться и в антинемецком, и в антибританском духе; частично — тем, что официальная военная пропаганда присущими ей отвратительным лицемерием и самонадеянностью обязательно побудит умного человека проникнуться симпатией к врагу. Цена, которую мы заплатили за систематическую ложь в годы первой мировой войны, выразилась и в чрезмерном германофильстве по ее окончании. С 1918 по 1933 год вас освистали бы в любом левом кружке, если бы вы высказались в том духе, что Германия тоже несет хотя бы долю ответственности за войну. Наслушавшись в те годы стольких желчных комментариев по поводу Версальского договора, я что-то не вспомню не то что споров, но хотя бы самого вопроса: «А что было бы, если бы победила Германия?» Точно так же обстоит дело с жестокостями. Правда сразу начинает восприниматься как ложь, если исходит от врага. Я заметил, что люди, готовые принять на веру любой рассказ о бесчинствах, творимых японцами в Нанкине в 1937 году, не верили ни слову о бесчинствах, совершаемых в Гонконге в 1942-м. Стараются даже убедить себя, будто нанкинских жестокостей как бы и не было, просто о них теперь разглагольствует английское правительство, чтобы отвлечь внимание публики.

К сожалению, говоря о бесчинствах, сказать придется и вещи, куда более горькие, чем это манипулирование фактами, становящимися материалом для пропаганды. Горько то, что бесчинства действительно имеют место. Скептицизм нередко порождается тем, что одни и те же ужасы приписываются каждой войне, но из этого прежде всего следует подтверждение истинности подобных рассказов. Конечно, в них воплощаются всякие фантазии, но лишь оттого, что война создает возможность превратить эти небылицы в реальность. Кроме того — теперь говорить это немодно, а значит, надо об этом сказать,— трудно сомневаться в том, что те, кого с допущениями можно назвать «белые», в своих бесчинствах отличаются особой жестокостью, да и бесчинствуют больше, чем «красные». Скажем, относительно того, что творят японцы в Китае, никакие сомнения невозможны. Невозможны они и относительно рассказов о фашистских бесчинствах в Европе, совершаемых вот уже десять лет. Свидетельств накоплено великое множество, причем в значительной части они исходят от немецкой прессы и радио. Все это действительно было — вот о чем надо думать. Это было,

пусть то же самое утверждает лорд Галифакс. Грабежи и резня в китайских городах, пытки в подвалах гестапо, трупы старых профессоров-евреев, брошенные в выгребную яму, пулеметы, расстреливающие беженцев на испанских дорогах,— все это было, и не меняет дела то обстоятельство, что о таких фактах вдруг вспомнила «Дейли телеграф» — с опозданием в пять лет.

III

Теперь два запомнившихся мне эпизода; первый из них ни о чем в особенности не говорит, а второй, думаю, до некоторой степени поможет понять атмосферу революционного времени.

Как-то рано утром мы с товарищем отправились в секрет, чтобы вести снайперский огонь по фашистам; дело происходило под Уэской. Их и наши окопы разделяла полоса в триста ярдов — дистанция, слишком большая для наших устаревших винтовок; надо было подползти метров на сто к позициям фашистов, чтобы при удаче кого-нибудь из них подстрелить через щели в бруствере. На наше горе, нейтральная полоса проходила через открытое свекольное поле, где негде было укрыться, кроме двух-трех канав; туда надлежало добраться затемно, а возвращаться с рассветом, пока не взошло солнце. В тот раз ни одного фашистского солдата не появилось — мы просидели слишком долго, и нас застигла заря. Сами мы сидели в канаве, а сзади — двести ярдов ровной земли, где и кролику не затаиться. Мы собрались с духом, чтобы все же попробовать броском вернуться к своим, как вдруг в фашистских окопах поднялся гвалт и загомонили свистки. Появились наши самолеты. И тут из окопа выскочил солдат, видимо, посланный с донесением командиру; он побежал, поддерживая штаны обеими руками, вдоль бруствера. Он не успел одеться и на бегу подтягивал штаны. Я не стал в него стрелять. Правда, стрелок я неважный и вряд ли со ста ярдов попал бы, да и хотелось мне одного — добежать назад, пока фашисты заняты самолетами. Но при всем том не выстрелил я главным образом из-за того, что у него были спущены штаны. Я ведь ехал сюда убивать «фашистов», а этот, натягивающий штаны,— какой он «фашист», просто парень вроде меня, и как в него выстрелить?!

О чем говорит этот случай? Да ни о чем в особенности, потому что такое все время происходит на любой войне. Второй случай — совсем другое дело. Не уверен, что смогу о нем рассказать так, чтобы вы были тронуты, но, поверьте, на меня он произвел глубочайшее впечатление и дал почувствовать моральный дух того времени.

Еще когда я проходил подготовку, как-то появился у нас в казарме жалкий мальчишка из барселонских трущоб. Он был оборван и бос. Да и кожа у него была совсем темная (видимо, примешалась арабская кровь), и жестикулировал он отчаянно, не как европейцы,— особенно запомнилась мне протянутая рука с вертикально поставленной ладонью, чисто по-индейски. Как-то у меня стянули пачку дешевеньких сигар, тогда их

можно было еще купить. По глупости я доложил об этом офицеру, и один из тех прохвостов, о которых я упоминал, тут же закричал, что у него тоже кое-что пропало — 25 песет. Почему-то офицер сразу решил, что вор — тот темнокожий подросток. В милиции за воровство карали очень сурово, теоретически могли даже расстрелять. Несчастного парнишку повели в караулку и обыскали, он не сопротивлялся. Всего больше меня поразило, что он почти и не пытался доказать свою невиновность. Фатализм его говорил о том, в какой же отчаянной нужде он вырос. Офицер приказал ему раздеться. Со смирением, внушавшим мне ужас, он снял с себя все до последнего лоскута, тряпки его перетряхнули. Понятно, не нашлось ни сигар, ни монет; он их действительно не крал. Самое печальное было то, что и потом, когда подозрения отпали, он стоял все с тем же выражением стыда на лице. Вечером я пригласил его в кино, угостил коньяком и шоколадом. Впрочем, сама попытка загладить деньгами мой проступок перед ним — разве это не ужасно? Ведь, пусть на минуту, я решил, что он вор, а такое не искупается.

Прошло несколько недель, я уже был на фронте, и у меня начались неприятности с солдатом моего отделения. Я получил звание «капо», то есть капрала, и под моей командой находилось двенадцать человек. На фронте стояло затишье, было чудовищно холодно, и главная моя забота состояла в том, чтобы часовые не засыпали на посту. И вдруг один солдат отказывается идти в караул, утверждая — вполне справедливо,— что позиция, куда его направили, пристреляна противником. Человек он был хилый, вот я и сгреб его в охапку, насильно заставляя выполнить приказ. Остальные тут же прониклись ко мне враждебностью — испанцы, когда их хватают, похоже, взрываются быстрее, чем мы. Меня вмиг окружили с криками: «Фашист! Фашист! Отпусти его! Тут не буржуйская армия, ты, фашист!» и т. д. Насколько позволял мой скверный испанский язык, я отвечал им, тоже крича во всю глотку, что приказы надо выполнять; начавшись с пустяка, вырос один из тех грандиозных скандалов, которые разваливают всякую дисциплину в Республиканской армии. Кто-то был на моей стороне, другие против меня. Рассказываю я об этом к тому, что горячее всех меня поддерживал этот чумазый подросток. Едва разобравшись что к чему, он пробился поближе ко мне и принялся страстно доказывать мою правоту. Он орал, вытягивая руку по-индейски: «Да вы что, он же у нас самый хороший капрал!» (¡No hay cabo como el!). Позднее он подал просьбу перевести его в мое отделение.

Почему это происшествие так меня растрогало? Потому что в обычных обстоятельствах было бы немыслимо, чтобы между нами снова установилась симпатия. Как бы я ни старался извиниться за то, что подозревал его в краже, это его не смягчило бы, а только еще более ожесточило. Спокойная цивилизованная жизнь имеет еще и ту особенность, что развивает крайнюю, чрезмерную тонкость чувств, при которой любые

из главнейших человеческих побуждений начинают выглядеть слишком грубыми. Щедрость ранит так же сильно, как черствость, а проявления благодарности неприятны не меньше, чем свидетельства черствости души. Но в Испании 1936 года мы переживали ненормальное время. Широкие чувства и жесты там казались естественнее, чем бывает обычно. Я мог бы рассказать еще десяток похожих историй, которые ничего примечательного в себе не содержат, однако врезались мне в память, потому что в них этот особый воздух времени, когда все ходили в потрепанных костюмах, а со стен сверкали яркие краски революционных плакатов, и друг к другу обращались только словом «товарищ», и можно было за пенни купить на любом углу отпечатанные листовками на прозрачной бумаге антифашистские стихи, а выражения вроде «международной солидарности пролетариата» произносились с пафосом, потому что неграмотные люди, любившие их повторять, верили, что такие фразы что-то означают. Разве можно испытывать к человеку дружеское расположение и поддержать его в минуту спора, если, заподозрив, что ты у этого человека что-то украл, тебя в его присутствии бесцеремонно обыскивали? Нельзя, конечно,— и все-таки можно, если вас объединило нечто такое, что придает чувствам широту. А это одно из косвенных следствий революции, хотя в данном случае революция осталась незавершенной и, как все понимали, была обречена.

IV

Борьба за власть между различными группировками испанской Республики — тема больная и слишком сложная; я не хочу ее касаться, не пришло еще время. Упоминаю об этом с единственной целью предупредить: не верьте ничему, или почти ничему из того, что пишется про внутренние дела в правительственном лагере. Из каких бы источников ни исходили подобные сведения, они остаются пропагандой, подчиненной целям той или иной партии,— иначе сказать, ложью. Правда же о войне, если говорить широко, достаточно проста. Испанская буржуазия увидела возможность сокрушить рабочее движение и сокрушила его, прибегнув к помощи нацистов, а также реакционеров всего мира. Сомневаюсь, чтобы когда бы то ни было удалось определить суть случившегося более точно.

Помнится, я как-то сказал Артуру Кёстлеру: «История в 1936 году остановилась»,— и он кивнул, сразу поняв, о чем речь. Оба мы подразумевали тоталитаризм — в целом и особенно в тех частностях, которые характерны для гражданской войны в Испании. Еще смолоду я убедился, что нет события, о котором правдиво рассказала бы газета, но лишь в Испании я впервые наблюдал, как газеты умудряются освещать происходящее так, что их описания не имеют к фактам ни малейшего касательства,— было бы даже лучше, если бы они откровенно врали. Я читал о крупных сражениях, хотя на деле не прозвучало ни выстрела, и не находил ни строки о боях, когда

погибали сотни людей. Я читал о трусости полков, которые в действительности проявили отчаянную храбрость, и о героизме победоносных дивизий, которые находились за километры от передовой, а в Лондоне газеты подхватывали все эти вымыслы, и увлекающиеся интеллектуалы выдумывали глубокомысленные теории, основываясь на событиях, каких никогда не было. В общем, я увидел, как историю пишут, исходя не из того, что происходило, а из того, что должно было происходить согласно различным партийным «доктринам». Это было ужасно, хотя, впрочем, в каком-то смысле не имело ни малейшего значения. Ведь дело касалось вовсе не самого главного — речь, в частности, шла о борьбе за власть между Коминтерном и испанскими левыми партиями, а также о стремлениях русского правительства не допустить настоящей революции в Испании. Общая картина войны, которую рисовали испанские правительственные сообщения, не была лживой. Все главное, что происходило на войне, в этих сообщениях указывалось. Что же касается фашистов с их сторонниками, разве могли они придерживаться такой правды? Разве они бы сказали о своих истинных целях? Их версия событий являлась абсолютным вымыслом и другой при данных обстоятельствах быть не могла.

Единственный пропагандистский трюк, который мог удаться нацистам и фашистам, заключался в том, чтобы изобразить себя христианами и патриотами, спасающими Испанию от диктатуры русских. Чтобы этому поверили, надо было изображать жизнь в контролируемых правительством областях как непрерывную кровавую бойню (взгляните, что пишут «Католик херальд» и «Дейли мейл» — правда, все это кажется детски невинным по сравнению с измышлениями фашистской печати в Европе), а кроме того, до крайности преувеличивать масштабы вмешательства русских. Из всего нагромождения лжи, которая отличала католическую и реакционную прессу, я коснусь лишь одного пункта — присутствия в Испании русских войск. Об этом трубили все преданные приверженцы Франко, причем говорилось, что численность советских частей чуть не полмиллиона. А на самом деле никакой русской армии в Испании не было. Были летчики и другие специалисты-техники, может быть, несколько сот человек, но не было армии. Это могут подтвердить тысячи сражавшихся в Испании иностранцев, не говоря уже о миллионах местных жителей. Но такие свидетельства не значили ровным счетом ничего для франкистских пропагандистов, из которых ни один не побывал на нашей стороне фронта. Зато этим пропагандистам хватало наглости отрицать факт немецкой и итальянской интервенции, хотя итальянские и немецкие газеты открыто воспевали подвиги своих «легионеров». Упоминаю только об этом, но ведь в таком стиле велась вся фашистская военная пропаганда.

Меня пугают подобные вещи, потому что нередко они заставляют думать, что в современном мире вообще исчезло понятие объективной истины. Кто поручится, что подобного рода или сходная ложь в конце концов не проникнет в историю?

И как будет восстановлена подлинная история испанской войны? Если Франко удержится у власти, историю будут писать его ставленники, и — раз уж об этом зашла речь — сделается фактом присутствие несуществовавшей русской армии в Испании, и школьники будут этот факт заучивать, когда сменится не одно поколение. Но допустим, что фашизм потерпит поражение и в сравнительно недалеком будущем власть в Испании перейдет в руки демократического правительства — как восстановить историю войны даже при таких условиях? Какие свидетельства сохранит Франко в достояние потомкам? Допустим, что не погибнут архивы с документами, накопленными республиканцами,— все равно, каким образом восстановить настоящую историю войны? Ведь я уже говорил, что республиканцы тоже часто прибегали ко лжи. Занимая антифашистскую позицию, можно создать в целом правдивую историю войны, однако это окажется пристрастная история, которой нельзя доверять в любой из не самых важных подробностей. Во всяком случае, *какую-то* историю напишут, а когда уйдут все воевавшие, эта история станет общепринятой. И значит, если смотреть на вещи реально, ложь с неизбежностью приобретает статус правды.

Знаю, распространен взгляд, что всякая принятая история непременно лжет. Готов согласиться, что история большей частью неточна и необъективна, но особая мета нашей эпохи — отказ от самой идеи, что *возможна* история, которая правдива. В прошлом врали с намерением или подсознательно, пропускали события через призму своих пристрастий или стремились установить истину, хорошо понимая, что при этом не обойтись без многочисленных ошибок, но, во всяком случае, верили, что есть «факты», которые более или менее возможно отыскать. И действительно, всегда накапливалось достаточно фактов, не оспариваемых почти никем. Откройте Британскую энциклопедию и прочтите в ней о последней войне — вы увидите, что немало материалов позаимствовано из немецких источников. Историк-немец основательно разойдется с английским историком по многим пунктам, и все же останется массив, так сказать, нейтральных фактов, насчет которых никто и не будет полемизировать всерьез. Тоталитаризм уничтожает эту возможность согласия, основывающегося на том, что все люди принадлежат к одному и тому же биологическому виду. Нацистская доктрина особенно упорно отрицает существование этого вида единства. Скажем, нет просто науки. Есть «немецкая наука», «еврейская наука» и т. д. Все такие рассуждения конечной целью имеют оправдание кошмарного порядка, при котором Вождь или правящая клика определяют не только будущее, но и *прошлое*. Если Вождь заявляет, что такого-то события «никогда не было», значит, его не было. Если он думает, что дважды два пять, значит, так и есть. Реальность этой перспективы страшит меня больше, чем бомбы, а ведь перспектива не выдумана, коли вспомнить, что нам довелось наблюдать в последние несколько лет.

Не детский ли это страх, не самоистязание ли — мучить себя видениями тоталитарного будущего? Но, прежде чем объявить тоталитарный мир наваждением, которое не может сделаться реальностью, задумайтесь о том, что в 1925 году сегодняшняя жизнь показалась бы наваждением, которое реальностью стать не может. Есть лишь два действенных средства предотвратить фантасмагорию, когда черное завтра объявляют белым, а вчерашнюю погоду изменяют соответствующим распоряжением. Первое из них — признание, что истина, как бы ее ни отрицали, тем не менее существует, следит за всеми вашими поступками, поэтому нельзя ее уродовать способами, призванными ослабить ее воздействие. Второе — либеральная традиция, которую можно сохранить, пока на Земле остаются места, не завоеванные ее противниками. Представьте себе, что фашизм или некий гибрид из нескольких разновидностей фашизма воцарился повсюду в мире,— тогда оба эти средства исчезнут. Мы в Англии недооцениваем такую опасность, поскольку своими традициями и былым сознанием защищенности приучены к сентиментальной вере, что в конце концов все устраивается лучшим образом и того, чего более всего страшишься, не происходит. Сотни лет воспитывавшиеся на книгах, где в последней главе непременно торжествует Добро, мы полуинстинктивно верим, что злые силы с ходом времени покарают сами себя. Главным образом на этой вере, в частности, основывается пацифизм. Не противьтесь злу, оно каким-то образом само себя изживет. Но, собственно, почему, какие доказательства, что так и должно произойти? Есть хоть один пример, когда современное промышленно развитое государство рушилось, если по нему не наносился удар военной мощью противника?

Задумайтесь хотя бы о возрождении рабства. Кто мог представить себе двадцать лет назад, что рабство вновь станет реальностью в Европе? А к нему вернулись прямо у нас на глазах. Разбросанные по всей Европе и Северной Африке трудовые лагеря, где поляки, русские, евреи и политические узники других национальностей строят дороги или осушают болота, получая за это ровно столько хлеба, чтобы не умереть с голоду,— это ведь самое типичное рабство. Ну, разве что пока еще отдельным лицам не разрешено покупать и продавать рабов. Во всем прочем — скажем, в том, что касается разъединения семей,— условия наверняка хуже, чем были на американских хлопковых плантациях. Нет никаких оснований полагать, что это положение вещей изменится, пока сохраняется тоталитарный гнет. Мы не постигаем всего, что он означает, ибо в силу какой-то мистики проникнуты чувством, что режим, который держится на рабстве, *должен* рухнуть. Но стоило бы сравнить сроки существования рабовладельческих империй древности и всех современных государств. Цивилизации, построенные на рабстве, иной раз существовали по четыре тысячи лет.

Вспоминая древность, я со страхом думаю о том, что те

миллионы рабов, которые веками поддерживали благоденствие античных цивилизаций, не оставили по себе никакой памяти. Мы даже не знаем их имен. Сколько имен рабов можно назвать, перебирая события греческой и римской истории? Я сумел бы привести два, максимум три. Спартак и Эпиктет. Кроме того, в Британском музее, в кабинете римской истории, хранится стеклянный сосуд, на дне которого выгравировано имя сделавшего его мастера: "Felix fecit". Я живо представляю себе этого бедного Феликса (рыжеволосый галл с металлическим ободом на шее), но на самом деле он, возможно, и не был рабом, так что достоверно мне известно только два имени, и, может быть, лишь немногие другие сумеют назвать больше. Все остальные рабы исчезли бесследно.

V

Главное сопротивление Франко оказывал испанский рабочий класс, особенно городские профсоюзы. Потенциально — важно помнить, что только потенциально,— рабочий класс остается самым последовательным противником фашизма просто по той причине, что переустройство общества на началах разумности дает рабочему классу всего больше. В отличие от других классов и прослоек пролетариат невозможно все время подкупать.

Сказав это, я не хочу идеализировать рабочих. В той длительной борьбе, которая развернулась после русской революции, поражение понесли именно они, и нельзя не видеть, что повинны в этом они сами. Постоянно то в одной стране, то в другой организованное рабочее движение подавлялось открытым беззаконным насилием, а пролетарии других стран, которые по теории должны были испытывать чувство солидарности, наблюдали за этим со стороны, не ударив пальцем о палец; причина — она-то и объясняет многие втайне совершенные предательства — та, что между белыми и цветными рабочими о солидарности никогда и речи не заходило. Кто же поверит в международную классовую сознательность пролетариата после событий последних десяти лет? Английских рабочих куда больше интересовал и будоражил результат вчерашнего футбольного матча, чем расправы над их товарищами в Вене, Берлине, Мадриде и еще где угодно. Но это не изменит моего убеждения, что рабочий класс будет бороться с фашизмом даже после того, как все другие капитулируют. Во Франции немцы победили с такой легкостью еще и оттого, что поразительную нестойкость выказали интеллигенты, включая тех, кто держался левых политических взглядов. Интеллигенты громче всех протестуют против фашизма, но очень многие из них впадают в пораженческие настроения, как только фашизм наносит свой удар. Они слишком хорошо все предвидят, чтобы недооценивать нависшую над ними угрозу, а главное, они поддаются подкупу; нацисты же, совершенно очевидно, считают нужным не скупиться на подачки, чтобы купить

10—193

интеллигенцию. С рабочим классом все наоборот. Не умея распознать обмана, рабочие легко поддаются на приманки фашизма, но рано или поздно обязательно становятся его противниками. По-иному быть не может, оттого что они на собственной шкуре убеждаются в ложности всех фашистских посулов. Чтобы обеспечить себе стойкую поддержку рабочих, фашизм должен был бы повысить общий уровень жизни, а этого он не может, да, видимо, и не добивается. Борьба пролетариата напоминает рост растения. Оно слепо и неразумно, но достаточно инстинкта, чтобы оно тянулось к свету, и, какие бы нескончаемые препятствия ни возникали, оно все равно к нему тянется. За что борются рабочие? Просто за сносную жизнь, которая — это они понимают все лучше — теперь вполне для них возможна. Они осознают это то более отчетливо, то инстинктивно. В Испании было время, когда люди к этому стремились совершенно осознанно, видя перед собой конкретную задачу, которую надо решить, и веря, что они ее решат. Вот откуда свойственный республиканской Испании первых месяцев войны необыкновенный подъем духа. Простой народ безошибочно чувствовал, что Республика ему нужна, а Франко враждебен. Люди сознавали свою правоту, потому что сражались, отстаивая то, что мир обязан был и мог им дать.

Об этом надо помнить, чтобы правильно понять испанскую войну. Замечая одни только жестокости, гнусность, бессмысленность войны — а в данном случае еще и казни, интриги, ложь, неразбериху,— трудно удержаться от вывода, что «одни ничуть не хуже других. Я сохраню нейтралитет». Однако на деле нейтральным быть нельзя, и вообще трудно представить себе войну, когда было бы безразлично, кто победит. Почти всегда одна сторона более или менее ясно знаменует прогресс, а другая — реакцию. Ненависть, вызываемая Республикой у миллионеров, аристократов, кардиналов, прожигателей жизни, полковников блимпов и прочей публики такого рода, сама по себе достаточна, чтобы ощутить расстановку сил. По сути, это была классовая война. Если бы в ней победила Республика, выиграло бы дело простого народа повсюду на Земле. Но победил Франко, и повсюду на Земле держатели прибыльных акций потирали руки. Вот в чем главное, а все прочее — только накипь.

VI

Исход испанской войны решался в Лондоне, Париже, Риме, Берлине — где угодно, только не в Испании. После лета 1937 года все, кто был способен видеть вперед, поняли, что Республике не победить, если не произойдет глубоких перемен в международной расстановке сил, и, решив продолжить борьбу, Негрин со своим правительством, видимо, отчасти рассчитывали, что мировая война, разразившаяся в 1939 году, начнется годом раньше. Раздоры в лагере Республики, о которых так много писали, не были главной причиной поражения. Созданная правительством милиция собиралась наспех, ее плохо вооружили,

тактика была примитивной, но ничего бы не переменилось и при условии изначально полного политического единства. Когда вспыхнула война, простой испанский рабочий с фабрики не умел стрелять из винтовки (в Испании никогда не было всеобщей воинской повинности), сильно мешал наладить противодействие традиционный пацифизм левых. Тысячи иностранцев, сражавшихся в Испании, были хороши в окопах, но людей, владеющих какой-нибудь военной специальностью, среди них нашлось очень мало. Утверждение троцкистов, что войну можно было выиграть, если бы не саботировали революцию, вероятно, неверны. Оттого, что были бы национализированы заводы, разрушены церкви и написаны революционные манифесты, армии не прибавилось бы умения. Фашисты победили, поскольку были сильнее; у них было современное оружие, а у Республики — нет. Политическая стратегия изменить тут ничего не могла.

Самое непостижимое в испанской войне — это позиция великих держав. Фактически войну выиграли для Франко немцы и итальянцы, чьи мотивы были совершенно ясны. Труднее осознать мотивы, которыми руководствовались Франция и Англия. Кто в 1936 году не понимал, что, достаточно было Англии оказать испанскому правительству помощь, хотя бы поставив оружия на несколько миллионов фунтов, Франко был бы разгромлен, а по немцам нанесен мощный удар. Не требовалось в то время быть ясновидящим, чтобы предсказать близящуюся войну Англии с Германией; можно было даже с определенностью назвать дату ее начала — через год или два. И тем не менее самым подлым, трусливым и лицемерным способом английские правящие классы отдали Испанию Франко и нацистам. Почему? Самый простой ответ: потому что были профашистски настроены. Это, вне сомнения, так, и все же, когда дело дошло до решительного выбора, они оказались против Германии. По сей день остается очень неясным, какие у них были планы, когда они поддерживали Франко; возможно, никаких конкретных не было. Злонамеренны или просто глупы английские правители — вопрос, на который в наше время ответить крайне сложно, а бывает, что этот вопрос становится чрезвычайно важным. Что же до русских, цели, которые они преследовали в испанской войне, совершенно непостижимы. Может, правы наивные либералы, полагающие, что русские участвовали в войне для того, чтобы, защищая демократию, обуздать нацизм? Но если так, отчего их участие было столь ничтожным по масштабам и зачем они бросили Испанию, когда ее положение стало критическим? Или согласиться с католиками, которые уверяли, что русское вмешательство должно было раздуть в Испании революционный пожар? Но зачем же они сделали все от них зависящее, чтобы подавить испанское революционное движение, защитить частную собственность и предоставить власть не рабочим, а среднему классу? А может быть, правы троцкисты, заявившие, что целью вмешательства было *предотвратить* революцию в Испании? Тогда проще было вступить в союз с Франко. Понятнее всего их действия становятся,

если видеть за этой линией несколько мотивов, противоречащих один другому. Уверен, со временем выяснится, что внешняя политика Сталина, претендующая выглядеть дьявольски умной, на самом деле представляет собой примитивный оппортунизм. Как бы то ни было, испанская война продемонстрировала, что нацисты имели четкий план действий, а их противники — нет. С профессиональной точки зрения война велась на очень низком уровне, а основная стратегия была предельно простой. Побеждали те, кто был лучше вооружен. Нацисты вместе с итальянцами поставляли оружие своим друзьям-фашистам в Испании, а западные демократы и Россия отказывали в оружии тем, в ком следовало им видеть своих друзей. И поэтому Республика погибла, «изведав все, что ни одну республику не минет».

Трудный вопрос, правильно ли было побуждать испанцев, хотя победить они не могли, драться до последнего, к чему их дружно призывали левые в других странах. Лично я думаю, что правильно, потому что, на мой взгляд, даже чтобы выжить, лучше сражаться и потерпеть поражение, чем капитулировать без борьбы. Пока еще рано говорить об уроках, которыми важна эта война, для того чтобы найти правильную тактику в битве с фашизмом. Оборванные, плохо вооруженные армии Республики продержались два с половиной года — несомненно, гораздо дольше, чем ожидал противник. Но и сегодня никто не знает, помешала ли фашистам эта затяжка держаться составленного ими графика или, наоборот, отсрочила большую войну, предоставив нацизму лишнее время, когда они доводили до совершенства свою военную машину.

VII

Думая об испанской войне, я всегда вспоминаю два эпизода. Вот первый: госпиталь в Лериде, печальные голоса солдат из милиции, поющих песню с припевом, который кончался так:

Una resolucion
Luchar hast' al fin![1]

Что же, они и боролись до самого конца. Последние полтора года солдаты Республики сидели на самом скудном рационе и обходились почти без сигарет. Даже в середине 1937 года, когда я покинул Испанию, мясо и хлеб исчезли, табак стал редкостью, а кофе и сахар были недостижимой мечтой.

А вот и второе, что запомнилось: итальянец из милиции, который приветствовал меня в тот день, когда я в нее вступил. Я писал о нем на первых страницах своей книги про испанскую войну и здесь не хочу повторяться. Стоит мне мысленно увидеть перед собой — совсем живым! — этого итальянца в засаленном мундире, стоит вглядеться в это суровое, одухотворенное, непорочное лицо, и все сложные выкладки, касающиеся войны,

[1] И наша решимость бороться до конца *(исп.)*.

утрачивают значение, потому что я точно знаю одно: не могло тогда быть сомнения, на чьей стороне правда. Какие бы ни плели политические интриги, какую бы ложь ни писали в газетах, главным в этой войне было стремление людей вроде моего итальянца обрести достойную жизнь, которую — они это понимали — от рождения заслуживает каждый. Думать о том, какая судьба ждала этого итальянца, горько, и сразу по нескольким причинам. Поскольку мы встретились в военном городке имени Ленина, он, видимо, принадлежал либо к троцкистам, либо к анархистам, а в наше необыкновенное время таких людей непременно убивают — не гестапо, так ГПУ. Это, конечно, вписывается в общую ситуацию со всеми ее непреходящими проблемами. Лицо этого итальянца, которого я и видел-то мимолетно, осталось для меня зримым напоминанием о том, из-за чего шла война. Я его воспринимаю как символ европейского рабочего класса, который травит полиция всех стран, как воплощение народа — того, который лег в братские могилы на полях испанских сражений, того, который теперь согнан в трудовые лагеря, где уже несколько миллионов заключенных.

Называя имена людей, которые поддерживают фашизм или оказали ему свои услуги, поражаешься, как они несхожи. Что за конгломерат! Назовите мне иную политическую платформу, которая сплотила бы таких приверженцев, как Гитлер, Петен, Монтегю Норман, Павелич, Уильям Рэндолф Херст, Стрейчер, Бухман, Эзра Паунд, Хуан Марч, Кокто, Тиссен, отец Кафлин, муфтий Иерусалимский, Арнольд Ланн, Антонеску, Шпенглер, Биверли Николс, леди Хаустон и Маринетти, побудив всех их сесть в одну лодку! Но на самом деле это несложно объяснить. Все они из тех, кому есть что терять, или мечтатели об иерархическом обществе, которые страшатся самой мысли о мире, где люди станут свободны и равны. За всем крикливым пустословием насчет «безбожной» России и вульгарного «материализма», отличающего пролетариат, скрывается очень простое желание людей с деньгами и привилегиями удержать им принадлежащее. То же самое относится и к разговорам о бессмыслице социальных преобразований, пока им не сопутствует «совершенствование души», которое, на их взгляд, внушает куда больше надежд, чем изменение экономической системы. Петен объясняет крушение Франции тем, что народ «желает наслаждений». Чтобы отенить это высказывание, надо всего лишь сопоставить наслаждения, доступные обычному французскому крестьянину или рабочему, с теми, которым волен предаваться сам Петен. А наглость, с какой все эти политики, священнослужители, литераторы и прочие поучают рабочего-социалиста, коря его за «материализм»! А ведь рабочий требует для себя не более того, что эти проповедники считают жизненно необходимым минимумом. Чтобы в доме была еда, чтобы избавиться от гнетущего страха безработицы, чтобы не сомневаться в будущем детей, чтобы раз в день принять ванну и чтобы постельное белье менялось как полагается, а крыша не протекала и работа не отнимала все время, оставляя хотя бы немного сил, когда прозвучит

гудок на ее окончание. Никто из обличающих «материализм» не мыслит без всего этого нормальной жизни. А как легко было бы достичь такого минимума, стремись мы к этой цели хотя бы лет двадцать! Чтобы весь мир добился уровня жизни Англии — для этого не потребовалось бы затрат больше, чем те, каких требует нынешняя война. Я не утверждаю — да и никто не утверждает,— что сама по себе подобная цель достаточна, а остальное решится само собой. Я говорю лишь о том, что с лишениями, с животным трудом должно быть покончено, прежде чем подступаться к большим проблемам, стоящим перед человечеством. Самая сложная из них в наше время создана утратой веры в личное бессмертие, и сделать тут нельзя ничего, пока обычный человек вынужден работать, как скот, и дрожать от страха перед тайной полицией. Как правы рабочие в своем «материализме»! Как они правы, считая, что сначала надо наесться, а потом хлопотать о душе, подразумевая просто порядок действий, а не ценностей! Уразумеем это, и тогда переживаемый нами кошмар хотя бы сделается объяснимым. Все наблюдения, способные сбить с толку, все эти сладкие речи какого-нибудь Петена или Ганди, и необходимость пятнать себя низостью, сражаясь на войне, и двусмысленная роль Англии с ее демократическими лозунгами, а также империей, где трудятся кули, и зловещий ход жизни в Советской России, и жалкий фарс левой политики — все это оказывается несущественным, если видишь главное: борьбу постепенно обретающего сознание народа с собственниками, с их оплачиваемыми лжецами, с их прихлебалами. Вопрос стоит просто. Узнают ли такие люди, как тот солдат-итальянец, достойную, истинно человечную жизнь, которая сегодня может быть обеспечена, или этого им не дано? Загонят ли простых людей обратно в трущобы, или это не удастся? Сам я, может быть, без достаточных оснований верю, что рано или поздно обычный человек победит в своей борьбе, и я хочу, чтобы это произошло не позже, а раньше — скажем, в ближайшие сто лет, а не в следующие десять тысячелетий. Вот что было настоящей целью войны в Испании, вот что является настоящей целью нынешней войны и возможных войн будущего.

Больше я не встречал моего итальянца, и мне не удалось узнать его имя. Можно считать несомненным, что он погиб. Через два года после нашей встречи, когда война была явно проиграна, я написал в память о нем стихи.

Солдат-итальянец мне руку пожал
В караулке, где встретились мы.
Мои тонкие пальцы в ладони он смял,
Красной, как слой сурьмы.

Нам бы свидеться с ним никогда не пришлось,
Если б пушки молчали вокруг.
Но теперь то, о чем я мечтал, сбылось,
Потому что нашелся друг.

Для тебя те слова, от которых тошнит,
Святые — ты смысл их постиг.
И знанье людей тебя не тяготит,
Ты усвоил его не из книг.

Нас битва влекла и пьянила борьба,
Мы оба ринулись в бой.
И вот оказалось, что это судьба,
Но лишь после встречи с тобой.

Что ж, удачи тебе, итальянец-солдат!
Но удачи для храбрых нет.
И не думай, чем люди тебя наградят,
Пусть душа свой оставит след.

А где скитаться ей суждено?
Между призраков и теней,
Между пулей и ложью — они заодно,
Между белых и красных огней.

Ибо где он, Гонсалес Мануэль,
Агилар где, скажи скорей?
И где Рамон Фенеллоса теперь?
Об этом спроси у червей.

И имя, и дело твое зачеркнут
До того, как костям истлеть.
А ложь, что убила тебя, погребут
Под ложью, чтоб ей не взлететь.

Но то, что в тебе увидел я,
Насилием не сломить,
Чист твой дух, и безгрешна совесть твоя —
Их бомбами не убить.

1942

ПРИСЯЖНЫЙ ЗАБАВНИК

Наконец-то Марк Твен распахнул тяжелые ворота и вошел в «Библиотеку для всех», правда, только с двумя романами — «Приключениями Тома Сойера» и «Приключениями Гекльберри Финна»,— которые достаточно хорошо известны под маркой «книг для детей» (каковыми они, конечно же, не являются). Его лучшие, наиболее характерные книги: «Налегке» (или «Простаки — дома») и даже «Жизнь на Миссисипи» — плохо знают у нас, хотя в Америке их читают и перечитывают благодаря чувству патриотизма, повсеместно вторгающемуся в литературные оценки.

Марк Твеи создавал поразительно многообразиые сочинеиия — от слащавой «биографии» Жанны д'Арк до такого шокирующего трактата, который был напечатаи только для приватного пользования, одиако лучшее из иаписанного им вертится вокруг Миссисипи и глухих приисковых поселков иа Дальнем Западе. Родился Твен в 1835 году в семье южаниина средией руки, владевшего одиим-двумя рабами. Его юность и молодые годы пришлись на «золотой век» в Америке, иа ту пору, когда шло покореиие огромных равниииных просторов, перед людьми открывались безграничные возможности, маячили неслыханные богатства и человеческое племя чувствовало себя свободным — оио *на самом деле* было свободным, каким никогда ие было и, вероятно, не будет еще несколько столетий. «Налегке» и «Жизнь на Миссисипи» — это собрания всякой всячииы: забавиых историй, жанровых зарисовок, описаний быта и нравов. То серьезиые, то смешные картины тогдашнего житья-бытья связаны одиой темой, которую лучше всего, пожалуй, выразить так: «Смотрите, вот как ведут себя люди, которые не боятся, что завтра их уволят». Сочиняя эти книги, Марк Твен отнюдь не думал слагать гимн свободе. Его интересует прежде всего многообразие человеческой природы, оригинальиые, чудные, едва ли не безумные типы, которые оиа способна производить, если ие испытывает экоиомического прииуждения и груза традиций. Описывая миссисипских лоцманов, плотовщиков, старателей, бандитов, он вряд ли впадает в преувеличения, хотя они так же непохожи на современного человека, как химеры, украшающие готические соборы, да и друг иа друга тоже. Благодаря отсутствию внешиего давления в них развилось сильиое индивидуальное иачало, странное, а иногда и страшное. Государствеииая власть сюда практически ие простиралась, церковь была слаба, проповедовала разиыми голосами, а земли было вдоволь — только грабастай. Если тебе разоиравилась работа, ты мог двииуть хозяину в зубы и податься дальше на Запад. И главное, деньги были полноценны, самая мелкая монета ходила как добрый шиллинг.

Америкаиские пионеры вовсе не были какими-то сверхчеловеками, им даже мужество измеияло. Целые поселки загрубелых золотоискателей позволяли баидитам терроризировать себя: им ие хватало согласия, гражданского духа дать тем отпор. Они даже знали классовые различия. По старательской деревие прохаживался некий господин в сюртуке и цилиидре, ио в жилетиом кармане у него лежал крупнокалиберный револьвер; хотя иа его счету было двадцать трупов, он упорно называл себя джентльмеиом и за столом держался безупречно. Как бы то ни было, судьба человека не была предопределеиа от рождения. Пока оставались свободные земли, выражеиие «Из бревенчатой хижины в Белый дом» еще ие сделалось мифом. В известиом смысле именно ради этого парижские толпы штурмовали Бастилию, и, читая Твена, Брет Гарта, Уитмена, чувствуешь, что их стараиия были ие напрасны.

Сам же Марк Твеи ие хотел быть только хроникером

Миссисипи и эпохи Золотой лихорадки — он метил выше. Его знали во всем мире как юмориста и лектора-балагура. Многочисленные аудитории в Нью-Йорке, Лондоне, Берлине, Вене, Мельбурне, Калькутте буквально покатывались со смеху, слушая его шутки и остроты, однако сейчас почти все они выдохлись и больше не смешны. (Стоит заметить, что выступления Марка Твена имели успех только у англосаксов и немцев. Что до более развитой и искушенной публики романских стран, где, как он сам сетовал, юмор вертится вокруг пола и политики, то она оставалась равнодушной к нему.)

Помимо всего прочего, Марк Твен претендовал на роль критика общества, а то и своего рода философа. У него действительно были задатки бунтаря, даже революционера, и он, очевидно, хотел развить их, но почему-то так и не развил. Он мог бы стать обличителем притворщиков и пустозвонов, глашатаем демократии, причем более значительным, чем Уитмен, благодаря духовному здоровью и врожденному чувству юмора. Вместо этого он заделался «общественным деятелем» — той самой сомнительной фигурой, перед которой угодничают дипломаты и которую жалуют венценосные особы. Возвышение Марка Твена отражает вырождение американской жизни, начавшееся после Гражданской войны.

Твена часто сравнивают с его современником, Анатолем Франсом, и это сравнение отнюдь не беспочвенно, как может показаться с первого взгляда. Оба были духовными сыновьями Вольтера, природа наделила их ироничностью и пессимизмом по отношению к жизни. Оба знали, что существующий социальный порядок — это сплошной обман, а так называемые заветные чаяния народа по большей части глубокие заблуждения. Отъявленные безбожники, оба были убеждены в том, что вселенная слепа и жестока (Твен — под влиянием Дарвина). Но здесь сходство кончается. Французский писатель гораздо более образован и начитан, более чуток в эстетическом отношении, и, главное, он обладал бóльшим мужеством. Он действительно обличал мифы и мошенничества, а не прятался, как Марк Твен, за добродушной маской «общественного деятеля» и присяжного забавника. Он не боялся вызвать гнев у Церкви, не боялся занять непопулярную позицию в общественных делах — возьмите, например, дело Дрейфуса. Что до Твена, то, за исключением небольшого эссе «Что есть человек», он никогда не критиковал заветные чаяния, если это могло навлечь на него беду. Он сам так и не сумел отделаться от специфически американского представления, будто успех и добродетель — это одно и то же.

Есть одно странное место в «Жизни на Миссисипи», которое выдает сокровенную слабость Марка Твена. В одной из первых глав этой преимущественно автобиографической книги он просто взял и поменял время событий. Свои приключения на лоцманской службе он описывает так, словно был семнадцатилетним парнишкой — на самом же деле ему тогда было уже под тридцать. Ниже в той же книге упоминается о его славном

участии в Гражданской войне. Марк Твен начал сражаться — если он вообще сражался — на стороне южан, но скоро перешел на другую сторону. Такое поведение простительно мальчишке, а не взрослому человеку — отсюда и подмена в хронологии. Суть, однако же, в том, что он примкнул к северянам, как только понял, что они победят. Это обыкновение брать где удастся сторону сильного, убежденность, что сила всегда права, прослеживается на протяжении всей жизни Марка Твена. В книге «Налегке» у него есть любопытный рассказ о бандите по имени Слейд, который убил двадцать восемь человек — не говоря уже о других бесчисленных злодеяниях. Совершенно очевидно, что автор восхищается этим отпетым негодяем. Слейд необыкновенно удачлив — следовательно, он заслуживает восхищения. Такой взгляд на вещи, общепринятый и сегодня, закреплен в сугубо американском выражении to make good, то есть добиться успеха, преуспеть.

В тот период откровенного, бесстыдного стяжательства, который последовал за Гражданской войной, вообще трудно было не поддаться стремлению к успеху, а человеку с таким темпераментом, как у Марка Твена, и подавно. Уходила в прошлое прежняя простая, жующая табак и строгающая от нечего делать щепочки демократия, воплотившаяся в Аврааме Линкольне. Наступал век дешевого иммигрантского труда и господства Большого бизнеса. Мягкими сатирическими штрихами Твен изобразил своих современников в «Позолоченном веке» и сам же заразился распространяющейся лихорадкой накопительства, вкладывая в разные предприятия значительные суммы денег и теряя их. На несколько лет он вообще бросил писать и целиком отдался бизнесу. Сколько же времени потрачено им даром на шутовство и паясничанье, на лекционные турне и званые обеды, на книжки вроде «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», где он безудержно превозносил самое низкое и вульгарное в американском национальном характере! Человек, который мог бы вырасти в провинциального самородка-Вольтера, превратился в записного застольного оратора, известного всему миру способностью сыпать анекдотами и ублажать богатых дельцов, выставляя их благодетелями общества.

Марк Твен так и не написал книг, которые должен был бы написать, и вину за это принято возлагать на его жену. Известно, что она изрядно тиранила мужа. Твен имел обыкновение каждое утро показывать жене то, что он написал накануне, а миссис Клеменс (настоящее имя Марка Твена — Сэмюел Клеменс), вооружившись синим карандашом, начинала вычеркивать все, что казалось ей неприличным. Судя по всему, она была строгим цензором даже по меркам прошлого века. В своей книге «Мой Марк Твен» Уильям Д. Хоуэлс рассказывает, какой поднялся переполох, когда в тексте «Приключений Гекльберри Финна» обнаружилось ужасное выражение. Твен воззвал к Хоуэлсу, и тот признал, что «Гек выразился бы именно так», но одновременно согласился с миссис Клеменс, что печатать это

вряд ли нужно. «Черт побери» — вот это ужасное выражение. Ни один стоящий писатель не попадет в интеллектуальное рабство к собственной жене. Если бы Твен на самом деле захотел написать что-нибудь смелое, миссис Клеменс ни за что не удержала бы его от этого. Словом, Марк Твен сдался на милость света. Очевидно, миссис Клеменс облегчила мужу капитуляцию, однако он сам пошел на капитуляцию из-за коренного изъяна в своем характере — неспособности встать выше Успеха.

Некоторые книги Марка Твена читают и будут читать, ибо в них запечатлена бесценная история быта и нравов. Его долгая жизнь пришлась на великую эпоху возвышения Америки. Когда он был ребенком, его, конечно, брали на обыкновенные пикники, и он мог увидеть, как вешают аболициониста, а умер он в ту пору, когда уже не были в новинку аэропланы. Та великая эпоха оставила небогатую литературу, так что, не будь Марка Твена, мы имели бы гораздо более смутное представление о колесных пароходах на Миссисипи или о почтовых дилижансах, пересекающих прерии. И тем не менее большинство исследователей его творчества сходятся во мнении, что он мог создать нечто более серьезное. Читая Твена, испытываешь удивительное ощущение, что он готов сказать что-то еще, но не решается. По страницам «Жизни на Миссисипи» и других его вещей будто движется тень какой-то значительной, глубокой и гармоничной книги.

Марк Твен начинает свою автобиографию замечанием, что внутренняя жизнь человека не поддается описанию. Мы не знаем, что именно ему хотелось сказать людям, не исключено, что недоступный пока трактат «1601 год» даст какой-то ключ к тайне, однако нетрудно догадаться: это сильно повредило бы его репутации и убавило бы его гонорары до разумных размеров.

1943

ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ ДЖЕКА ЛОНДОНА «„ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ" И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ»

В своей книжке «Воспоминания о Ленине» Надежда Крупская рассказывает, как читала ему вслух во время его последней болезни.

«За два дня до его смерти читала я ему вечером рассказ Джека Лондона — он и сейчас лежит на столе в его комнате — «Любовь к жизни». Сильная очень вещь. Через снежную пустыню, в которой нога человеческая не ступала, пробирается к пристани большой реки умирающий с голоду больной человек. Слабеют у него силы, он не идет, а ползет, а рядом с ним ползет тоже умирающий от голода волк, между ними

идет борьба, человек побеждает,— полумертвый, полубезумный добирается до цели. Ильичу рассказ этот понравился чрезвычайно. На другой день просил читать рассказы Лондона дальше...»

Следующий рассказ, вспоминает Крупская, оказался, однако, совершенно другой, «пропитанный буржуазной моралью». «Засмеялся Ильич и махнул рукой».

«Любовь к жизни» даже более мрачная вещь, чем это явствует из короткого пересказа Крупской, потому что заканчивается она тем, что человек пожирает волка, точнее, прокусывает ему шею и пьет кровь. Именно такие темы неудержимо влекли Лондона, и то, что поведала Крупская о чтении Ленину перед его смертью, само по себе является довольно проницательным разбором творчества этого писателя. Лондону нет равных в описании жестокости, собственно говоря, жестокость Природы или же современной жизни и есть его главная тема. Лондон — чрезвычайно переменчивый автор, многие его произведения написаны кое-как, наспех, и в нем есть такая черточка, которую Крупская, пожалуй, правильно определила как «буржуазную»,— во всяком случае, эта черточка плохо согласуется с его демократическими и социалистическими убеждениями.

За последние двадцать лет рассказы Джека Лондона по непонятным причинам оказались забыты, причем забыты основательно, как о том свидетельствует полное отсутствие переизданий. В памяти читающей публики жили его многочисленные книги о животных, особенно «Белый Клык» и «Зов предков», близкие сердцу англосакса, который приходит в умиление от животных, а после 1933 года его репутация скакнула вверх благодаря «Железной пяте», написанной еще в 1907-м и в определенном смысле предсказывающей фашизм. «Железная пята» — неважная книга, и содержащиеся в ней мрачные пророчества в целом не сбылись. Место и время действия романа попросту смехотворны; полагая, что революция разразится прежде всего в высокоразвитых странах, Лондон впал в обычную для того времени ошибку. Однако же в некоторых отношениях он был гораздо более прав, чем все другие прорицатели, прав в силу той самой черты характера, благодаря которой он был хорошим рассказчиком и не особенно последовательным социалистом.

Лондон описывает вымышленную пролетарскую революцию, которая вспыхивает в Соединенных Штатах и терпит поражение, если не полный разгром, в результате отпора класса капиталистов. Затем наступает длительный период тиранического правления Олигархов, опиравшихся на армию Наемников — своего рода эсэсовцев. Проницательность Лондона проявилась в описании подпольной борьбы против диктатуры, причем некоторые подробности он предвидел прямо-таки с поразительной точностью — таково, например, его предвидение особого ужаса тоталитарного государства, заключающееся в том, что подозреваемые враги режима *просто-напросто исчезают*.

Главное же достоинство книги — в мысли, что капиталистическое общество отнюдь не погибнет из-за собственных «противоречий», что, напротив, господствующий класс, поступаясь многими привилегиями ради сохранения своего положения, будет способен объединиться в гигантскую корпорацию и даже создать некую извращенную форму социализма. Места, где Лондон анализирует умонастроение Олигархов, представляют огромный интерес.

«Они считали себя как класс единственным носителем цивилизации. Они верили, что стоит им ослабить узду, как их поглотит разверстая слюнявая пасть первобытного зверя, а вместе с ними погибнет вся красота, и радость, и благо жизни. Без них водворится анархия и человек вернется в первобытную ночь, из которой он с таким трудом выбрался... Только они, по их представлениям, ценой неустанных трудов и жертв способны были защитить род людской от всепожирающего зверя; и они верили этому, верили непоколебимо.

О присущей классу Олигархов уверенности в своей правоте надо очень и очень помнить. В этом-то и сила Железной пяты, чего некоторые наши товарищи не пожелали или не сумели увидеть. Многие усматривали силу Железной пяты в ее системе подкупа и наказаний. Но это ошибка. Небо и ад могут быть решающими стимулами в религиозном рвении фанатиков; для огромного же большинства верующих небо и ад — лишь производные их представлений о добре и зле. Любовь к добру, стремление к добру, неприятие лжи и зла — короче говоря, служение добру и правде всеми делами и помыслами — вот движущий стимул всякой религии. Нечто подобное мы видим и на примере олигархии... Основная сила Олигархов — уверенность в своей правоте».

Из этого и других подобных отрывков видно, как глубоко проник Лондон в природу и психологию правящего класса, точнее, в те его характеристики, которыми он должен обладать, чтобы удержать власть. Левые придерживаются стереотипного представления о «капиталисте» как о цинике, негодяе и трусе, который думает только о том, как бы набить карман. Лондон понимал, что такое представление ошибочно. И тут может возникнуть законный вопрос: почему же этот торопливый, бьющий на эффект, в каких-то отношениях по-детски наивный писатель понял это гораздо лучше, чем большинство его товарищей-социалистов?

Ответ напрашивается сам собой: Лондон предсказал фашизм, потому что в нем самом была фашистская жилка или, во всяком случае, ярко выраженная склонность к жестокости и почти непреодолимая симпатия к сильной личности. Он инстинктивно понимал, что американский делец вступит в борьбу, если его собственности будет угрожать опасность, потому что на его месте он поступил бы точно так же. Лондон был искателем приключений, человеком действия — среди писателей таких мало. Он родился в очень бедной семье, однако благодаря твердому характеру и крепкому здоровью в шестнадцать

лет выбился из нищеты. Юношеские годы он провел среди устричных пиратов, золотоискателей, бродяг, боксеров, и ему нравилась в этих людях их грубая сила. С другой стороны, из его памяти не изглаживалось безотрадное детство, и он до конца сохранял верность эксплуатируемым классам. Много сил положено им на организацию социалистического движения и пропаганду его идей, и позже, уже будучи знаменитым и преуспевающим литератором, он посчитал своим долгом, выдав себя за американского матроса, изучить ужасающие, нищенские условия жизни в лондонских трущобах и написал книгу «Люди бездны», которая и сейчас не утратила социологической ценности. Взгляды Лондона были демократическими в том смысле, что он ненавидел наследственные привилегии, ненавидел эксплуатацию и лучше всего чувствовал себя среди людей физического труда, однако инстинктивно тянулся к «естественной аристократии» силы, красоты и таланта. Как это видно из многочисленных высказываний в «Железной пяте», разумом он понимал: социализм означает, что кроткие наследуют землю, но вот его темперамент противился этому. Во многих его произведениях одна сторона его натуры совсем заслоняет другую или наоборот; наилучших же художественных результатов он достигает тогда, когда они взаимодействуют, как это происходит в некоторых его рассказах.

Главная тема Джека Лондона — жестокость Природы. Жизнь — это яростная непрекращающаяся борьба, и победа в этой борьбе не имеет ничего общего со справедливостью. Невольно поражаешься тому, что во многих хороших рассказах автор ничего не комментирует, отказывается от оценки, и это проистекает из того факта, что он упоен зрелищем борьбы, хотя и сознает всю ее жестокость. В его лучшей, может быть, вещи, «Просто мясо», двое грабителей разжились богатой добычей — бриллиантами. И тот и другой хотят обмануть соучастника, завладеть его долей украденного. В результате они травят друг друга стрихнином, и рассказ кончается тем, что оба грабителя лежат мертвые на полу. Писатель ничего не объясняет и уж, конечно, не подводит ни к какой «морали». По мнению Лондона, описанное им — всего-навсего кусок жизни, то, что обычно случается в современном обществе, однако я сомневаюсь, чтобы такой сюжет пришел в голову писателю, который не заворожен жестокостью. Или возьмем такой рассказ, как «Френсис Спейт». Чтобы спастись от голода, члены команды полузатопленного, дрейфующего в океане судна решают прибегнуть к людоедству. Набравшись мужества, они приступают к делу и не замечают, что к ним под всеми парусами идет другой корабль. Это очень показательно для Лондона, что второе судно появляется уже после того, как бедному юнге перерезали горло, а не раньше. Еще более типичный рассказ — «Кусок мяса». В нем выражено все: и любовь Лондона к боксу, и его восхищение грубой физической силой, и его понимание, насколько жестоко и низко общество, основанное на конкуренции, и в то же время его бессознательная

склонность считать vae victis[1] законом Природы. В рассказе стареющий боксер-профессионал ведет свой последний бой против молодого, полного сил, но неопытного соперника. Герой вот-вот победит противника, но в самом конце матча его боксерское искусство отступает перед выносливостью молодости. Даже когда его соперник оказывается на волоске от поражения, у него не хватает сил для решающего удара, потому что последние недели он постоянно недоедал и усталые мускулы уже не повинуются ему. Мы расстаемся со старым боксером, когда он с горечью думает о том, что если бы он с утра подкрепился хорошим куском мяса, то наверняка выиграл бы бой.

Мысли старика вертятся вокруг одной темы: «Молодость свое возьмет!» Сначала ты молод, полон сил и побеждаешь старых, зарабатываешь деньги и соришь ими. Потом силы угасают, и тебя в свою очередь побеждают молодые, а ты впадаешь в нищету. Такова на самом деле обычная доля рядового боксера, и было бы чудовищным преувеличением утверждать, будто Лондон *оправдывал* порядки, при которых общество использует людей в качестве гладиаторов, не позаботившись даже накормить их как следует. Строго говоря, играющая деталь — бифштекс — не столь уж необходима, так как основная идея рассказа заключается в том, что молодой боксер одерживает победу именно благодаря своей молодости; зато эта деталь обнажает экономическую подоплеку истории. И все-таки есть в Лондоне что-то такое, что охотно отзывается на эту бесчеловечность. Не то чтобы он оправдывал безжалостную Природу, нет — он просто мистически уверовал, что она *действительно* безжалостна. Природа «кроваво-клыкастая и когтистая». Наверное, быть свирепым плохо, но такова цена, которую надо платить за то, чтобы выжить. Молодые убивают старых, а сильные убивают слабых — таков некий неумолимый закон. Человек сражается против стихий или против себе подобных, и в этой борьбе ему не на что и не на кого положиться, кроме самого себя. Лондон, конечно, возразил бы, что описывает реальную жизнь, что он и делает в лучших рассказах, и все же постоянное обращение к одной и той же теме — к теме схватки, насилия, жажде выжить — показывает, что́ его влечет.

Лондон испытал сильное влияние эволюционистской теории выживания более приспособленных. Попыткой популяризации идей Дарвина является его повесть «До Адама», неточный, хотя и увлекательный рассказ о доисторических временах, в котором одновременно фигурируют обезьяноподобные люди, а также люди раннего и позднего палеолита. Последние двадцать-тридцать лет просвещенная публика несколько иначе воспринимает теорию Дарвина, однако главная его идея не ставится под сомнение. В конце девятнадцатого века дарвинизм использовался для оправдания laissez-faire капитализма[2], политики

---

[1] Горе побежденным! *(лат.)*.

[2] Laissez faire — позволяйте делать (кто что хочет) *(фр.)*, то есть свободный, не ограниченный государством капитализм.

силы и эксплуатации зависимых народов. Жизнь — это открытая площадка для всеобщего кулачного боя, и наилучшим доказательством способности выжить является способность выиграть в этом соревновании. Эта мысль ободряла удачливых дельцов, и она же естественно, хотя и вопреки стройной логике, подводила к представлению о «высших» и «низших» расах. В наше время мы не очень склонны прилагать биологию к политике, частью — оттого, что мы имели возможность наблюдать, с какой методичностью это делали нацисты и к каким ужасающим результатам это привело. Однако в ту пору, когда жил Лондон, вульгарный дарвинизм был распространенным явлением и, очевидно, избежать его влияния было чрезвычайно трудно. Впрочем, он и сам иногда поддавался расистским мифам и даже одно время заигрывал с расовой теорией, похожей на нацистские доктрины. На многих его сочинениях лежит печать культа «белокурой бестии». С одной стороны, это связано с его восхищением грубой силой, которой обладают, например, боксеры-профессионалы, с другой — перенесением им на животных свойств, присущих только человеку. Есть все основания предполагать, что чрезмерная любовь к животным идет рука об руку с жестокостью по отношению к человеку. Лондон был социалистом с пиратскими задатками и образованием материалиста прошлого века. Фон его рассказов, как правило, не индустриальный, даже не цивилизованный ландшафт. Действие большинства из них происходит в таких местах, где ему самому довелось жить: на дальних ранчо, на жарких островах Тихого океана, в арктическом безлюдье, на кораблях и в тюрьмах — там, где человек один и может рассчитывать только на свои силы и изворотливость или же где господствуют примитивные человеческие отношения.

И все-таки Лондон иногда писал о современном индустриальном обществе. Помимо рассказов, у него есть «Люди бездны», «Дорога» — замечательные очерки, воссоздающие его бродяжничество в молодости, многие страницы «Лунной долины» — романа, фон которого составляют бурные эпизоды американского профсоюзного движения. Хотя Лондона тянуло прочь от цивилизации, он был хорошо начитан в социалистической литературе и с детских лет узнал, что такое городская нищета. Одиннадцатилетним мальчишкой Лондон работал на фабрике, и без этого горького опыта ему вряд ли бы удалось создать такой рассказ, как «Отступник». Как и в других лучших своих произведениях, он ничего не объясняет, зато, несомненно, стремится вызвать у читателя сострадание и возмущение. Свое отношение к происходящему Лондон наиболее четко выражает там, где речь идет о жизни и смерти. Возьмем, например, рассказ «Держи на Запад». Кто ему ближе — капитан Каллен или пассажир Джордж Дорти? Создается впечатление, что, если бы Лондона поставили перед выбором, он бы взял сторону капитана, по чьей вине погибли два человека, зато ему удалось вывести свой корабль из шторма и обогнуть мыс Горн. В то же время «мораль» такого рассказа, как «А Чо»,

совершенно очевидна для всякого непредвзятого человека, хотя написан он в обычном безжалостном ключе. Добрый гений Лондона — его социалистические взгляды, которые лучше всего проявляются, когда он обращается к эксплуатации цветных, детскому труду, к жестокому обращению с заключенными и другим подобным темам, но отходят на второй план, когда он пишет о путешественниках и животных. Вероятно, поэтому ему лучше удаются сцены городской жизни. «Отступник», «Просто мясо», «Кусок мяса», "Semper Idem"— мрачные, беспросветные вещи, но именно в таких рассказах что-то сдерживает внутреннюю тягу Лондона к прославлению жестокости, и он не сбивается с пути. Это «что-то» — почерпнутое им из книг и из жизни понимание того, какие страдания несет человеку промышленный капитализм.

Джек Лондон — очень плодовитый и неровный писатель. С самого начала он поставил себе за правило писать по три страницы в день, обычно выполнял урок и за свою короткую и беспокойную жизнь «выдал» огромное количество сочинений. Даже в самых стоящих его вещах удивительно сочетаются хорошее повествование и не очень хороший слог. Рассказы написаны на редкость экономно, с точными фабульными поворотами, но само письмо — бледное, фразы стертые, невыразительные, а речь персонажей небрежна. В разное время книги Лондона оценивались по-разному. Им зачитывались во Франции и в Германии как раз в ту пору, когда в англоязычных стра́нах он не пользовался популярностью. Даже с приходом Гитлера к власти, когда вспомнили «Железную пяту», за ним еще сохранялась репутация левого, «пролетарского» писателя — вроде той, которой пользовались Роберт Трессел, Б. Травен и Эптон Синклер. Одновременно Лондон подвергался нападкам со стороны марксистских критиков за «фашистские тенденции» в его творчестве. Эти тенденции, безусловно, были присущи ему, причем в такой мере, что трудно сказать, каковы были бы его политические симпатии, если бы он дожил до наших дней, а не умер в 1916 году. Можно предположить, что он стал бы деятелем коммунистической партии либо жертвой расистской теории нацистов либо сделался бы донкихотствующим поборником какой-нибудь троцкистской или анархистской секты. Мое же мнение таково: будь Лондон политически последовательной фигурой, он вряд ли написал бы что-нибудь интересное для нас. Сейчас его известность зиждется главным образом на «Железной пяте», а его отличные рассказы порядочно забыты. Именно поэтому в данной книге собрано полтора десятка образцов его малой прозы. Есть еще несколько вещей Лондона, которые стоит снять с запыленных библиотечных полок или извлечь из ящиков у дешевых букинистов. Будем также надеяться, что, как только мы покончим с нехваткой бумаги, появятся новые издания «Дороги», «Смирительной рубашки», «До Адама» и «Лунной долины». Многие книги Джека Лондона поверхностны и неубедительны, но по крайней мере шесть томов его сочинений заслуживают того, чтобы их издава-

ли и переиздавали. А это совсем неплохой итог сорокалетней жизни.

1945

ПОДАВЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

С год тому назад мне довелось побывать на собрании, организованном пен-клубом по случаю трехсотлетия выхода «Ареопагитики» Мильтона — памфлета, хочу напомнить, в защиту свободы печати. На листовках с объявлением о собрании — их распространили заранее — было напечатано знаменитое изречение Мильтона о грехе «убиения» книги.

Ораторов было четверо. Один произнес речь действительно о свободе печати, но только в Индии; второй довольно неуверенно и крайне расплывчато высказался в том духе, что свобода вообще вещь прекрасная; третий взял под обстрел законодательство против непристойности в литературе. Четвертый бóльшую часть своей речи посвятил защите «чисток» в России. Выступления из зала либо касались вопросов непристойности и соответствующих законов, либо представляли собой откровенные славословия Советской России. В целом все высказались за свободу нравственности — свободу открыто обсуждать в печати проблемы пола; о политической свободе никто, однако, не сказал ни слова. Среди нескольких сотен собравшихся, половина из которых, вероятно, имела к писательству прямое отношение, не нашлось ни единого, кто бы сумел довести до сознания, что если свобода печати что-то и значит, так это свободу критики и оппозиции. Показательно, что никто из выступавших не обратился к тексту памфлета, юбилей которого они, по всей видимости, пришли отметить. Не были упомянуты и различные книги, «убитые» у нас и в Соединенных Штатах в годы войны. В конечном итоге собрание стало демонстрацией в поддержку цензуры[1].

Это не столь уж и удивительно. В наш век само понятие свободы мысли подвергается нападкам с двух сторон: с одной — его врагов в теории, апологетов тоталитаризма; с другой — его непосредственных врагов на практике, монополий и бюрократии. Любой писатель или журналист, желающий оставаться честным, обнаруживает, что ему мешают не столько прямые преследования, сколько общественные тенденции. Против него работают такие явления, как концентрация печати в руках

---

[1] Справедливости ради замечу, что торжества в пен-клубе, занявшие больше недели, не все проводились на одном и том же уровне. Мне просто выпал неудачный день. Но знакомство с речами (их сборник опубликован под названием «Свобода слова») показывает, что в наши с вами времена почти не осталось людей, способных отстаивать свободу мысли так же убедительно, как то удавалось Мильтону триста лет тому назад — и это при том, что он писал в эпоху гражданской войны.— *Прим. автора.*

горстки богачей; монополия на радио и в кинематографе; нежелание публики тратить деньги на книги, что вынуждает едва ли не всех писателей зарабатывать на хлеб еще и литературной поденщиной; расширение деятельности официальных организаций вроде министерства информации и Британского Совета, которые помогают писателю держаться на плаву, но зато отнимают у него время и диктуют, что ему думать; военная обстановка долгого последнего десятилетия, разлагающего воздействия которой никто не смог избежать. В наш век все направлено на то, чтобы писателя, да, впрочем, и любого другого художника, превратить в мелкого служащего — пусть его разрабатывает спущенные «сверху» темы и никогда не говорит всей правды, как он ее понимает. Однако в борьбе с этой предписанной ему ролью он не получает помощи от своих: нет такого влиятельного общественного мнения, которое укрепило бы его в сознании своей правоты. В прошлом, по крайней мере на всем протяжении протестантских веков, представление о бунте совпадало с представлением о честности мышления. Еретиком — в политике, морали, религии или эстетике — был тот, кто отказывался насиловать собственную совесть. Еретическое мировоззрение подытожено в словах возрожденческого гимна:

Посмею быть Даниилом,
Посмею один против всех;
Посмею цель себе выбрать,
Посмею поведать о ней.

Чтобы привести этот гимн в соответствие с днем сегодняшним, каждую строку следует начать с частицы «не». Ибо отличие нашего века таково, что бунтари против существующего порядка, по крайней мере самые многочисленные и типичные, одновременно отвергают и понятие личности. «Посмею один против всех» — равно преступно идеологически и опасно на деле. Неясные экономические силы разъедают независимость писателя и художника; в то же время ее подтачивают те, кто призван ее защищать. О них я и говорю на этих страницах.

Доводы, что приводят обычно противники свободы мысли и свободы печати, не стоят того, чтобы с ними возиться. У любого лектора и спорщика с опытом они навязли в зубах. Я не стану опровергать здесь избитые заявления о том, что свобода — иллюзия или что в тоталитарных государствах свободы больше, чем в демократических, но остановлюсь на куда более тонком и опасном утверждении, будто свобода *нежелательна*, а честность мышления — это форма антиобщественного себялюбия. Хотя, как правило, на первый план выступают другие стороны вопроса, спор о свободе слова и свободе печати в основе своей — спор о желательности или, напротив, недопустимости лжи. В сущности, речь идет о праве освещать текущие события правдиво — разумеется, с поправкой на неосведомленность, пристрастность и самообман, которые не-

избежно свойственны любому наблюдателю. Мои слова могут быть поняты в том плане, что из всех видов литературы сказанное имеет отношение только к прямому «репортажу»; однако дальше я постараюсь показать, что на любом литературном уровне и, скорее всего, в каждом из искусств возникает — в том или ином преломлении — все та же проблема. Но прежде необходимо отбросить шелуху не относящихся к делу частностей, которой обычно обрастает эта запутанная полемика.

Враги свободы мысли всегда стремятся представить свою точку зрения как защиту дисциплины от индивидуализма. Проблема «правда-против-лжи», поелику возможно, отодвигается ими на задний план. Акценты бывают различными, но писателя, отказывающегося продавать свои убеждения, неизменно клеймят как жалкого *эгоиста*. То есть обвиняют либо в желании замкнуться в башне из слоновой кости, либо в духовном эксгибиционизме, либо в попытке помешать неизбежному ходу истории тем, что он цепляется за неправедные привилегии. Католики и коммунисты имеют одно общее — считают противную сторону неспособной быть одновременно честной и умной. И те и другие исходят из того, что «истина» уже открыта, и еретик, если он не безнадежный дурак, втайне «истину» знает, но не признает из чисто эгоистических соображений. В коммунистической литературе нападки на свободу мысли, как правило, обставляются рассуждениями о «мелкобуржуазном индивидуализме», «иллюзиях либерализма XIX века» и т. п. и подкрепляются ругательными эпитетами типа «романтический» и «сентиментальный», на которые трудно что-нибудь возразить, поскольку всяк понимает их по-своему. Таким манером спор уводится в сторону от настоящей проблемы. Можно принять — и наиболее просвещенные люди готовы принять — коммунистическое положение о том, что абсолютная свобода станет возможна только в бесклассовом обществе и почти свободен тот, кто работает на приближение этого общества. Но заодно протаскивается и совершенно необоснованное утверждение, будто сама коммунистическая партия нацелена на построение бесклассового общества и что в СССР эта цель уже осуществляется. Если признать, что второе утверждение вытекает из первого, то тогда можно найти оправдание практически любому насилию над здравым смыслом и элементарной порядочностью. Тем временем, однако, суть дела уже размыта. Ведь свобода мысли означает свободу говорить и писать о том, что увидел, услышал, почувствовал, а не обязанность сочинять несуществующие факты и чувства. Привычные тирады против «бегства от жизни», «индивидуализма», «романтизма» и т. д.— всего лишь демагогический прием, призванный выдавать искажение истории за нечто благопристойное.

Отстаивая свободу мысли пятнадцать лет назад, приходилось защищать ее от консерваторов, от католиков, в какой-то степени — потому что в Англии они не играли существенной роли — от фашистов. Теперь ее приходится защищать от коммунистов и «попутчиков». Не следует преувеличивать непосред-

ственное влияние малочисленной английской компартии, но одурманивающее воздействие русского mythos[1] на английскую интеллектуальную жизнь не вызывает сомнения. Из-за него известные факты так скрывают и искажают, что возникает сомнение: можно ли будет хоть когда-то написать подлинную историю нашего времени? Позволю себе привести один из бесчисленных имеющихся примеров. Когда Германия потерпела крах, выяснилось, что огромная масса советских граждан — в основном, безусловно, по причинам совсем неполитическим — переметнулась к противнику и воевала на стороне немцев. Кроме того, небольшое, но отнюдь не ничтожное число русских военнопленных и перемещенных лиц отказалось возвратиться в СССР, и по крайней мере некоторых из них репатриировали в принудительном порядке. Эти факты, сразу же ставшие известными многим журналистам, британская пресса почти полностью обошла молчанием, хотя в то же самое время просоветски настроенные публицисты в Англии продолжали искать оправдания казням и ссылкам 1936—1938 годов, заявляя, что в СССР «не было квислингов». Туман дезинформации и лжи, окутывающий такие темы, как голод на Украине, гражданская война в Испании, советская политика по отношению к Польше и др., порожден не одним только сознательным обманом; всякий писатель и журналист, безоговорочно поддерживающий СССР, то есть поддерживающий именно так, как желательно самим русским, вынужден молчаливо соглашаться с заведомым искажением важных вопросов, по которым идет спор. Передо мной редкая, по-видимому, брошюра, написанная Максимом Литвиновым в 1918 году и дающая очерк революционных событий того времени в России. Сталин в ней даже не упомянут, зато высоко оценена роль Троцкого, а также Зиновьева, Каменева и других. Что делать с такой брошюрой даже самому честно мыслящему коммунисту? В лучшем случае, как подобает мракобесу, объявить ее нежелательным документом, подлежащим запрету. Если же по каким-то причинам было бы решено издать эту брошюру «с исправлениями», очернив Троцкого и вставив упоминания о Сталине, против этого не сможет протестовать ни один коммунист, сохраняющий верность партии. В последние годы выходили фальшивки, едва ли не столь же чудовищные. Важно, однако, не то, что это происходило, а то, что, даже когда об этом становилось известно, левая интеллигенция в целом никак на это не реагировала. На доводы о том, что правда была бы «несвоевременна» или могла кому-то там «сыграть на руку», невозможно вроде бы возразить, и очень немногих тревожит, что ложь, которой они попустительствуют, способна перекочевать из газет на страницы исторических сочинений.

Отлаженное вранье, ставшее привычным в тоталитарном государстве, отнюдь не временная уловка вроде военной дезинформации, что бы там порой ни говорили. Оно лежит в самой природе тоталитаризма и будет существовать даже после

---

[1] Миф, мифологические представления *(греч.)*.

того, как отпадет нужда в концентрационных лагерях и тайной полиции. Среди мыслящих коммунистов имеет хождение негласная легенда о том, что, хотя *сейчас* Советское правительство вынуждено прибегать к лживой пропаганде, судебным инсценировкам и т. п., оно втайне фиксирует подлинные факты и когда-нибудь в будущем их обнародует. Мы, думаю, можем со всей уверенностью сказать, что это не так, потому что подобный образ действий характерен для либерального историка, убежденного, что прошлое невозможно изменить и что точность исторического знания — нечто самоценное и само собой разумеющееся. С тоталитарной же точки зрения историю надлежит скорее творить, чем изучать. Тоталитарное государство — в сущности, теократия, и его правящей касте, чтобы сохранить свое положение, следует выглядеть непогрешимой. А поскольку в действительности не бывает людей непогрешимых, то нередко возникает необходимость перекраивать прошлое, чтобы доказать, что той или иной ошибки не было или что те или иные воображаемые победы имели место на самом деле. Опять же всякий значительный поворот в политике сопровождается соответствующим изменением в учении и переоценками видных исторических деятелей. Такое случается повсюду, но в обществе, где на каждом данном этапе разрешено только *одно-единственное мнение*, это почти неизбежно оборачивается прямой фальсификацией. Тоталитаризм на практике требует непрерывного переписывания прошлого и в конечном счете, вероятно, потребует отказа от веры в самую возможность существования объективной истины. Наши собственные сторонники тоталитаризма склонны, как правило, доказывать, что раз уж абсолютная истина недостижима, то большой обман ничуть не хуже малого. При этом они твердят, что все исторические свидетельства пристрастны и неточны, да к тому же и современная физика доказала: воспринимаемое нами как объективная действительность — обман чувств, поэтому полагаться на собственное восприятие — значит всего лишь впасть в примитивное филистерство. Если когда-нибудь где-нибудь бесповоротно восторжествует тоталитарное общество, оно, вероятно, учредит некий шизофренический образ мышления, допускающий опору на здравый смысл в повседневной жизни и в некоторых точных науках и предполагающий отказ от здравого смысла в политике, истории и социологии. Уже появилась масса людей, у которых фальсификация научного учебника вызовет возмущение, но в фальсификации исторического факта они не видят никакого преступления. Именно в точке пересечения литературы и политики тоталитаризм оказывает на интеллигенцию самое большое давление. Ничего подобного точным наукам в настоящее время не грозит. Это можно отчасти объяснить тем, что в любой стране ученым легче, чем писателям, выстраиваться в затылок своему правительству.

Чтобы не отвлечься от темы, позволю себе повторить сказанное в начале статьи: в Англии *непосредственными* противниками правды, а стало быть, и свободы мысли, являются

газетные бароны, киномагнаты и бюрократы, но в конечном итоге самый опасный симптом — ослабление тяги к свободе у самой интеллигенции. Может показаться, что я все время рассуждаю о воздействии цензуры не на литературу в целом, а только на одну из областей политической журналистики. Советская Россия образует в британской печати своего рода запретную зону, такие проблемы, как Польша, гражданская война в Испании, советско-германский пакт и т. д., не подлежат серьезному обсуждению, и, коль скоро вы располагаете сведениями, которые противоречат господствующему мнению, вам положено либо извратить эти сведения, либо о них умолчать — да, все это так, но при чем тут литература в широком смысле слова? Разве всякий писатель — политик, а каждая книга обязательно прямой репортаж? И при самой жесткой диктатуре разве не может писатель как личность сохранить внутреннюю свободу и преобразить или перелицевать свои еретические мысли таким образом, что у властей не хватит мозгов их распознать? А если уж сам писатель разделяет господствующие взгляды, почему это должно его непременно сковывать? Ведь литература, как и всякое искусство, расцветает успешнее всего в том обществе, где нет радикального противоречия во мнениях и резкого расхождения между художником и публикой. И так ли уж обязательно предполагать, что каждый писатель — бунтарь или уж непременно личность исключительная?

Всякий раз, как только берешься защищать свободу мысли от посягательств тоталитаризма, сталкиваешься с этими доводами, изложенными в той или иной форме. Они опираются на полностью искаженные представления о том, что такое литература и как — может быть, лучше сказать *почему* — она возникает. Они исходят из предположения, что писатель — либо пустой забавник, либо продажный поденщик и так же легко меняет один пропагандистский «ключ» на другой, как шарманка переходит от мелодии к мелодии. Но в конце концов, зачем вообще пишутся книги? За исключением низкопробной беллетристики, литература — это попытка повлиять на взгляды современников путем записи жизненного опыта. И поскольку речь идет о свободе выражения, не так уж и велика разница между простым журналистом и самым «аполитичным» писателем-творцом. Журналист не свободен и ощущает свою несвободу, когда его понуждают писать ложь или замалчивать важное, по его мнению, известие; писатель-творец не свободен, когда ему приходится извращать свои личные чувства, каковые, с его точки зрения, суть факты. Он может показать действительность в искаженном и окарикатуренном виде, чтобы прояснить, что именно хочет сказать, но он не может исказить картину собственного сознания, не может и с малой долей убедительности говорить, что ему нравится то, что не нравится, или он верит в то, во что не верит. Если его заставляют это делать, конец один: его творческий дар иссякает. Если он обходит острые темы, это тоже не выход из положения. Стопроцентно аполитичной литературы не существует, и уж тем

более в век, подобный нашему, когда на поверхность сознания выходят чисто политические по своей природе страхи, страсти и приверженности. Одно-единственное табу способно искалечить сознание, так как всегда остается опасность, что любая мысль, если позволить ей развиваться свободно, может обернуться запретной мыслью. Из этого следует, что воздух тоталитаризма губителен для любого прозаика, хотя поэт, особенно лирический, возможно, и смог бы им дышать. И во всяком тоталитарном обществе, сохраняющемся больше двух поколений, возникает *угроза гибели* художественной прозы — той, что существует на протяжении последних четырех столетий.

Иногда литература процветала и при деспотических режимах, однако, как нам часто напоминают, деспотии прошлого не были тоталитарными. Их аппарат подавления никогда не оказывался на высоте, их правящие классы бывали, как правило, развращены, или равнодушны, или заражены либеральными идеями, а господствующие вероучения обычно не согласовывались с доктринами абсолютного совершенства и человеческой непогрешимости. Но при всем этом очевидная истина такова, что наивысший расцвет проза переживала в эпохи демократии и свободы мысли. Новизна тоталитаризма — в том, что его доктрины не только неоспоримы, но и переменчивы. Человеку надлежит принимать их под страхом отлучения, однако, с другой стороны, быть всегда готовым к тому, что они в одну минуту могут перемениться. Взять, к примеру, различные, полярно несовместимые позиции, которые английский коммунист или «попутчик» был вынужден занимать в отношении войны между Британией и Германией. До сентября 1939-го ему на протяжении многих лет полагалось возмущаться «ужасами нацизма» и каждым написанным словом клясть Гитлера; после сентября 1939-го ему год и восемь месяцев приходилось верить в то, что Германия претерпела больше несправедливости, чем творит сама, и словечко «наци», по крайней мере в печатном тексте, было начисто выброшено из словаря. Не успел наш английский коммунист в восемь часов утра 22 июня 1941 года прослушать по радио выпуск последних известий, как ему надлежало вновь уверовать, что мир не видел более чудовищного зла, чем нацизм. Политику, скажем, такие зигзаги даются легко; с писателем — другое дело. Если ему приходится по команде менять ориентацию, он вынужден либо врать о своих подлинных чувствах, либо их решительно подавлять. В любом случае он разрушает свой творческий потенциал. Его не только покинут творческие замыслы — сами слова, к которым он обращается, будут под его пером выглядеть мертвыми. В наше время политические работы чуть ли не целиком строятся из фраз-заготовок, которые подгоняются одна к другой на манер деталей детского конструктора. Таково неизбежное следствие самоцензуры. Чтобы писать ясным живым языком, следует мыслить бесстрашно, а если человек бесстрашно мыслит, он не может быть политически правоверным. В «эпоху веры» могло быть подругому, но тогда и господствующая религия насчитывала мно-

го веков, и отношение к ней было не слишком серьезным. В этом случае человек мог или мог бы освободить многие сферы сознания от воздействия официального вероучения. И все же следует отметить, что на протяжении единственной эпохи веры в истории Европы проза почти исчезла. За весь период средневековья произведения художественной прозы, можно сказать, не появлялись, а исторических сочинений было очень немного; властители умов средневекового общества излагали свои самые глубокие мысли на мертвом языке, который едва ли изменился за целое тысячелетие.

Тоталитаризм, однако, сулит нам не столько эпоху веры, сколько эпоху шизофрении. Общество превращается в тоталитарное, когда его структуры становятся вопиюще искусственными, то есть когда его правящий класс утрачивает свое назначение, но силой или обманом продолжает цепляться за власть. Подобное общество, сколь бы долго оно ни сохранялось, никогда не сможет себе позволить терпимости или интеллектуального равновесия. Оно никогда не сможет допустить ни правдивого изложения фактов, ни искренности чувств, потребных для литературного творчества. Но чтобы быть развращенным тоталитаризмом, не обязательно жить в тоталитарной стране. Распространение определенных воззрений само по себе способно так отравить все вокруг, что для литературы начнет закрываться тема за темой. Везде, где насаждается ортодоксия — или две ортодоксии, как то нередко случается,— хорошей литературе приходит конец. Гражданская война в Испании — превосходный тому пример. Многих английских интеллигентов она потрясла, но они не могли писать об этом честно и прямо. О войне дозволялось говорить только две вещи, и обе были очевиднейшей ложью; в результате о войне написаны тысячи страниц, а читать почти нечего.

Трудно сказать, воздействует ли тоталитаризм на стихи так же однозначно губительно, как на прозу. В силу взаимодействия целого ряда причин поэту дышится в автократическом обществе легче, чем прозаику. Прежде всего, бюрократы и прочие «практичные» лица, как правило, слишком презирают поэта, чтобы вникать в то, что он там пишет. Во-вторых, то, что́ он пишет, то есть «содержание» стихотворения, переложенное на прозу, не представляет особого значения даже для самого поэта. Мысль, заключенная в стихотворении, всегда проста и не более для него существенна, чем для картины — первоначальный сюжет. Стихотворение — это сочетание звуков и ассоциаций, подобно тому как картина — сочетание мазков. Больше того, короткие фрагменты поэтического текста, например припев в песне, могут и вообще не нести смысла. Вот почему поэту довольно легко удается обходить опасные темы и избегать еретических высказываний; а если он их даже и допускает, они могут проскочить незамеченными. Но самое главное — хорошие стихи в отличие от хорошей прозы не обязательно результат индивидуального творчества. Поэтические произведения некоторых жанров, например баллады, или, с дру-

гой стороны, продукты искусственных версификаторных форм могут создаваться коллективно, в творческом содружестве. Были ли древние английские и шотландские баллады первоначально сочинены отдельными авторами или родились в гуще народной — вопрос спорный; но они по меньшей мере внеличны в том смысле, что беспрерывно изменяются в изустной передаче. Даже в публикации два варианта одной баллады никогда не совпадают полностью. У многих примитивных народов стихи сочиняются всей общиной. Один начинает импровизировать, скорее всего подыгрывая себе на каком-нибудь музыкальном инструменте, другой вступает со своей строкой или рифмой, когда первый замолкает, и так оно продолжается, пока не сложится песня или баллада, которая не имеет конкретного автора.

В прозе такое задушевное сотрудничество совершенно невозможно. Во всяком случае, серьезную прозу приходится писать в одиночестве, тогда как волнующее осознание себя частью творческой группы и в самом деле способствует созданию определенного типа версификации. Стихи — и, возможно, хорошие стихи на своем уровне, хотя уровень этот не будет самым высоким,— могли бы выжить даже в условиях наиболее драконовского режима. Даже общество, где свобода и индивидуальность истреблены, все равно будет нуждаться либо в патриотических песнях и героических балладах, славословящих победы, либо в замысловатых льстивых виршах; и такие стихи можно писать по заказу или сочинять коллективно, не обязательно лишая их при этом художественной ценности. Проза — другое дело: ставя границы собственной мысли, прозаик тем самым убивает творческое воображение. Но история тоталитарных обществ, групп или объединений, исповедующих тоталитаризм, показывает, что утрата свободы враждебна *всем* формам литературы. За годы гитлеровского режима от немецкой литературы почти ничего не осталось, и в Италии положение было немногим лучше. Русская литература, насколько можно судить по переводам, после первых лет революции пришла в заметный упадок, хотя отдельные ее поэтические произведения, очевидно, лучше прозаических. Русских романов, заслуживающих серьезного к себе отношения, за последние пятнадцать лет появилось в переводах считанное число, а может быть, и вообще не появилось. В Западной Европе и в Америке большие отряды литературной интеллигенции либо прошли через членство в коммунистической партии, либо горячо ее поддерживали, однако это массовое левое движение породило удивительно мало книг, которые стоит прочесть. С другой стороны, и правоверный католицизм, похоже, крепко порушил определенные литературные жанры, в первую очередь роман. Много ли наберется за три столетия добрых католиков, которые в то же время были и хорошими романистами? Просто есть вещи, со славословием несовместимые, и тирания — одна из них. Не написано ни единой хорошей книги во славу инквизиции. Поэзия *может* уцелеть в тоталитарные времена; некоторым искусствам или полуискус-

ствам типа архитектуры тирания могла бы даже пойти на пользу; но прозаику остается единственный выбор — между молчанием и смертью. Проза, какой мы ее знаем,— это дитя разума, протестантской эпохи, независимой индивидуальности. А умерщвление свободы мысли парализует журналиста, социолога, историка, романиста, критика и поэта — именно в такой последовательности. Не исключено, что в будущем возникнет литература нового типа, которая сумеет обходиться без личных чувств и честного изучения жизни, но в настоящее время ничего подобного невозможно представить. Куда вероятнее, что, если либеральной культуре, в условиях которой мы существуем с эпохи Возрождения, придет конец, то вместе с ней погибнет и художественная литература.

Разумеется, печатное слово останется, и любопытно прикинуть, какого рода материалы для чтения уцелеют в жестком тоталитарном обществе. Скорее всего останутся газеты — пока телевидение не поднимется на новую ступень,— но, если исключить газеты, уже теперь возникает сомнение: ощущают ли огромные массы народа в промышленно развитых странах необходимость в какой бы то ни было литературе? Во всяком случае, они намерены тратить на печатные издания гораздо меньше того, что тратят на некоторые другие виды досуга. Вероятно, романы и рассказы раз и навсегда уступят место кинофильмам и радиопостановкам. А может, какие-то формы низкопробной сенсационной беллетристики и выживут — ее будут производить своего рода поточным методом, сводящим творческое начало до минимума.

Человеческой изобретательности, видимо, достанет на то, чтобы книги писали машины. Механизированный процесс уже, как легко убедиться, запущен в кино и на радио, в рекламе и пропаганде, а также в примитивных разновидностях журналистики. Например, диснеевские фильмы делаются, по существу, фабричным методом, когда работа выполняется частью механически, частью — бригадами художников, каждый из которых подчиняет собственный стиль общей задаче. Сценарии радиопостановок обычно пишут измотанные литподенщики, которым заранее заданы тема и ее освещение; но и здесь то, что выходит из-под их пера,— всего лишь заготовка, а уж продюсеры и цензура перекраивают ее по-своему. Сказанное справедливо и в отношении бесчисленных книг и брошюр, которые пишутся по заказу правительственных служб. Еще больше напоминает фабрику производство рассказов, романов «с продолжением» и стихов для дешевых журнальчиков. Газеты типа «Райтер»[1] пестрят объявлениями литературных мастерских, предлагающих вам готовенькие сюжеты по несколько шиллингов за штуку. Некоторые в придачу к сюжету поставляют начальные и завершающие фразы для каждой главы. Другие готовы снабдить вас чем-то вроде алгебраической формулы, с помощью которой вы сами можете конструировать сюжеты. Третьи предлагают набо-

[1] «Писатель» *(англ.)*.

ры карточек с персонажами и ситуациями, так что достаточно перетасовать и разложить колоду, чтобы хитрый сюжет составился сам собой. Таким или иным сходным образом, вероятно, будет делаться литература в тоталитарном обществе, если оно сочтет, что литература пока что ему необходима. Воображение — и даже, насколько возможно, сознание — будет исключено из процесса писания. Бюрократы станут планировать книги по основным показателям, а сами книги — проходить через столько инстанций, что в конце концов сохранят не больше от оригинального произведения, чем сходящий с конвейера «форд». Само собой разумеется, все производимое таким способом будет хламом; но все, что *не* хлам, будет представлять опасность для государственного устройства. Если же говорить о литературном наследии, то его потребуется изъять или, на худой конец, тщательно переписать.

Однако же тоталитаризм нигде не сумел полностью восторжествовать. Наше собственное общество по-прежнему либерально — в широком смысле. Чтобы реализовать право на свободу слова, приходится бороться с экономическим принуждением и с влиятельными тенденциями в общественном мнении, но пока еще не с тайной полицией. Можешь говорить или печатать почти все, если только согласен не привлекать к себе при этом внимание. Но что внушает ужас, так это, как я сказал в начале статьи, сознательная враждебность свободе со стороны тех, кому она должна быть всего дороже. Широкой публике нет дела ни до свободы, ни до ее противников. Она, публика, не одобрит преследований еретика, но и лезть из кожи вон не будет, чтобы его защитить. В массе своей люди слишком здравомыслящи и в то же время слишком недалеки, чтобы воспринять тоталитарные взгляды. Прямое и сознательное наступление на честную мысль ведут сами интеллигенты.

Просоветски настроенная интеллигенция, не подпади она под воздействие именно этого мифа, возможно, поддалась бы какому-нибудь другому, во многом похожему. Но русский миф в любом случае налицо и действует разлагающе. Когда видишь, как высокообразованные люди равнодушно взирают на подавление и преследования, трудно понять, что заслуживает большего презрения — их цинизм или их близорукость. Многие ученые, к примеру, слепо восторгаются СССР. Они, похоже, считают удушение свободы несущественным, постольку поскольку оно в данный момент не затрагивает их собственной деятельности. СССР — огромная быстро развивающаяся страна, которая остро нуждается в научных кадрах и по этой причине им покровительствует. Ученые, если только они за версту обходят опасные дисциплины вроде психологии,— люди привилегированные. Писатели же, напротив, преследуются. Правда, литературные содержанки типа Ильи Эренбурга или Алексея Толстого получают большие деньги, но единственное, что представляет хоть какую-то ценность для писателя как такового,— свобода самовыражения — у них отнято. Некоторые из английских ученых, с таким восторгом распространяющихся об огром-

ных возможностях, предоставленных их коллегам в России, способны это хотя бы понять. Но их соображения, судя по всему, таковы: «В России преследуют писателей. Ну и что? Я-то не писатель». Они не видят, что любые посягательства на свободу мысли и на идею объективной истины в конечном счете несут угрозу каждой отрасли знания.

В настоящее время тоталитарное государство терпит ученого, потому что нуждается в нем. Даже в Германии при нацизме с учеными, исключая евреев, обходились сравнительно хорошо, и немецкое научное сообщество в целом не оказало Гитлеру никакого сопротивления. На нынешнем историческом этапе даже наиболее самодержавный правитель вынужден считаться с материальной реальностью — отчасти из-за пережитков либерального образа мышления, отчасти из-за необходимости готовиться к войне. До тех пор пока невозможно полностью игнорировать материальную реальность, до тех пор пока два и два в сумме должны давать четыре при расчете, например, проекта самолета, ученый выполняет свои обязанности, и ему даже может быть предоставлена свобода — в определенных границах. Отрезвление придет к нему потом, когда тоталитарное государство основательно утвердится. Но если он намерен защищать честь науки, сегодня его задача — каким-то образом поддержать своих литературных коллег и не отмахиваться: «Пустяки!» — когда писателям затыкают рот или доводят их до самоубийства, а газеты систематически врут.

Как бы ни обстояло дело с естественными науками или с музыкой, живописью и архитектурой, в одном, как я попытался показать, можно быть твердо уверенным: литература обречена, если погибнет свобода мысли. Мало того, что она обречена в любой стране, где сохраняется тоталитарная структура,— любой писатель, воспринимающий тоталитарное мировоззрение и находящий оправдания преследованиям и искажению действительности, тем самым уничтожает в себе писателя. Это неизбежный процесс. Никакие обличения «индивидуализма» и «башни из слоновой кости», никакие благоглупости в том смысле, что «подлинная индивидуальность обретается только в слиянии с обществом», не способны изменить тот факт, что продавшийся ум есть ум порочный. Без непосредственности на том или ином этапе творческого процесса литературное созидание становится невозможным и сам язык костенеет. Когда-нибудь в будущем, если человеческий разум превратится в нечто совершенно отличное от себя нынешнего, мы, возможно, научимся отделять литературное творчество от честной мысли. Но в настоящем мы знаем только, что воображение, подобно некоторым диким животным, не желает размножаться в неволе. Каждый писатель или журналист, эту истину отрицающий — а почти все теперешние славословия по адресу Советского Союза несут в себе или подразумевают такое отрицание,— по существу, работает тем самым на свое уничтожение.

1945—1946

ПОЛИТИКА ПРОТИВ ЛИТЕРАТУРЫ. ВЗГЛЯД НА «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»

В «Путешествиях Гулливера» Свифт ополчается против рода человеческого, точнее, подвергает его критике по меньшей мере с трех сторон, и неизбежно по ходу дела меняется облик главного персонажа, Гулливера. В Первой части он предстает типичным путешественником восемнадцатого века — отважным, самоуверенным, практичным, без всякого романтического ореола; обыденность этой фигуры искусно донесена до читателя при помощи биографических подробностей, которыми он предваряет повествование, указания на возраст (к началу своих приключений он — сорокалетний отец двух детей) и точной описи предметов, находившихся в его карманах,— среди них особо выделены очки, он несколько раз их упоминает. Во Второй части облик этот в значительной мере сохранен, но в нужные моменты герой начинает обнаруживать признаки идиотической глупости: хвастливо восславляя «...наше благородное отечество, владыку искусств и оружия, бич Франции» и т. д. и т. п., одновременно он предательски выбалтывает все ведомые ему скандальные факты о своей будто бы горячо любимой Англии. В Третьей части он вроде бы тот же, что и в Первой, хотя, общаясь с придворными и учеными, он внушает представление, что социальный статус его несколько повысился. В Четвертой выясняется, что он питает отвращение к роду человеческому, хотя ранее это не ощущалось или ощущалось только моментами; теперь он оказывается каким-то неверующим отшельником, с одним только желанием: поселиться в безлюдной местности и размышлять в уединении о добродетелях гуигнгнмов. Впрочем, это вынужденная непоследовательность автора — Гулливер требуется Свифту лишь для создания контрастных ситуаций. Он должен выглядеть здравомыслящим в Первой части и хотя бы иногда казаться глупцом во Второй, потому что в обеих книгах автор предпринимает, по сути, один и тот же маневр: ему надо показать человеческое существо в смехотворном виде, представив его человечком в шесть дюймов. Но во всех случаях, когда Гулливер не выставлен на посмешище, характер его сохраняет известную целостность, особенно в таких своих свойствах, как находчивость и наблюдательность ко всему материальному, что его окружает. В общем, он остается одним и тем же человеком, изображенным в той же стилистической манере, и когда уводит военный флот Блефуску, и когда вспарывает брюхо чудовищной крысы, и когда плывет в открытом океане в утлой ладье, сшитой из шкур йэху. Да и как не понять, что в моменты наибольшего прозрения Гулливер не кто иной, как сам Свифт; можно привести по меньшей мере один эпизод, в котором Свифт явно дает волю личной обиде на современное общество. Мы помним, что, когда вспыхнул пожар во дворце короля Лилипутии, Гулливер погасил его струей своей мочи. Вместо того чтобы поздравить его с такой находчивостью, Гулливеру сооб-

щают, что он совершил тягчайшее преступление, помочившись на королевский дворец...

«...Меня конфиденциально уведомили, что императрица была страшно возмущена моим поступком и переселилась в самую отдаленную часть дворца, твердо решив не реставрировать прежнего своего помещения; при этом она в присутствии своих приближенных поклялась отомстить мне».

По мнению профессора Дж. М. Тревельяна («Англия при королеве Анне»), карьере Свифта отчасти помешало то обстоятельство, что королева была шокирована «Сказкой бочки», памфлетом, который — так, очевидно, казалось Свифту — сослужил большую службу английской короне: ведь, обрушиваясь на диссентеров, а еще с большей силой на католиков, автор оставил в покое государственную церковь. Так или иначе, никто не станет отрицать, что «Путешествия Гулливера» — книга не только пессимистическая, но и мстительная, в которой — особенно в Первой и Третьей частях — Свифт часто опускается до узких политических пристрастий. В ней смешалось все: мелочность и великодушие, республиканизм и дух авторитарности, почтение к разуму и агностицизм. Столь присущее, как известно, Свифту свирепое отвращение к человеческой плоти становится господствующей чертой лишь в Четвертой части, но эта его одержимость почему-то не удивляет. Чувствуешь, что все эти перемены, все эти перепады настроения терзали одну и ту же личность, а связь между политическими взглядами Свифта и его неизменным отчаянием — одна из самых интересных особенностей этой книги.

В политическом плане Свифт принадлежал к числу тех людей, которых безрассудства современной им прогрессивной партии вигов загоняли в извращенный торизм. Первая часть «Путешествий» — на первый взгляд сатира, высмеивающая претензии человека на величие,— если всмотреться внимательнее, может быть воспринята как выступление против Англии, против господствующей партии вигов и против войны с Францией — войны, которая, как бы ни были низки мотивы союзников, все же спасла Европу от тиранического произвола одной-единственной реакционной державы. Свифт не был якобитом, не был он, строго говоря, и тори, призывал он в этой войне всего лишь к заключению умеренного мирного договора, а не к поражению Англии. И все же в финале Первой части чувствуется некий привкус «квислингизма», что слегка нарушает ее аллегорический замысел. Когда Гулливер бежит из Лилипутии (Англия) в Блефуску (Францию), авторская посылка, что человечек ростом в шесть дюймов должен вызывать презрение, каким-то образом исчезает. Если жители Лилипутии вели себя по отношению к Гулливеру самым предательским и гнусным образом, то в Блефуску его встречают искренне и радушно, да и весь финал этой части повествования звучит отлично от предшествующих глав. Совершенно ясно, что враждебность Свифта обращена прежде всего на Англию. Именно «ваших туземцев» (то есть соотечественников Гулливера) король Бробдингнега именует

«выводком маленьких отвратительных пресмыкающихся, самых пагубных из всех, какие когда-либо ползали по земной поверхности». А длинный пассаж в самом конце, обличающий колониализм и захват территорий, явно относится к Англии, хотя рассказчик самым тщательным образом пытается утверждать противоположное. С немалым ожесточением нападает Свифт в Третьей части и на союзника Англии — Голландию, которая ранее послужила мишенью для одного из самых знаменитых его памфлетов. Нечто весьма личное звучит и в пассаже, в котором Гулливер высказывает свое удовлетворение тем, что иные из открытых им стран не могут быть превращены в колонии Британской короны.

«Правда, гуигнгмы как будто не так хорошо подготовлены к войне, искусству, которое совершенно для них чуждо, особенно что касается обращения с огнестрельным оружием. Однако будь я министром, я никогда бы не посоветовал нападать на них. ...Представьте себе двадцать тысяч гуигнгнмов, врезавшихся в середину европейской армии, смешавших строй, опрокинувших обозы и превращающих в котлету лица солдат страшными ударами своих задних копыт...»

Так как Свифт слов на ветер не бросает, выражение «превращающих в котлету...», надо думать, приоткрывает тайное желание увидеть подвергнутые подобной участи непобедимые войска герцога Мальборо. Есть и другие примеры того же рода. Даже упомянутая в Третьей части страна, где «...большая часть населения состоит сплошь из разведчиков, свидетелей, доносчиков, обвинителей, истцов, очевидцев, присяжных, вместе с их многочисленными подручными и помощниками, находящимися на жалованье у министров и депутатов», именуется у него Лангден, это — за исключением одной буквы — анаграмма Англии. (А поскольку в ранних изданиях есть опечатки, возможно, это было задумано как полная анаграмма.) Что и говорить: вполне реально физическое отвращение Свифта к роду человеческому, однако возникает чувство, что все эти обличительные нападки на идею величия человека, все эти диатрибы, обращенные против лордов, политиканов, придворных фаворитов и пр., носят преимущественно локальный характер и объясняются его принадлежностью к партии, потерпевшей поражение. Гневно выступая против несправедливости и гнета, он, однако, не дает никаких оснований считать, что сочувствует демократии. При всем неизмеримом превосходстве силы и влиянии Свифта позиция его была очень близка той, что занимают в наши дни бесчисленные «умненькие» консерваторы — такие, как сэр Алан Герберт, профессор Дж. М. Янг, лорд Элтон; члены Консервативного комитета по реформам и целая когорта защитников католицизма — от У. Г. Мэллока и дальше; все они специализируются на острословии по поводу любых «современных» и «прогрессивных» тенденций и часто высказываются в самом крайнем духе, зная, что на реальный ход событий это повлиять не может. В конце концов можно сказать, что памфлет «Рассуждение об отмене христианства...» весьма напоминает

нам манеру «Робкого Тимоти» отпускать веселые шуточки по адресу Мозгового Треста либо отца Рональда Нокса, который вскрывает ошибки Бертрана Рассела. И сам факт, что Свифту так легко прощали — прощали даже самые благочестивые верующие — кощунственные выходки в его «Сказке бочки», убедительно демонстрирует слабосилие религиозных чувств по сравнению с политическими.

Однако же реакционный склад мышления Свифта проявляется главным образом вне его политических пристрастий. Важную роль играет его отношение к Науке, или, в более широком плане, к интеллектуальной пытливости. Знаменитое описание академии в Лагадо в Третьей части «Путешествий» было сатирой — и, несомненно, оправданной — на деятельность большинства так называемых «ученых» его времени. Характерно, что людей, в этой академии работающих, Свифт именует «прожектерами», подчеркивая этим, что заняты они не бескорыстными научными исследованиями, а изобретением разного рода устройств, которые должны подменять человеческий труд и приносить небывалые доходы. Но при этом нет никаких оснований полагать — и через всю книгу проходят указания на противоположный вывод,— что и «чистая наука» нашла бы в Свифте своего приверженца. Он уже успел дать хорошего пинка в зад ученым более серьезного толка, когда изложил во Второй части мнения светил науки, призванных королем Бробдингнега, чтобы разъяснить природу миниатюрности Гулливера.

«После долгих дебатов они пришли к единодушному заключению, что я не что иное, как рельплюм скалькатс, что в буквальном переводе означает Lusus Naturae (игра природы),— определение как раз в духе современной европейской философии, профессора которой, относясь с презрением к ссылке на скрытые причины, при помощи которых последователи Аристотеля тщетно стараются замаскировать свое невежество, изобрели это удивительное разрешение всех трудностей, свидетельствующее о необыкновенном прогрессе человеческого знания».

Сама по себе эта цитата могла бы свидетельствовать лишь о том, что Свифт — всего лишь враг лженауки. Однако в целом ряде эпизодов он не жалеет сил, чтобы доказать бесполезность любых научных исследований либо спекуляций, если только они не преследуют практическую цель.

«Знания этого народа (бробдингнегов) очень недостаточны: они ограничиваются моралью, историей, поэзией и математикой, но в этих областях, нужно отдать справедливость, им достигнуто большое совершенство. Что касается математики, то она имеет здесь чисто прикладной характер и направлена на улучшение земледелия и всякого рода механизмов, так что у нас она получила бы невысокую оценку. А относительно идей, сущностей, абстракций и трансценденталей мне так и не удалось внедрить в их головы ни малейшего представления».

Страна гуигнгнмов — идеальных для Свифта существ — отсталое общество даже на уровне простейшей механизации.

11—193

Они не знают металлов, никогда не слышали о лодках, фактически не занимаются и земледелием (нам сообщено, что овес, которым они кормятся, растет «естественно») и, по всей видимости, не изобрели колеса. (Гуигнгнмов, которые по старости не могут двигаться сами, возят на чем-то «вроде саней» — значит, не на колесах.) У них нет алфавита, им, очевидно, не присуща сколько-нибудь развитая любознательность по отношению к материальному миру. Они не могут поверить, что в мире есть еще какие-либо страны, кроме их собственной, и, хотя знакомы с движением Луны и Солнца и понимают природу затмений, «...это — предельное достижение их астрономии». По контрасту, философы летающего острова Лапуты так глубоко погружены в математические размышления, что, дабы привлечь их внимание, надо хлопнуть их по уху надутым пузырем. Они каталогизировали десять тысяч неподвижных звезд, определили периоды движения девяноста трех комет и, опередив астрономов Европы, открыли, что у Марса — две Луны; все эти сведения Свифт явно считает чем-то совершенно ненужным, смехотворным и не представляющим интереса. Как можно было ожидать, он видит место ученого — если тот вообще занимает какое-то место в жизни — лишь в лаборатории и считает, что научные познания не имеют ни малейшей связи с политическими вопросами.

«Но более всего меня поразила, и я никак не мог объяснить ее, замеченная мной у них сильная наклонность говорить на политические темы, делиться новостями и постоянно обсуждать государственные дела, внося в эти обсуждения необыкновенную страстность. Впрочем, ту же наклонность я заметил и у большинства европейских математиков, хотя никогда не мог найти ничего общего между математикой и политикой; разве только, основываясь на том, что маленький круг имеет столько же градусов, как и самый большой, они предполагают, что и управление миром требует не большего искусства, чем то, какое необходимо для управления и поворачивания глобуса».

Нет ли чего-то знакомого во фразе «...никогда не мог найти ничего общего между математикой и политикой»? Звучит она вполне в духе высказываний популярных апологетов католицизма, которых как будто бы удивляет, если ученый выражает свое мнение по таким вопросам, как существование бога или бессмертие души. Ученый, говорят нам, является специалистом лишь в определенной, ограниченной области знания; с какой же стати мнения его могут представлять ценность в любой другой сфере? Под этим подразумевается, что теология — такая же точная наука, как, скажем, химия, и священник является таким же специалистом, мнения которого должны почитаться бесспорными. Свифт фактически требует того же для политического деятеля, но при этом идет еще дальше: не соглашается признать ученого — как работающего в сфере «чистой науки», так и занимающегося конкретными исследованиями — личностью, приносящей пользу и в своей области. Даже если бы он не написал Третью часть «Путешествий», книга его в целом дает

повод считать, что, как Толстой и Блейк, он с ненавистью относится к самой идее познания природы. «Разум» гуигнгнмов, которым он так восторгается, в основе своей не означает способности извлекать логические выводы из наблюдаемых фактов. Хотя об этом и не говорится прямо, из контекста следует, что под ним подразумевается либо здравый смысл, то есть приятие очевидных явлений и презрение к разного рода софизмам и абстракциям, либо свобода от страстей и предубеждений. В общем, мнение его сводится к тому, что все необходимое мы уже знаем сами и просто не умеем правильно использовать это знание. Так, например, медицина — наука бесплодная, ибо, придерживаясь более естественного образа жизни, мы бы не страдали разными болезнями. Но при всем том Свифт — вовсе не приверженец «простой жизни» и совсем не склонен восхищаться Благородным Дикарем. Он — приверженец цивилизации и всех ее достижений. Он ценит хорошие манеры, умение вести беседу, даже знание литературы и истории; он понимает также необходимость и практическую выгоду изучения сельскохозяйственных наук, архитектуры и навигации. Однако конечная цель его — статическая, лишенная интеллектуальной пытливости цивилизация, точно такой мир, в каком он живет, только немножко почище и поразумнее, без каких-либо радикальных перемен, без дерзких вылазок в неведомое. Он чтит далекое прошлое, в особенности век античности, более, чем можно было бы ожидать от человека, столь свободного от распространенных заблуждений, и полагает, что современный человек за последние столетия резко деградировал[1]. Очутившись на острове чародеев и волшебников, где можно было по желанию вызвать души умерших, Гулливер просит «...вызвать римский сенат в одной большой комнате и для сравнения с ним современный парламент в другой. Первый казался собранием героев и полубогов, второй — сборищем разносчиков, карманных воришек, грабителей и буянов». Хотя Свифт в этом разделе Третьей части подверг разрушительной критике правдивость исторических представлений, дух критицизма покидает его, как только он обращается к древним грекам и римлянам. Разумеется, он не приемлет коррупцию имперского Рима, но к некоторым крупным фигурам Древнего мира он питает почти безрассудное восхищение.

«При виде Брута я проникся глубоким благоговением; в каждой черте этого благородного лица нетрудно было увидеть самую совершенную добродетель — величайшее бесстрастие и твердость духа, преданнейшую любовь к родине и благоже-

---

[1] Физическая деградация иаселеиия, которую, как утверждает Свифт, ои иаблюдал повсюду, могла быть в то время реальиым фактом. Одиой из причии ее ои считает сифилис, который был тогда в Европе иовым явлеиием и, возможио, иосил более жестокие и опасиые формы, чем теперь. Новиикой в семиадцатом веке были также спиртиые иапитки, и это обстоятельство могло вызвать резкое усилеиие пьяиства.— *Прим. автора.*

лательность к людям... Я удостоился чести вести долгую беседу с Брутом, в которой он, между прочим, сообщил мне, что его предок Юний, Сократ, Эпаминонд, Катон-младший, сэр Томас Мур и он сам всегда находятся вместе: секстумвират, к которому вся история человечества не может добавить седьмого члена».

Следует отметить, что из шести человек только один — христианин. Это очень важно. Соединив в одно общее свифтовский пессимизм, его благоговейное отношение к прошлому, отсутствие любознательности, отвращение к человеческому телу, мы, таким образом, обнаружим мировоззрение, характерное для религиозных реакционеров, то есть людей, которые защищают несправедливый общественный строй, утверждая, что в этом мире существенные улучшения невозможны, а главным остается «мир иной». Однако же Свифт не проявляет никаких признаков религиозности, во всяком случае, в обычном толковании этого понятия. Похоже, что он не очень-то верит в жизнь после смерти, а представления о благе связаны у него с идеями республиканизма, любовью к свободе, храбростью, доброжелательностью (под которой он разумеет дух патриотизма), «разумом» и прочими языческими добродетелями. Все это наводит на мысль, что в облике Свифта есть и нечто не вполне совместимое с его неверием в прогресс и ненавистью к роду человеческому.

Начать с того, что в какие-то моменты он бывает «конструктивным» и даже «передовым». Эпизодическая непоследовательность несколько оживляет утопии, а Свифт порой вставляет словечко одобрения в пассаж, сатирический по замыслу. Скажем, мысли свои относительно обучения молодежи он приписывает обитателям Лилипутии, которые выражают по этому поводу мнения, почти совпадающие с правилами гуигнгнмов. Более того, у лилипутян существует целый ряд общественных и правовых институтов (например, пенсии по старости, а также поощрения тем, кто исполняет закон, и наказания для тех, кто его нарушает), которые он хотел бы видеть в собственной стране. В середине этого пассажа Свифт вспоминает о своем сатирическом замысле. «Описывая как эти, так и другие законы империи,— добавляет он,—...я хочу предупредить читателя, что мое описание касается только исконных установлений страны, не имеющих ничего общего с современной испорченностью нравов, являющейся результатом глубокого вырождения». Но поскольку предполагается, что Лилипутия призвана изображать Англию, а в Англии нет ничего похожего на установления, о которых идет речь, совершенно ясно, что Свифт поддался импульсу выступить с конструктивными предложениями. Величайшим его вкладом в политическую мысль — в узком смысле этого понятия — надо считать гневный сарказм, который он обрушивает, особенно в Третьей части, на тоталиторное, выражаясь по-современному, общество. С необыкновенной провидческой ясностью видит он кишащее шпионами «полицейское государство» с его бесконечной охотой на еретиков и судами над «изменниками родины», рассчитанными на то,

чтобы нейтрализовать народное недовольство, обращая его в военную истерию. При этом стоит вспомнить, что Свифту удалось развернуть картину целого по незначительным деталям, так как маломощные правительства в его эпоху не давали возможности полностью подтвердить то, что было создано его воображением. Так, например, один из профессоров «школы политических прожектеров» показал Гулливеру обширную рукопись «инструкций для открытия противоправительственных заговоров» и заявил, что можно распознавать самые тайные помыслы людей, исследуя их экскременты, «...ибо люди никогда ие бывают так серьезны, глубокомысленны и сосредоточенны, как в то время, когда оии сидят иа стульчаке, в чем он убедился иа собственном опыте; в самом деле, когда, находясь в таком положеиии, он пробовал, просто в виде опыта, размышлять, каков иаилучший способ убийства короля, то кал его приобретал зеленоватую окраску, и цвет его был совсем другой, когда он думал только о поднятии восстаиия или о поджоге столицы».

Этот профессор и его теория были подсказаны Свифту, полагают литературоведы, одним, не столь уж удивительным или отвратительным на наш взгляд фактом: в одном из государственных судебиых процессов того времени были использованы в качестве улик письма, иайденные в чьем-то нужнике. А несколько ниже, в той же самой главе, мы словио попадаем в самый разгар русских политических процессов 1930-х годов:

«В королевстве Трибниа, изываемом туземцами Лангден... большая часть иаселения состоит сплошь из разведчиков, свидетелей, доиосчиков, обвинителей, истцов, очевидцев, присяжиых...

...Прежде всего они соглашаются и определяют промеж себя, кого из заподозренных лиц обвиниить в составлении заговора; затем прилагаются все старания, чтобы захватить письма и бумаги таких лиц, а их авторов заковать в кандалы. Захваченные письма и бумаги передаются в руки специальиых знатоков, больших искусииков по части нахождения таинственного значения слов, слогов и букв... Если этот метод оказывается недостаточиым, оии руководствуются двумя другими, более действенными, известными между учеиыми под имеием акростихов и анаграмм. Один из этих методов позволяет им расшифровать все инициалы согласно их политическому смыслу. Так, N будет означать заговор, B — кавалерийский полк, L — флот на море. Пользуясь вторым методом, заключающимся в перестановке букв подозрительного письма, можно прочитать самые затаенные мысли и узнать самые сокровеиные иамереиия недовольной партии. Например, если я в письме к другу говорю: «Наш брат Том нажил геморрой»,— искусный дешифровальщик из этих самых букв прочитает фразу, что заговор открыт, надо сопротивляться и т. д. Это и есть анаграмматический метод».

Другие профессора этой же школы изобретают упрощенные языки, сочиняют киигн с помощью специальных стаиков, обучают студентов, заставляя их глотать облатки, иа которых записан текст урока, предлагают устранять различия в мыслях,

производя обмен мозгами посредством отпиливания части затылка... Есть нечто странно знакомое в самой атмосфере этих глав: через все это изобретательное дурачество проходит мысль, что тоталитаризм стремится не только заставить людей думать надлежащим образом, но и притупить их сознание. Да и свифтовское описание вождя, царящего над племенем йэху, и «фаворита», который сначала исполняет грязную работу, чтобы затем стать козлом отпущения, на редкость хорошо вписывается в наше собственное время. Однако следует ли из всего этого, что Свифт был прежде всего и главным образом врагом тирании и борцом за свободу мысли? Нет, собственные убеждения его, насколько можно определить, далеко не столь либеральны. Сомнений не возникает: он действительно ненавидит лордов, королей, епископов, генералов, светских дам, титулы, знаки отличия и прочую дребедень, но нигде не видно, что о простых людях он более высокого мнения, чем об их правителях, что он стоит за большее социальное равноправие, либо увлекается идеями репрезентативных общественных институтов. Общество гуигнгнмов организовано по определенной кастовой системе, в основе которой — расовое начало; слуги, выполняющие самую тяжелую работу, отличаются по цвету кожи от своих хозяев и не скрещиваются с ними. Система образования, которой восхищается Свифт у лилипутян, подразумевает как нечто совершенно естественное наследственные классовые различия, и дети из беднейших классов вообще не посещают школы; поскольку «...они предназначены судьбой возделывать и обрабатывать землю, то их образование не имеет особого значения для общества». Не скажешь, что он активно выступал за свободу слова и печати, несмотря на то, что к собственным его писаниям проявлялось очень терпимое отношение. Короля бробдингнегов поражает многочисленность и многообразие религиозных сект и политических группировок в Англии, и он находит, что «...тот, кто исповедует мнения, пагубные для общества» (в этом контексте попросту еретические), обязан если не изменить их, то, во всяком случае, держать при себе, ибо: «Если требование перемены убеждений является правительственной тиранией, то дозволение открыто исповедовать мнения пагубные служит выражением слабости». Есть и более тонкое указание на суть собственных взглядов Свифта: мы обнаруживаем его в рассказе о том, каким образом Гулливер был вынужден покинуть страну гуигнгнмов. Свифт нередко предстает перед нами своего рода анархистом, а в Четвертой части создана картина анархического общества, управляемого не Законом в общепринятом смысле слова, а Разумом, диктат которого, видимо, ни у кого не вызывает возражений. Генеральная ассамблея гуигнгнмов «увещевает» хозяина Гулливера изгнать его из страны, и соседи оказывают на него давление, вынуждая в конце концов дать свое согласие. Они выдвигают две причины: во-первых, присутствие необычного йэху может породить беспорядок в среде этих существ; во-вторых, дружественное отношение гуигнгнма к йэху «...противно разуму и при-

роде и является вещью, никогда прежде неслыханной у них». Хозяину Гулливера не очень-то хочется подчиниться, но с «увещеванием» (нам сообщают, что гигнгму никогда не отдают приказов, его только «увещевают» или «убеждают») необходимо считаться. Эта ситуация очень наглядно обнаруживает тенденцию к тоталитаризму, заключенную в анархистской или пацифистской концепции общества. В обществе, где нет закона и — теоретически — принуждения, общественное мнение является единственным арбитром, определяющим нормы поведения отдельной личности. Но это общественное мнение в силу огромной тяги стадных животных к единообразию отличается еще меньшей терпимостью, чем любая система, основанная на законах. Когда человеческое сообщество управляется определенными «заповедями», которые нельзя «преступить», тот или иной индивид имеет возможность проявлять некоторую эксцентричность в своем поведении. Но когда это сообщество управляется — теоретически — лишь «любовью» или «разумом», личность испытывает постоянное давление, вынуждающее ее и думать и поступать, как все, без всяких отклонений. Нам сообщают, что гуигнгнмы почти не ведали разногласий ни по одному вопросу. Единственным вопросом, который они когда-либо подвергли обсуждению, была дальнейшая участь племени йэху. Во всех других случаях никаких поводов для споров не возникало: истина была либо самоочевидна, либо непознаваема и потому не имела значения. В их языке, видимо, вообще не было слова «мнение», а в разговорах не проявлялось различий в «чувствах». Фактически они достигли высшей стадии тоталитарной организации общества, стадии, при которой конформизм стал настолько всеобъемлющим, что отпала всякая надобность в полиции. Такое положение дел Свифт явно одобряет, поскольку среди многих его дарований и качеств не нашлось места для любознательности и добродушия. Инакомыслие всегда представляется ему просто извращенностью ума. «Для них разум,— говорит он,— не является, как для нас, инстанцией проблематической, снабжающей одинаково правдоподобными доводами за и против; напротив, он действует на мысль с непосредственной убедительностью, как это и должно быть, когда он не осложнен, не затемнен и не обесцвечен страстью и интересом». Другими словами, нам уже все обо всем известно, к чему же нам допускать высказывания противоречащих мнений? Такая установка, естественно, приводит к тоталитарному обществу гуигнгнмов, где нет ни свободы, ни развития.

Мы справедливо видим в Свифте мятежника и борца против предрассудков, но, не считая второстепенных моментов — как, например, его убежденности, что женщинам следует получать то же образование, что и мужчинам,— во всем остальном он не дает оснований причислить себя к «левым». Свифт — консервативный анархист, который, презирая власть, не верит в свободу и не расстается с аристократическим взглядом на общество, отлично понимая, что современная ему выродившая-

ся аристократия достойна лишь презрения. Когда он произносит очередную свою диатрибу против богачей и власть имущих, следует, как я уже сказал, часть его пыла отнести на счет того обстоятельства, что сам он принадлежал к менее удачливой партии и испытал разочарования в личной жизни. По вполне ясным причинам «аутсайдеры» всегда оказываются радикальнее «своих»[1]. Но самое существенное у Свифта — его неспособность поверить в то, что можно сделать более достойной нашу бренную жизнь, а не какую-то лишенную плоти рационалистическую схему быта. Разумеется, ни один честный человек не скажет, что сейчас счастье может быть названо нормальным явлением среди взрослых людей, но, быть может, оно когда-нибудь станет таковым — именно на этом вопросе и зиждется вся серьезная политическая полемика. У Свифта есть много общего — мне кажется больше, чем было до сих пор замечено,— с Толстым, еще одним мыслителем, не верящим в возможность земного счастья. Обоим был присущ анархический взгляд на общество, за которым скрывался авторитарный склад ума, оба враждебно относились к науке и нетерпимо — к попыткам оспорить их мнения, оба не способны были придавать значение чему-либо, их лично не интересующему; наконец, и у того и у другого был какой-то ужас перед реальным течением жизни, хотя Толстой пришел к этому позже и по другим причинам. Обоих мучали вопросы пола, но также по разным причинам, общим было лишь искреннее отвращение к сексу — с изрядной примесью болезненного влечения к нему. Толстой был раскаявшимся распутником, который проповедовал воздержание, но до глубокой старости не следовал собственной проповеди. Свифт, по всей вероятности, был импотентом и всегда испытывал какое-то гиперболическое омерзение к человеческим нечистотам, а думал на эту тему непрестанно, о чем свидетельствуют его произведения. Люди такого типа вряд ли способны оценить даже ту мизерную долю счастья, что достается большинству человеческих существ, и — по вполне понятным мотивам — не склонны считать возможными и значительные улучшения в жизни земной. И нелюбопытство их, и нетерпимость — из одного и того же источника.

---

[1] В финале «Путешествий» в качестве типичных образчиков глупости и порочности человека Свифт называет «...судейского, карманного вора, полковника, шута, вельможу, игрока, политика, сводника, врача, лжесвидетеля, соблазнителя, стряпчего, предателя и им подобных». Здесь звучит не знающая удержу ярость человека, лишенного власти. В одну кучу свалены и разрушители и охранители порядка и права. Если, скажем, надо осудить полковника за то, что он — полковник, то на каких основаниях можно судить предателя? Стремясь покончить с воровством, надо опираться на законы, а следовательно, надо иметь юристов. Но весь этот финальный пассаж, столь сильно пропитанный ненавистью и столь слабо аргументированный, как-то не убеждает читателя. Чувствуется, здесь дана воля личному озлоблению.— *Прим. автора.*

Омерзенне, злость, пессимизм Свифта были бы понятны, взирай он на нашу жнзнь как на переходную ступень к «миру нному». Но поскольку ни во что подобное ои, очевидно, не верит, возникает необходнмость сконструнровать некий рай на земной поверхности, иичего общего не имеющий с ведомой нам реальиостью. В нем нет места всему, что не нравится Свнфту: лжи, глупости, переменам, восторженным чувствам, удовольствиям, любви и грязн. В качестве ндеального существа он избирает лошадь — животное, экскременты которого наименее противны. Гунгнгнмы — очень скучиая скотннка; факт настолько общепризианный, что нет надобиости его чем-либо обосновывать. Геннй Свифта прндал им правдоподобность, но вряд ли иайдется много чнтателей, способных испытывать к ннм чтолнбо, кроме неприязнн. И вызваио это чувство совсем не уязвленным самолюбием человека, которому предпочли лошадь; ведь гуигнгнмы гораздо больше напоминают людей, чем йэху, и есть некая абсурдная иелогнчность в том, что Гулливер, испытывая ужас перед йэху, в то же время видит в иих существа одной с ним породы. Ужас этот охватывает его при первом же взгляде на йэху. «...я никогда еще, во все мои путешествия, не встречал более безобразиого животного, которое с первого же взгляда вызывало к себе такое отвращение». Отвращение — ио по сравиеиию с кем? Во всяком случае, не с гуигнгнмом, пóтому что ни одного гуигигима он пока еще не встретил. Значнт, по сравненню с самим собой, то есть с человеком. Однако в дальнейшем нам сообщается, что йэху — это н есть человек, и человеческое общество делается невыиоснмым для Гулливера имеино потому, что все люди — это йэху. Но в таком случае почему он еще раньше ие возымел отвращеиия к роду человеческому? И вот, в попытке свести концы с концами, Свифт говорнт, что йэху самым фантастическнм образом отличаются от людей, являясь в то же время людьми. Свнфт явно захлебывается в собственной ненависти, когда крнчит своим соплеменникам: «Вы еще грязнее, чем кажетесь!» Но, конечно, нспытывать симпатию к йэху нельзя, н непривлекательность гуигнгнмов объясняется вовсе ие тем, что они господствуют над йэху. Непрнвлекательны они тем, что «Разум», который правнт их жизнью, оказывается, по сути, тяготением к смерти. Не ведают они любви н дружбы, любознательности, страха, печали, не ведают гнева и неиавистн — если не считать их отношения к йэху, которые в этом обществе занимают примерио то же место, что евреи в нацистской Германии. «Они не балуют своих жеребят, но заботы, проявляемые родителями по отношению к воспитанию детей, днктуются нсключительно разумом». «Дружба н доброжелательство являются двумя главными добродетелями гуигнгимов, н оии ие ограничиваются отдельными особями, ио простираются на всю расу». Ценят они также беседы, но в беседах этих никогда не высказываются несходные мнення: «...говорилось только о деле, а речн выражались в очень немногих, но полиовесиых словах». У инх строгий контроль над рождаемостью: каждая пара, произведя на свет двух от-

прысков, прекращает половые отношения. Браки между молодыми устраивают старшие, по евгеническим принципам, и в языке их нет слов, обозначающих плотскую любовь. Когда кто-нибудь умирает, родные продолжают обычную жизнь, не испытывая ни малейшей скорби. Все это, вместе взятое, свидетельствует, что стремятся они как можно больше уподобиться трупу, сохраняя при этом физическое существование. Правда, кое-какие черты, им присущие, не укладываются в рамки «разумности» — в их понимании этого слова. Например, они придают особое значение не только физической выносливости, но и атлетике, к тому же любят поэзию. Но эти исключения, быть может, не столь непоследовательны, как кажется. Вероятно, Свифт подчеркивает атлетические свойства гуигнгнмов, дабы убедить читателей, что никогда благородные лошади не будут побеждены презренным родом человеческим; а склонность к поэзии присуща им потому, что поэзия представляется Свифту антитезой науки, самого бесполезного, на его взгляд, занятия на свете.

В части Третьей он называет «воображение, фантазию и изобретательность» тремя желательными качествами, которыми не обладают лапутянские математики (несмотря на свою любовь к музыке). Следует предположить, что, хотя Свифт великолепно владел жанром комической поэзии, вероятнее всего, наибольшее значение он придавал поэзии дидактической. О стихотворстве гуигнгнмов он говорит так: «...в поэзии они превосходят всех остальных смертных: меткость их сравнений, подробность и точность их описаний действительно неподражаемы. Стихи их изобилуют теми и другими фигурами, и темой их являются либо возвышенное изображение дружбы и доброжелательства, либо восхваление победителей на бегах или других телесных упражнениях».

Увы, даже гениальный дар Свифта не помог ему создать образчик творения, по которому можно было бы судить о поэтическом искусстве гуигнгнмов. Но можно представить себе, что это было нечто весьма напыщенное и холодное (по всей вероятности, рифмованные двустишия в размере пятистопного ямба) и, в общем, не противоречащее принципам «Разума».

Как известно, состояние счастья с большим трудом поддается изображению, и потому картины справедливого, упорядоченного общества редко кажутся привлекательными или убедительными. И все же большинство создателей «положительных» утопий стараются показать, какой может стать наша жизнь, если мы сумеем пользоваться ею более полно. А Свифт проповедует попросту отказ от полноты жизни, обосновывая это требование тем, что «Разум» означает подавление естественных инстинктов. Поколение за поколением гуигнгнмы, эти лишенные своей истории существа, ведут осмотрительный и расчетливый образ жизни, поддерживая один и тот же объем населения, не ведая страстей, не зная болезней, с полным безразличием встречая смерть, воспитывая в таком же духе свою молодежь,— и во имя чего? Во имя того, чтобы процесс

этот продолжался до бесконечности. У иих иачисто отсутствуют представлеиия о ценности нашего сегодняшиего бытия иа этой земле, либо о том, что можио изменить жизнь и придать ей большую ценность, либо — что надо пожертвовать жизиью ради грядущего блага. Свифт органически ие мог сотворить иную утопию, чем унылый мир гуигигнмов, раз он не верил в загробиую жизнь и не был способеи извлекать удовольствие из нормальиых человеческих отношеиий определениого рода. Однако унылый этот мир сочииеи автором ие потому, что кажется ему столь уж привлекательным сам по себе,— ои должеи служить оправданием для иовых выпадов против..рода человеческого. Коиечная цель Свифта — как всегда, унижение человека, для чего следует еще раз напомиить, что человек слаб, жалок и нелеп, а главное — воиюч; а подспудный мотив — надо полагать, какая-то зависть, зависть призрака к живущему, зависть человека, зиающего, что счастье ему недоступио, к другим, тем, кто может быть, как он боится, чуть счастливее его. В политическом плане подобиое мироощущение выражается либо в реакционности, либо в нигилизме, поскольку такая личиость стремится помешать обществу развиваться, что могло бы раскрыть несостоятельность ее пессимизма. Помешать можно двумя способами: взорвать все к черту или стараться отвращать от социальных перемен. В конечиом итоге Свифт избрал первый путь: он взорвал свой мир к черту, погрузившись в безумие, но при этом — что я и пытался доказать — политические цели его иосили в целом реакциоиный характер.

Все сказаниое может создать впечатление, что я против Свифта и цель моя — опровергиуть или даже принизить этого писателя. Да, в политическом и моральном аспектах я против того, за что ои ратует, иасколько позиция его доступиа моему понимаиию. Но, как ни удивительио, он прииадлежит к числу писателей, вызывающих мое безграничное восхищеиие, а «Путешествия Гулливера» — киига, которой я просто не могу иачитаться досыта. Впервые я прочел ее в восемь лет, точнее, за день до своего восьмилетия, потому что я стащил и тайком проглотил приготовленное к моему дню рождеиия издание «Путешествий», и с тех пор перечитывал их не меиее шести раз. Очарование их неувядаемо. Если бы мие пришлось составить список из шести книг, которые надо спасти от гибели, «Путешествия Гулливера», иесомненно, оказались бы в этом списке. И потому возникает вопрос: как соотиосится наша оценка взглядов писателя с наслаждением, которое доставляет нам его творчество?

Человек, способный проявить интеллектуальную беспристрастность, в состоянии распознать достоинства писателя, с которым глубоко расходится во взглядах, однако наслаждеиие его творчеством — совсем иное дело. Предположим, что существует такое явление, как искусство хорошее и плохое,— в таком случае и то и другое качества должны быть заложеиы в самом произведении искусства, конечио, не в отрыве от восприиимающей личности, ио иезависимо от ее расположения духа. Так что с этой точки зреиия стихотворение не может казаться хо-

рошим в понедельник и плохим — во вторник. Но если вы судите эти стихи по тому душевному, эстетическому отклику, который они у вас вызывают, то такое допущение верно, ведь душевный отклик или эстетическое наслаждение — чисто субъективное состояние, которым нельзя управлять. Читатель,— даже с самым развитым эстетическим вкусом — далеко не в каждый момент своего бытия проявляет эстетическое чувство, и чувство это очень легко подавляется. Если вы напуганы или голодны, мучаетесь зубами или морской болезнью, то «Король Лир» кажется вам не лучше «Питера Пэна». Умом вы понимаете, что лучше, но пока что для вас это просто факт, запавший в память, и ощутить достоинства «Лира» вы сможете, только вернувшись в нормальное состояние. И столь же разрушительно, нет, еще более разрушительно — потому что причины этого не сразу осознаются — воздействует неприятие вами политической или моральной позиции автора. Если книга вызывает у вас гнев, если она звучит оскорбительно или внушает тревогу, то, каковы бы ни были ее литературные достоинства, удовольствия она вам не доставит. А если она представляется вам по-настоящему вредным произведением, которое может скверно влиять на читателей, не исключено, что вы постараетесь выработать соответствующую эстетическую установку, позволяющую опровергнуть и художественные ее достоинства. Большая часть нашей современной литературной критики сводится к такому непрестанному лавированию между двумя разными критериями. И все же вполне возможен и противоположный результат: читательское удовольствие побеждает внутреннее сопротивление, при том что вы отлично сознаете свою враждебность идеям автора, книга которого вас так увлекает. Отличный пример — Свифт, писатель со столь неприемлемым для большинства людей взглядом на мир и в то же время столь популярный. Как же это получается: мы терпим, когда нас именуют йэху, будучи твердо уверенными, что никакие мы не йэху?

Недостаточно ответить, что Свифт, конечно, заблуждался, он был сумасшедшим, но он был «хорошим писателем». Верно, что в какой-то незначительной мере литературные достоинства произведения отделимы от его содержания. Есть люди, обладающие врожденным даром слова, подобно тому как есть люди «с точным глазом», который помогает им в играх. Дело здесь заключено главным образом в инстинктивном умении расставлять акценты — в нужный момент и нужной силы. Вот первый пришедший на ум пример: прочтите уже цитированный мною пассаж, начинающийся словами: «В королевстве Трибниа, называемом туземцами Ланген...» Особую силу придает ему финальная фраза: «Это и есть анаграмматический метод». Фраза, строго говоря, ненужная, ибо «анаграмматический метод» только что был подробно описан, но именно издевательская торжественность повтора, когда нам словно слышен голос самого Свифта, изрекающего эти слова, вбивает в сознание всю идиотичность происходящего — последний удар молотка,

вогнавшего гвоздь по самую шляпку. Однако же ничто — ни мощная простота свифтовской прозы, ни напор его воображения, благодаря которому картины совершенно невероятных миров оказываются убедительнее и правдоподобнее, чем большая часть исторических исследований,— не позволило бы нам наслаждаться чтением Свифта, будь его взгляд на мир истинно отталкивающим и оскорбительным. Миллионы читателей во многих странах увлекались «Путешествиями Гулливера», в большей или меньшей степени ощущая антигуманистический подтекст книги. И даже до ребенка, читающего Первую и Вторую части просто как приключенческую историю, доходит абсурдность шестидюймовых человечков, претендующих на звание людей. Объяснение, очевидно, кроется в том, что взгляд Свифта на мир не воспринимается как полностью ложный, или, точнее, не всегда воспринимается как ложный. Свифт — неизлечимо больной писатель. Он постоянно пребывает в депрессии — состоянии, которое большинство людей испытывает лишь периодически; представим себе, что человеку, страдающему разлитием желчи или еще не оправившемуся от тяжелого гриппа, хватает энергии, чтобы писать книги. Всем знакомо это состояние, и какая-то струнка в нас отзывается, когда мы встречаем его в литературном произведении. Возьмем, например, одно из характерных стихотворений Свифта «Туалетная комната дамы» или в том же духе написанное «На отход ко сну прелестной юной нимфы». Что истинней: точка зрения Свифта, выраженная в этих стихах, или видение Блейка, запечатленное в строке «Божественно ее нагое тело»? Блейк, бесспорно, ближе к правде, но кому не доставит удовольствия зрелище развенчанной подделки — фальшивой женской утонченности? Свифт искажает реальность в своих картинах мира, потому что отказывается видеть в нем что-либо, кроме грязи, глупости и пороков, но ведь часть, извлекаемая им из целого, действительно существует, и все мы это знаем, предпочитая, однако, не касаться подобных тем. Частью своего разума, у нормального человека преобладающей, мы верим в то, что человек — благородное животное и жить на этой земле сто́ит, но есть в каждом из нас некое внутреннее «я», и порою оно в ужасе отшатывается от кошмара существования. Радости и отвращение сплетаются воедино непостижимейшим образом. Тело человеческое прекрасно, но оно может быть уродливым и смешным — в чем легко убедиться в любом плавательном бассейне. Половые органы служат предметом вожделения, но и омерзения; ведь недаром почти во всех языках названия их звучат как непристойные ругательства. Мясо необыкновенно вкусно, но в лавке мясника нас тошнит, да и все, чем мы питаемся, в конечном счете — производное от навоза и мертвечины, двух самых отвратительных для нас вещей на свете. Вышедший из младенческого возраста, но еще сохраняющий свежий взгляд на окружающее ребенок постоянно испытывает не только удивление, но и чувство пугливого отвращения: к соплям и плевкам, к собачьему дерьму на тротуаре, к изды-

хающей жабе, в которой шевелятся черви, к запаху потных тел взрослых, к безобразию стариков с их голыми черепами и шишковатыми носами. Бесконечно толкуя о всевозможных болезнях, грязи и уродствах, Свифт, по существу, не открывает нам ничего нового, он просто говорит не обо всем. Правдиво описывает он также и поведение человека, особенно в сфере политики, хотя и здесь существуют другие, более важные факторы, которых он признавать не желает. По нашему разумению, и ужас и боль необходимы для продолжения жизни на этой планете, что дает основания пессимистам, подобным Свифту, задаваться вопросом: «Если ужас и боль неотъемлемы от нашего бытия, как можно надеяться сделать жизнь лучше?» В основе своей это христианская доктрина минус посулы «мира иного» — который, вероятно, меньше владеет душами верующих, чем убежденность, что земная жизнь — удел слез, а могила — место успокоения. Я убежден в ошибочности такого взгляда и в том, что он может самым вредным образом влиять на человеческие поступки, но что-то в нас отзывается на него, как отзывается на мрачное звучание заупокойной службы сладковатый запах мертвого тела в деревенской церкви.

Зачастую высказывается мнение — во всяком случае, теми, кто придает особую важность содержательности литературы,— что книга не может быть «хорошей», отражая заведомо ложный взгляд на жизнь. Нам внушают, что применительно к современности каждое произведение, обладающее подлинными литературными достоинствами, должно быть более или менее «прогрессивным» по своим тенденциям. При этом упускается из виду, что на протяжении всей человеческой истории бушевали такие же войны между прогрессивными и реакционными силами, а лучшие книги в каждую эпоху всегда выражали самые различные позиции, в том числе заведомо ложные. В той мере, в какой писатель является пропагандистом, самое большее, что можно требовать от него: пусть он искренне верит в то, что высказывает, и пусть не говорит явных глупостей. В наши дни, например, вполне можно представить себе хорошую книгу, написанную католиком, коммунистом, фашистом, пацифистом, анархистом, быть может, либералом старого толка или обычным консерватором; но нельзя вообразить, что хорошую книгу напишет спирит, бухманит или куклуксклановец. Взгляды писателя должны быть совместимы со здравомыслием — в медицинском смысле этого слова — и с энергией действенной мысли; кроме этого, мы ждем от него только таланта, под которым, вероятно, подразумевается убежденность. Свифту не была дана обычная житейская мудрость, но дана была грозная интенсивность ви́дения, способного извлечь, увеличить и тем самым исказить какую-то одну потаенную истину. Долговечность «Путешествий Гулливера» доказывает, что мировоззрение, подкрепленное силой убежденности, даже если оно на грани безумия, способно породить великое произведение искусства.

1946

ПРИЗНАНИЯ РЕЦЕНЗЕНТА

В холодной, но душной комнате, служащей одновременно спальней и гостиной, посреди окурков и недопитых чашек чая за шатким столом, заваленным грудами пыльных бумаг, сидит человек в побитом молью халате и старается поудобнее поставить пишущую машинку. Он не смеет выкинуть бумаги, потому что мусорная корзина уже набита доверху и, кроме того, в кипах неотвеченных писем и неоплаченных счетов может оказаться чек на две гинеи — те самые две гинеи, которые он почти наверняка забыл переслать в банк в качестве очередного взноса. Вдобавок в письмах есть кое-какие нужные адреса, которые следует занести в записную книжку. Однако записная книжка куда-то подевалась, и от одной мысли разыскать ее или что-нибудь еще в этом бедламе хочется лезть в петлю.

Нашему герою тридцать пять лет, но выглядит он на все пятьдесят. Он лыс, страдает расширением вен и носит очки — вернее, носил бы их, если бы постоянно не терял свою единственную пару. Если дела у него идут нормально, он, как правило, недоедает, если же недавно выдалась полоса везения, то у него до сих пор голова гудит с похмелья.

Сейчас половина двенадцатого, и по плану ему следовало бы приняться за работу ровно два часа назад, но, даже если бы он всерьез попытался взяться за нее, из благого намерения ничего бы не получилось — ему мешали бы непрерывные телефонные звонки, плач ребенка, стук отбойного молотка на мостовой перед окном, тяжелые шаги его кредиторов вверх-вниз по лестнице. Только что второй раз пришел почтальон и вручил ему пачку рекламных проспектов и строгое напоминание налоговой службы, напечатанное красными буквами.

Надо ли говорить, что этот бедняга — писатель? Он может быть романистом или поэтом, сценаристом или писать для радио, потому что все литераторы похожи друг на друга, но допустим, что наш герой — критик-рецензент. Где-то в бумажных дебрях на столе завалился объемистый пакет с пятью книгами, которые его редактор прислал ему с запиской «обчитать по возможности все сразу». Книги принесли четыре дня назад, но рецензент, охваченный каким-то духовным параличом, за двое суток не набрался мужества и сил даже вскрыть посылку. Только вчера, в приступе отчаянной решимости, он содрал с пакета шпагат и нашел внутри «Палестину на перепутье», «Научные основы содержания молочной фермы», «Краткую историю европейских демократий» (на 680 страниц и весом в четыре фунта), «Племенные обычаи в португальской Восточной Африке» и роман «Не приятнее ли прилечь?», вложенный, очевидно, по ошибке. Его рецензия объемом примерно три страницы должна быть на столе в редакции самое позднее завтра днем.

Три книги из пяти посвящены предметам, о которых он понятия не имеет, хочешь не хочешь придется прочитать хотя бы страничек пятьдесят, чтобы не сделать какой-нибудь чудо-

вищный ляп, который выдаст его некомпетентность, причем стыдно будет не только перед автором (который, конечно же, прекрасно осведомлен о повадках рецензентов), но и перед читающей публикой. К четырем пополудни он вытащит книги из пакета, но пока еще физически неспособен их раскрыть. Необходимость читать, даже сам запах типографской бумаги действуют на него так, словно ему предстоит съесть застывший пудинг из рисовой муки, приправленный касторкой. И все же материал попадет в редакцию вовремя. Как это ни удивительно, материалы всегда попадают в редакцию вовремя.

Часов в девять вечера голова у рецензента начинает наконец кое-что соображать, и он просидит до петухов, привычно просматривая по диагонали книгу за книгой и не замечая, что в комнате становится все холоднее и холоднее, а табачный дым уже висит густым облаком. Откладывая очередной опус, он непременно поморщится: «Боже, что за чушь!» Мрачный и небритый, он проведет утром битый час, уставившись невидящими, покрасневшими от бессонницы глазами на чистый лист бумаги, пока указующая стрелка часов не повергнет его в форменную панику. И тут вдруг в нем как пружина распрямится. Неизвестно откуда начнут выскакивать банальные, стертые обороты: «Едва ли не на каждой странице...», «Особый интерес представляют главы, посвященные...», «...не пропустить эту замечательную книгу» — и вставать на положенные им места, точно железные опилки, притягиваемые магнитом. Рецензия займет ровно три страницы, и точка поставится за три минуты до того, как надо бежать в редакцию. Тем временем почтальон принесет еще одну пачку наспех подобранных и пресных сочинений. Так оно и идет. А с какими радостными надеждами начинал всего лишь несколько лет назад этот измотанный раздражительный человек!

Вы думаете, я преувеличиваю? Спросите любого рецензента, такого, которому приходится обозревать минимум сотню книг в год, посмеет ли он, положа руку на сердце, заявить, что его образ жизни и состояние сильно отличаются от описанных мною. Вообще-то говоря, любой пишущий похож на моего героя, но длительное и неразборчивое рецензирование — чрезвычайно неблагодарная, нервная и изнурительная работа. Дело не только в том, что приходится хвалить всякую чепуху — хотя и в этом тоже, как я постараюсь доказать,— но и в том, что он искусственно создает общественное мнение о книге, которая ему самому глубоко безразлична. Как бы ни был замотан рецензент, он все равно сохраняет профессиональный интерес к книге, однако из тысяч и тысяч изданий, появляющихся каждый год, хорошо, если наберется полсотни, ну, пусть сотня таких, о которых ему захотелось бы написать. Если рецензент — заметная личность в своей области, он может заполучить десяток-другой интересных книг; скорее же всего он вынужден будет довольствоваться двумя-тремя. Что до разбора остальных, то при всей добросовестности обозревателя его похвалы или порицания есть чистейшая халтура. Его драго-

ценнейшая духовная энергия будет стаканами изливаться в трубу.

Подавляющее большинство рецензий дают неполное, а то и превратное представление о книгах, которые в них разбираются. После войны издатели не смеют, как раньше, нажимать на литературные журналы, требуя от них непременного восхваления каждого выпускаемого ими сочинения, но, с другой стороны, из-за недостатка журнальной площади и других неблагоприятных обстоятельств резко упал уровень рецензирования. Озабоченные состоянием дел, некоторые усматривают выход в том, чтобы отнять рецензирование у ремесленников. Книги по узким отраслям знания должны попадать на отзыв к специалистам, а рецензирование, допустим, романов можно поручать любителям литературы. Почти любая книга способна вызвать горячий отклик у того или иного читателя, пусть даже самое решительное неприятие, зато его мнение о ней гораздо ценнее отписки загруженного и равнодушного профессионала. К сожалению, каждый редактор знает, как трудно наладить такое рецензирование. На практике он вынужден опираться на группу ремесленников, которую он называет своим «активом».

Нет, положение непоправимо, пока мы исходим из убеждения, что каждая книга должна быть обязательно отрецензирована. Обозревая издательскую продукцию скопом, мы неизбежно преувеличиваем достоинства большинства сочинений. Только при внимательном, высокопрофессиональном подходе выясняется, что основная масса книг безнадежно плоха. В девяти случаях из десяти, а то и чаще единственно объективный и правдивый отзыв должен быть таким: «Эта книга никуда не годится»,— тогда как рецензент скорее всего скажет: «Эта книга абсолютно не интересует меня, но я напишу о ней, если мне прилично заплатят». Но публика не хочет платить деньги за то, чтобы прочитать что он напишет. С какой стати? Публике нужен какой-нибудь путеводитель по книгам, которые ей предлагают прочитать, какая-нибудь оценка. Однако как только заходит речь об оценке, все критерии рушатся. Ибо если кто-нибудь изрекает — а едва ли не каждый рецензент изрекает такое по крайней мере раз в неделю,— что «Король Лир» — превосходная пьеса, а «Четверо справедливых мужчин» — превосходный боевик, то какой, спрашивается, смысл вкладывается в эпитет «превосходный»?

Мне всегда казалось, что лучше всего просто не замечать подавляющее большинство выпускаемых книг и давать большие рецензии, страниц на пять-шесть минимум, лишь на некоторые, действительно заслуживающие внимания. Короткие, в три-четыре строки аннотации на новые издания могут сослужить известную службу, однако практикуемое обозрение множества сочинений на трех страницах совершенно бесполезно, даже если рецензент искренне старается написать его хорошо. Да он и не старается. Выдавая изо дня в день и неделя за неделей «материал» со своими разрозненными впечатлениями, он скоро дела-

ется той самой помятой фигурой в халате, которую я описал вначале. Он может, правда, утешаться тем, что каждый в этом мире находит человека, на которого имеет право взирать свысока. Из личного опыта в обеих областях я утверждаю, что книжный рецензент находится в лучшем положении, чем кинокритик. Тот вообще лишен возможности работать дома, так как обязан посещать утренние показы и, за редчайшим исключением, вынужден продавать перо и марать свое доброе имя за бокал дешевого хереса.

1946

РЕЦЕНЗИЯ НА «МЫ» Е. И. ЗАМЯТИНА

В мои руки наконец-то попала книга Замятина «Мы», о существовании которой я слышал еще несколько лет тому назад и которая представляет собой любопытный литературный феномен нашего книгосжигательского века. Из книги Глеба Струве «Двадцать пять лет советской русской литературы» я узнал следующее.

Замятин, умерший в Париже в 1937 году, был русский писатель и критик, он опубликовал ряд книг как до, так и после революции. «Мы» написаны около 1923 года, и, хотя речь там вовсе не о России и нет прямой связи с современной политикой — это фантастическая картина жизни в двадцать шестом веке нашей эры,— сочинение было запрещено к публикации по причинам идеологического характера. Копия рукописи попала за рубеж, и роман был издан в переводах на английский, французский и чешский, но так и не появился на русском. Английский перевод был издан в США, но я не сумел достать его; но французский перевод (под названием "Nous Autres") мне наконец удалось заполучить. Насколько я могу судить, это не первоклассная книга, но, конечно, весьма необычная, и удивительно, что ни один английский издатель не проявил достаточно предприимчивости, чтобы перепечатать ее.

Первое, что бросается в глаза при чтении «Мы»,— факт, я думаю, до сих пор не замеченный,— что роман Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», видимо, отчасти обязан своим появлением этой книге. Оба произведения рассказывают о бунте природного человеческого духа против рационального, механизированного, бесчувственного мира, в обоих произведениях действие перенесено на шестьсот лет вперед. Атмосфера обеих книг схожа, и изображается, грубо говоря, один и тот же тип общества, хотя у Хаксли не так явно ощущается политический подтекст и заметнее влияние новейших биологических и психологических теорий.

В романе Замятина в двадцать шестом веке жители Утопии настолько утратили свою индивидуальность, что различаются по номерам. Живут они в стеклянных домах (это написано еще до изобретения телевидения), что позволяет полити-

ческой полиции, имеиуемой «Храиители», без труда надзирать за иими. Все носят одииаковую уииформу и обычио друг к другу обращаются либо как «иумер такой-то», либо «юиифа» (уииформа). Питаются искусствеииой пищей и в час отдыха маршируют по четверо в ряд под звуки гимиа Едииого Государства, льющиеся из репродукторов. В положеииый перерыв им позволеио на час (известиый как «сексуальиый час») опустить шторы своих стекляииых жилищ. Брак, коиечио, упразднен, ио сексуальная жизиь ие представляется вовсе уж беспорядочной. Для любовиых утех каждый имеет иечто вроде чековой киижки с розовыми билетами, и партиер, с которым проведен одии из иазначеииых сексчасов, подписывает корешок талоиа. Во главе Едииого Государства стоит некто, имеиуемый Благодетелем, которого ежегодио переизбирают всем иаселеиием, как правило, едииогласно. Руководящий прииципп Государства состоит в том, что счастье и свобода иесовместимы. Человек был счастлив в саду Эдема, ио в безрассудстве своем потребовал свободы и был изгнаи в пустыию. Ныне Едииое Государство виовь даровало ему счастье, лишив свободы.

Итак, сходство с ромаиом «О дивиый иовый мир» разительиое. И хотя киига Замятина не так удачио построена — у иее довольио вялый и отрывочный сюжет, слишком сложный, чтобы изложить его кратко,— она заключает в себе политический смысл, отсутствующий в ромаие Хаксли. У Хаксли проблема «человеческой природы» отчасти решеиа, ибо считается, что с помощью дородового лечения, наркотиков и гипиотического виушеиия развитию человеческого оргаиизма можио придать любую желаемую форму физического и умствеииого развития. Первоклассиый иаучиый работиик выводится так же легко, как и полуидиот касты Эпсилои, и в обоих случаях остатки примитивиых иистииктов вроде материиского чувства или жажды свободы легко устраняются. Одиако остается иепоиятиой причииа столь изощреииого разделения изображаемого общества иа касты. Это ие экоиомическая эксплуатация, но и ие стремлеиие запугать и подавить. Тут ие существует ии голода, ни жестокости, ии каких-либо лишеиий. У верхов иет серьезиых причин оставаться иа вершиие власти, и, хотя в бессмыслеииости каждый обрел счастье, жизиь стала иастолько пустой, что трудно поверить, будто такое общество могло бы существовать.

Книга Замятииа в целом по духу ближе иашему сегодняшиему дию. Вопреки воспитаиию и бдительиости Хранителей миогие древиие человеческие инстиикты продолжают действовать. Рассказчик, Д-503, талаитливый иижеиер, ио, в сущности, заурядная личность вроде утопического Билли Брауиа из города Лоидоиа, живет в постояииом страхе, ощущая себя в плену атавистических желаний. Ои влюбляется (а это, коиечно, преступлеиие) в иекую I-330, члеиа подпольиого движеиия сопротивлеиия, которой удается иа время втяиуть его в подготовку мятежа. Вспыхивает мятеж, и выясияется, что у Благодетеля много противииков; эти люди ие только замышляют государ-

ственный переворот, но н за спущенными шторамн предаются такнм чудовнщным грехам, как снгареты и алкоголь. В конечном счете Д-503 удается нзбежать последствнй своего безрассудного шага. Власти объявляют, что прнчниа недавних беспорядков установлена: оказывается, ряд людей страдают от болезнн, именуемой фантазня. Оргаинзован специальный нервный центр по борьбе с фантазией, н болезнь нзлечивается рентгеновскнм облучением. Д-503 подвергается операцнн, после чего ему легко совершить то, что он всегда счнтал свонм долгом, то есть выдать сообщннков полиции. В полиом спокойствии наблюдает он, как пытают I-330 под стеклянным колпаком, откачивая из-под него воздух. «Она смотрела на меня, крепко вцепившнсь в ручкн кресла, смотрела, пока глаза совсем не закрылись. Тогда ее вытащили, с помощью электродов быстро прнвели в себя н сиова посаднлн под Колокол. Так повторялось трн раза — н она все-такн не сказала нн слова. Другие, приведенные вместе с этой женщиной, оказалнсь честнее: миогне нз ннх сталн говорить с первого же раза. Завтра онн все взойдут по ступеням Машины Благодетеля».

Машнна Благодетеля — это гнльотииа. В замятннской Утопни казнн — дело прнвычное. Они совершаются публнчно, в прнсутствии Благодетеля н сопровождаются чтеиием хвалебиых од в нсполненнн офнцнальных поэтов. Гнльотииа — конечио, уже ие грубая махнна былых времен, а усовершенствованный аппарат, буквально в мгновение уннчтожающий жертву, от которой остается облако пара н лужа чнстой воды. Казнь, по сутн, является принесеннем в жертву человека, н этот рнтуал проннзан мрачным духом рабовладельческнх цивилнзаций Древнего мира. Именно это ннтунтивное раскрытне иррациональной стороны тоталнтаризма — жертвенности, жестокостн как самоцелн, обожання Вождя, наделенного божествеиными чертамн,— ставнт кннгу Замятниа выше кннги Хакслн.

Легко понять, почему она была запрещена. Следующнй разговор (я даю его в сокращеннн) между Д-503 н I-330 был бы вполне достаточным поводом для цензора схватнться за сииий карандаш:

— Неужелн тебе не ясно: то, что вы затеваете,— это революция?

— Да, революцня! Почему же это нелепо?

— Нелепо — потому что революции не может быть. Потому что наша революцня была последней. И больше ннкакнх революций ие может быть. Это нзвестно всякому...

— Милый мой, ты — математнк. Так вот, назовн мие последнее чнсло.

— То есть?.. Какое последнее?

— Ну, последнее, верхнее, самое большое.

— Но, I, это же иелепо. Раз чнсло чисел бесконечно, какое же ты хочешь последнее?

— А какую же ты хочешь последнюю революцию?

Встречаются н другие пассажн в том же духе. Вполие вероятио, однако, что Замятнн вовсе н не думал нзбрать совет-

ский режим главной мишенью своей сатиры. Он писал еще при жизни Ленина и не мог иметь в виду сталинскую диктатуру, а условия в России в 1923 году были явно не такие, чтобы кто-то взбунтовался, считая, что жизнь становится слишком спокойной и благоустроенной. Цель Замятина, видимо, не изобразить конкретную страну, а показать, чем нам грозит машинная цивилизация. Я не читал других его книг, но знаю от Глеба Струве, что он прожил несколько лет в Англии и создал острые сатиры на английскую жизнь. Роман «Мы» явно свидетельствует, что автор определенно тяготел к примитивизму. Арестованный царским правительством в 1906 году, он и в 1922-м, при большевиках, оказался в том же тюремном коридоре той же тюрьмы, поэтому у него не было оснований восхищаться современными ему политическими режимами, но его книга не просто результат озлобления. Это исследование сущности Машины — джина, которого человек бездумно выпустил из бутылки и не может загнать назад. Такая книга будет достойна внимания, когда появится ее английское издание.

1946

АНГЛИЧАНЕ

Англия с первого взгляда

Иностранцам, посещающим нашу страну в мирное время, редко когда случается заметить существование в ней англичан. Даже акцент, именуемый американцами «английским», на деле присущ не более чем четверти населения. Карикатуры в газетах континентальной Европы изображают англичанина аристократом с моноклем, зловещего вида капиталистом в цилиндре либо старой девой из Берберри. Все обобщенные суждения об англичанах, как доброжелательные, так и неприязненные, строятся на характерах и привычках представителей имущих классов, игнорируя остальные сорок пять миллионов населения.

Но превратности войны привели в Англию в качестве солдат или беженцев сотни тысяч людей, никогда не попавших бы сюда при обычных обстоятельствах и вынужденно очутившихся в самой непосредственной близости с простыми людьми. Чехи, поляки, немцы, французы, ранее воспринимавшие Англию как Пикадилли и Дерби, оказались в сонных деревушках Восточной Англии, в северных шахтерских городках или в обширных рабочих районах Лондона, названий которых мир знать не знал, пока на них не обрушился «блиц». Те из них, кто не лишен дара наблюдательности, имели возможность убедиться, что настоящая Англия — это отнюдь не Англия туристических справочников. Блэкпул куда более типичен, чем Аскот, цилиндр — траченная молью диковинка, а язык Би-би-си едва-едва понятен массам. Карикатурам не соответствует даже преобладающий физический тип англичанина, ибо высокие, долговязые фигуры, традиционно считающиеся английскими, редко

встречаются за пределами высших классов. Трудящийся же люд в основном мелковат, короткорук и коротконог, движениям свойственна порывистость, а женщинам на пороге среднего возраста свойственно раздаваться в теле.

Стоит на минуту поставить себя на место иностранного наблюдателя, впервые оказавшегося в Англии, но непредубежденного и в силу рода занятий имеющего возможность общаться с рядовыми, полезными, неприметными людьми. Не все его выводы будут верны, ибо он не сумеет сделать поправку на ряд временных погрешностей, внесенных войной. Никогда не видев Англии в нормальные времена, он будет склонен недооценивать крепость классовых барьеров, либо воспринимать сельское хозяйство страны более здоровым, чем на самом деле, либо излишне остро реагировать на запущенность лондонских улиц и чрезмерное пьянство. Но зато его свежему взгляду откроется многое, что примелькалось наблюдателю, живущему здесь постоянно, и его вероятные ощущения стоят того, чтобы задуматься над ними. Почти наверное он сочтет основными чертами рядовых англичан их глухоту к прекрасному, благонравие, уважение к закону, недоверие к иностранцам, сентиментальное отношение к животным, лицемерие, обостренное восприятие классовых различий и одержимость спортом.

Что до нашей глухоты к прекрасному, то все больше и больше чудесных пейзажей разрушаются расползающейся хаотической застройкой; предприятиям тяжелой промышленности позволяется превращать целые графства в выжженные пустыни; памятники старины бессмысленно разрушаются либо тонут в море желтого кирпича; широкие просторы замыкаются уродливыми монументами ничтожеств — и все это без малейшей тени общественного протеста. Обсуждая жилищную проблему Англии, средний человек даже и не берет в голову эстетический ее аспект. Не существует никакого мало-мальски широкого интереса к искусствам, не считая разве что музыки. Поэзия, та область искусства, в которой Англия преуспевала более всех прочих, уже на протяжении более чем столетия не представляет ровно никакого интереса для простых людей. Она становится приемлемой, лишь прикидываясь чем-то иным, например популярными песнями или мнемоническими рифмами. Право, само слово «поэзия» вызывает либо пренебрежение, либо неловкость у девяноста восьми человек из ста.

Наш воображаемый наблюдатель-иностранец, безусловно, поразится свойственному нам благонравию: упорядоченному поведению англичан в толпе, где никто не толкается и не скандалит; готовности ждать своей очереди, добродушию задерганных, перегруженных работой людей — автобусных кондукторов, например.

Английский рабочий люд не отличается изяществом манер, но исключительно предупредителен. Приезжему всегда с особым тщанием покажут дорогу, слепцы могут ездить по Лондону

с полной уверенностью, что им помогут в любом автобусе и на каждом переходе. Военное время заставило часть полицейских носить револьверы, однако в Англии не существует ничего подобного жандармерии, полувоенным полицейским формированиям, содержащимся в казармах и вооруженным стрелковым оружием (а то и танками и самолетами), стражам общества от Кале до Токио. И, за исключением определенных, четко очерченных районов в полудюжине больших городов, Англия почти не знает преступности и насилия. Уровень честности в больших городах ниже, чем в сельской местности, но даже и в Лондоне разносчик газет смело может оставить пачку своих бумажных пенни на тротуаре, заскочив пропустить стаканчик. Однако подобное благонравие не так уж давно и привилось. Живы еще люди, на памяти которых хорошо одетой особе нипочем было не пройти по Рэтклиф-хайвей, не подвергшись приставаниям, а видный юрист на просьбу назвать типично английское преступление мог ответить: «Забить жену насмерть».

Революционные традиции не прижились в Англии, и даже в рядах экстремистских политических партий революционного образа мышления придерживаются лишь выходцы из средних классов. Массы по сей день в той или иной степени склонны считать, что «противозаконно» есть синоним «плохо». Известно, что уголовное законодательство сурово и полно нелепостей, а судебные тяжбы столь дороги, что богатый всегда получает в них преимущество над бедным, однако существует общее мнение, что закон, какой он ни есть, будет скрупулезно соблюдаться, судьи неподкупны и никто не будет наказан иначе, нежели по приговору суда. В отличие от испанского или итальянского крестьянина англичанин не чует печенкой, что закон — это обыкновенное жульничество. Именно эта всеобщая вера в закон и позволила многим недавним попыткам подорвать Хабеас-корпус остаться незамеченными обществом. Но она же позволила найти мирное разрешение ряда весьма отвратительных ситуаций. Во время самых страшных бомбежек Лондона власти пытались помешать горожанам превратить метро в бомбоубежище. В ответ лондонцы не стали ломать двери и брать станции штурмом. Они просто покупали билеты по полтора пенни, тем самым обретая статус законных пассажиров, и никому не приходило в голову попросить их обратно на улицу.

Традиционная английская ксенофобия куда более развита среди трудящихся, нежели среди средних классов. Причиной, отчасти воспрепятствовавшей принять накануне войны действительно большое число беженцев из фашистских стран, послужило сопротивление профсоюзов, а когда в 1940 году интернировали беженцев-немцев, протестовал отнюдь не рабочий класс. Английским рабочим очень трудно найти общий язык с иностранцами из-за различий в привычках, особенно в еде и языке. Английская кухня резко отличается от кухни любой другой европейской страны, и англичане сохраняют здесь стойкий консерватизм. Как правило, к заморскому блюду англичанин и не

прнкоснется, чеснок и оливковое масло вызывают у него отвращеиие, а без чая с пудиигом и жнзиь ие в жизиь. Особеиности же английского языка делают невозможиым чуть лн не для каждого, кто оставил школу в четырнадцать лет, выучить иностранный язык в зрелые годы. Во фраицузском Иностраином легноне, например, британским н амернкаискнм легиоиерам редко удается выбиться из рядовых, потому что они не способны овладеть французскнм, в то время как немцы начииают говорить по-французски через иесколько месяцев. Английским рабочим свойствеино считать чем-то бабьим даже умение правнльно выговарнвать нностраиные слова. Это связано с тем, что изучеиие нностраниых языков является естественной частью образовання высших классов. Поездкн за границу, владенне иностраииыми языками, умение наслаждаться ниостраниой кухией подспудно ассоциируют с барством, проявленнями снобизма, поэтому ксенофобня подстегнвается н чувствами классовой ревиостн.

Самым, пожалуй, отвратительиым зрелищем в Англни являются собачьи кладбища в Кеисннгтои-гардеиз, Стоук-поудžез (оии примыкают прямо к церковиому двору, где Грей напнсал свою знаменнтую «Элегию»), а также во миогих иных местах. Но существуют также н бомбоубежища для домашиих жнвотиых, оборудоваииые мииииатюриыми кошачьнми иосилками, а в первый год войны можно было иасладнться зрелищем праздиоваиия Дня животиых со всей обычной помпой в самый разгар эвакуацнн Дюнкерка. Хотя самые большие его глупости творят аристократкн, кошачнй культ проиизывает все слои общества и, виднмо, связан с упадком сельского хозяйства и сокращеиием уровня рождаемостн. Поголовье кошек н собак ие смоглн сократить даже несколько лет строгого нормироваиня продовольствня, и даже в бедиейшнх кварталах больших городов в внтрииах зоомагазинов выставляется каиареечный корм по ценам, достнгающим двадцатн пяти шиллиигов за пинту.

Лицемерне столь широко вошло в аиглийский характер, что заезжий иаблюдатель будет готов столкиуться с ннм на каждом шагу, ио найдет особо выразительные прнмеры в законах, касающихся азартных игр, пьянства, проституции н скверисловия. Ему покажется затрудннтельным примирить антнимперналнстические саитнменты, широко выражаемые в Англии, с размерамн Брнтанской нмперин. Будь он родом из коитинентальиой Европы, ои бы с ироиническим изумлеиием заметил, что аиглчане счнтают порочным содержать большие армии, ио ие видят греха в содержании большого флота. Ои бы отнес к лнцемерию н это — хотя н ие вполие справедливо, нбо именно островное положеиие Англии н вытекающее отсюда отсутствне необходимости содержать большую армию и обусловили возможиость становления и развития британских демократнческнх иeconститутов, что достаточио хорошо поинмают в иароде.

За последние трндцать прнмерио лет зиачительно стерлись

ранее резко очерченные классовые различия, и война, пожалуй, значительно ускорила этот процесс, но людей, впервые оказавшихся в Англии, по-прежнему поражает, а то и ужасает разделяющая классы явная пропасть. Классовая принадлежность огромного большинства англичан может быть мгновенно установлена по их поведению, одежде и общему виду. Существенны даже физические различия — люди высших классов в среднем на несколько дюймов выше ростом, чем рабочие. Самое же впечатляющее различие — в языке и произношении. Как выразился Уиндэм Льюис, у английского рабочего люда «заклеймен язык». И хотя различия классовые полностью соответствуют различиям экономическим, контраст между нищетой и богатством куда более заметен и куда естественнее воспринимается, как само собой разумеющийся, чем во многих иных странах.

Англичанам принадлежит авторство нескольких наиболее популярных игр мира, распространившихся куда шире любого другого порождения их культуры. Слово «футбол» на все лады звучит из уст миллионов, и слыхом не слышавших о Шекспире или о Великой хартии вольностей. Сами англичане не отличаются особым мастерством в играх, но обожают в них участвовать и с энтузиазмом, в глазах иностранцев просто детским, обожают читать о них и заключать пари. Ничто так не скрашивало жизнь безработных в период между мировыми войнами, как футбольный тотализатор. Профессиональные футболисты, боксеры, жокеи, даже игроки в крикет пользуются популярностью, немыслимой для ученого или художника. Однако культ спорта отнюдь не доходит до идиотизма, как могло бы показаться при чтении популярных газет. Баллотируясь в парламент от своего родного округа, великолепный боксер легкого веса Кид Льюис получил лишь сто двадцать пять голосов.

Перечисленные нами черты бросятся, вероятно, вдумчивому наблюдателю в глаза в первую очередь. Возможно, он будет склонен выстроить из них достоверные представления об английском характере. Но не исключено, что здесь его осенит: а существует ли вообще «английский характер»? Можно ли говорить о народе как об одном человеке? Ну, допустим, можно, но существует ли тогда истинная преемственность между Англией сегодняшней и Англией вчерашней?

Бродя по лондонским улицам, наш наблюдатель заметил бы в витринах книжных лавок старые литографии, которые навели бы его на мысль: если они и впрямь отражали реальность своего времени, то Англия действительно претерпела значительные перемены. Немногим более века минуло с тех пор, когда отличительным признаком английской жизни была ее жестокость. Судя по литографиям, простолюдины проводили время в почти что бесконечных драках, распутстве, пьянстве и травле собаками привязанных быков. Более того, наглядно изменился даже внешний облик людей.

Где теперь былые грузные ломовые извозчики, низколобые боксеры-чемпионы, дюжие матросы, у которых трещали на яго-

дицах швы полотняных брюк, и дебелые красотки с налитыми грудями, походившие на носовые фигуры кораблей адмирала Нельсона? Что было общего у этих людей со сдержанными, скромными, законопослушными англичанами сегодняшнего дня? И существует ли на самом деле то, что называется «национальной культурой»?

Это один из тех вопросов типа: что есть свобода воли или что есть личность,— в которых все аргументы остаются по одну сторону, а интуитивное знание — по другую. Нелегко найти связующую нить, пронизывающую английскую жизнь с шестнадцатого века и далее, но существование этой нити ощущается всеми англичанами, склонными задумываться над подобными предметами. Им кажется, что они понимают институты, пришедшие к ним из прошлого,— парламент, например, или воскресный отдых, или тончайшие градации классовой структуры — благодаря врожденному знанию, недоступному иностранцу. Соответствие параметрам национальной модели ощущается и в характере личности. Д. Х. Лоуренс воспринимается как «очень английский», но так же воспринимается и Блейк; доктор Джонсон и Г. К. Честертон каким-то образом воспринимаются как явления одного порядка. Вера в то, что мы походим на своих предков — что Шекспир, скажем, больше походит на современного англичанина, чем на современного француза или немца,— может, и неразумна, но влияет на поведение самим своим существованием. Мифам, которым верят, свойственно сбываться, ибо они создают тип, «личность», в попытках походить на которые средний человек не пожалеет сил.

Трудные дни 1940 года ясно показали, что в Британии чувство национальной солидарности сильнее классовых антагонизмов. Будь утверждение, что «пролетариат не имеет родины», правдой, 1940 год был бы самым подходящим моментом доказать его. Однако именно в то время классовые чувства ушли на задний план, проявившись вновь лишь тогда, когда непосредственная угроза миновала. Более того, весьма вероятно, что бесстрастность, проявленная под бомбежками жителями английских городов, объяснялась отчасти наличием национальной модели «личности», то есть предвзятым представлением этих людей о самих себе. Согласно традициям, англичанин флегматичен, прозаичен, трудновозбудим, поскольку таким он себя видит; таким ему и свойственно становиться. Неприязнь к истерике и «шумихе», преклонение перед упрямством являются чуть ли не универсальными в Англии, захватывая всех, кроме интеллигенции. Миллионы англичан охотно воспринимают своим национальным символом бульдога — животное, отличающееся упрямством, уродством и непробиваемой глупостью. Англичане обладают поразительной готовностью признать, что иностранцы «умнее» их, и в то же время сочли бы нарушением законов божеских и природных, окажись Англия под властью чужестранцев. Наш воображаемый наблюдатель заметил бы, вероятно, что сонеты Уордсворта, написанные во

время наполеоновских войн, могли бы быть написаны во время этой. Он бы понял уже, что Англия родила больше поэтов и ученых-естественников, чем философов, богословов либо чистых теоретиков любого рода. И завершил бы свои наблюдения выводом, что преобладающими чертами английского характера, прослеживающимися в английской литературе со времен Шекспира, является глубочайший, чуть ли не рефлекторный патриотизм наряду с неспособностью логически мыслить.

Моральный облик англичан

На протяжении, пожалуй, полутора столетий ни какая-либо организованная религия, ни какие-либо осознанные религиозные воззрения не имели особого влияния на жизнь английского народа. За исключением всего каких-то десяти процентов, англичане вообще не посещают мест отправления религиозных культов, помимо свадеб и похорон.

Смутный теизм и неустойчивая вера в загробную жизнь распространены, пожалуй, довольно широко, но основные христианские доктрины по большей части забыты. На вопрос, что он подразумевает под «христианством», средний человек отвечает всецело в этическом плане, говоря о «бескорыстии» и «любви к ближнему». Так оно, наверное, во многом было еще на заре промышленной революции, когда внезапно нарушился привычный деревенский уклад, а господствующая церковь утратила связи с паствой. Во времена же недавние во многом утратили силу и нонконформистские секты, а на протяжении жизни нынешнего поколения в Англии иссякла традиция чтения Библии. Молодые люди, не знающие даже сюжетов библейских притч, стали повседневным явлением.

Но в одном отношении английские простолюдины остались христианами намного больше, чем высшие классы, и, вероятно, любой другой народ Европы: в неприятии ими культа поклонения силе. Почти что не удостаивая вниманием сформулированные церковью догматы, они продолжают исповедовать тот, который церковь так и не облекла в слова, полагая его само собой разумеющимся: в силе нет правды. Вот здесь и лежит самая широкая из всех пропасть между рабочим людом и интеллигенцией. Со времен Карлайля и особенно на протяжении жизни нынешнего поколения британская интеллигенция была склонна заимствовать идеи из Европы и попала под влияние образа мышления, восходящего в конечном счете к Макиавелли. В конечном счете все культы, популярные на протяжении последнего десятка лет,— коммунизм, фашизм, пацифизм — сводятся к культу поклонения силе. Знаменательно, что у нас в стране в отличие от большинства иных стран марксистский вариант социализма нашел самых горячих приверженцев в средних классах. Его методы, если не сама теория, явно противоречат тому, что именуется «буржуазной моралью», то есть элементарной порядочности, но именно пролетарии

являются носителем буржуазности в области морали.

Любимейшим героем англоязычных народных сказок является Джек — Победитель Великаиов, то бишь маленький человечек, сражающийся против гиганта. Микки Маус, Поппи-Морячок и Чарли Чаплин, по сути, варьируют ту же тему. (Стоит отметить, что фильмы Чаплина были запрещены в Германии сразу после прихода к власти Гитлера и что на Чаплииа злобно обрушилась фашистская пресса Англии.) Не просто неприязиь ко всякого рода запугиваиию, ио и склоииость помогать слабому лишь потому, что он слабее, распространены в Англии почти повсеместно. Отсюда и уважеиие к «умеющему проигрывать», и умение легко прощать иеудачи, будь то в споре, политике или войне. Даже в самых серьезных вопросах англичане не считают, что неудачные попытки обязательио были бесполезны. Пример тому — греческая кампания нынешней войны. Никто не ждал от нее успеха, но все считали ее необходимой. Отношение же масс к внешней политике вечно окрашивается инстииктивной тягой прииять сторону побеждеииого, сторону жертвы.

Наглядиое тому свежее доказательство — профинские настроения во время русско-финской войны 1940 года. Как показал ряд дополнительных выборов, во время которых борьба в основном шла по данному вопросу, иастроеиия эти были вполне искренни. На протяжеиии довольно продолжительного предшествующего периода в массах росли симпатии к СССР, но Финляндия оказалась маленькой страиой, иа которую иапала большая — именно это и определило позицию большииства. В период Граждаиской войны в США британский трудовой люд взял сторону севериян — поскольку те стояли за отмену рабства,— и это несмотря на блокаду северянами поставок хлопка, создавшую неизмеримые трудности в Британии. Если кто в Англии и сочувствовал французам в период франко-прусской войны, то только рабочие. Малые народы, угнетаемые турками, находили поддержку в рядах либеральной партии, в те времена партии рабочего и иижнего среднего классов. В той степеии, в которой англичане вообще проявили интерес к подобным вопросам, в массе своей они были за абиссиицев и против итальянцев, за китайцев и против япоицев и за испанских республикаицев против Франко. Оии испытывали дружеское сочувствие и к Германии, когда Германия была слаба и безоружна. Вряд ли стоит удивляться, повторись подобное после окончания этой войны.

Традиционная склонность прииимать стороиу слабейшего, возможио, проистекает из политики равиовесия сил, которой Британия придерживалась с восемиадцатого века. Критически настроенный европеец не преминул бы назвать это пустозвонством, аргумеитируя тем, что Британия сама держит в покорности народы Индии и иных стран. Что ж, мы и впрямь ие зиаем, как распорядились бы рядовые англичане Индией, будь решеиие за ними. Все политические партии и газеты любых оттенков объединились в заговоре, мешающем им увидеть даиную про-

блему в ее истинном свете. Однако мы знаем, что им случалось поддерживать слабого против сильного и тогда, когда это совершенно явно не соответствовало их интересам. Лучший тому пример — гражданская война в Ирландии. Истинным оружием ирландских повстанцев было британское общественное мнение, выступавшее в основном на их стороне и не позволившее британскому правительству подавить восстание единственно возможным путем. Даже во время бурской войны выражалось сочувствие бурам, хотя и в недостаточно сильной степени, чтобы повлиять на ход событий. Следует заключить, что в данном вопросе рядовой англичанин отстал от века, не сумев угнаться за концепциями политики, силы, «реализма», священного эгоизма и доктриной цели, оправдывающей средства.

Широко распространенная среди англичан неприязнь к любого рода насилию и терроризму означает, что уголовным преступникам рассчитывать на сочувствие не приходится. Гангстеризм американского типа не прижился в Англии; показательно, что американские гангстеры даже и не пытались распространить на Англию свою деятельность. В случае необходимости вся страна ополчилась бы на людей, похищающих детей и палящих из автоматов на улицах, но даже эффективность деятельности английской полиции непосредственным образом основывается на поддержке общественного мнения.

Однако все это имеет и обратную сторону — почти всеобщую терпимость к жестоким и устаревшим наказаниям. Вряд ли можно гордиться тем, что в Англии до сих пор мирятся с такими наказаниями, как порка. Отчасти это объясняется всеобщим психологическим невежеством, отчасти тем, что порке подвергают лишь за преступления, не вызывающие почти никакого сочувствия. Попытка возобновить подобное наказание за воинские провинности либо за ненасильственные преступления спровоцировала бы бурный протест. Наказание за воинские провинности вообще не считается в Англии само собой разумеющимся, как в большинстве других стран. Общественное мнение почти безоговорочно настроено против смертной казни за трусость и дезертирство, хотя казнь убийц через повешение особых протестов не вызывает. Отношение англичан к преступности по большей части невежественно и старомодно, человечное обращение с преступниками, даже с теми, чьими жертвами были дети,— явление весьма недавнего порядка. И все же, окажись в английской тюрьме Аль Капоне, он сел бы за решетку отнюдь не за попытку увильнуть от уплаты подоходного налога.

Более сложно то, что английское отношение к преступности и насилию есть пережиток пуританизма и всемирно известного английского лицемерия.

Собственно английский народ, трудящиеся массы, составляющие семьдесят пять процентов населения,— не пуритане. Мрачная теология кальвинизма так и не смогла заявить о себе в Англии, подобно тому как это одно время имело место в Уэльсе и Шотландии. Но пуританизм в широком смысле,

в каком н прнмеияется обычио это слово (то есть ханжество, аскетизм, стремлеине гаснть чувство радостн), был без всякой необходнмостн навязаи рабочему классу классом, стоящнм непосредственно над ннм,— мелкнмн торговцамн н произнодителями. За этим таился четкнй, хотя н неосознанный экономический мотив. Убеднв рабочего, что любое развлечение грешно, из него можно было выжать больше труда за меньшую плату. В начале девятнадцатого века существовала даже теорня, согласио которой рабочим ие следовало жениться. Но было бы несправедлнво полагать, будто пуритаискнй моральный кодекс осиован нсключнтельно иа лнцемерном обмаие. Его преувелнченная боязнь сексуальной аморальиости, доходившая до запрета театральных спектаклей, танцев н даже красочиой одежды, отчастн мотивнровалась протестом протнв действительиого разгула разврата пернода позднего средневековья, усугублеииого такнм новым фактором, как сифилнс, занесеиный в Аиглию где-то в шестнадцатом веке и бушевавшнй в страие на протяженин чуть лн не двух последующих столетнй. Немиогнм позже еще одннм иовым фактором послужило производство крепкнх иапитков — джина, бреиди н т. д.,— куда более опьяияющнх, нежелн доселе прнвычиые англнчаиам мед и пиво. Движенне борьбы за трезвость было реакцией на поголовное пьянство девятнадцатого века, порождеиие трущобиого существования н дешевого джнна. Но его иеизбежно оседлалн фанатикн, счнтавшие грехом ие просто пьяиство, ио даже умереииое потребленне алкоголя. На протяженни прнмерио пятндесятн последиих лет предпрнннмалнсь аналогичные походы против куреиня. Сто-двестн лет иазад куреиие вызывало серьезиые иарекання, ио лншь потому, что считалось грязной, вульгариой, вредной привычкой. Мысль же о том, что курение — порочная слабость, современного происхождеиия.

Подобного рода мышленне никогда не нмпоннровало широкнм массам англичаи. В большннстве своем они оказались достаточио запуганными пурнтанизмом средиих классов, чтобы предаваться некоторым радостям жнзии украдкой. Общепризнаиио, что моральные устон трудящихся куда крепче, чем людей срединх классов, но мысль о порочиостн секса в иароде ие прижнлась. Конферанс мюзнк-холлов, блэкпулскне открытки, солдатские песнн пуританством и не пахиут. Но с другой стороны, почтн ннкто в Аиглнн не одобряет простнтуцию. Проститутция иоснт нсключнтельно откровенный характер в ряде большнх городов, но остается явлеинем малопрнвлекательным н с трудом терпимым. Привестн ее в какне-то рамки н гумаиизировать оказалось невозможным, ибо в глубиие души каждый аигличаннн считает ее пороком. Что же до общего ослаблення сексуальной моралн на протяженнн двадцатн-трндцати последннх лет, то это, вероятно, явленне временное, вызванное преобладаиием колнчества жеищии иад количеством мужчни.

В областн же пьяиства единственным последствием века борьбы за «трезвость» оказался некоторый рост лицемерня.

Практическому искоренению пьянства как английского порока общество обязано не фанатикам антиалкогольного движения, но конкуренции в индустрии развлечений, развитию просвещения, улучшению условий труда и росту цен на алкоголь. Фанатики смогли заставить англичанина преодолевать неимоверные трудности, чтобы выпить свой стакан пива, испытывая при этом подспудное ощущение чего-то греховного, но никак не смогли заставить англичанина отказаться от него. Паб — один из основополагающих институтов английской жизни — держится, невзирая на нападки нонконформистских местных властей. То же и с азартными играми. В большинстве своем они формально запрещены законом, но практикуются широчайшим образом. Лозунгом англичан может служить хор из песни Мэри Ллойд: «Немного того, что вам по вкусу, пойдет лишь на пользу вам». Англичане не порочны и даже не ленивы, но нипочем не откажутся от своей доли развлечений, чтобы там ни говорили вышестоящие. И похоже, они шаг за шагом отвоевывают позиции у меньшинств, готовых убить любое чувство радости. Даже ужасы английского воскресенья намного смягчились за последний десяток лет. Ряд законов, регулирующих деятельность пабов,— в каждом отдельном случае рассчитанных создать затруднения их хозяевам и отвадить клиентуру — были отменены во время войны. Позитивным сдвигом представляется и то, что в некоторых регионах страны начинают предавать забвению закон, который возбраняет вход в паб детям, тем самым обесчеловечивая его, превращая в заурядное питейное заведение.

Традиционно дом англичанина — его замок. В эпоху воинской повинности и удостоверений личности это уже не может быть правдой. Но ненависть к любого рода регламентации, убеждение, что человек сам хозяин своему свободному времени и никто не может преследоваться за свои взгляды, глубоко укоренилось, и даже процессы централизации, неизбежные в военное время, не смогли его уничтожить.

Факт, что хваленая свобода британской прессы существует скорее в теории, чем в действительности. Прежде всего, централизованное владение прессой означает на практике, что непопулярные мнения могут высказываться лишь в книгах или газетах с малым тиражом. Более того, англичане в целом не так уж интересуются печатным словом, чтобы проявлять особую бдительность к сохранению данного аспекта их свобод, и многочисленные посягательства на свободу печати, имевшие место на протяжении последних двадцати лет, не вызывали какого-либо широкого протеста. Даже демонстрации против закрытия «Дейли уоркер» были, по всей вероятности, организованы незначительной группой. С другой стороны, свобода слова является реальностью и пользуется почти всеобщим уважением. Мало кто из англичан боится публично высказывать свои политические взгляды, и не так уж много сыщется тех, кто хотел бы подавить взгляды других. В мирное время, когда безработица может использоваться в качестве оружия, до известной степени

имеет место мелочная травля «красных», но возникновения истинно тоталитарной атмосферы, в которой государство стремится контролировать не только слова, но и мысли людей, невозможно представить.

Гарантиями здесь отчасти служат уважение к свободе совести и стремление выслушать обе стороны, очевидные на любом публичном собрании. Но отчасти причиной тому и острая нехватка интеллекта. Англичане не настолько интересуются интеллектуальными вопросами, чтобы проявлять к ним нетерпимость. «Уклоны» и «опасные мысли» не кажутся им чем-то существенным. Средний англичанин, будь он консерватор или кто угодно, редко когда полностью усваивает всю внутреннюю логику исповедуемых им кредо: он ведь то и дело говорит ересь, не отдавая себе в том отчета. Ортодоксальные верования, будь они левой ориентации или правой, процветают в основном в среде литературной интеллигенции, тех самых людей, которые в теории и должны быть хранителями свободы мысли.

Англичане не умеют ненавидеть, не держат в памяти зла, их патриотизм во многом неосознан, они не испытывают любви к воинской славе и не склонны восхищаться великими людьми. Они обладают старомодными достоинствами и недостатками. Политическим теориям двадцатого века они противопоставляют не другую, свою собственную теорию, но свойство морали, которое можно было бы условно определить как порядочность. В тот день 1936 года, когда немцы вновь заняли Рейнскую область, я оказался в северном шахтерском городке и заскочил в паб сразу после того, как радио сообщило эту новость, явно означавшую войну. Я сказал людям в пабе: «Немецкая армия переправилась через Рейн». И кто-то тут же брякнул: «Парле ву»,— будто непроизвольно отвечая на смутно знакомую цитату. И все! Никакой иной реакции! Нет, этих людей ничем не проймешь, решил я. Но позже вечером, в том же пабе, кто-то затянул недавно вошедшую в моду песенку, в которой хор подхватывал припев:

Нет, здесь это не пройдет,
Не пройдет и не проедет,
Где угодно, но не здесь,
Не пройдет никак.

И вдруг я понял, что это и есть английский ответ фашизму. Ведь он и вправду здесь не прошел, несмотря на весьма благоприятные обстоятельства. Не следует преувеличивать свободу, интеллектуальную или какую-либо другую, существующую у нас в Англии, но то, что она не претерпела значительных ограничений даже за пять лет войны за выживание,— обнадеживающий симптом.

Политические воззрения англичан

Англичане не только равнодушны к тонкостям различных вероучений, но и отличаются значительным политическим невежеством. Лишь сейчас они начинают осваивать политическую терминологию, уже давно привычную в странах континентальной Европы. Предложив группе людей, наугад отобранных из любых слоев общества, дать определение капитализму, социализму, коммунизму, анархизму, троцкизму, фашизму, вы получите весьма туманные, а иногда и поразительно глупые ответы.

Но англичане проявляют столь же явное невежество и относительно своей собственной политической системы. На протяжении последних лет в силу различных причин наблюдался всплеск политической активности, но в рамках периода более длительного интерес к политике партий угасал. Очень многие взрослые англичане никогда в жизни не утруждали себя участием в выборах. Жители больших городов зачастую не знают ни названия своего избирательного округа, ни имени депутата парламента от него. На протяжении военных лет невозможность обновить избирательные списки лишает права голоса молодежь (а было время, когда права голоса не имел никто до двадцати одного года), нисколько, как кажется, этим не обеспокоенную. Не вызывает особого протеста и неестественная избирательная система, как правило, обеспечивающая победу консервативной партии. Интерес вызывают не столько партии, сколько взгляды и личности (Чемберлен, Черчилль, Криппс, Беверидж, Бевин). Ощущение, будто парламент действительно контролирует ход событий, а приход к власти нового правительства сулит сенсационные перемены, постепенно ослабевало со времени прихода к власти первого лейбористского правительства в 1923 году.

При всех существующих мелких группировках в Британии фактически есть лишь две политические партии — консервативная и лейбористская,— которые и выражают в широком смысле слова основные интересы нации. Но за последние двадцать лет обе партии тяготели к тому, чтобы все больше и больше походить друг на друга. Как заведомо знает каждый, бывают вещи, которых никоим образом не позволит себе ни одно правительство, каких бы политических принципов оно ни придерживалось. Так, ни одно консервативное правительство не вернется к консерватизму, как его понимали в девятнадцатом веке. Ни одно социалистическое правительство не подвергнет бойне имущие классы и даже не экспроприирует их без компенсации. Хорошим свежим примером изменяющейся атмосферы политической жизни послужила реакция на доклад Бевериджа. Тридцать лет назад любой консерватор назвал бы его государственной благотворительностью, а большинство социалистов отвергло бы как подачку капиталистов. В 1944 году он вызвал споры лишь о том, будет ли принят в целом или частично. Подобное размывание различий между партиями наблюдается почти во всех странах — отчасти потому, что повсемест-

но, за исключением, пожалуй, США, наметились сдвиги в сторону плановой экономики, а отчасти потому, что в эпоху политики силы выживание нации представляется более существенным, чем классовая война. Но в Британии есть и свои особенности: она и небольшой остров, и центр империи. Прежде всего, в силу существующего экономического положения благоденствие Британии отчасти зависит от империи, в то время как все левые партии в теории выступают с антиимпериалистических позиций. Поэтому левые политики понимают — или начинают понимать,— что, придя к власти, будут вынуждены либо отказаться от некоторых своих принципов, либо снизить уровень жизни в стране. Во-вторых, для Британии невозможно пройти сквозь революционный процесс, подобный тому, сквозь который прошел СССР. Британия слишком мала, слишком хорошо организована, слишком зависит от импорта продовольствия. Гражданская война в Англии неминуемо приведет к голоду, либо порабощению иностранной державой, либо к тому и к другому вместе. В-третьих, что важнее всего, гражданская война в Англии невозможна *морально*. Ни при каких предвидимых обстоятельствах пролетариат Хэммерсмита не восстанет, чтобы вырезать буржуазию Кенсингтона: для этого они недостаточно отличаются друг от друга. Даже самые коренные перемены возможны лишь мирным путем, с демонстративным соблюдением законности, и это понимают все, за исключением «сумасшедших экстремистов» на перифериях различных политических партий.

Этими факторами и определяются политические воззрения англичан. Народные массы хотят глубоких перемен, но не хотят насилия. Хотят сохранить жизненный уровень, но вместе с тем не хотят ощущать себя угнетателями менее счастливых народов. Если бы распространить по всей стране анкету с вопросом: «Чего вы хотите от политики?» — подавляющее большинство опрошенных дали бы один и тот же ответ: «Экономической безопасности, гарантирующей мир внешней политики, расширения социального равенства и решения индийского вопроса». Здесь самое важное — первое, поскольку безработица страшнее войны. Но мало кому покажется существенным упоминать капитализм или социализм. Ни то, ни другое слово не обладает эмоциональной притягательностью. Ни у кого не заставляет чаще биться сердце мысль о национализации Английского банка; с другой же стороны, массы больше не клюют на старые песни о здоровом индивидуализме и священном праве собственности. Никто не верит, что «наверху всем хватит места», да в любом случае большинство и не хочет наверх: оно хочет постоянной работы и честных шансов для своих детей.

В последние годы в силу порожденных войной социальных трений, недовольства наглядной неэффективностью капитализма старого образца и восхищения Советской Россией общественное мнение значительно качнулось влево, не впав при этом ни в доктринерство, ни в заметное озлобление. Ни одна из партий, именующих себя революционными, не умножила

численности своих приверженцев. Существует с полдюжины подобных партий, но все они, вместе взятые, даже с остатками чернорубашечников Мосли, не наберут и 150 000 членов. Важнейшей среди них является коммунистическая, но и она и за четверть века существования практически не увеличилась. Хотя и обретая значительное влияние в благоприятные периоды, она так и не смогла вырасти в массовую партию того типа, что существует во Франции или существовала в догитлеровской Германии.

На протяжении многих лет членство в коммунистической партии росло или падало в зависимости от перемен во внешней политике России. Пока СССР в хороших отношениях с Британией, британские коммунисты придерживаются «умеренной линии», мало отличающейся от курса лейбористской партии, и ее ряды увеличиваются на десятки тысяч членов. Когда между Россией и Британией возникают политические разногласия, коммунисты переходят к «революционной» линии и ряды партии редеют. На деле они способны повлечь за собой широкие массы, только отказавшись от основных своих целей. Различные другие марксистские группы, все без исключения претендующие на роль истинных и верных наследников Ленина, находятся в положении еще более безнадежном. Платформы их рядовому англичанину непонятны, а горести неинтересны. Огромным препятствием для них служит отсутствие у англичан заговорщицкого склада ума, присущего жителям полицейских государств континентальной Европы. Англичане в большинстве своем не воспринимают учений, в которых доминируют ненависть и беззаконие. Безжалостные идеологии континента — и не только коммунизм или фашизм, но и анархизм, троцкизм и даже крайний католицизм — воспринимаются в их чистом виде одной лишь интеллигенцией, образующей своего рода островок ханжества посреди всеобщего безразличия. Показательно, что авторам английских революционных трудов приходится прибегать к искусственному словарю, ключевая лексика которого заимствована из других языков.

Английских слов для большинства излагаемых ими концепций просто не существует. Даже, например, слово «пролетарий» неанглийское, и подавляющее большинство англичан просто не понимают его значения. Если им и пользуются, то лишь как синонимом слова «бедняк». Но и в этом смысле ему придают оттенок скорее социальный, нежели экономический. Большинство спрошенных ответят вам, что кузнец или сапожник — пролетарий, а банковский клерк — нет. Что же до слова «буржуазный», то его чуть ли не исключительно употребляют люди именно буржуазного происхождения.

Но существует некий абстрактный политический термин, используемый весьма широко, которому придается расплывчатый, но хорошо понимаемый смысл. Это слово — демократия. В известном смысле англичане действительно считают, что живут в демократической стране. И не то чтобы все были достаточно глупы, чтобы думать так в буквальном смысле слова.

Если демократия означает власть народа или социальное равенство, то ясно, что Британия не демократическая страна. Однако она демократична во вторичном значении этого слова, привязавшегося к нему со времен взлета Гитлера. Прежде всего, меньшинства обладают достаточными возможностями, чтобы быть выслушанными. Более того, возжелай общественное мнение высказаться, его невозможно было бы игнорировать. Оно может выражаться косвенными путями — через забастовки, демонстрации и письма в газеты, но оно способно влиять на политику правительства, и влияние это весьма ощутимо. Британское правительство может проявлять несправедливость, но не может проявить абсолютный произвол. Не может делать то, что в порядке вещей для правительства тоталитарного государства. Один пример из тысячи возможных — нападение Германии на СССР. Не то примечательно, что нападение произошло без объявления войны — это-то как раз естественно,— а то, что ему не предшествовало никаких пропагандистских кампаний. Проснувшись, немцы обнаружили себя в состоянии войны со страной, с которой, ложась вчера спать, вроде бы были в хороших отношениях. Наше правительство не осмелилось бы ни на какой подобный шаг, и англичане достаточно хорошо это знают. Политическое мышление англичан во многом руководствуется словом «они». «Они» — это вышестоящие классы, таинственные силы, определяющие вашу жизнь помимо вашей воли. Но широко распространено ощущение, что хоть «они» и тираны, но не всемогущи. Если потребуется на «них» нажать, «они» поддадутся. «Их» можно даже сместить. И при всем своем политическом невежестве англичане часто проявляют удивительную чувствительность, сто́ит какой-то незначительной детали показать им, что «они» перешли черту. Потому-то кажущаяся апатия и взрывается то и дело неожиданной бурей из-за фальсифицированных выборов или чересчур жестким, «под Кромвеля», обращением с парламентом.

Обстоятельством, о котором чрезвычайно трудно судить с уверенностью, является стойкость монархического чувства в Англии. Нет никаких сомнений, что по крайней мере на юге Англии оно оставалось сильным и искренним вплоть до смерти Георга V. Волна народного энтузиазма, вызванная Серебряным юбилеем 1935 года, захватила власти врасплох, и празднества пришлось продлить еще на неделю. В обычные времена откровенные роялистские настроения свойственны лишь богатым классам: в лондонском Уэст-энде, например, зрители по окончании киносеанса вытягиваются в струнку при звуках «Боже, храни короля», а в бедных кварталах просто выходят из зала. Но чувства, проявленные по отношению к Георгу V в дни Серебряного юбилея, были явно неподдельными, в них даже можно было заметить живучесть или бурный рецидив идеи, существующей чуть ли не с первых дней истории, идеи о своего рода союзе монарха и простолюдинов против аристократии. Так, например, кое-где в лондонских трущобах во время юбилея выставлялся весьма раболепный лозунг: «Беден, но верен».

Правда, другие лозунги сочетали верность королю с неприязнью к домовладельцу: «Да здравствует король, долой домовладельца», или — еще чаще — «Домовладельцы не требуются», или «Домовладельцам вход запрещен». Пока еще рано судить, убило ли Отречение роялистские чувства, но оно, несомненно, нанесло им суровый удар. На протяжении последних четырех веков это чувство то вспыхивало, то угасало в зависимости от обстоятельств. Королева Виктория, например, решительно была непопулярна в некоторые годы своего правления, и в первой четверти XIX века общество не проявило такого значительного интереса к королевской семье, как сто лет спустя. На сегодняшний день большинство англичан, видимо, придерживается умеренных республиканских настроений. Но весьма вероятно, что еще одно долгое правление, схожее с правлением Георга V, возродит роялистские настроения и сделает их — примерно так же, как и в период между 1880 и 1936 годами,— весомым фактором в политике.

Английская классовая система

Во время войны английская классовая система служит лучшим пропагандистским аргументом противника. Единственным честным ответом на обвинение д-ра Геббельса в том, что Англия так и остается страной «двух наций», было бы признание, что на деле их три. Но особенность английских классовых различий не в их несправедливости — ибо, в конце концов, богатство и нищета сосуществуют во всех почти странах,— но в их анахроничности. Они не вполне точно совпадают с границами экономических различий, в силу чего в промышленной и капиталистической стране бродит призрак кастовой системы.

Принято классифицировать современное общество по трем параметрам: высший класс, то есть буржуазия, средний класс, то есть мелкая буржуазия, и рабочий класс, то есть пролетариат. В целом подобное деление соответствует истине, но полезных выводов из него не извлечь, не приняв во внимание деления внутри различных классов и не осознав, насколько глубоко английское восприятие мира окрашено романтизмом и элементарным снобизмом.

Англия остается одной из последних стран, цепляющихся за внешние формы феодализма. Сохраняются и постоянно учреждаются новые титулы; палата лордов, в основном состоящая из потомственных пэров, обладает реальными полномочиями. В то же время в Англии нет настоящей аристократии. Расовые различия, на которых обычно и строится аристократическое правление, стерлись уже к концу средневековья, и знаменитые средневековые семьи практически уже исчезли. Нынешние так называемые старинные семьи составили состояния в шестнадцатом, семнадцатом и восемнадцатом веках. Более того, представление, будто дворянство существует само по себе, что дворянин и в бедности остается дворянином, отмирало уже в эпоху Елизаветы — обстоятельство, отмеченное

Шекспиром. И все же, как ни странно, правящий класс Англии так и не превратился в самую что ни на есть обычную буржуазию, так и не стал исключительно городским или чисто коммерческим. Стремление быть поместным дворянином, владеть и управлять землей и извлекать хотя бы часть доходов из ренты пережило все перемены и повороты. Потому-то каждая новая волна парвеню, вместо того чтобы просто вытеснить существующий правящий класс, перенимала его обычаи, заключала с ним брачные союзы и спустя одно-два поколения полностью с ним сливалась.

Может, основной тому причиной служили скромные размеры Британии, ее ровный климат и приятное разнообразие природы. В Англии почти невозможно и даже в Шотландии нелегко оказаться более чем в двадцати милях от города. Деревенская жизнь отнюдь не отличается унылой скукой, как в более просторных странах с холодным климатом. Относительная же порядочность британских правящих классов, в конечном счете отнюдь не запятнавших себя позорным поведением, свойственным европейским собратьям, видимо, покоится на их представлении о самих себе как о феодальных землевладельцах. Эти представления разделяет и значительная часть средних классов. Почти каждый, кто может, живет как поместный дворянин или стремится к этому. В дачном коттедже биржевого маклера в пригородной вилле с ее газоном и цветочным бордюром, пожалуй, даже в горшках с настурциями на подоконниках квартир района Бэйсуотер возникает в миниатюре барская усадьба с ее парками и обнесенными стеной садами. Да, верно, эти грезы, несомненно, полны снобизма, они способствовали утверждению классовых различий и помешали модернизации английского сельского хозяйства, но сочетаются со своеобразным идеализмом, верой, что стиль и традиция важнее денег.

Резкая грань, но не финансовая, а культурная, пролегает внутри среднего класса, отделяя тех, кто стремится к светскому образу жизни, от остальных. По стандартным меркам каждый между капиталистом и живущим на недельную зарплату может быть скопом причислен к мелкой буржуазии. То есть в один и тот же класс зачисляются врач с Харли-стрит, армейский офицер, бакалейщик, фермер, ответственный чиновник, юрист, священник, управляющий банком, предприимчивый подрядчик и рыбак — хозяин собственной лодки. Но никто в Англии не причислит их к одному классу, а различия между ними лежат не в доходах, но в произношении, манере держаться и, в известной степени, мировоззрении. Любой, кто обращает хотя бы маломальское внимание на классовые различия, поместит офицера с годовым доходом в 1000 фунтов выше на общественной лестнице, чем бакалейщика с годовым доходом в 2000 фунтов. Подобные различия существуют даже среди высших классов: титулованной особе оказывается больше почета, чем нетитулованной, но более богатой. На практике людей среднего класса делят в зависимости от того, в какой степени они походят на аристократию: чиновники высокого ранга, боевые офицеры, лек-

торы университетов, священнослужители, даже литературная и научная интеллигенция стоят выше бизнесменов, хотя и зарабатывают меньше. Особенность этого класса в том, что самой большой статьей его расходов является образование. Если преуспевающий торговец отдает ребенка в местную государственную школу, то священник, имеющий половину его доходов, будет годами недоедать, чтобы послать своего сына в частную школу, хотя и знает, что прямых дивидендов с подобного капиталовложения не получит.

Существует, однако, еще одна отчетливая линия раздела внутри среднего класса: старинные различия между «джентльменом» и «не джентльменом». За последние тридцать лет в силу потребностей современной индустрии и деятельности технических школ и провинциальных университетов сложился, правда, новый тип человека, принадлежащего к среднему классу по доходам и в известной степени по привычкам, но мало обеспокоенного собственным социальным статусом. Люди типа радиоинженеров или заводских химиков, не получившие образования того рода, что приучает чтить традиции прошлого и склонные жить в многоквартирных домах, где стираются рамки былого общественного уклада, являются наиболее приближенными к бесклассовому типу в Англии. Они составляют существенную часть общества, ибо количество их неуклонно растет. Война, например, потребовала создания мощной авиации, и вот тысячи молодых людей рабочего происхождения вышли в технически образованный слой среднего класса через королевские ВВС. Подобные же последствия в настоящее время будет иметь любая серьезная реорганизация промышленности. И взгляды на жизнь, свойственные техническому слою, уже охватывают более старые слои среднего класса. Одним симптомом этого служат участившиеся внутри этой среды браки. Другим — растущее нежелание людей с доходом ниже 2000 фунтов в год разоряться во имя образования.

Целая серия перемен, начало которой, пожалуй, положил Закон об образовании 1870 года, происходит и в рядах рабочего класса. Трудно отрицать, что английским трудящимся свойственны как снобизм, так и раболепие. Прежде всего существуют весьма отчетливые различия между хорошо оплачиваемыми рабочими и беднотой. Даже социалистическая литература то и дело презрительно отзывается об обитателях трущоб (в большом ходу немецкое слово «люмпен-пролетариат»), а к заезжим рабочим, к ирландцам, например, чей уровень жизни много ниже, часто проявляет высокомерие. В Англии более, пожалуй, чем в других странах, сохранилась готовность считать классовые различия постоянным явлением и даже признавать за высшими классами естественное право на руководящую роль. Знаменательно, что в трудную минуту лучше всех сумел объединить нацию Черчилль, консерватор-аристократ. Слово «сэр» общеупотребительно в Англии, и человек явно аристократической наружности обычно удостаивается повышенной почтительности со стороны швейцаров, кондукторов,

полисменов и т. д. Именно этот аспект английской жизни больше всего шокирует приезжих из Америки и доминионов. Пожалуй, тенденция к подобострастию нисколько не уменьшилась за двадцатилетний промежуток меж двумя войнами, напротив, скорее возросла, чему в основном способствовала безработица.

Снобизм, однако, всегда сочетается с идеализмом. Склонность воздавать высшим классам более должного сочетается с уважением к правилам хорошего тона и чему-то, расплывчато определяемому как культура. На юге Англии, во всяком случае, большинство рабочего люда, несомненно, пытается подражать высшим классам в манерах и привычках. Традиция презрительного отношения к членам высших классов как к женоподобным «выпендрежникам» в основном сохраняется в промышленных районах. Презрительные прозвища типа «чистюля» и «шляпа» почти исчезли, и даже «Дейли уоркер» публикует рекламу «первоклассного портного для джентльменов». Особые переживания почти у всего населения Южной Англии вызывает выговор кокни. В Шотландии и Северной Англии тоже существует снобистское отношение к выговору местных диалектов, но не до такой степени. Многие йоркширцы определенно гордятся открытыми «у» и закрытыми «а» своего произношения и готовы отстаивать их на лингвистическом ристалище. В Лондоне же по сей день полно людей, выговаривающих «лайцо» вместо «лицо», но вряд ли найдется хоть один, настаивающий на превосходстве «лайца». Даже тот, кто демонстрирует презрение к буржуазии и ее манерам, заботится, чтобы его дети овладели правильным произношением.

Но наряду со всем этим значительно возросли политическое самосознание и недовольство классовыми привилегиями. За последние двадцать-тридцать лет рабочий класс стал более враждебен по отношению к правящим классам в плане политическом и менее враждебен в плане культурном. Здесь нет никакого противоречия: в обеих тенденциях проявляются симптомы усреднения укладов, проистекающего из машинной цивилизации и придающего английской классовой системе все более анахроничный характер.

Очевидные классовые различия, сохраняющиеся в Англии, ошеломляют иностранцев, но они куда менее отчетливы и куда менее реальны, чем тридцать лет назад. Люди разных социальных корней, сведенные войной вместе в рядах вооруженных сил, на заводах и в учреждениях, в пожарных патрулях и ополчении смогли общаться куда более естественно, чем во время войны 1914—1918 годов. Стоит перечислить различные факторы, под воздействием которых — хотя и непроизвольным — наметилась тенденция ко все большему стиранию различий между всеми классами английского общества.

Прежде всего, усовершенствование промышленного производства. С каждым годом все больше и больше сокращается количество людей, занятых тяжелым физическим трудом, постоянно утомляющим их и, гипертрофируя определенные группы мышц, придающим им специфическую осанку. Во-вторых,

улучшеиие жилищных условий. В период между войнами обеспечением жилья занимались в основном местные власти, создавшие тип жилища (муниципальный дом с ваниой, садиком, отдельной кухней и канализацией), более близкий к вилле биржевого маклера, чем к лачуге рабочего. В-третьих, массовое производство мебели, в иормальные времеиа продающейся в рассрочку. В результате интерьер жилища рабочего сегодня походит на интерьер жилища представителя средних классов куда больше, чем при жизни предыдущего поколеиия. В-четвертых — и, возможно, это осиовиая причина,— массовое производство дешевой одежды. Тридцать лет назад социальиый статус почти каждого англичаниина можно было определить по его виешиему облику чуть ли че за версту. Все рабочие ходили в готовом платье, ие только плохо пошитом, но и имитировавшем аристократические моды десяти-пятиадцатилетней давности. Кепи служило практически призиаком статуса. Рабочие носили его повсеместно, аристократы — только играя в гольф или охотясь. Эта ситуация быстро меияется. Готовое платье сейчас шьется по моде, выпускается различных размеров, чтобы подойти любой фигуре, и, даже изготовленное из дешевой ткани, на вид мало отличается от дорогой одежды. В результате с каждым годом стаиовится все трудиее и труднее определить иа первый взгляд социальиое положеиие людей, особенно женщии.

Аиалогичный эффект создают массовый выпуск литературы и индустрия развлечеиий. Радиопрограммы, иапример, в силу иеобходимости одинаковы для всех. Кииофильмы, хотя зачастую и крайие реакционные в подтексте своих концепций, должиы завоевывать миогомиллионную аудиторию и посему обязаиы избегать разжигания классовых антагонизмов. То же касается и газет, выходящих массовым тиражом. «Дейли экспресс», например, имеет читателей во всех слоях общества, как и другие периодические издаиия, возникшие за последиий десяток лет. «Паич» — явно газета средиих и высших классов, ио «Пикчер пост» иикакой определениой классовой иаправленности ие имеет. Массовые библиотеки и крайие дешевые кииги типа издаиий фирмы «Пингвии» широко развивают привычку к чтеиию и, пожалуй, усредняют литературиые вкусы. Усредияются даже кулииариые вкусы из-за появлеиия большого количества дешевых, ио вполне пристойиых ресторайчиков.

Было бы неоправдаиным утверждать, что классовые различия действительио исчезают. В основиом в Англии сохраияется та же структура, что и в девятнадцатом веке. Но, безусловио, сокращаются реальиые различия между людьми, что призиается и даже приветствуется теми, кто еще лишь иесколько лет иазад цеплялся за свой социальиый престиж.

Какая бы судьба ии ждала в коиечном счете очень богатых, рабочий и средиий классы проявляют очевидиую тенденцию к слиянию. Оно может произойти быстрее или медлеииее — в зависимости от обстоятельств. Его значительно ускорила войиа, и еще десять лет строгого нормироваиия продуктов, фуикциоиальной одежды, высокого подоходного налога и все-

общей воинской обязанности могут окончательно завершить процесс. Ряд наблюдателей, как иностранных, так и отечественных, полагают, что свобода личности, весьма существенно развитая в Англии, зависит от сохранения четко определенной классовой системы. Свобода, считают некоторые, несовместима с равенством. Но по меньшей мере ясно одно: сегодня существует тенденция именно к большему социальному равенству, и большинство англичан именно этого и хочет.

Английский язык

В английском языке существуют две характерные черты, к которым в конечном счете восходят почти все его маленькие странности. Это обширнейший вокабуляр и простота грамматического строя.

Если английский вокабуляр и не самый больший в мире, то, безусловно, один из самых больших. По сути, английский состоит из двух языков — англосаксонского и норманно-французского, а на протяжении последних трех веков значительно обогатился новыми словами, намеренно произведенными от латинских и греческих корней. Более того, вокабуляр расширяется еще больше, чем кажется, возможностью превращения одной части речи в другую. Почти каждое существительное, например, может использоваться в виде глагола, что создает целый дополнительный глагольный ряд. В свою очередь многие глаголы могут иметь чуть ли не до двадцати различных значений всего лишь в силу употребляемых с ними различных предлогов. Глаголы также могут достаточно четко превращаться в существительные, а посредством ряда аффиксов любое существительное трансформируется в прилагательное. Куда легче, чем в большинстве других языков, глаголы и прилагательные могут превращаться в собственные антонимы с помощью одной лишь приставки "un". Прилагательное же можно сделать более выразительным или придать ему иной оттенок, увязав его в пару с существительным. (Lily—white, sky—blue).

Но в то же время английский прибегает и к заимствованиям, причем до неоправданной степени. Английский охотно перенимает любое иностранное слово, если оно кажется подходящим к использованию, часто переиначивая при этом его значение. Недавним примером служит слово «блиц». В качестве глагола это слово появилось в печати лишь в конце 1940 года, но уже прочно вошло в язык. Вот еще примеры из огромного арсенала заимствований: гараж, шарабан, алиби, степь, роль, меню, лассо, рандеву. Следует отметить, что в большинстве случаев эквиваленты этих понятий уже существовали, поэтому заимствования лишь расширили и так достаточно солидный синонимический ряд.

Английская грамматика проста. Язык почти полностью лишен флексий, что отличает его от большинства языков к западу от Китая. Правильный английский глагол имеет лишь три флексии — единственное число третьего лица, причастие настоящего

времени и причастие прошедшего времени. Существует, разумеется, огромное количество временных форм, передающих тончайшие смысловые оттенки, но они образуются при помощи вспомогательных глаголов, также почти не спрягающихся.

Существительные в английском не склоняются и не имеют рода. Количество неправильных форм множественного числа и сравнительных степеней невелико. Английский язык всегда тяготеет к простым формам, как грамматическим, так и синтаксическим. Длинные фразы с придаточными предложениями становятся все менее и менее популярными; приживаются не совсем правильные, но экономящие время структуры типа «американского сослагательного наклонения», трудные правила, определяющие оттенки употребления вспомогательных глагольных форм, все больше и больше игнорируются. Если развитие английского языка в этом направлении будет продолжаться, он обретет больше общего скорее с нефлективными языками Восточной Азии, чем с языками Европы.

Величайшее богатство английского языка заключается не только в широком диапазоне смысловых оттенков, но и в спектре тона, позволяющем передавать тончайшие нюансы от высокопарной риторики до жесточайшей грубости. С другой стороны, простота грамматики способствует лаконичности. Английский — язык лирической поэзии и газетных заголовков. В низших своих формах он легко поддается изучению, несмотря на иррациональную орфографию. Для нужд интернационального общения английский может быть сведен к простейшему «птичьему» языку в диапазоне от «бейсик инглиш» до «бичламара», на котором изъясняются в южной части Тихого океана. Таким образом, он соответствует функции инструмента общения народов разных стран и действительно распространился в мире шире других языков.

Но в употреблении английского как родного языка таятся и большие проблемы и даже опасности. Прежде всего, как упоминалось в этом эссе ранее, англичане — плохие лингвисты. Их родной язык столь прост грамматически, что, не овладев в детстве навыком изучения иностранного языка, они зачастую не способны осознать категории рода, лица и падежа. Абсолютно неграмотный индус быстрее овладеет английским, нежели британский солдат — хиндустани. Почти пять миллионов индийцев владеют нормативным английским, и миллионы владеют его искаженными формами. Несколько десятков тысяч индийцев владеют английским настолько безупречно, насколько это вообще возможно. Англичан, столь же безупречно владеющих языками Индии, не наберется и нескольких десятков. Величайшая же слабость английского — в доступности его искажению. Именно потому, что им легко пользоваться, им легко пользоваться плохо.

Писать и даже говорить по-английски не наука, но искусство. Никаких надежных правил не существует, есть лишь общий принцип, согласно которому конкретные слова лучше абстрактных, а лучший способ что-нибудь сказать — сказать

кратко. Человек, пишущий по-английски, втянут в неустанную борьбу, неослабевающую ни на одном предложении. Он борется с неопределенностью, расплывчатостью, искусом вычурных прилагательных, вкраплениями греческого и латыни и прежде всего с устаревшими клише и отжившими метафорами, которыми перегружен язык. В устной речи эти препятствия избегаются легче, но разница между устной и письменной речью в английском куда значительней, чем в большинстве других языков. В устной речи опускается все, что может быть опущено, и употребляется любая сокращенная форма. Смысл во многом передается смысловым ударением, хотя интересно отметить, что англичане не жестикулируют, как того можно бы было ожидать. Предложение типа «Нет, я имел в виду не это, а то» абсолютно понятно и без всякой жестикуляции, когда произносится вслух. Но, пытаясь обрести логику и достоинство, устная английская речь обычно воспринимает пороки письменной, в чем можно убедиться, проведя полчаса либо в палате общин, либо у Триумфальной арки.

Английский удивительно хорош для жаргонов. Врачи, ученые, бизнесмены, чиновники, спортсмены, экономисты и политические теоретики переиначивают язык каждый на свой лад, что легко изучить по страницам соответствующих изданий от «Ланцета» до «Дейли уоркер». Но самым, вероятно, страшным врагом разговорного английского является так называемый «литературный английский». Сей занудный диалект, язык газетных передовиц, Белых книг, политических речей и выпусков новостей Би-би-си, несомненно, расширяет сферу своего влияния, распространяясь вглубь по социальной шкале и вширь в устную речь. Для него характерна опора на штампы — «в должное время», «при первой же возможности», «глубокая благодарность», «глубочайшая скорбь», «рассмотреть все возможности», «выступить в защиту», «логическое предположение», «положительный ответ» и т. д., когда-то, может, и бывшие свежими и живыми выражениями, но ныне ставшие лишь приемом, позволяющим не напрягать мысль, и имеющие к живому английскому языку отношение не большее, чем костыль к ноге. Каждый, кто готовит комментарий для радио или статью для «Таймс», чуть ли не инстинктивно усваивает подобный навык, заражающий и устную речь. И ослаб наш язык настолько, что идиотский лепет, изображаемый в эссе Свифта о вежливом общении (сатира на манеру речи современной ему аристократии) сошел бы по нынешним меркам за вполне культурный разговор.

Временным упадком английского языка, как и столь многим другим, мы обязаны анахронизму нашей классовой системы. «Культурный» английский утратил жизненную силу, потому что чересчур долго был лишен подпитки снизу. Чаще всего простым, конкретным языком говорят, а метафоры, способные создать зрительный образ, придумывают те, кто находится в постоянном общении с миром физической реальности. Такое, например, полезное выражение, как «узкое место», скорее осе-

нит человека, привычного к конвейерам. Выразительное военное словцо «проутюжить» подразумевает непосредственное знакомство с огнем и маневром. От постоянного притока подобного рода образов и зависит жизнеспособность английского языка. Из чего следует, что язык, английский во всяком случае, страдает, когда образованные классы теряют связь с людьми физического труда. На сегодняшний день почти любой англичанин независимо от происхождения считает манеру речи и даже идиоматику рабочего класса второсортными. Больше всего презрения к себе вызывает кокни — самый распространенный диалект. Любое слово или смысловой оттенок, относимые к нему, считаются вульгаризмами, даже в тех случаях, когда употребляются архаизмы.

За последние сорок лет, а за последние десять особенно, английский очень много позаимствовал из американского, в то время как в американском тенденции к заимствованию из английского не наблюдалось. Отчасти причиной тому послужила политика. Антибританские настроения в США куда сильнее, чем антиамериканские в Англии, и большинство американцев не склонны употреблять слово или выражение, известное им как британское. Но американский язык захватил плацдарм в английском отчасти благодаря живым, чуть ли не поэтическим свойствам своего сленга, отчасти потому, что американская манера употребления слов экономит время (в частности, вербализация существительных с помощью суффикса "ise"), но в основном потому, что американские слова можно перенимать, не разрушая классовых барьеров. С английской точки зрения американские слова лишены классовой окраски. Будь то даже слова воровского сленга. Слова, скажем, «козел» и «стукач» считаются куда менее вульгарными, чем «легаш» и «кадр». Даже завзятый английский сноб, наверное, не откажется назвать полицейского «мусором», ибо это слово американское, но возразит против «мусорка», поскольку это слово простонародно английское. Рабочим же, с другой стороны, американизмы дают возможность избежать кокни, не переходя на диалект Би-би-си, который они инстинктивно недолюбливают и которым не в силах легко овладеть. Поэтому дети рабочих, особенно в больших городах, прибегают к американскому сленгу, как только учатся говорить. Появляется и заметная тенденция употреблять и несленговые американизмы — даже там, где существуют английские эквиваленты.

Видимо, какое-то время этот процесс будет продолжаться. Протестами его не сдержать, и к тому же многие американские слова и выражения заслуживают заимствования. Это и необходимые неологизмы, и старые английские слова, от которых нам просто не следовало отказываться. Но надо отдавать себе отчет, что в целом американский язык оказывает дурное влияние и во многом уже навредил. В целом наша настороженность по отношению к американскому оправданна. Нам следует с готовностью заимствовать лучшие его слова, но нельзя позволять ему изменять фактическую структуру нашего языка.

Тем не менее мы не сможем сопротивляться натиску американского, пока не вдохнем новую жизнь в английский. Язык должен быть совместным творением поэтов и людей физического труда, но в современной Англии этим двум классам трудно сойтись вместе. Когда они снова сумеют сделать это, как, хотя и в иной форме, умели в феодальном прошлом, английский сумеет доказать свое родство с языком Шекспира и Дефо более убедительно, чем сейчас.

Эта книга не о внешней политике, но, говоря о будущем английского народа, следует прежде всего задуматься о том, в каком мире ему, по всей вероятности, предстоит жить и какую особую роль играть в нем.

Нациям редко случается вымирать, и английский народ будет существовать и век спустя, что бы за это время ни случилось. Но если Британии суждено выжить в качестве того, что именуется «великой державой», играющей важную и полезную роль в мировых делах, следует принимать известные вещи как должные. Надо исходить из того, что Британия останется в добрых отношениях с Россией и континентальной Европой, сохранит свои особые связи с Америкой и доминионами и найдет полюбовное решение индийской проблемы. Возможно, мы предполагаем чересчур много, но вне этих условий остается мало надежд на будущее цивилизации и еще меньше — на будущее самой Британии. Если продлится жестокая международная борьба, что идет на протяжении последних двадцати лет, то в мире останется место лишь для двух-трех великих держав, и Британии в конечном счете среди них не будет. Ей не хватит ни населения, ни ресурсов. В мире политики силы англичанам суждена роль народа-сателлита, потенциал же, способный обеспечить их особенный вклад в развитие человечества, может быть утрачен.

Но в чем он, этот особенный вклад? Выдающееся, а по современным меркам и в высшей степени оригинальное свойство англичан в том, что они обладают традицией *не убивать друг друга*. Помимо «образцовых» малых государств, находящихся в исключительном положении, Англия — единственная европейская страна, в которой внутриполитическая жизнь протекает более или менее гуманным и человеческим образом. Англия — и так было еще задолго до зарождения фашизма — единственная страна, где по улицам не рыщут вооруженные люди и где никто не опасается тайной полиции. Британская империя в целом, при всех ее вопиющих безобразиях, застоем здесь, эксплуатацией там, по крайней мере имеет заслугу в том, что сохраняет внутренний мир. Вбирая в себя четверть всего населения планеты, империя всегда ухитрялась обходиться самым небольшим количеством вооруженных сил. Между мировыми войнами империя имела под ружьем около 600 000 человек, треть из которых составляли индийцы. С началом войны вся империя смогла мобилизовать около миллиона обученных солдат — почти столько же, сколько, к примеру, Румыния. Англичане, пожалуй, готовы к проведению революционных перемен бескровным

путем больше многих других народов. Если где и станет возможным уничтожить бедность, не уничтожив свободы, то это в Англии. Приложи англичане усилия к тому, чтобы заставить функционировать свою демократию, они стали бы политическими лидерами Западной Европы, а возможно, и некоторых других частей света. Они могли бы предложить искомую альтернативу русскому авторитаризму, с одной стороны, и американскому материализму — с другой.

Но для осуществления руководящей роли англичане должны вновь обрести жизнеспособность и знать что делают, для чего на протяжении грядущего десятилетия должны сложиться определенные факторы: рост рождаемости, развитие социального равенства, ослабление централизации и большее уважение к интеллекту.

Некоторый рост рождаемости, пришедшийся на военные годы, вряд ли можно считать существенным; общая тенденция к ее снижению сохраняется. Положение не настолько отчаянное, как иногда рисуется, но выправить его может не только резкий рост рождаемости, но и сохранение его на протяжении десяти, самое большее двадцати лет. В противном случае население не только сократится, но, что еще хуже, будет в основном состоять из людей среднего возраста. Тогда уже падение роста рождаемости может стать необратимым.

Причины сокращения рождаемости в основе своей экономические. Глупо утверждать, что оно вызвано равнодушием англичан к детям. В начале девятнадцатого века уровень рождаемости был чрезвычайно высок, причем тогдашнее отношение к детям сегодня кажется нам неимоверно черствым. Не вызывая особого протеста общества, шестилетних детей продавали на рудники и фабрики; смерть же ребенка — самое страшное несчастье, какое только доступно воображению современного человека,— не считалась ничем особенным. В известной степени верно, что современные англичане заводят маленькие семьи именно из любви к детям. Они считают нечестным произвести ребенка на этот свет, если не имеют абсолютной уверенности, что сумеют обеспечить его на уровне не худшем, чем их собственный. Последние пятьдесят лет иметь большую семью означало, что дети будут хуже других одеты и накормлены, обделены вниманием и вынуждены раньше других пойти работать. Это касалось всех, кроме самых богатых или безработных. Несомненно, сокращение количества детей отчасти объясняется растущей притягательностью конкурирующих с ними автомобилей и радиоприемников, но истинной причиной служит чисто английское сочетание снобизма и альтруизма.

Инстинкт чадолюбия возродится, вероятно, тогда, когда относительно большие семьи станут нормой, но первыми шагами в этом направлении должны быть экономические меры. Малоэффективные семейные пособия здесь не помогут, особенно в условиях нынешнего острого жилищного кризиса. Положение людей должно улучшаться благодаря появлению детей, как в крестьянской общине, вместо того чтобы ухуд-

шаться финансово, как у нас. Любое правительство несколькими росчерками пера могло бы сделать бездетность столь же тягостным экономическим бременем, каким сегодня является большая семья, но ни одно правительство не сделало этого из-за невежественных представлений, будто рост населения означает рост безработицы. Куда более решительно, нежели предлагалось кем-либо до сих пор, следует перестроить налоговую политику с целью поощрения деторождения и избавления молодых матерей от необходимости работать за пределами дома. Это потребует и регулирования квартирной платы, улучшения общественных детских садов и детских площадок, строительства лучших и более удобных домов. Потребует это, видимо, также расширения и улучшения бесплатного образования, чтобы непомерно высокая плата за обучение не лишала семьи среднего класса возможностей существования.

Прежде всего необходимо выровнять ситуацию экономически, но необходим и перелом во взглядах. Слишком естественным стало казаться в Англии последних тридцати лет, что жильцам с детьми не сдаются квартиры, что парки и скверы обносятся оградами, за которые запрещается вход с детьми, что аборты, формально запрещенные законом, воспринимаются как мелкие грешки и что коммерческая реклама ставит основной целью пропаганду «веселой жизни» и вечной молодости. Даже раздуваемый прессой культ животных и тот, видимо, внес свою лепту в сокращение рождаемости. Да и власти до самого недавнего времени не придавали этой проблеме серьезного значения. Сегодня в Британии на полтора миллиона меньше детей, чем в 1914 году, и на полтора миллиона больше собак. Но и сейчас, проектируя типовой блочный дом, государство предусматривает в нем лишь две спальни, отводя место в лучшем случае для двоих детей. Всматриваясь в историю периода между войнами, диву даешься, что рождаемость не сократилась еще более катастрофически, чем в действительности. Но она и не поднимется на уровень воспроизводства до тех пор, пока и власть имущие, и человек с улицы не осознают, что дети важнее денег.

Англичан, видимо, меньше, чем другие народы, раздражают классовые различия; они более терпимы к привилегиям и абсурдным пережиткам вроде титулов. Существует, однако, уже упомянутая выше растущая тяга к большему равенству и тенденция к размыванию классовых различий у живущих на сумму меньше 2000 фунтов в год. В настоящее время этот процесс происходит лишь неосознанно и в значительной степени вызван войной. Вопрос в том, как его ускорить. Ибо даже переход к централизованной экономике, наблюдаемый в той или иной форме во всех странах, за исключением разве что Соединенных Штатов, сам по себе гарантирует большее равенство между людьми. При достижении цивилизацией весьма высокого уровня технического развития классовые различия явно становятся злом. Они не только побуждают огромное количество людей растрачивать жизнь впустую в погоне за положением в обще-

стве, но и в необъятной степени губят таланты и способности. В Англии в руках узкого круга сосредоточено не просто владение собственностью. Дело еще и в том, что одному-единственному классу принадлежит вся власть — как административная, так и финансовая. За исключением горстки «выбившихся из низов» и политиков-лейбористов, нашими судьбами управляют воспитанники дюжины частных школ и двух университетов. Нация полностью использует свой потенциал тогда, когда каждый способен получить работу, к которой пригоден. Достаточно вспомнить лишь некоторых, занимавших исключительно важные посты на протяжении последних двадцати лет, чтобы задаться вопросом, какая постигла бы их участь, родись они в семьях рабочих, и сразу станет ясно, что в Англии дело подобным образом не обстоит.

Более того, классовые различия постоянно подрывают моральный дух как в войну, так и в мирное время, и тем в большей степени, чем сознательнее и образованнее становятся в массе своей люди. Слово «они», всеобщее чувство, что «они» держат в руках всю власть и принимают все решения, что прямых и ясных способов воздействия на «них» не существует, во многом осложняют жизнь Англии. В 1940 году «они» проявили явную тенденцию уступить место понятию «мы», и давно пора придать этой тенденции необратимый характер. Очевидна необходимость принятия трех мер, результаты которых сказались бы через несколько лет.

Во-первых, балансирование доходов. Нельзя допустить возрождения вопиющего материального неравенства, существовавшего в Англии до войны. Выше определенного предела, четко устанавливаемого по отношению к низшему уровню заработной платы, все доходы должны облагаться аннулирующими их налогами.

Теоретически по крайней мере это уже произошло и принесло благотворные результаты. Вторая необходимая мера — дальнейшая демократизация образования.

Полностью унифицированная система образования вряд ли желательна. Одним высшее образование идет на пользу, другим — нет. Необходима дифференциация гуманитарного и технического образования, необходимо сохранить и несколько независимых экспериментальных школ. Но обучение детей до десяти-двенадцати лет в одинаковых школах должно стать обязательным, как это стало уже в ряде стран. В этом возрасте уже возможно отделить более одаренных детей от менее одаренных, но единая общеобразовательная система на раннем этапе обучения позволит вырвать один из глубочайших корней снобизма.

В качестве третьей меры необходимо очистить английский язык от кастовых ярлыков, стирание местных диалектов нежелательно, но должна быть найдена фонетическая норма, которая носила бы явно общенациональный характер, а не просто копировала манерный выговор высших классов, как делают дикторы Би-би-си. Этому общенациональному произношению,

выработанному на базе кокни либо одного из северных диалектов, обучались бы все дети. После чего они могли бы, да в ряде регионов страны так оно бы и произошло, вернуться к своим местным диалектам, но умея при желании владеть нормативным английским. «Клейменых языков» тогда бы не осталось. И было бы невозможно, как невозможно в США и некоторых европейских странах, определить социальное положение человека по его произношению.

Нуждаемся мы и в ослаблении централизации. Во время войны возродилось английское сельское хозяйство, и это возрождение способно продолжаться, но англичане по-прежнему остаются чрезмерно сконцентрированным в городах народом. Более того, в стране чрезмерно централизована культура. Дело не только в том, что практически вся Британия управляется из Лондона, но и в том, что чувство принадлежности к родному краю, к Восточной Англии, скажем, или к западным графствам, на протяжении последнего столетия значительно ослабло, как и чувство принадлежности к английскому народу в целом. Фермер обычно стремится в город, провинциальный интеллигент стремится в Лондон. И в Шотландии, и в Уэльсе существуют националистические движения, но базируются они на недовольстве Англией, вызванном экономическими причинами, нежели на истинно местном патриотизме. Не существует и никакого значимого литературно-художественного движения, истинно независимого от Лондона и университетских городов.

Неясно, можно ли полностью повернуть вспять эту тенденцию к централизации, но в значительной степени можно ее сдержать. И Уэльс, и Шотландия могли бы иметь гораздо большую автономию, чем сегодня. Провинциальные университеты должны быть лучше оборудованы, а газеты — субсидироваться. (В настоящее время всю Англию «освещают» восемь лондонских газет. За пределами Лондона не выходит ни одной газеты с большим тиражом и ни одного первоклассного журнала.)

Поощрить людей, особенно молодых и талантливых, не покидать сельскую местность, было бы значительно легче, имей фермеры лучшие жилищные условия, будь населенные пункты в сельской местности более цивилизованы, а междугородные автобусные перевозки лучше налажены. Прежде всего чувства любви к родному краю должны прививаться школой. Для каждого школьника должны быть естественными познания в области истории и топографии своего графства. Люди должны гордиться своим краем, считать его природу, архитектуру и даже кухню лучшими в мире. И подобные чувства, действительно существующие в некоторых районах севера, но утраченные почти по всей Англии, скорее способствовали бы укреплению национального единства, чем его ослаблению.

Выше уже отмечалось, что свобода слова в Англии отчасти выжила по глупости. Люди оказались недостаточно интеллектуальны, чтобы выискивать еретиков. Никто не хочет, чтобы они утратили терпимость, либо обрели политическую изощренность,

повсеместную в догитлеровской Германии или допетеновской Франции, ибо результаты хорошо известны. Но инстинкты и традиции, на которые опираются англичане, сослужили наилучшую службу в те времена, когда англичане были счастливым народом, защищенным от больших несчастий географическим положением. В двадцатом же веке узость интересов среднего человека, достаточно низкий уровень английского образования, пренебрежение к «высоколобым» и почти всеобщая глухота к эстетическим ценностям чреваты серьезными проблемами.

Об отношении аристократов к «высоколобым» можно судить по наградным спискам. Аристократы придают большое значение титулам, но интеллигенты никогда не удостаиваются высших отличий. За редким исключением, ученому не подняться выше баронетства, а писателю — выше рыцарского звания. Но и у человека с улицы отношение не лучше. Мысль о том, что Англия ежегодно тратит миллионы на пиво и футбольный тотализатор, в то время как научные исследования задыхаются от нехватки фондов, нисколько его не тревожит, как не тревожит и мысль о том, что нам хватает средств на бесчисленное множество ипподромов, но не хватает даже на один национальный театр. В период между войнами Англия терпела неслыханно тупые газеты, фильмы и радиопередачи, в свою очередь способствовавшие дальнейшему отупению публики, уводя ее от жизненно важных проблем. Эта тупость английской прессы отчасти искусственного происхождения и вызвана тем, что газеты живут рекламой потребительских товаров.

Во время войны газеты стали намного умнее, не потеряв при этом аудиторию, и миллионы людей читали издания, которые совсем недавно отвергли бы как чересчур «высоколобые». Дело не только в общем низком уровне вкусов, дело во всеобщем неведении того, что и эстетические соображения могут иметь существенное значение. Обсуждая, например, вопросы застройки и городского планирования, никто и в расчет не берет категорий красоты или уродства. Англичане страстно любят цветы, садоводство и «природу», но это — лишь проявление их подспудной тяги к сельской жизни. В целом же они нисколько не возражают против «ленточной застройки», грязи и хаоса промышленных городов, с легкой душой захламляют леса бумажными упаковками, а в ручьях и прудах устраивают свалку консервных банок и велосипедных рам. И, разинув рот, внимают любому писаке, призывающему их руководствоваться чутьем и презирать «высоколобых».

Одним из последствий этого стала растущая изоляция британской интеллигенции. Английские интеллектуалы, особенно молодые, настроены по отношению к своей стране резко враждебно. Можно, разумеется, найти и исключения, но в целом каждый, кто предпочитает Т. С. Эллиота Альфреду Нойесу, презирает Англию, либо считает себя обязанным ее презирать. Требуется немалое мужество, чтобы высказывать пробританские взгляды в «просвещенных» кругах. Но при этом на протяжении десятка последних лет складывалась стойкая тенденция

к неистовому националистическому обожанию какой-либо чужой страны, чаще всего — Советской России. Этому, пожалуй, так или иначе суждено было случиться, ибо капитализм ставит гуманитарную и даже научную интеллигенцию в положение, при котором ее обеспеченность не сочетается с особой ответственностью. Но в Англии отчуждение интеллигенции усугубляется филистерством общества. И общество чрезвычайно много теряет, ибо в итоге люди с наиболее острым видением — то есть те, например, кто распознал гитлеровскую опасность десятью годами ранее наших политических лидеров,— теряют контакт с массами и все больше и больше остывают к проблемам Англии.

Англичане никогда не станут нацией мыслителей. Они всегда будут отдавать предпочтение инстинкту, а не логике, характеру, а не разуму. Но от открытого презрения к «умничанью» им придется отказаться. Они не могут его себе больше позволить. Англичанам следует убавить терпимости к уродству и больше развивать предприимчивость ума. И они должны перестать презирать иностранцев. Они — европейцы, о чем и должны помнить. В то же время у них есть особые связи с другими англоговорящими народами, а также особые имперские обязанности, которыми им следовало бы заниматься глубже, чем они делали последние двадцать лет. Интеллектуальная атмосфера Англии уже значительно оживилась по сравнению с прошлым. Война если и не покончила с определенного рода глупостями, то нанесла им серьезный удар. Но сохраняется потребность в сознательных усилиях по перевоспитанию нации. Первый шаг — улучшение начального образования, для чего следует не только увеличить количество лет обучения, но и обеспечить начальные школы адекватным персоналом и оборудованием. Существует и необъятный образовательный потенциал радио и кино, а также — если освободить ее раз и навсегда от всех коммерческих интересов — прессы.

Таковыми представляются непосредственные нужды английского народа. Англичанам следует быстрее размножаться, лучше работать и, пожалуй, проще жить, глубже мыслить, избавиться от снобизма и анахроничных классовых различий, уделять больше внимания внешнему миру и меньше — собственным задворкам. Англичане в большинстве своем и так любят родину, но должны научиться любить ее разумно. Им следует четко осознать свое предназначение и не слушать ни тех, кто убеждает их, что с Англией все кончено, ни тех, кто убеждает их, что может воскреснуть Англия вчерашнего дня.

Сделав это, англичане сумеют найти свое место в послевоенном мире, а найдя его, подадут пример, которого ждут миллионы. Мир устал от хаоса и устал от диктатур. Англичане более прочих народов способны найти выход, позволяющий избежать и того и другого. За исключением незначительного меньшинства, англичане полностью готовы к необходимым коренным изменениям в экономике, в то же время не испытывая ни малейшей тяги ни к насильственным революциям, ни к ино-

странным завоеваниям. Англичане, пожалуй, уже лет сорок как знают то, что немцы и японцы усвоили совсем недавно, а русским и американцам еще усвоить предстоит,— что одной стране не под силу править миром. Прежде всего англичане хотят жить в мире как внутри страны, так и за ее пределами. И в массе своей, пожалуй, готовы на жертвы, которых потребует установление мира.

Но англичанам придется стать хозяевами собственных судеб. Лишь тогда Англия сумеет выполнить свое особое предназначение, когда рядовой англичанин с улицы каким-то образом возьмет в свои руки власть. Во время этой войны нам то и дело твердили, что на сей раз, когда минет опасность, не должны быть упущены возможности, не должно быть возврата к прошлому. Не будет больше застоя, взрываемого войнами, не будет больше «роллс-ройсов», катящих мимо очередей за пособием, не будет возврата к Англии районов массовой безработицы, бесконечно заваривающегося чая, пустых детских колясок. Мы не можем быть уверены, что эти обещания будут выполнены. Только мы сами можем добиться их осуществления, а если нет, то иного шанса у нас может и не быть. Последние тридцать лет мы год за годом растрачивали кредит, полученный в счет запасов доброй воли английского народа. Но запас этот небеспределен. К концу следующего десятилетия станет ясным, суждено Англии выжить как великой державе или нет. И если ответом будет «да», то обеспечить это предстоит простому народу.

(Эссе «Англичане» было заказано в сентябре 1943 года издательством «Коллинз» для серии «Британия в иллюстрациях» и написано в мае 1944 года, хотя опубликовано лишь в августе 1947 года. Задержка публикации вынудила издателя в 1946 году изменить время ряда ссылок. В варианте, опубликованном здесь, они были восстановлены в настоящем времени.)

В ЗАЩИТУ АНГЛИЙСКОЙ КУХНИ

На протяжении последних лет мы слышим много разговоров о необходимости привлечения в страну иностранных туристов. Хорошо известно, что, с точки зрения иностранца, двумя худшими пороками Англии являются смертная тоска наших воскресений и затруднения, сопряженные с желанием пропустить стаканчик.

Обоими обстоятельствами мы обязаны группкам фанатиков, которых не унять без упорных усилий, включая разветвленное законодательство. Но существует область, в которой общественное мнение могло бы добиться быстрых перемен к лучшему. Я имею в виду кухню.

Все, даже сами англичане, то и дело говорят, что английская кухня — худшая в мире. Все считают ее не только примитивной, но и подражательной. Я даже прочел недавно в одной французской книге: «Разумеется, лучшая английская кухня — это просто французская кухня».

Но это просто неправда. Как знает каждый, поживший за границей, существует множество деликатесов, которых невозможно отведать за пределами англоговорящих стран. Вот некоторые из блюд, которые я сам пытался — и не сумел — найти за границей. И этот список, несомненно, мог бы быть продолжен.

Прежде всего, это копченая рыба, йоркширский пудинг, девонширский сливочный варенец, горячие оладьи с маслом и сдобные лепешки. Затем список пудингов, который можно было бы продолжать до бесконечности, пожелай я перечислить их все, но я особо выделю рождественский пудинг, пирог с патокой и яблоки, запеченные в тесте. Затем не менее длинный список кексов — например, темный сливовый кекс (что вы покупали до войны у Баззарда), песочные коржи и шафранные булочки. И бесчисленные сорта печенья. Печенье, разумеется, пекут во всех странах, но общепризнанно, что нигде оно не выходит лучше и рассыпчатей, чем в Англии.

Затем существуют различные рецепты приготовления картофеля, присущие только нашей стране. Где еще обжаривают картофель, положив его под лопаточную часть или кусок ноги,— а ведь лучше его и не сготовишь. А вкуснейшие картофельные пироги, что стряпают на севере Англии? Молодая же картошка заведомо выходит вкуснее всего, если готовить ее по-английски — то есть отварить с мятой, а затем подать на стол с растопленным маслом или маргарином, нежели жарить, как во многих других странах.

Существуют и чисто английские соусы. Хлебный соус, например, мятный, яблочный, соус из хрена, не говоря уж о желе из красной смородины — лучшей приправе к баранине и зайчатине, и всевозможных солениях и маринадах, которых, похоже, у нас существует больше, нежели где-либо в другой стране.

Что еще? За пределами наших островов мне никогда не встречались хаггис (разве что консервированный), ни креветки по-дублински, ни оксфордский джем, ни некоторые другие сорта варений (из кабачков или из куманики, например), ни колбасы точно такого же вкуса, как наши.

Затем английские сыры. Пусть их немного, но, на мой взгляд, «стилтон» — лучший в своем роде сыр в мире, а «уэнслидейл» не многим уступает «стилтону». Отменно хороши также английские яблоки, особенно «оранжевый пепин Кокса».

И наконец, хотелось бы замолвить словечко за английский хлеб. Все сорта хлеба хороши, от огромных еврейских хлебов, сдобренных тмином, до русского ржаного цвета черной патоки. И все же что может быть лучше, чем мякиш английского деревенского хлеба (когда мы теперь увидим его снова?). Я ничего подобного не знаю.

Несомненно, многие из вышеперечисленных яств можно найти и на континенте, подобно тому как в Лондоне можно найти водку или суп из птичьих гнезд. Но органически они

присущи нашим берегам, а во многих заморских краях о них и не слыхали.

Подите попробуйте заказать пудинг на почечном сале где-нибудь южнее Брюсселя. «Почечное сало» ведь на французский толком и не переведешь. Более того, французы никогда не кладут в еду мяту и не используют черную смородину, кроме как для приготовления напитка.

Таким образом, видно, что у нас нет никаких причин стыдиться собственной кухни ни с точки зрения ее оригинальности, ни с точки зрения ее ингредиентов. И тем не менее приходится признавать, что для заморских гостей она создает серьезные затруднения. Ибо настоящей доброй английской еды можно отведать лишь в частном доме. Захочется вам хорошего, смачного ломтя йоркширского пудинга — вы скорее получите его в самом бедном английском доме, чем в ресторане, а ведь приезжие по необходимости именно в ресторанах и питаются.

Ресторан с типично английской — и хорошо приготовленной — едой найти чрезвычайно трудно. В пабах, как правило, еды не подают вообще, кроме хрустящего картофеля и безвкусных бутербродов.

Почти все дорогие рестораны и отели имитируют французскую кухню и пишут меню по-французски, так что желание поесть вкусно и дешево неминуемо приведет вас в греческий, итальянский или китайский ресторанчик. Вряд ли мы преуспеем в привлечении туристов, пока Англия сохраняет репутацию страны с дурной едой и малопонятными подзаконными актами местных властей. На сегодняшний день здесь толком ничего не исправишь, но рано или поздно нормированию продуктов придет конец, и тогда-то и настанет подходящий момент для возрождения нашей национальной кухни. Каждому ресторану в Англии отнюдь не суждено природой обязательно быть либо плохим, либо иностранным, и первым шагом к решению проблемы будет менее притерпелое отношение к ней со стороны самих англичан.

1945

ЧАШКА ОТМЕННОГО ЧАЯ

Пробуя найти рецепт заварки чая в первой попавшейся поваренной книге, вы либо не найдете его совсем, либо в лучшем случае обнаружите несколько строчек скупых инструкций, ни словом не упоминающих несколько существеннейших моментов.

Это любопытно, и не только потому, что чай является одним из оплотов цивилизации как в нашей стране, так и в Ирландии, Австралии и Новой Зеландии, но и потому, что лучший способ его заварки является предметом бурных дебатов.

Анализируя мой собственный рецепт приготовления безупречного чая, я выделяю не менее одиннадцати непреложных правил. Пожалуй, два из них особых разногласий не вызовут, но по меньшей мере четыре весьма и весьма спорны. Вот мои

одиннадцать правил, каждое из которых я считаю золотым.

Прежде всего, чай должен быть индийским или цейлонским. Китайский чай обладает достоинствами, которыми по нынешним временам нельзя пренебрегать,— он дешев, и его можно пить без молока, но он недостаточно бодрит. От китайского чая не почувствуешь себя умнее, отважнее либо просто оптимистичнее. Каждый, кому случается прибегать к этим утешительным словам — «чашка отменного чая»,— безусловно, имеет в виду чай индийский. Во-вторых, чай следует заваривать понемножку, то есть в заварном чайничке. Чай, заваренный в большой емкости, обычно безвкусен, а армейский чай, заваренный в котлах, всегда отдает известью и ружейной смазкой. Заварной чайничек должен быть фарфоровый или фаянсовый. В серебряных чайниках и чайниках британского металла чай заваривается хуже; и совсем плохо заваривается в эмалированных, хотя в оловянных (большая редкость нынче), как ни странно, настаивается весьма недурно. В-третьих, чайник следует предварительно подогреть, но не споласкивая, как это делается обычно, горячей водой, а подержав на каминной полке. В-четвертых, чай должен быть крепким. На полный до краев чайник емкостью в одну кварту идет примерно шесть чайных ложечек с «верхом». В период нормирования продуктов это не самый легко осуществимый совет, но я убежден, что одна чашка крепкого чая лучше двадцати чашек слабого. Все настоящие ценители не просто любят крепкий чай, но и с каждым годом любят заваривать его все крепче и крепче, что нашло отражение в решении о выдаче дополнительных рационов чая пенсионерам по возрасту. В-пятых, чай нужно класть прямо в заварной чайник. Никаких пакетиков и шелковых мешочков, никаких иных других оков для чая. В некоторых странах на чайник подвешивается ситечко, чтобы улавливать считающиеся вредными чаинки, на самом же деле чайный лист можно поглощать в любом количестве без всякого ущерба для здоровья; если же чай свободно не плавает в чайнике, он никогда толком не заварится. В-шестых, надо вливать заварку в кипяток, а не наоборот. Но именно в кипяток — вода в момент слияния с заваркой должна по-настоящему кипеть, то есть чайник с кипятком нельзя снимать с огня. При этом некоторые утверждают, что для чая годится лишь свежекипяченая вода, но я особой разницы не замечал. В-седьмых, заварив чай, его следует помешать, а еще лучше как следует встряхнуть чайничек, дав потом чаинкам осесть. В-восьмых, пить чай надо из высокой чашки цилиндрической формы, а не из плоской и мелкой. В цилиндрическую больше входит, а в плоской не успеешь распробовать, как чай уже остыл. В-девятых, с молока следует снимать сливки, прежде чем подливать его в чай. Чересчур жирное молоко придает чаю тошнотворный вкус. В-десятых, сначала следует наливать в чашку не молоко, а чай. Это один из самых спорных вопросов; воистину в каждой британской семье можно столкнуться со сторонниками обеих платформ. Приверженцы теории «молока сначала» могут выдвинуть вполне весомую аргументацию своей позиции, но я стою на сво-

ем, и моя позиция неоспорима: ведь, наливая сначала чай и по мере наливания помешивая, можно предельно точно регулировать требуемое количество молока. В противном же случае его легко перелить. И наконец, чай — если только вы не пьете его по-русски — нельзя пить с сахаром. Да, сознаю: здесь я в меньшинстве. Но все же как может именовать себя чаевником человек, способный убить вкус чая сахаром? С таким же успехом можно сдобрить чай перцем или солью. Чаю положено быть горьким, точно так же как пиву. Подсластив его, вы пьете не чай, вы пьете сахар, который с таким же успехом могли бы растворить просто в горячей воде.

Некоторые скажут, что вовсе не любят чай как таковой и пьют его лишь для того, чтобы взбодриться и согреться, и кладут сахар, чтобы отбить привкус чая. Этим заблудшим я скажу одно: попробуйте пить чай без сахара хотя бы в течение двух недель, и вам больше никогда не захочется портить вкус чая, подслащивая его.

Подобные вопросы чаепития не только являются предметом острых дебатов, но и достаточно хорошо иллюстрируют степень утонченности, достигнутую дискуссией. Вокруг чайника сложился также таинственный светский этикет (ну почему, например, считается неприличным пить из блюдца?). А сколько можно было бы написать о способах побочного употребления чайного листа: от гадания и предсказания прихода гостей до кормления кроликов, лечения ожогов и чистки ковров. Стоит уделять внимание таким подробностям, как подогреву заварного чайничка и поддержанию кипения воды, чтобы уж точно суметь выжать из своего пайка двадцать чашек доброго крепкого чая, на которые при умелом подходе и должно хватить двух унций.

1946

ПИСАТЕЛИ И ЛЕВИАФАН

О положении писателя в эпоху, когда все находится под контролем государства, уже немало сказано, хотя большая часть информации, относящаяся к этой теме, пока недоступна. Я не собираюсь высказываться за государственный патронаж над искусствами или против него, я только хочу определить, какие именно требования, исходящие от государственной машины, которым хотят нас подчинить, отчасти объяснимы атмосферой, иными словами, мнениями самих писателей и художников, степенью их готовности подчиниться или, напротив, сохранить живым дух либерализма. Если лет через десять выяснится, как мы раболепствовали перед деятелями типа Жданова, значит, иного мы и не заслужили. Совершенно ясно, что уже и сейчас среди английских литераторов сильны тоталитаристские настроения. Впрочем, здесь речь идет не о каком-то организованном и созидательном движении вроде коммунистического, а только о последствиях, вызванных возникшей перед людьми

доброй воли необходимостью думать о политике и выбирать ту или иную политическую позицию.

Мы живем в век политики. Война, фашизм, концлагеря, резиновые дубинки, атомные бомбы и прочее в том же роде — вот о чем мы размышляем день за днем, а значит, о том же главным образом пишем, даже если не касаемся всего этого впрямую. По-другому быть не может. Очутившись на пароходе, который тонет, думаешь только о кораблекрушении. Но тем самым мы не просто ограничиваем свой круг тем, мы и свое отношение к литературе окрашиваем пристрастиями, которые, как нам хотя бы порой становится ясно, лежат вне пределов литературы. Нередко мне начинает казаться, что даже в лучшие времена литературная критика — сплошной обман, поскольку нет никаких общепринятых критериев, реальность не дает никаких подтверждений оценкам, по которым вот эта книга «хорошая», а та «плохая», и выходит, что всякое суждение основано лишь на том или ином своде правил, призванных обосновать интуитивные пристрастия. Истинное восприятие книги, если она вообще вызывает какой-то отзвук, сводится к обычному «нравится» или «не нравится», а все прочее — лишь попытка рационального объяснения этого выбора. Мне кажется, такое вот «нравится» вовсе не противоречит природе литературы; противоречит ей другое: «Книга содержит близкие мне идеи, и поэтому необходимо найти в ней достоинства». Разумеется, превознося книгу из сугубо политических соображений, можно при этом не кривить душой, искренне принимая такое произведение, но столь же часто бывает, что чувство идейной солидарности с автором толкает на прямую ложь. Это хорошо известно каждому, кто писал о книгах в периодике с четкой политической линией. Да и вообще, работая в газете, чьи позиции разделяешь, грешишь тем, что ей поддакиваешь, а в газете, которая по своей ориентации тебе далека,— тем, что умалчиваешь о собственных взглядах. Так или иначе, бесчисленные произведения, в которых твердо проводится определенная агитация — за Советскую Россию или против, за сионизм или против, за католическую церковь или против и т. д.,— оказываются оценены еще до того, как их прочтут, собственно, до того, как напишут. Можно уверенно предсказать, какие отклики будут в этой газете, а какие в другой. И при всей бесчестности, которую уже едва осознают, поддерживается претензия, будто о книгах судят по литературным меркам.

Понятно, что вторжение политики в литературу было неотвратимым. Даже не возникни особый феномен тоталитаризма, оно бы все равно свершилось, потому что в отличие от своих дедов мы прониклись угрызениями совести из-за того, что в мире так много кричащих несправедливостей и жестокостей, и это чувство вины, побуждая нас ее искупить, делает невозможным чисто эстетическое отношение к жизни. В наше время никто не смог бы так самозабвенно отдаться литературе, как Джойс или Генри Джеймс. Но беда в том, что, признав

свою политическую ответственность, мы отдаем себя во власть ортодоксальных доктрин и «партийных подходов», хотя из-за этого приходится трусливо молчать и поступаться истиной. По сравнению с писателями викторианской эпохи нам выпало несчастье жить среди жестко сформулированных политических идеологий, чаще всего наперед зная, какие идеи представляют собой ересь. Современный писатель постоянно снедаем страхом — в сущности, не перед общественным мнением в широком смысле слова, а перед мнениями той группы, к которой принадлежит он сам. Хорошо хоть, что таких групп, как правило, несколько и есть выбор, однако всегда есть и доминирующая ортодоксия, посягательство на которую требует очень крепких нервов и нередко готовности сократить свои расходы вполовину, причем на много предстоящих лет. Всем известно, что последние полтора примерно десятилетия такой ортодоксией, особенно влиятельной среди молодежи, является «левизна». Для нее самыми ценными эпитетами остаются слова «прогрессивный», «демократический», «революционный», а теми, которых приходится пуще всего страшиться,— «буржуазный», «реакционный», «фашистский»: не дай бог и к тебе могут прилипнуть эти клички. Ныне чуть не все и каждый, включая большинство католиков и консерваторов, «прогрессивны» или хотят, чтобы о них так думали. Мне неизвестно ни одного случая, когда бы человек говорил о себе, что он «буржу́азен», точно так же как люди, достаточно грамотные, чтобы понять, о чем речь, ни за что не признают за собой антисемитизма. Все мы славные демократы, антифашисты, антиимпериалисты, все презираем классовые разделения, возмущаемся расовыми предрассудками и т. д. Никто всерьез не сомневается, что нынешняя «левая» ортодоксия предпочтительнее довольно снобистской и ханжеской консервативной ортодоксии, которая доминировала двадцать лет назад, когда самыми влиятельными журналами были «Крайтерион» и (куда менее притязательный) «Лондон меркьюри». Ведь, что ни говори, провозглашенной целью «левых» является жизнеспособное общество, которого и вправду хотят массы людей. Но у «левых» есть своя демагогия и ложь, а поскольку это не признается, некоторые проблемы становится просто невозможным по-настоящему обсуждать.

Вся левая идеология — и научная, и утопическая — разработана теми, кто не ставил перед собой как непосредственную задачу достижение власти. Поэтому она была идеологией экстремистской, подчеркнуто не считавшейся с царями, правительствами, законами, тюрьмами, полицейскими, генералами, знаменами, границами, с патриотическими чувствами, религией, моралью — словом, со всем наличествующим порядком вещей. Еще на нашей памяти левые силы во всех странах сражались против тирании, казавшейся неуязвимой, и легко было предполагать, что, если бы только вот *эта* конкретная тирания — капитализм — была свергнута, социализм немедленно бы воцарился вместо нее. Кроме того, от либералов левые переняли

несколько весьма сомнительных верований — например, во всепобеждающую силу правды, в то, что подавлять — значит губить самих себя, и что по природе своей человек добр, и что злым его делают исключительно окружающие условия. Эта перфекционистская доктрина глубоко укоренена почти во всех нас, и, движимые верой в нее, мы протестуем, когда, к примеру, правительство лейбористов предоставляет крупные суммы дочерям монарха или не решается национализировать сталелитейную промышленность. Но, сталкиваясь всякий раз с реальностью, вера трещит по швам, и мы начинаем мучиться противоречиями, не желая в этом признаться.

Первым таким столкновением с реальностью оказалась русская революция. В силу довольно сложных причин едва ли не все английские левые должны были принять установленную ею систему как «социалистическую», понимая при этом, что и принципы ее, и практика совершенно чужды всему, что подразумевается под «социализмом» у нас самих. А в результате выработалось какое-то перевернутое мышление, допускающее, что такие слова, как «демократия», обладают двумя взаимоисключающими значениями, а такие акции, как массовые аресты или насильственные выселения, оказываются в одно и то же время как правильными, так и недопустимыми. Следующий удар по левой идеологии нанес своими успехами фашизм, который сокрушил свойственные левым пацифистские и интернационалистские устремления, что, однако, не привело к решительному пересмотру самой доктрины. Фашистская оккупация заставила европейские народы убедиться в том, что давно было известно из собственного опыта народам колоний: классовые антагонизмы не так уж сверхважны, и существует такое понятие, как интересы всей нации. С появлением Гитлера трудно стало всерьез рассуждать о «внутреннем враге» и что национальная независимость не имеет никакого значения. Но хотя все мы об этом знаем и, когда необходимо, действуем, исходя из этого знания, по-прежнему господствует чувство, что сказать об этом прямо означало бы совершить предательство. Наконец — и здесь возникают самые большие сложности,— левые теперь у власти, так что они обязаны взять на себя ответственность, принимая справедливые решения.

Левые правительства почти всегда разочаровывают своих сторонников, поскольку даже и в тех случаях, когда удается достичь обещанного ими процветания, обязательно приходится пережить трудный переходный период, о котором, до того как взять власть, едва упоминалось. Вот и мы сейчас видим, как наше правительство, отчаянно борясь с экономическими трудностями, вынуждено преодолевать последствия своей же пропаганды, которая велась в предшествующие годы. Переживаемый нами кризис не какое-то нежданное бедствие вроде землетрясения, и вызван он не войной — она его только стимулировала. Можно было десятки лет назад предвидеть, что произойдет нечто подобное. Еще с девятнадцатого века крайне проблематичным оставалось стабильное увеличение национального

дохода, зависящего частью от инвестиций за рубежом, частью от надежных рынков и дешевого сырья из колоний. Было ясно, что рано или поздно что-то нарушится и мы окажемся вынужденными уравновешивать экспорт импортом; а если это случится, уровень жизни в Англии, включая уровень жизни рабочего класса, неизбежно упадет — по крайней мере на время. Однако левые партии, сколь ни громогласно выступали они против империализма, никогда не касались таких материй. Иной раз они готовы были признать, что британские рабочие до некоторой степени живут за счет грабежа Азии и Африки, но при этом дело непременно изображалось так, словно, отказавшись от таких доходов, мы каким-то образом все равно умудримся сохранить процветание. А рабочих главным образом и обращали в социалистическую веру, говоря им: вот видите, вас эксплуатируют,— тогда как грубая истина, если исходить из положения вещей в мире, сводилась к другому: они сами эксплуатировали. Сегодня, по всему судя, мы пришли к тому, что уровень жизни рабочего класса *не может* быть сохранен на достигнутом уровне, уж не говоря о росте. Даже в том случае, если богатых заставили бы уйти, народным массам тем не менее пришлось бы или меньше потреблять, или больше производить. Не преувеличиваю ли я серьезность ситуации? Может быть, и преувеличиваю; был бы рад ошибиться. Но веду я вот к чему: среди тех, кто верен левой идеологии, сама эта проблема не может обсуждаться с откровенностью. Снижение зарплаты, увеличение продолжительности рабочего дня — такие меры считаются по самой своей сути антисоциалистическими, а поэтому должны быть отвергнуты с порога, как бы ни складывались дела в экономике. Стоит заикнуться, что эти шаги могут стать необходимыми, рискуешь тут же удостоиться всех тех эпитетов, которых мы так страшимся. Куда безопаснее избегать подобных тем, сделав вид, будто возможно поправить дело перераспределением существующего национального дохода.

Тот, кто принимает ту или иную ортодоксию, неизбежно принимает вместе с нею противоречия, которые ждут своего решения. Например, каждому разумному человеку отвратительна индустриализация с ее последствиями, однако ясна необходимость не препятствовать ей, а, наоборот, способствовать, потому что этого требуют борьба с бедностью и освобождение рабочего класса. Или другое: есть профессии, которые совершенно необходимы, однако без принуждения никто бы их для себя не избрал. Или третье: нельзя уверенно вести внешнюю политику, не располагая мощными вооруженными силами. Подобные примеры можно умножать и умножать. И всякий раз напрашивается вполне ясный вывод, который, однако, способны сделать лишь те, кто внутри себя свободен от официальной идеологии. Обычно же случается по-другому: вопрос, на который так и не найдено ответа, отодвигают куда-нибудь подальше, стараясь о нем не думать и по-прежнему повторяя слова-пароли со всей противоречивостью их смысла. Не придется

рыться в ворохах периодики, чтобы обнаружить последствия такого способа мышления.

Я, конечно, не хочу сказать, что духовная бесчестность свойственна одним социалистам и левым или свойственна им более, нежели другим. Речь идет только о том, что приверженность *любой* политической доктрине с ее дисциплинирующим воздействием, видимо, противоречит сути писательского служения. Это относится и к таким доктринам, как пацифизм или индивидуализм, хотя они притязают находиться вне каждодневной политической борьбы. Право же, все слова, кончающиеся на «изм», приносят с собой душок пропаганды. Верность знамени необходима, однако для литературы она губительна, пока литературу создают личности. Как только доктрины начинают воздействовать на литературу, пусть даже вызывая с ее стороны лишь неприятие, результатом неизбежно становится не просто фальсификация, а зачастую исчезновение творческой способности.

Ну, и что же из этого следует? Должны ли мы заключить, что обязанность каждого писателя — «держаться в стороне от политики»? Безусловно, нет! Ведь я уже сказал, что ни один разумный человек просто не может чураться политики, да и не чурается в такое время, как наше. Я не предлагаю ничего иного, помимо более четкого, нежели теперь, разграничения между политическими и литературными обязанностями, а также понимания, что готовность *совершать поступки* неприятные, однако необходимые вовсе не требует готовности бездумно соглашаться с заблуждениями, которые им обычно сопутствуют. Вступая в сферу политики, писатели должны сознавать себя там просто гражданами, просто людьми, но *не писателями.* Не считаю, что ввиду утонченности восприятия, им свойственной, они вправе уклониться от будничной, грязной работы на ниве политики. Как все прочие, они должны быть готовы выступать в залах, продуваемых сквозняками, писать мелом лозунги на асфальте, агитировать избирателей, распространять листовки, даже сражаться в окопах гражданских войн, когда это нужно. Но какие бы услуги ни оказывали они своей партии, ни в коем случае не должны они творить во имя ее задач. Им надлежит твердо сказать, что творчество не имеет к этой деятельности никакого отношения, им необходима способность, поступая в согласии с этими задачами, полностью отвергнуть, когда это требуется, официальную идеологию. Ни при каких условиях нельзя им отступать от логики мысли, почуяв, что она ведет к еретическим выводам, и опасаться, что неортодоксальность распознают, как скорее всего и случится. Может быть, для писателя даже скверный знак, когда его сегодня не подозревают в заигрывании с реакцией, точно так же как двадцать лет назад плохо было дело, если его не обличали в приверженности к коммунизму.

Означает ли все сказанное, что писателю следует не только противиться диктату политических боссов, а лучше и вообще *не касаться* политики в своих книгах? И снова — безусловно,

нет! Не существует причин, по которым нежелательно самым прямым образом затрагивать политику, если ему так хочется. Только пусть он говорит о ней как частное лицо, которое остается вне партии, или на крайний случай действует в качестве партизана на фланге регулярной армии, вовсе в нем не нуждающейся. Подобная позиция вполне совместима с обычной и полезной политической активностью. Скажем, когда писатель считает, что войну необходимо выиграть, пусть он в ней участвует как солдат, но откажется прославлять ее в своих книгах. Если это честный писатель, может случиться, что его творчество окажется в противоречии с его политическими акциями. Иногда этого в силу очевидных причин хотелось бы избежать; в таких случаях выход не в том, чтобы насиловать собственное вдохновение, а в том, чтобы промолчать.

Кому-то покажется пораженческим или двусмысленным мой совет писателю, когда накаляются конфликты, разделить свою деятельность на две несообщающиеся сферы; но я просто не вижу, как практически он может поступить иначе. Замыкаться в башне из слоновой кости немыслимо и нежелательно. Подчинять свою личность не только партийной машине, но даже идеологии, которую исповедует какая-то группа, значило бы покончить с собой как писателем. Мы чувствуем болезненность этой дилеммы так отчетливо, потому что осознали необходимость вторжения в политику, но вместе с тем поняли, насколько это — грязное и унизительное дело. А в большинстве своем мы никак не расстанемся с верой в то, что любой выбор, даже любой политический выбор, всегда лежит между добром и злом, как и в то, что все необходимое тем самым справедливо. Думаю, пора нам расстаться с этими взглядами, уместными лишь в младенчестве. В политике не приходится рассчитывать ни на что, кроме выбора между большим и меньшим злом, а бывают ситуации, которых не преодолеть, не уподобившись дьяволу или безумцу. К примеру, война может оказаться необходимостью, но, уж конечно, не знаменует собой ни блага, ни здравого смысла. Даже всеобщие выборы трудно назвать приятным или возвышенным зрелищем. И если чувствуешь обязанность во всем этом участвовать — а, на мой взгляд, ее должен чувствовать каждый за вычетом закрывшихся броней старческой немощи, глупости или лицемерия,— нужно суметь и свое «я» сберечь неприкосновенным. Для большинства людей эта проблема так не стоит, поскольку их жизнь и без того расщеплена. По-настоящему они живут лишь в часы, свободные от службы, и ничто не связывает их политическую деятельность с деловой. Да и, в общем-то, от них и не требуют, чтобы они унижали собственную профессию ради политической линии. А от художника, в особенности от писателя, именно этого и добиваются; по сути, этого одного вечно требуют от них политики. Если писатель отвергает такие требования, не следует думать, что он обрек себя на пассивность. В любой из двух своих ипостасей, каждая из которых в каком-то смысле есть его целое, он может, коли нужно, действовать не менее

решительно и напористо, чем все остальные. Но творчество, если оно обладает хоть какой-то ценностью, всегда будет результатом усилий того более разумного существа, которое остается в стороне, свидетельствует о происходящем, держась истины, признает необходимость свершающегося, однако отказывается обманываться насчет подлинной природы событий.

1948

РЕЦЕНЗИЯ НА «СУТЬ ДЕЛА» ГРЭМА ГРИНА

В последние десятилетия появилось немало хороших романов, созданных писателями-католиками. Одна из причин распространенности так называемого католического романа кроется в благодарной теме, за которую не берутся обычно другие, неверующие авторы: разница между земной жизнью и тем светом, и еще интереснее — конфликт между святостью и добродетелью. Грэм Грин в свое время успешно обратился к ней в романе «Власть и слава» и гораздо менее успешно — в «Брайтонском леденце». «Суть дела», выражаясь как можно деликатнее, не принадлежит к его лучшим вещам и оставляет впечатление сконструированности: знакомый конфликт строится, как алгебраическое уравнение, без всякой попытки придать ему психологическую достоверность.

Сюжет романа в общих чертах таков. Время действия — 1942 год, место действия — неназванная британская колония в Западной Африке, вероятно Золотой Берег. Заместитель начальника полиции майор Скоби, католик по вероисповеданию, находит в каюте капитана на португальском судне письмо, предназначенное к отправке в Германию. Письмо частное и абсолютно безобидное, тем не менее Скоби обязан по долгу службы передать его начальству. Но ему жалко капитана-португальца, он уничтожает письмо и потихоньку закрывает, как говорится, дело. Автор объясняет нам, что Скоби — честнейший, порядочнейший человек. Он не пьет, не берет взяток, не держит любовниц-африканок, не участвует в служебных интригах; за прямоту и принципиальность его недолюбливают и называют Аристидом Справедливым. Мягкость в отношении капитана португальского судна — первый промах героя. После этого вся его жизнь становится вариацией на тему: «Не ведаем, какую сеть себе плетем, единожды солгав». Именно по доброте душевной он на каждом жизненном повороте сбивается с пути. Движимый поначалу жалостью, он вступает в любовную связь с молодой женщиной, спасенной с затонувшего после торпедной атаки пассажирского судна. Он не может порвать с Элен из-за чувства ответственности: оставленная одна, она не переживет внутреннего крушения; с другой стороны, он не хочет причинять страдания жене и поэтому вынужден лгать ей. Погрязнув в прелюбодеянии, Скоби не смеет пойти к исповеди, но, чтобы рассеять подозрения жены, говорит ей, что принес покаяние.

Это ведет к тому, что Скоби прииимает причащение, пребывая во грехе, и тем самым совершает еще оди, поистине смертельный грех. К этому добавляются другие иеприятиости, и в коице коицов Скоби решает, что у иего нет иного выхода, как взять последиий грех на душу и покоичить с собой. Никто ие должеи пострадать от его смерти, поэтому иужно сделать так, чтобы самоубийство прииялн за иесчастиый случай. Одиако из-за иебольшой оплошиости иашего героя становится известио, что ои сам наложил иа себя руки. В заключительном эпизоде католический священник заявляет, уклоияясь от веры, что душа Скоби, быть может, избежит проклятия, хотя сам он отиюдь ие питал такой иадежды. Непорочиый до мозга костей, до последиего сохраияя присутствие духа, Скоби из чистого благородства обрекает себя, согласно его вере, на вечные муки.

Я вовсе ие старался пародировать киигу. Даже иасыщенный реалистическими подробиостями, сюжет остается таким же иелепым, как и в моем пересказе. Наиболее очевидный его иедостаток заключается в том, что побудительные мотивы Скоби — даже допуская их психологическую убедительиость — не вполне объясняют его поступки. Возникает и другой вопрос: зачем автор выбрал местом действия Западиую Африку? Если не считать одного из персонажей, торговца-сирийца, то с равным успехом события могли происходить в лондоиском предместье. Редкие фигуры африканцев в романе составляют лишь фон происходящего, а главиое, что должно бы волиовать Скоби: вражда между черными и белыми, подавлеиие иациональиого движения в стране — вообще ие упоминается. Автор подробно излагает мысли героя, ио мы мало что узиаем о его работе, и то мелочи; ходом же войны он совсем не иитересуется, хотя идет 1942 год. Будет он осужден на вечные муки или нет — вот единственное, что его заботит. Психологическая недостоверность образа особенно проявляется на фоие колониальной жизни, однако такую же недостоверность мы иаблюдаем в «Брайтоиском ледеице». Это неизбежиый результат того, что Грин всюду навязывает обыкновеиным людям ие свойствеиную им роль: они целиком поглощены религиозио-философскими проблемами.

Осиовная идея книги проста: заблуждающийся католик лучше, выше в духовном отношении, чем добродетельный безбожник. Грэм Грии, очевидно, подписался бы под словами Маритеиа, сказанными о Леоне Блуа: «Одно томлеиье в мире — ие быть святым». На титульиом листе книги красуется высказывание Шарля Пеги: «Грешник постигает самую душу христианства», понимает христианство, как иикто — разве что святой. Из этих умных речей вычитывается весьма подозрительная мысль, будто обыкновенная человеческая порядочность иичего не стоит и все грехи одинаковы. Вдобавок и здесь, и в других сочииеииях мистера Грина, иаписаиных с откровенно католических позиций, постоянно ощущается какое-то высокомерие. Судя по всему, ои подхватил модиое с времеи Бодлера миеиие, будто про́клятый — это что-то distingué, что-то изысканное

13—193

и благородное. Ад сделался своего рода ночным клубом для избранных, куда допускаются только католики, тогда как не католики — существа непосвященные, невежественные, не способные нести бремя вины, и им, как и животным тварям, не уготовано спасение. При этом исподволь проводится мысль, что католики нисколько не лучше остальных, они, может быть, даже больше склонны совершать дурные поступки, поскольку подвергаются великим искушениям. В современных католических романах и у нас, и у французов непременно выводятся плохие или недостаточно ревностные священнослужители — не то что отец Браун. (Я подозреваю, что главная задача, которую ставят перед собой молодые английские писатели-католики,— быть непохожими на Честертона.) Погрязшие в пьянстве или разврате, в смертоубийстве или богохульстве, католики все равно сохраняют свое превосходство, так как им одним дано различать добро и зло. Мало того, когда читаешь «Суть дела» и другие книги мистера Грина, создается ощущение, будто люди, не принадлежащие к католической церкви, вообще не имеют ни малейшего понятия о христианском учении.

Культ осененного святостью грешника представляется мне неприличным легкомыслием, потому что за ним стоит, вероятно, кризис веры. Когда люди на самом деле верили в ад, им в голову не приходило строить эффектные позы на краю бездны. Беда Грэма Грина в том, что, стараясь воплотить теологические проблемы в живые характеры, он допускает психологические несообразности. Конфликт между земными ценностями и небесными убедителен в «Силе и славе», потому что разворачивается не в душе одного персонажа, а между двумя людьми. С одной стороны, мы видим священника, человека, жалкого во многих отношениях, но он вырастает в героическую фигуру, ибо верит, что способен творить чудеса; с другой — лейтенанта, представляющего социальную справедливость и прогресс, тоже образ по-своему героический. Между ними, очевидно, существует взаимное уважение, но они решительно не понимают друг друга. Священник, во всяком случае, не наделен особыми мыслительными способностями. Но вот если взять «Брайтонский леденец», то там главные сцены неправдоподобны, так как они построены на предположении, что самый грубый и невежественный человек может испытывать тонкие движения души только потому, что он воспитан в католической вере. Гангстер Пинки, орудующий на ипподроме, выступает в роли этакого дьявола, а его еще более тупая подружка различает добро и зло и даже знает, что «правильно», а что «неправильно». Другое дело у Мориака: в «Терезе Дескейру» и «Конце ночи» психологический конфликт убедителен, потому что автор не выдает героиню за нормального, здорового человека. Богатая, мятежная натура, Тереза мучительно и долго, как пациент у психоаналитика, взыскует спасения. Несмотря на некоторые натяжки, объясняющиеся частично изложением от первого лица, в целом естественно развивается сюжет и в романе Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед». Проблемы, с которыми сталкиваются здесь герои-

католики,— вполне жизненные, и автор не вырывает их из привычной духовной атмосферы, когда заходит речь о вере. Что до образа Скоби у Грэма Грина, то он не убеждает потому, что две стороны его натуры плохо совмещаются. Раз уж он так запутался, то непонятно, почему это не случилось с ним гораздо раньше. Если он действительно считал прелюбодеяние смертным грехом, то почему он не порвал с Элен? А если не порвал, значит, он не испытывал чрезмерных угрызений совести. Если бы Скоби на самом деле верил в ад, то как он решился обречь себя на вечные муки — только ради того, чтобы пощадить чувства двух неврастеничек? И еще один аргумент. Если Скоби такой безупречный герой, каким изображает его автор, если больше всего на свете он боится причинить людям боль, то почему он стал офицером колониальной полиции?

Можно указать на целый ряд других несообразностей, и некоторые из них связаны с описанием любовной связи. У каждого романиста есть свои излюбленные приемы. В романе Эдварда М. Форстера «Поездка в Индию», например, действующие лица умирают внезапно, без видимых на то причин, а у Грэма Грина мужчины и женщины, едва познакомившись, ложатся в постель, хотя не получают от этого никакого удовольствия. В романах бывает и не такое, но в данном случае это ослабляет причинность, тогда как сюжет, напротив, требует глубокой мотивированности поступков персонажей. Вдобавок мистер Грин допускает обычную и, пожалуй, неизбежную ошибку, делая своих героев людьми чрезвычайно интеллектуальными. Мало того что майор Скоби погружен в богословские проблемы — его супруга, особа вздорная и недалекая, обожает поэзию, а тайный агент контрразведки, присланный шпионить за Скоби, даже сам пишет стихи. Мы опять сталкиваемся здесь с любопытным фактом: видимо, современным писателям трудно вообразить себе внутренний мир людей, которые не одержимы сочинительством.

Жаль, что именно такая книга стала результатом занятий мистера Грина Африкой во время войны, особенно если вспомнить, как замечательно он писал об этом континенте раньше. Хотя действие происходит в Африке, интерес автора почти целиком сосредоточен на крошечном мирке белой общины, и это придает ей атмосферу обыденности. Однако не будем чересчур придирчивы. Хорошо, что после длительного перерыва мистер Грин снова взялся за перо, и вообще замечательно, что в послевоенной Англии есть еще люди, которые пишут романы. Так или иначе, мистер Грин не в пример другим не окончательно поддался развращающему влиянию благоприобретенных во время войны навыков. Остается только надеяться, что в следующей своей книге он возьмется за другую тему или, во всяком случае, не забудет, что понимание суетности земных забот, наверное, открывает врата в рай, но его совершенно недостаточно, чтобы написать хороший роман.

1948

КОММЕНТАРИИ

1984

В письме к своему издателю Фреду Уорбургу от 22 октября 1948 г. Оруэлл сообщил, что первая мысль о романе возникла у него в 1943 г. (CE, IV, p. 448). (Здесь и далее ссылки на четырехтомное издание публицистики Оруэлла "The Collected essays, journalism and letters of George Orwell", L., Secker & Warburg, 1968, обозначаются аббревиатурой CE с указанием соответствующего тома и страницы). В записной книжке Оруэлла, заполненной не позже января 1944 г., обнаружен план книги под названием «Последний человек в Европе». Это композиционная схема и идейно-тематический рубрикатор «1984». Там мы находим Новояз, ложную пропаганду, пролов, двойной стандарт мышления, регуляцию сексуальной жизни идеологией, двухминутки ненависти. Партийные лозунги приведены в той форме, как они вошли в опубликованный текст «1984»: «Война — это мир», «Незнание — сила» и др. Записные книжки хранятся в Оруэлловском архиве Университетского колледжа в Лондоне.

По плану в книге две части: первая — из шести, вторая — из трех глав. Обозначены тематическн-сюжетные линии: одиночество героя, терзаемого памятью; его отношения с другим героем, с женщиной, с пролами.

В этой же записной книжке есть наброски романа «Живые и мертвые» ("Live and Dead"). О замысле «большого романа в трех частях» Оруэлл сообщал в «Автобиографической заметке» 1940 г. (см. наст. изд.). В записной книжке обозначается тема «преданной революции» (тема «Скотного двора»); упоминается в качестве одного из персонажей мерин Боксер, забитый насмерть офицером. Учитывая, что замысел «Скотного двора» относится к 1943 г., а работа над ним — к 1944-му, нельзя не согласиться с мнением биографа Оруэлла профессора Б. Крика: «Эти наброски подтверждают предположение, что обе книги были задуманы одновременно, как части одного замысла и... что «1984» вовсе не был — как утверждали некоторые — внезапной судорожной реакцией на обострение болезни» (C r i c k B. George Orwell. A Life. L., 1980, p. 582).

Начало работы над текстом «1984» относят к 1947 г. В конце мая этого года Оруэлл сообщает Ф. Уорбургу, что сделал вчерне треть книги и надеется закончить черновой вариант к октябрю и в начале 1948 г. представить готовую рукопись. Сообщает он о жанре и форме книги: «...это роман о будущем, т. е. своего рода фантазия, но в форме

реалистического романа. В этом-то и трудность: книга должна быть легко читаемой». В октябре черновой вариант был закончен, но обострение туберкулезного процесса прерывает дальнейшую работу. На Рождество Оруэлл помещен в клинику в Ист-Килбрид (недалеко от Глазго), где пробыл семь месяцев. 28 июля 1948 г. Оруэлл приехал на остров Юра в Северном море и приступил к интенсивной работе. К осени его состояние из-за тяжелых климатических и бытовых условий резко ухудшилось, тем не менее 22 октября 1948 г. он сообщил Уорбургу, что в ноябре книга будет готова, и просил прислать ему машинистку. С той же просьбой он обратился к своему литературному агенту Ч. Муру и другу Джулиану Саймонсу. Машинистки, готовой работать в столь тяжелых условиях, не нашлось. Оруэлл перепечатал рукопись сам, причем из-за сильной правки — дважды. В декабре Уорбург уже прочитал рукописный текст «1984», а в январе 1949 г. Оруэлл был перевезен в Грэнхэм — частный туберкулезный санаторий на юге Англии.

«1984» вышел в свет 8 июня 1949 г. в Лондоне тиражом 25 500 экз. и 13 июня 1949 г. в Нью-Йорке. Мгновенно раскупленный, он был переиздан через год в Англии (50 000 экз.) и США (360 000 экз.). С тех пор роман многократно переиздавался и был переведен на 60 языков, экранизирован и телеэкранизирован; литература о нем составляет целую библиотеку. В первых же рецензиях «1984» был оценен как высшее достижение Оруэлла, а в некоторых — и всей новой английской литературы. Часть критиков настаивала, что это не антиутопия, а сатира на настоящее, ибо пафос ее — не пророчество, а предупреждение (Джулиан Саймонс, Вероника Веджвуд, Голо Манн). Рецензенты «Дейли уоркер» назвали роман «пропагандистским памфлетом в духе холодной войны». Умирающий Оруэлл был глубоко огорчен тем, что правая пресса приветствовала «1984» как сатиру на лейборизм, социализм и вообще левое движение (рецензии в «Экономист», «Уолл-стрит джорнэл», «Тайм», «Лайф»). Он пытался это опровергнуть.

Уже 16 июня он телеграфно отвечал американскому профсоюзному деятелю Ф. Хэнсону на вопрос об идейном смысле книги: «Мой роман не направлен против социализма или британской лейбористской партии (я за нее голосую), но против тех извращений централизованной экономики, которым она подвержена и которые уже частично реализованы в коммунизме и фашизме. Я не убежден, что общество такого рода обязательно *должно* возникнуть, но я убежден (учитывая, разумеется, что моя книга — сатира), что нечто в этом роде *может* быть. Я убежден также, что тоталитарная идея живет в сознании интеллектуалов везде, и я попытался проследить эту идею до логического конца. Действие книги я поместил в Англию, чтобы подчеркнуть, что англоязычные нации ничем не лучше других и что тоталитаризм, *если с ним не бороться*, может победить повсюду» (CE, IV, p. 502).

Высоко оценили роман крупнейшие представители западной культуры. Оруэлл получил восторженные письма от Олдоса Хаксли, Бертрана Рассела, Джона Дос Пассоса. Среди американских рецензий на роман наиболее проницательной и глубокой оказалась статья американского критика Лайонела Триллинга, в которой он, в частности, писал: «Мы привыкли думать, что тирания проявляется только в защите частной собственности, что жажда обогащения — источник зла. Мы привыкли считать себя носителями воли и интеллекта, видеть в них суть гуманности. Но Оруэлл говорит нам, что последняя в мире олигархическая революция будет совершена не собственниками, а людьми воли и интеллекта — новой аристократией бюрократов, специалистов, руководителей профсоюзов, экспертов общественного мнения, социологов, учителей и профессиональных политиков. Вся культура последних ста лет учила нас понимать экономический мотив как иррацио-

иальный путь к гибели и искать спасения в рациональном плановом обществе. Оруэлл предложил нам подумать, не приведут ли эти силы к еще худшему. Не он первый поставил эти вопросы, но он первый рассмотрел их с истинно либеральных или радикальных позиций без всякого намерения отклонить идею справедливого общества...» (T r i l l i n g L. Speaking on Literature and Society. Oxford, 1980, p. 254).

К с. 22

Уинстон — наречение героя именем премьер-министра, лидера враждебной Оруэллу консервативной партии, связано с глубоким переворотом в мироощущении писателя после советско-германского пакта. В марте 1940 г. в эссе «Лев и единорог», обличая пацифистов, думающих, что «человеку ничего не нужно, кроме покоя и безопасности», и не понимающих, что «человеку хотя бы иногда нужны борьба и самопожертвование» (CE, II, p. 12), он почти дословно повторяет первую речь Черчилля в качестве премьер-министра: «Я не могу обещать вам ничего, кроме крови, пота, слез и тяжкого труда». «В час опасности Оруэлл, подобно Черчиллю, больше похож на римского республиканца, чем на современного либерала... Он видит в национальной войне школу добродетели и гражданского мужества»,— пишет биограф и исследователь Оруэлла (C r i c k B. Op. cit., p. 381). В имени «последнего человека в Европе» читатель должен расслышать отзвук жизни, где все — мир и война — настоящее, а не суррогат полувойны-полумира с условным противником.

Интересно, что последняя рецензия Оруэлла, написанная в клинике 14 мая 1949 г., посвящена второму тому мемуаров Черчилля. Вместе с тем резкость критики консерваторов и их лидера сохранялась у Оруэлла до последнего дня, и мнение Ф. Уорбурга, что «предисловие к «1984» мог бы написать Уинстон Черчилль, чье имя носит герой», вряд ли обоснованно (W a r b u r g F. All Authors are Equal. L., 1973, p. 105).

...лицо... грубое, но по-мужски привлекательное... — Портрет Старшего Брата выдержан в стиле американского фильма по книге посла США в СССР Дж. Дэвиса «Миссия в Москву» — апологетического по отношению к Сталину и тенденциозного по отношению к его жертвам. Стандартная приторность портрета усиливает смутно проступающую в контексте романа идею, что Старший Брат — фикция пропаганды и реально не существует (см. диалог Уинстона с О'Брайеном в застенке).

К с. 23

Ангсоц — в публицистике Оруэлла этот термин раскрывается как «тоталитарная версия социализма». Для Оруэлла всегда было два социализма. Один — тот, что он видел в революционной Барселоне. «Это было общество, где надежда, а не апатия и цинизм была нормальным состоянием, где слово «товарищ» было выражением непритворного товарищества... Это был живой образ ранней фазы социализма...» (Homage to Catalonia. L., 1968, p. 102). Другой — тот, что установил Сталин, тот, который обещала будущая «революция управляющих» на Западе: «...Социализм, если он значит только централизованное управление и плановое производство, не имеет в своей природе ни демократии, ни равенства»,— писал он в рецензии на книгу Дж. Бернхэма «Революция управляющих». Оруэлл дал совершенно ясную характеристику своего отношения к социализму: «Каждая строчка моих серьез-

ных работ с 1936 г. написана прямо или косвенно против тоталитаризма и в защиту демократического социализма, как я его понимал» (CE, I, p. 4—5).

Есть разные оценки позиции Оруэлла. Ее определяют как «морализм» (Д. Рис); «диссидентство внутри левого движения» (Дж. Вудкок); «попытку консервативного сына XIX века быть... демократическим социалистом» (Р. Вурхез); как свидетельство того, что Оруэлл был «революционным социалистом и предтечей "новых левых"» (Р. Уильямс).

В последние годы жизни Оруэлл очень напряженно и конкретно думал, где реально сможет «работать» в будущем модель демократического социализма, называя Европу, Австралию и Новую Зеландию (CE, IV, p. 371).

Министерство Правды — образ, навеянный опытом работы в Би-би-си. Английские читатели узнают в описании строении здание Би-би-си на Портленд-Плэйс (C r i c k B. Op. cit., p. 421).

К с. 24

Джин Победа — по воспоминаниям писателя Джулиана Саймонса, во время войны в убогой столовой Би-би-си Оруэлл постоянно брал некое «синтетическое блюдо под названием "Пирог Победа"» (S t e i n h o f f W. George Orwell and the Origins of "1984". Mich., 1976, p. 154). Пышные названия убогих предметов откладываются в воображении писателя как характерная деталь быта в обнищавшем от войны государстве.

К с. 25

Он приметил ее в витрине старьевщика... — Оруэлл был постоянным посетителем дешевых лавок всякого старья, так называемых "junk shops" в захолустных районах Лондона, совсем не похожих на дорогие антикварные магазины фешенебельных кварталов. С любовью перечисляя в одной из своих статей «милые старинные штучки», пылящиеся в убогих комнатках этих лавок, он упоминает купленное им «пресс-папье с кораллом», ставшее в романе символом неофициального мира, в который уводит героев любовь (O r w e l l G. Just junk — But who could Resist It? — "Evening Standard", 5 jan. 1946).

К с. 27

...в этом характерном лице было что-то... неуловимо интеллигентное... — Решение Оруэлла сделать главным палачом тоталитарного общества интеллектуала подготовлено всей логикой его духовного развития. Ключевыми здесь являются слова его предсмертного интервью о «1984»: «...тоталитарная идея живет в сознании интеллектуалов везде» (CE, IV, p. 502). Убеждение в своем праве объяснять мир, фанатизм, безумная страсть к порядку, амбиции и отчуждение от жертвенности и терпения простых людей, по его мнению, делают интеллектуала особо доступным тоталитарной идеологии. Если интеллектуалы служат идеологии, «они в большинстве своем готовы к диктаторским методам, тайной полиции, систематической фальсификации» (CE, IV, p. 150). Политологическое обоснование своих подозрений о будущей диктатуре интеллектуалов Оруэлл находил в работах Беллока, Вуата и особенно Бернхэма; среди художественных воплощений этой идеи наибольшее влияние на него должен был оказать роман Г. Честертона «Человек, который был Четвергом» (рус. пер. 1914), изображающий заговор интеллектуалов против жизни и здравого смысла. В романе «1984» перенесены некоторые детали этого заговора: внутренняя и внешняя секции партии заговорщиков; «$2 \times 2 = 4$» как символ

здравого смысла; простонародное улнчное пенне как голос самой жнзни; нмя одного нз персонажей (Снм).

Оруэлл отлнчал подлнnную ннтеллигентность от холодного, расчетлнвого, конъюнктурного ннтеллектуализма. «Именно потому, что я серьезно отношусь к званию интеллектуала, я ненавнжу глумливость, пасквнлянтство, попугайство и хорошо оплачиваемую «фигу в кармане», процветающне в англнйском литературном мнре» (CE, II, p. 229).

Б. Крнк пишет: «Он не был внтиннтеллектуалом как таковым. Он... осуждал только погоню за модой н презренне ннтеллектуалов ко всем традициям, кроме тех, что охраняют их привнлегин» (C r i c k B. Op. cit., p. 494).

К с. 28

Голдстейн — большинство нсследоввтелей счнтают прототипом этого образа Л. Д. Троцкого; Т. Файвел ссылается на сделанное ему призннвие Оруэлла: «Голдстейн, разумеется, пародня на Троцкого». «Он добавил,— пишет Т. Файвел,— что еретик, поднимающий безнадежный мятеж протнв тоталитарного режима, скорее всего, должен быть еврейскнм ннтеллектуалом» (F y v e l T. Wingate, Orwell вnd the Jewish Questioп.— Commeпtary, № 11, Febr. 1951, p. 142). У. Стейнхофф указывает на сходство текстов Голдстейна с «Тезисамн» лндера ПОУМ Андре Нина; трагнческая судьба Андре Ннна, казненного в 1937 г. во время сталннской расправы с ПОУМ, глубоко взволновала Оруэлла.

На изображенне отношенний государства Старшего Брата н его «врагв № 1» Эммануэля Голдстейна, несомненно, повлняла высоко оцененная Оруэллом брошюра Б. Суварнна «Кошмвр в СССР», в которой большое вннмание уделено «черной магнн» сталннской пропаганды с ее мифом о вездесущем Троцком. «В этнх средневековых процессах Троцкий играет роль дьявола» (S o u v a r i n e B. Caushemar eп URSS. P., 1937, p. 156).

Мысль, что фигура Дьявола необходима для тоталнтарной идеологии, усвоенв Оруэллом задолго до «1984». Через трн дня после убийства Троцкого он записал в своем дневнике: «Как же в Росснн будут теперь без Троцкого?.. Наверное, им прндется придумать ему замену» (CE, II, p. 368).

К с. 29

Остазия, Евразия, Океания — полнтическая карта мнра в последние годы жизнн представлялась автору «1984» в самом пессимистическом свете. В статье «Навстречу европейскому единству» он пнсал: «В Западной Европе еще сохраннлись традиции равенствв, свободы, ннтернационализма; в СССР — олнгархнческнй коллективизм; в Северной Амернке массы довольны капнтализмом и неизвестно, что сделают, если он потерпнт катастрофу... все двнжения цветных сегодня окрашены рвсовой мистикой» (CE, IV, p. 371). В это время он склоняется к мыслн, что будущая карта мнрв составнтся не по Г. Уэллсу с его Единым Мнровым Государством, а по Дж. Бернхэму, предсказавшему «разделение мира между несколькими супердержавами, скорее всего США, Северной Европой и Японией с частью Кнтая» (B u r n h a m G. The Maпagerial Revolutioп: What is Happiпiпg iп the World. N. Y., 1941. p. 175—176).

К с. 32

...как принято говорить, распылен...— На ндеологические трюкн с употреблением эвфемизмов, когда речь идет о насильственной смертн, Оруэлл обратнл вннмание еще в Испаннн. «Гитлеры н сталнны счн-

тают убийство необходимым, но они отнюдь не рекламируют своего бессердечия и поэтому называют убийство исключительно «ликвидацией», или «элиминацией», или еще чем-нибудь в этом роде» (CE, I, p. 516).

К с. 38

Это был один из тех снов... — Оруэлл был убежден, что важнейшие решения человек принимает подсознательно. В статье 1940 г. «Моя страна, правая или левая», знаменовавшей его разрыв с пацифизмом и левацким саботажем приближающейся войны, он описывает свой «вещий сон»: «Несколько лет я относился к войне как к кошмару и иногда выступал с пацифистскими речами... Но однажды ночью — *до* оглашения русско-германского пакта — мне приснилось, что война началась. Это был один из тех снов, которые... открывают нам наши истинные чувства. Этот сон открыл мне, что, во-первых, война оживит меня и, во-вторых, что в сердце своем я патриот, я не могу саботировать войну или бороться с ней, я буду помогать, может быть, и воевать. Я спустился по лестнице и нашел газету с сообщением о прилете Риббентропа в Москву» (CE, II, p. 13—14).

К с. 41

Океания воевала с Евразией... — В одной из статей Оруэлл рассказывает об анекдотическом происшествии с членом английской компартии, который 22 июня 1941 г., вернувшись на собрание из уборной, обнаружил, что позиция по отношению к национал-социализму полностью изменилась (CE, II, p. 407). Но Оруэлл никогда не считал привычку к бездумной перестройке сознания свойством какой-то определенной идеологии. В одной из рецензий он писал: «Мы живем в сумасшедшем мире, в котором противоположности постоянно переходят друг в друга, в котором пацифисты вдруг начинают обожать Гитлера, социалисты становятся националистами, патриоты превращаются в квислингов, буддисты молятся за победы японской армии, а на бирже поднимается курс акций, когда русские переходят в наступление» (CE, II, p. 314).

К с. 50

Пролы — слово идет от «Железной пяты» Дж. Лондона, но наполнено противоположным духовным опытом: всю жизнь Оруэлл стремился опуститься «вниз», стать своим в мире людей физического труда, иногда говорил под «кокни», находясь в обществе снобов, «пил чай и пиво в пролетарской манере» (M o r r i s S. Some Are More Equal than Others.— "Penguin New Writings", № 40, 1950, p. 97). О несомненной искренности его любви к простому человеку говорят не только тексты, особенно знаменитые стихи «Итальянский солдат», публикуемые в эссе «Вспоминая войну в Испании» (см. наст. изд.), но и добровольно принятый им в молодости крест «нищего и изгоя... во искупление колониального греха» (O r w e l l G. The Road to Wigan Piers. L., 1937, p. 180).

К с. 64

...самое характерное в нынешней жизни... убожество, тусклость, апатия... — В социальном интерьере романа отчетливо выявляется жанрово-идейное отличие «1984» от антиутопий Е. Замятина и О. Хаксли, в которых государство, обезличивая и духовно порабощая человека, компенсирует его сытостью и комфортом. Образ голодного раба представлялся Оруэллу значительно более достоверным, чем образ сытого раба. См. в эссе «Вспоминая войну в Испании» (наст. изд.) рассуждение о материальном благосостоянии как условии свободы и духовности.

Сознательно противопоставляя «прекрасному новому миру» уродливый, убогий мир, Оруэлл направил политическую сатиру на настоящее, а не на «прекрасное будущее», в которое, по свидетельству творчески и человечески близкого ему А. Кёстлера, «он верил до конца» (из некролога А. Кёстлера Дж. Оруэллу, опубликованного в газете "Tribune", 29.1.1950).

К с. 68

...не верить своим глазам и ушам... — Важная для философии романа идея привычной и абсурдной лжи как условия существования тоталитаризма опиралась, в частности, на известные Оруэллу ляпсусы московских процессов, один из участников которых, например, показал, что встречался с Троцким в Копенгагене, в отеле «Бристоль», сгоревшем задолго до этого, другой «признался», что прилетел с конспиративными целями на аэродром, не принимающий самолеты в это время года, и т. п.

К с. 101

...женщина... запевала сильным контральто... — Сходный образ есть в одной из статей Оруэлла военного времени: «На Би-би-си пение можно услышать только ранним утром, между 6 и 8 часами, когда собираются на работу уборщицы» (CE, II, p. 430).

К с. 105

Крыс... нет ничего страшней на свете... — Изображение крыс как орудия пыток особенно часто в европейской литературе после появления книги Мирабо «Китайский сад пыток». Поскольку опыты на крысах, проводимые в бихевиористских лабораториях после первой мировой войны, воспринимались Оруэллом как полигон для создания «управляемого сознания», здесь возможна и определенная антибихевиористская символика. Но ведущими, как часто у Оруэлла, являются автобиографические мотивы. Испанские однополчане, отмечая его редкое бесстрашие, пишут, что больше пуль он боялся крыс. «У него была настоящая фобия к крысам... Однажды ночью он выстрелил в крысу, и эхо разбудило обе воюющие стороны» (George Orwell: A Programme of Recorded Reminiscences, 2. XI. 1960 — BBC Archive). Сильное впечатление должна была произвести на Оруэлла одна из сцен с крысами в упоминаемых ниже мемуарах Дж. Босорб (см. прим. к с. 171).

К с. 129

Уинстон начал читать... — Биограф Л. Д. Троцкого Исаак Дейчер настаивает, что текст книги Голдстейна — неудачный парафраз книги Л. Троцкого «Преданная революция» (The Revolution Betrayed. N. Y. 1937), однако, хотя мотивы «преданной революции» несомненны, первоисточник здесь — работа Дж. Бернхэма «Революция управляющих» (op. cit.) и «Макиавеллианцы» (The Machiavellians. N. Y., 1943), которые Оруэлл не раз рецензировал и в полемике с которыми формировались его историософские и политологические позиции.

К с. 159

В комнату сто один... — О предельной обобщенности оруэлловских символов говорит совпадение номера застенка с номером кабинета Оруэлла в индийской редакции антифашистского вещания на Би-би-си. В гиперболе этого парадоксального сопоставления отразилась обостренная реакция на конъюнктурные особенности журналистской работы. Люди, работавшие с Оруэллом на радио, вспоминают, как он с горечью говорил, что пропаганда даже в лучших целях «имеет дурно

пахнущую сторону». Он писал: «Ныне все пишущие и говорящие барахтаются в грязи, а такие вещи, как интеллектуальная честность и уважение к оппоненту, больше не существуют» (цит. по: W i l l i a m s R. Orwell. Fontana, 1971, p. 66). Работа на Би-би-си показала Оруэллу, что его идея «соединить антифашистскую пропаганду с антиимпериалистической» неосуществима (там же).

К с. 170

Пять! Пять! Пять! — Тема «здравого арифметического смысла» звучит у Оруэлла со времен гражданской войны в Испании, когда перед ним впервые встает видение «кошмарного мира, где дважды два будет столько, сколько скажет вождь. Если он скажет "пять", значит, так и есть, пять» (см. в наст. изд. эссе «Вспоминая войну в Испании»). Формула $2 \times 2 = 4$ давно стала литературной метафорой: у Достоевского, Пруста, Честертона, Андре Бретона, Замятина. Но предшественники Оруэлла использовали ее как демонстрацию «тирании рассудка». «Подпольный человек» Достоевского, отвергая во имя свободы мир, где дважды два четыре, заявляет, что и «дважды два пять — премилая иногда вещичка» (Д о с т о е в с к и й Ф. Полн. собр. соч., т. 5. М., 1976. с. 119); в антиутопии Замятина «Мы» обезличенные нумера — рабы тоталитарного государства — скандируют оду формуле 2×2 (З а м я т и н Е. Мы.— «Знамя», 1988, № 4, 5). Оруэлл не принимал этого позыва к бессмысленному мятежу, видя в нем агрессию человека, «который не может жить в согласии с обычной порядочностью», как он писал в статье о Печорине и Бодлере (The Male Byronic. "Tribune" (L), 21 june 1940). Таким образом — вопреки предшествующей традиции,— формулой свободы личности в «1984» становится $2 \times 2 = 4$. Непосредственный импульс к такому решению Оруэлл, по предположению У. Стейнхофа, получил из книги Е. Лайонса "Assingment in Utopia", в рецензии на которую он цитирует следующие строки: «Формулы "Пятилетка в четыре года" и "$2 \times 2 = 5$" постоянно привлекали мое внимание... вызов, и парадокс, и трагический абсурд советской драмы, ее мистическая простота, ее алогичность, редуцированная к шапкозакидательской арифметике» (CE, I., p. 333—334).

К с. 171

Никогда еще он не любил его так сильно...— Некоторым ключом к психологической тайне этой сцены может служить книга Джулии де Бособр «Женщина, которая не смогла умереть» (B e a u s o b r e J. de The Woman Who Could not Die. L., 1938), прочитанная Оруэллом. Арестованная в 1932 г. в Самарканде вместе с мужем (расстрелянным в 1933 г.) и прошедшая через тюрьмы и лагеря, мемуаристка пишет о «страшной близости», которая устанавливается «между тем, кого мучают изо дня в день, и тем, кто мучает изо дня в день» (op. cit., p. 85). О парадоксальной близости насильника и жертвы, отъединенных от всего мира, пишут и некоторые заложники современных террористов. Сходный феномен описан в романе А. Битова «Пушкинский дом»: вернувшийся из лагеря дед героя предпочитает восторженному преклонению внука и других благородных интеллигентов общество бывшего лагерного начальника.

К с. 173

Тоталитарный — определение профессором Б. Криком «1984» как «развивающейся модели», сопоставимой по своей интерпретационной силе с «Левиафаном» Т. Гоббса (op. cit., p. 27), оправдано высоким обобщающим уровнем центральной идеологемы романа. Концепцию тоталитаризма Оруэлл сформулировал после гражданской войны в

Испании. Одновременно и независимо от него ее развивали в том же плане А. Кёстлер, Ф. Боркенау, И. Силоне, А. Мальро. В рецензии на книгу Ф. Боркенау «Тоталитарный враг» Оруэлл впервые использовал заимствованное у Берихэма понятие «олигархический коллективизм» для обозначения формы управления тоталитарным обществом (CE, II, p. 25).

Статус научной концепции за термином утвердил собравшийся в 1952 г. в США политологический симпозиум, где «тоталитаризм» был определен как «закрытая и неподвижная социокультурная и политическая структура, в которой всякое действие — от воспитания детей до производства и распределения товаров — направляется и контролируется из единого центра» (Цит. по: Arblaster A. The Rise and the Decline of Western Liberalism. Oxford, 1984, p. 319). Однако часть политологов считает, что тоталитаризм — политическая метафора; в американской «Энциклопедии социальных наук» 1968 г. он назван «ненаучной концепцией».

К с. 196

Ты хочешь, чтобы это сделали с другим человеком... — В ожесточенном признании Джулии — это, может быть, главное откровение романа — беспощадный расчет с иллюзиями индивидуалистического гуманизма. Уже в 1943 г. Оруэлл пришел к выводу, что идея «внутренней свободы» не только утопична, но в ней есть потенциальное оправдание тоталитаризма. «Самая большая ошибка — воображать, что человеческое существо — это автономная индивидуальность. Тайная свобода, которой вы надеетесь наслаждаться при деспотическом правлении,— это нонсенс, потому что ваши мысли никогда полностью вам не принадлежат. Философам, писателям, художникам, ученым не просто нужны поощрение и аудитория, им нужно постоянное воздействие других людей. Невозможно думать без речи. Если бы Дефо действительно жил на необитаемом острове, он не мог бы написать «Робинзона Крузо» и не захотел бы это сделать» (CE, III, p. 160). «Садистский» финал романа, в котором упрекали Оруэлла некоторые критики,— единственное, что могло убедить читателя: именно потому, что — вопреки демагогии О'Брайена — объективная реальность существует, нельзя «в душе» остаться человеком.

К с. 200

Новояз — Химерой Новояза завершается многолетняя борьба Оруэлла с идеологизацией и вырождением языка, которую более всего стимулировали: наблюдения за деградацией речи в английских газетах; анализ языка геббельсовской пропаганды; размышления над механизмами укрепления сталинской диктатуры. У. Стейнхофф в качестве «прототипов Новояза» указывает также на изданный Ортологическим институтом курс сокращенного английского языка из 850 слов (System of Basic English. L., 1934) и на «язык телетайпа». В публицистике Оруэлла и его романах обличается и пародируется весь комплекс будущего Новояза: употребление «скользких эвфемизмов» и «затасканных идиом» с целью скрыть истинное положение дел; эксплуатация понятий, не имеющих предметного значения («измов»); обилие аббревиатур.

Идея спасения языка и через язык связана у Оруэлла с его сокровенной темой «интеллигентной народности»: «Язык должен быть совместным творением поэтов и людей физического труда». Оруэлловский Новояз стал одной из ведущих социокультурных парадигм второй половины XX в. Широко известен термин «оруэллизация языка», составляются «журналы» и «словари» Новояза. В специальных работах

указывается, что лингвистический анализ Оруэлла предвосхитил некоторые идеи Оксфордской школы социальной лингвистики и Венского социолингвистического кружка (см., напр.: H a r r i s K. Misunderstanding of Newspeak.— "The Times' Lit. Supplement", 1984, № 4, p. 17).

Автобиографическая заметка

К с. 222

Джордж Оруэлл — не мое настоящее...— Известно, что в годы своей «бродяжьей Одиссеи» Оруэлл жил в Париже под псевдонимом Бертон и, очевидно, так подписывал свои пропавшие рукописи (P. S. Burton). Одно из первых стилистически самостоятельных его эссе — «Повешение» ("A Hanging", рус. пер. «Казнь через повешение.— «Знамя», 1989, № 1), опубликовано в 1931 г. в журнале "Adelphi" за подписью Эрик А. Блэйр. Издавая первую книгу «Собачья жизнь в Париже и Лондоне» ("Down and out in Paris and London", L., 1933), он предложил своему литературному агенту Чарлзу Муру четыре псевдонима на выбор: Бертон, Кеннет Миллз, Джордж Оруэлл, Чарлз Левис, с припиской: «Я бы предпочел — Джордж Оруэлл». Этот вариант предпочел и издатель «Собачьей жизни» Виктор Голанц.

Еще два года некоторые статьи он подписывал Эрик Блэйр, однако постепенно стал Джорджем Оруэллом не только для читателей, но и для друзей, оставшись Блэйром только на чековых квитанциях и контрактах и Эриком — для домашних. Это обстоятельство, а также явная «народность» псевдонима (Джордж — простое, очень английское имя, Оруэлл — речушка в деревне его детства), его артикуляционная грубоватость, усиливая вызов псевдонима древним шотландским именем — Эрик Артур Блэйр, заставляет исследователей видеть в выборе псевдонима акт разрыва с прошлым и утверждения «второго я». «"Оруэллом" он называл свое "идеальное я", то, каким он хотел быть — цельным, ясным, честным, простым»... (L e y s S. Orwell: The Horror of Politics. "Quadrant", Sydney, 1983, Vol. 27, № 12, p. 9—21). Биограф Оруэлла Б. Крик считает, что такая идентификация невозможна для человека с острой самокритичной рефлексией и страстью «смотреть в глаза неприятным фактам», указывая, что в завещании Оруэлл просил «написать на простом буром камне: "Здесь лежит Эрик Артур Блэйр..."» и «не писать моей биографии» (C r i c k B. Op. cit., p. 579).

Воспоминания книготорговца

Работа в книжном магазине обострила интерес Оруэлла к проблемам массовой культуры. Особенностью Оруэлла как читателя и критика была органичная широта вкуса: «Он любил Диккенса и Уэллса так же, как Джойса и Миллера» (C r i c k B. Op. cit., p. 250). По воспоминаниям современников, в среде авангардной литературной интеллигенции Оруэлл воспринимался как «старомодный эксцентрик, без конца говорящий о Диккенсе, Сэмюэле Батлере и Гиссинге и несколько нелепый в своем коллекционировании лубочных открыток и чтении детских комиксов» (C r i c k B. Op. cit., p. 264).

К с. 229

Барри Джеймс Мэтью (1880—1971) — шотландский драматург и романист. Пьеса-сказка «Питер Пэн» (1904) популярна до сего дня.

К с. 230

Уолпол Хью (1884—1941) — писатель иатуралнстической школы, последователь У. Троллопа. Получил широкую известиость после публикации ромаиа о мрачной и убогой жизни провиицнальиых учнтелей «Мнстер Перрии и мистер Трейл» (1911).

Вудхауз Грэхэм Гренвилл (1881—1975), автор сатирнческих ромаиов с иесколькнми постояннымн персоиажами, особеино популярны были: «Псмнт — журиалист» (1915) и «Оставнм это Псмиту» (1923).

Фернол Джеффри (1878—1952) — автор популяриых нсторическнх романов детективного характера.

Дэлл Этель (1881—1933) — аиглнйская писательнпца, сочннтельиица популярной беллетрнстнкн.

Дипинг Уорвик (1877—1950) — английскнй пнсатель, автор прнключенческнх и детектнвных ромаиов.

К с. 231

...*«Упадок и падение» Босуэлла*...— Автор высменвает неграмотность кинготорговцев. «Упадок н падеиие Рнмской нмпернн» — труд английского историка Э. Гиббоиа. Роман «Мельница на Флоссе» прниадлежит перу пнсательиицы Джордж Элнот.

Мысли в пути

К с. 232

Маггеридж Малькольм (род. 1903) — англнйскнй прозанк и публнцист, оставнл воспомннання о встречах с Оруэллом в своих мемуарах «Хроннка потеряниого временн» (1978).

К с. 233

Беллок Хиллар (1870—1953) — английский поэт, писатель, историк, фнлософ. В кинге «Государство рабов» (1912) создал одну из первых моделей «олнгархического соцнализма» — общества, управляемого корпорацней полнтнканов-техиократов, где государственной собственностью являются не только средства н орудня пронзводства, но и образ жнзин граждан.

К с. 235

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 415.

К. Смолл, автор кннгн «Дорога к Мниилюбу» (1975) отмечает, что «Оруэлл был одиим нз немиогнх людей своего круга, которые знали это место Маркса не в усеченном до «опнума», а в "полиом вnде"» (р. 167).

Уэллс, Гитлер и Всемирное Государство

К с. 236

Сэнки Джон (1866—1948) — лорд-канцлер лейборнстского правительства с 1929 г.

К с. 237

Раушнинг — автор кннгн «Революцня ннгнлнзма» (1939), заннтересовавшей Оруэлла темой «тоталнтариого интеллектуала».

Силоне Игнацио (род. 1900) — итальяискнй пнсатель-аитнфа-

шист. Творчество его было близко Оруэллу разработкой темы тоталитаризма, позже развитой Силоне в книге «Школа для диктаторов» (1963).

Боркенау Франц — немецкий социолог, писал о гражданской войне в Испании, один из ранних критиков тоталитарных версий социализма. Оруэлл написал рецензию на книгу Боркенау «Мировой коммунизм» (1939).

Артур Кёстлер (1905—1983) — писатель, философ, исследователь эстетического и религиозного сознания. Родился в Венгрии. В 1948 г. принял английское гражданство. Был связан с Оруэллом личной и творческой дружбой. Оруэлл, высоко ценивший роман «Слепящая тьма» (1940, рус. пер. 1988), написал также доброжелательные рецензии на романы Кёстлера «Гладиаторы» (1939) и «Приезд и отъезд» (1983).

В Испании Кёстлер, тогда коммунист, корреспондент левой газеты «Ньюс кроникл», был арестован франкистами после захвата ими Малаги, приговорен к расстрелу, освобожден благодаря вмешательству мировой общественности. В 1937 г. в Москве вышла его книга «Беспримерные жертвы» о зверствах франкистов. В 1938 г. журнал «Интернациональная литература» сообщил о выходе в свет в Париже «Испанского завещания» А. Кёстлера (1937).

Толстой и Шекспир

Текст выступления Оруэлла на Би-би-си 7 мая 1941 г.

Бессмысленность приложения к искусству моральных и эстетических догм и связанная с этим критика идей Толстого (одного из любимых писателей автора статьи) более обстоятельно развита Оруэллом через шесть лет в эссе «Лир, Толстой и шут» (СЕ, II, p. 331—348).

К с. 240

...на прошлой неделе я говорил...— Оруэлл ссылается на свое выступление на Би-би-си 30 апреля 1941 г. «Границы искусства и пропаганды» (СЕ, II, p. 149—153).

Статья Толстого о Шекспире...— Статья «О Шекспире и драме» написана в 1903 г., перв. публ. в газете «Русское слово», издана брошюрой в 1907 г. (см.: Полн. собр. соч., т. 35, М., 1950, с. 216—272).

Начав писать предисловие к статье американского поэта и общественного деятеля Э. Кроссби «Шекспир и рабочий класс», Толстой глубоко увлекся темой. «Мне нужно было высказать то, что сидело во мне полстолетия» (письмо к В. В. Стасову 9 октября 1903 г.— Полн. собр. соч., т. 74, с. 202). Известны и высокие оценки Толстым Шекспира, правда устные, записанные С. А. Толстой, А. Б. Гольденвейзером, московским артистом Т. Н. Селивановым.

К с. 242

... к разбору «Тимона Афинского» К. Марксом...— Трагедию Шекспира К. Маркс анализировал в «Экономическо-философских рукописях 1844 г.» (М а р к с К., Э н г е л ь с Ф. Из ранних произведений. Госполитиздат, 1956, с. 616—620), а также в «Немецкой идеологии» (М а р к с К., Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 3, с. 217—220). Маркс высоко оценивал способность Шекспира проникать в скрытую суть социальных отношений, понимание им реальной роли богатства, денег и их соотношения с личностью.

Литература и тоталитаризм

К с. 244

Начиная свое первое выступление...— Оруэлл имеет в виду свое выступление по радио «Границы искусства и пропаганды» 30 апреля 1941 г. С очерком «Литература и тоталитаризм» он выступил по Би-би-си в июне 1941 г.

Вспоминая войну в Испании

К с. 248

Ланн Арнольд — английский журналист правого направления, член неправительственной организации «Друзья националистической Испании», помогавшей Франко (в частности, в организации доставки будущего диктатора с Канарских островов в Марокко в начале мятежа).

К с. 251

Лорд Галифакс (1881—1959) — английский государственный деятель; в 1925—1931 гг.— губернатор Индии, в 1935—1938 — лидер консерваторов в палате общин; в 1938—1940 — министр иностранных дел; в 1941—1946 гг.— посол в США. Один из инициаторов Мюнхенского соглашения. 19 ноября 1937 г. во время Международной охотничьей выставки в Берлине (лорд Галифакс был главой общества охоты на лис) был принят Гитлером и фактически дал санкцию на «мирный» захват Австрии и Чехословакии.

К с. 254

...о борьбе за власть между Коминтерном и испанскими левыми партиями...— Эта борьба отмечена всеми историками гражданской войны в Испании. Ее кульминацией стали описанные Оруэллом события в Барселоне и падение правительства Ларго Кабальеро, отказавшегося выполнить требование министров-коммунистов, поддержанное частью социалистов, о роспуске ПОУМ (Partido Obrero de Unification Marxista — каталонская партия, возникшая на почве популистского рабоче-крестьянского блока). Левацкий максимализм ПОУМ и анархо-синдикалистов имел определенное теоретическое созвучие с идеями Л. Д. Троцкого, но, как пишет историк испанской войны Ж. Сориа, «поумисты воздерживались следовать его советам, передаваемым через посредников из далекого мексиканского изгнания» (С о р и а Ж. Война и революция в Испании, т. 2, М., 1987, с. 32). Отрицательно оценивая программу и тактику ПОУМ, Сориа, однако, признает, что каталонский кризис был подготовлен объективным развитием противоречий в антифашистском движении и что после описанной Оруэллом перестрелки на Барселонской радиостанции 3 мая 1937 г. «в течение недели Каталония пребывала в состоянии новой гражданской войны в гражданской войне» (там же, с. 34). Отмечая, что, несмотря на призывы по радио «Ни победителей, ни побежденных!», правительство не взяло четкого курса на примирение сторон, Ж. Сориа пишет о грубости штурмовой гвардии, обысках, но не упоминает о главном для Оруэлла трагическом последствии конфликта — массовых расстрелах ополченцев ПОУМ.

...никакой русской армии в Испании не было...— Ж. Сориа также отмечает, что в отличие от Гитлера и Муссолини, направивших Франко экспедиционные корпуса регулярных войск (20 тыс. немецких и 50 тыс. итальянских солдат и офицеров), СССР ограничился небольшим контингентом советников и добровольцев и что в Испании одновременно

присутствовало не более 700—800 советских военных, а за все время гражданской войны — не более 2 тыс. человек. Не столь значительны были и поставки оружия: «...советское вооружение, полученное республиканцами, повлияло на ход войны значительно меньше, нежели вооружение, доставленное франкистам Италией и Германией» (Сориа Ж. Указ. соч., с. 97; цифры названы автором по публикации в журнале «Новая и новейшая история», 1971, № 2). Таким образом, Ж. Сориа, как и Оруэлл, считает «огромную русскую армию» и «непрерывный поток советского вооружения» мифом правой прессы.

К с. 255

...всякая принятая история непременно лжет... — Объективная история как критерий подлинности существования — постоянная тема Оруэлла. В раннем романе «Дочь священника» она выражена в одной из сюжетных линий — борьбе сознания героини с физиологической амнезией — и в резко сатирическом изображении преподавания истории в школе. В посмертно опубликованном автобиографическом эссе ("Such, such were the joys") он пишет об уроках истории в элитарной преп-скул как об «оргии дат, которые старательные ученики зазубривали, не пытаясь проникнуть в значение событий, обозначенных этими датами» (цит. по: Crick B. Op. cit., p. 264).

К с. 258

...полковников-блимпов и прочей публики... — Полковник Блимп — популярный персонаж политических карикатур английского карикатуриста Дэвида Лоу.

К с. 259

...цели, которые они преследовали в Испанской войне, непостижимы... — Они непостижимы *для Оруэлла*, искавшего в политике прежде всего *смысла* и всегда дававшего ей *моральную* оценку. Но эти цели совершенно понятны, например, Ж. Сориа. Непоследовательность политики Сталина для него логична: «...масштабы и характер помощи [Испании.— *В. Ч.*] регулировались внешнеполитическими интересами СССР, определявшимися тогда желанием избежать военного столкновения с ними [союзниками Франко.— *В. Ч.*], оказавшись в одиночестве» (Сориа Ж. Указ. соч., с. 91). Сориа напоминает, что СССР входил в Комитет по невмешательству в испанские дела, созданный в Лондоне 9 сентября 1936 г. 7 октября того же года, не выходя из Комитета, СССР начал поставку оружия и кадров правительству Испании, и это сыграло значительную роль в героической обороне Мадрида (что отмечено Оруэллом в его книге «В честь Каталонии»). Со второй половины 1937 г. политический расчет заставил Сталина свернуть помощь Испании и отозвать советских военных советников. Многие из них по возвращении на Родину подверглись репрессиям, о чем Сориа не упоминает.

К с. 261

Монтегю Норман — директор Английского банка, представитель крайне правого крыла консерваторов; поддерживал нацистские монополии.

Павелич Анте (1889—1959) — лидер фашистской хорватской организации усташей, осуществившей в 30-е гг. ряд террористических актов, направляемых гитлеровской разведкой. В 1941 г. возглавил марионеточное прогитлеровское «Независимое Хорватское государство». В 1945 г. приговорен к смертной казни.

Уильям Рэндолф Херст (1863—1951) — американский газетный издатель, политический деятель крайне правой ориентации; с 30-х гг., находясь в оппозиции Новому курсу Рузвельта, пропагандировал достижения третьего рейха. В 40-х гг. вошел в изоляционистский комитет «Америка прежде всего».

Эзра Паунд (1885—1972) — американский поэт и критик. С января 1941 г. работал в Риме в фашистском радиовещании на США. Оруэлл, ценивший талант Эзры Паунда, пытался установить закономерную связь между его склонностью к эзотерической форме в искусстве и антидемократическими идейными позициями.

Кокто Жан (1889—1963) — французский поэт, писатель, драматург. Всемирную известность получили его пьесы на античные сюжеты «Орфей» (1928) и «Адская машина» (1934). С 1955 г. член Французской академии. В 40-х гг. оказался втянутым в круги профашистских интеллектуалов.

Тиссен Фриц — немецкий промышленный магнат, один из первых спонсоров Гитлера, уже в 1924 г. положивший на счет его партии 300 тыс. марок; участвовал во встречах Гитлера с промышленниками в 1931 г.; 28 января 1932 г. согласовал (вместе с другими монополистами) с Гитлером, Герингом и Рэмом состав будущего правительства; 19 ноября 1932 г. подписал петицию Гинденбургу о передаче власти нацистам. На Западе широко известны его мемуары «Я платил фашистам».

Отец Чарлз Кофлин (род. 1891) — американский католический священник, радиопроповедник; начинал с резкой критики практики и идеологии монополий, поддерживал первые реформы Нового курса. В 1934 г., после конфликта с Рузвельтом, создал «Национальный союз за справедливость», резко оппозиционный Новому курсу. С 1936 г. сближается с представителем фашистского движения «серебряные рубашки» Смитом в рамках антирузвельтовской Союзной партии. После поражения Союзной партии на выборах 1936 г. Кофлин резко фашизируется; в 1938 г. создает открыто фашистский «Христианский фронт против коммунизма», в его проповедях усиливаются антисемитские, а затем и антирабочие настроения.

Муфтий Иерусалимский — Хаджи Имам Алла Хусейн, (род. 1893 г., ум. в конце 60-х гг.) В 1920 г. стал муфтием Иерусалима. В 1941 г. направил Гитлеру послание «О свободе арабов». После получения благосклонного ответа организовал профашистский Арабский легион.

Антонеску Йон (1882—1946) — генерал, военно-фашистский диктатор в Румынии в 1940—1944 гг.

Шпенглер Освальд (1880—1936) — немецкий философ и историк, представитель «философии жизни»; его знаменитая книга «Закат Европы» содержит консервативно-националистические установки, близкие некоторым теоретикам фашизма. Но предложения фашистов о сотрудничестве в 1933 г. отклонил, осуждал их антисемитизм и «тевтонские претензии». Произведения Шпенглера, запрещенные в нацистской Германии, оказали влияние на несколько поколений европейских философов и социологов.

Беверли Николс (род. 1899) — английский писатель и драматург.

Маринетти Филиппо Томазо (1876—1944) — итальянский писатель, теоретик футуризма; с 1919 г.— сподвижник Муссолини; утверждал родственность футуризма и фашизма. В годы фашистской диктатуры в Италии был председателем Союза итальянских писателей.

Присяжный забавник

Эссе иосит скрыто исповедальный характер: жизиеииая и творческая стратегия Твеиа описаиа как полиая противоположиость стратегии Оруэлла, которую очеиь близкий ему мемуарист определяет как «вечиое бегство из лагеря победителей». Формула «Справедливость, эта вечиая бегляика из лагеря победителей» прииадлежит Симоие Вейл, фраицузской писательиице-аитифашистке.

К с. 266

Хоуэллс Уильям Дин (1837—1920) — америкаиский писатель и критик, близкий друг Марка Твеиа и Геири Джеймса. Киига Хоуэллса «Мой Марк Твеи» вышла в США в 1910 г.

К с. 267

...недоступный пока трактат «1601 год»... — В каталоге Библиотеки Коигресса указаио около 20 частиых, едииичиых издаиий текста под иазваиием: «1601: as it was by the social firesides in the time of Tudor's» (с разиочтеииями в заглавии). Первое издаиие отиосится к 1880 г.; в двух случаях есть указаиие: «приписывается М. Твеиу». В последием издаиии этого каталога (1982, v. 3, p. 723). также указаиы два частиых и строго лимитироваииых издаиия. В собраиия сочииеиий Твеиа, библиографии, статьи о ием в эициклопедиях трактат «1601» ие включеи.

Политика против литературы

Свифт — призиаииый учитель Оруэлла, в первых же рецеизиях автор «Скотиого двора» был иазваи «иовым Свифтом»; это же великое имя проводило его в последиий путь. «Я увереи,— говорил в иадгробиом слове Артур Кёстлер,— что будущие историки литературы увидят в Оруэлле связующее звеио между Свифтом и Кафкой». Кёстлер же указал иа кореииое различие в мироощущеиии двух писателей, столь резко проявившееся в иастоящем эссе: в отличие от Свифта, «Оруэлл иикогда ие терял веру в благородство йэху... в тех, о ком ои писал с такой иежиостью: ...люди из толпы с их усталыми лицами, плохими зубами и благородиыми маиерами...» ("Encounter" 1983. v. 61, № 2, p. 48—49). В одном из самых сильиых образов «1984» — мииистерстве любви — можио видеть пародию на свифтовскую коицепцию «всеобщей любви» как регулятора порядка и едииодушия в государстве гуигигимов.

К с. 287

Джордж Маколей Тревельян (1876—1962) — английский историк, автор упомииаемой Оруэллом кииги «Аиглия при королеве Аиие» (1930—1934). В 1959 г. в СССР опубликоваи перевод труда Тревельяиа «Социальиая история Аиглии. Обзор шести веков от Чосера до королевы Виктории».

К с. 288

Алан Патрик Герберт (1890—1971) — английский политический деятель, автор Билля о браке, реформировавшего бракоразводиый процесс (1973); писатель и драматург, автор популяриых мюзиклов и комических опер.

Янг Джордж Малколм (1882—1959) — английский политолог,

умереииый консерватор, соратиик и биограф лидера коисерваторов Стенли Болдуииа.

Мэллок Уильям (1849—1923) — аиглийский писатель, автор известиой в свое время сатиры «Новая Республика» (1877), в которой, как и у Свифта, читатели легко узиавали зиаменитых совремеииииков. В работах о религии выступал с коисервативиых позиций.

К с. 289

Нокс Рональд (1888—1957) — английский теолог, переводчик Библии, автор коммеитариев к Ветхому и Новому завету.

Рецензия на «Мы» Е. И. Замятина

Рецензия опубликована в газете «Трибюи» 4 яиваря 1946 г.

Второй раз Оруэлл иаписал о Замятиие в яиваре 1947 г., когда был аиоисирован аиглийский перевод «Мы» (ои ие состоялся; «Мы» вышло в аиглийском переводе в США в 1925 г., а в Аиглии — только в 1969 г.) У. Стейнхофф считает, что Оруэлл прочитал «Мы» на фраицузском языке ("Nous Autres") между июием 1944 г. и осенью 1945 г., т. е. после возиикновения замысла «1984» (см. комментарий к роману; S t e i n h o f f W. Op. cit., p. 226).

В 1948 г. в письме к Глебу Струве Оруэлл сообщает, что собирается иаписать статью о Замятиие для «Литературного приложения» к «Таймс» и разыскивает его вдову в связи с плаиом публикации других киит Замятина (неосуществленным) (CE, IV, 417).

В марте 1949 г. Оруэлл пишет Ф. Уорбургу: «Это возмутительно, что книга такой удивительной судьбы и такого огромиого зиачения не выходит к читателю» (CE, IV, 486). Таким образом Оруэлл (в отличие от О. Хаксли) всячески пропагандировал книгу, оказавшую столь сильиое и явиое влияиие иа его ромаи.

Уже в этой рецензии определяется главный вызов Оруэлла Замятииу (и Хаксли) — иеприятие схемы будущего государства, которое компенсирует отиятую у граждаи свободу покоем и благополучием. Скорее, по Оруэллу, за несвободой последуют лишения и террор.

К с. 306

Из книги Глеба Струве... — В письме от 17.II.1944 г. Оруэлл благодарит Струве за присылку этой киити. В этом же письме ои пишет: «Вы меия заиитересовали ромаиом «Мы», о котором я раиьше ие слышал. Такого рода книги меия очень интересуют, и я даже делаю иаброски для подобиой киити, которую раиьше или позже напишу» (CE, III, 95). Интересио, что в этом же письме Оруэлл сообщил Струве и о замысле «Скотиого двора» (без названия) и выразил опасение, что из-за политической конъюиктуры у иего будут трудности с публикацией.

Аигличаие

Это второе большое эссе Оруэлла об Аиглии. Первое — «Лев и Едииорог. Социализм и английский гений»,— опубликованное в 1941 г., состояло из 3 частей: «Англия, ваша Англия» (опубл. в журиале "Horizon" в декабре 1940 г. под названием «Правящий класс»); «Лавочники в войие» и «Английская революция» (опубл. в сб. «Во чреве кита», 1940) (CE, II, 74—134).

Исследователь Оруэлла, английский поэт и публицист Р. Уильямс, обращая внимание на парафраз — вызов лоуренсовской строке «Англия, моя Англия» в заголовке первого эссе (*Ваша* Англия), определяет главный жизненный и творческий сюжет Оруэлла как «путешествие в родную страну» или «историю натурализации в собственной стране». Действительно, рожденный в Бенгалии, проведший детство за стенами элитарной школы, юность — в своего рода Телемском аббатстве — колледже Итон, молодость — в Бирме и Париже, Оруэлл фактически начал жить в Англии взрослым человеком. Это определило и его идейную эволюцию как «двойное возвращение»: из колоний — в метрополию, из элиты — к народу. Специфическое социальное происхождение Оруэлла, которое он сам определял как «нижний слой высше-среднего класса», обусловило его сложное социальное положение: теоретически привилегированная, его семья жила на грани бедности.

В этой среде, полагает Р. Уильямс, «компенсаторный патриотизм» может быть особенно сильным, а кризис патриотических чувств — катастрофически острым.

Это подтверждает биография писателя. По свидетельству однокашников, подростком он «пылал военным патриотизмом» и остро переживал, что не участвует в первой мировой войне. Его первая — в 11 лет — публикация — ода «Вставайте, юные англичане».

Кризис патриотизма остро пережит Оруэллом в годы экономической депрессии; в конце 30-х гг. он приходит к понятию «двух Англий». Осознание опасности немецко-фашистского нашествия возвращает оруэлловскому патриотизму исходную цельность — до такой степени, что Р. Уильямс считает необходимым критиковать «английские» эссе Оруэлла за сведение реальных классовых противоречий к различиям в произношении, кухне, одежде, манерах (W i l l i a m s R. Orwell. Fontana, 1976, p. 16—17, 24—25).

Откровенный и сильный английский патриотизм нарастает в публицистике Оруэлла конца 40-х гг. и приобретает трагический характер по мере осознания, что ядерное могущество США и СССР выталкивает Англию из «самостоятельной истории». Мрачные видения Оруэлла воплотились в «1984» в образе Аэрополосы № 1 — части сверхдержавы Океании, расположенной на месте бывших Британских островов.

В эссе об Англии и примыкающих к нему миниатюрах «Английская кухня» и «Чашка отменного чая» проявились этнографическая наблюдательность и социологическое воображение Оруэлла, которые — еще по более ранним вещам — высоко оценил крупный английский антрополог Горер (C r i c k B. Op. cit., p. 264—265).

К с. 312

Грэй Томас (1716—1771) — английский поэт, историк, филолог. Упоминаемая здесь знаменитая «Элегия, написанная на сельском кладбище» (1751) трижды переводилась на русский язык В. А. Жуковским; классическим считается перевод 1802 г. «Сельское кладбище».

К с. 313

...самое же впечатляющее различие — в языке и произношении... — Оруэлл видел в аристократическом итонском акценте один из источников пропасти между интеллигенцией и народом. «Я любил этих людей, и они любили меня... — пишет он об английских шахтерах.— Но я не стал для них своим. Эта роковая преграда... она как прозрачное стекло в аквариуме — все рядом, но вы не можете сквозь него пройти» (The Road to Wigan Piers, L., 1937, p. 188). Известен слу-

чай, когда Оруэлл переоделся бродягой и выпил бутылку виски, чтобы испытать на себе обращение с простыми людьми в каталажках. Но итонский акцент выдал его, и он был препровожден домой полицейским со всей обходительностью (см.: L e y s S. Orwell: The Horror of Politics.— "Quadrant" (Sydney), 1983, v. 27, № 12, p. 9—21).

К с. 314

Джонсон Сэмюэл (1709—1784) — английский философ и публицист; автор знаменитых сатир, философских повестей, «Словаря английского языка» (1755), критической серии «Жизнь английских поэтов».

Честертон Гилберт Кид (1874—1936) — английский писатель, автор серии рассказов о священнике-детективе отце Брауне, шести романов (наиболее популярные «Наполеон из Ноттингема» — перв. рус. пер. 1928, «Человек, который был Четвергом» — перв. рус. пер. 1914), литературных и богословских трудов, баллад и романсов. Прозрачная проза Честертона — один из образцов, формировавших оруэлловскую эстетику «оконного стекла». О связи «1984» и «Человека, который был Четвергом» говорилось в комментарии к роману.

Уордсворт Уильям (1770—1850) — английский поэт-романтик «озерной школы» (С. Кольридж, Б. Саути), автор популярных «Лирических баллад», новаторских по эстетике и стилю, автобиографической поэмы «Прелюдия», писавшейся практически всю жизнь и отразившей духовную и эстетическую эволюцию поэта.

К с. 321

Криппс Стаффорд (1889—1952) — английский государственный деятель, в 1940—1942 гг. посол Англии в СССР, во время войны входил в правительство консерваторов; в правительстве лейбористов (с 1945) — министр труда; в апреле 1951 г. подал в отставку в знак протеста против сокращения расходов на социальные нужды.

Криппс был активным проводником курса на антифашистский альянс СССР и Англии: в ночь с 12 на 13 апреля 1941 г. он передал Советскому правительству предупреждение о возможности нападения Германии; 8 июля 1941 г.— послание о помощи Англии СССР; энергично добивался открытия второго фронта, что отмечено английскими и советскими историками (C h u r c h i l l W. The second World War, v. 3, p. 409—410; Т р у х а н о в с к и й В. Г. Внешняя политика Англии в период второй мировой войны. М., 1965, с. 172—175). По мнению биографа, «прорусская ориентация» Криппса заставила Черчилля отозвать его в январе 1942 г. из СССР (E s t o r i c k E. Stafford Cripps. Master Statesman. N. Y., 1949, p. 231).

Биверидж Уильям (1879—1963) — видный английский государственный деятель либерального направления; автор проекта социального страхования 1941—1942 гг., получившего широкую общественную поддержку.

Бевин Эрнест (1881—1951) — лидер английских лейбористов; в консервативном правительстве 1940—1945 гг.— министр труда; после победы лейбористов (26.VII.1945) — министр иностранных дел в правительстве Эттли; участник Потсдамской конференции, за свою позицию в переговорах оцененной левой прессой как «лейбористский Черчилль».

К с. 323

Мосли Освальд (род. 1896) — лидер английских фашистов. Начинал политическую карьеру как один из авторов «праволейбористской» (т. е. консервативно-популистской) программы «Лейбо-

ризм и нация», в 1929 г.— министр без портфеля в правительстве Макдональда. После неудачных попыток прийти к власти в лейбористской партии в 1930 г. создал левацко-популистскую Новую партию, с 1931 г. поддерживавшую немецких фашистов. Инициатор штурмовых отрядов (1932) и «казарм чернорубашечников» (1933). В 1933 г. Мосли возглавил «Второй британский союз фашистов» (первый «Британский союз фашистов» организовали в 1923 г. генералы Блэкени и Уинтер под лозунгом «Корона и контрреволюция»).

В 1934 г. британские фашисты устроили ряд погромов, 7 июня 1934 г.— кровавое избиение «врагов фюрера Мосли», которое собирались повторить на митинге в Гайд-парке 2 сентября 1934 г., но были сметены грандиозной антифашистской демонстрацией. После этого английский фашизм практически сходит с исторической сцены. В начале войны Англии с гитлеровской Германией Освальд Мосли был интернирован, но в ноябре 1943 г. выпущен на свободу по инициативе министра-лейбориста Г. Моррисона, что вызвало массовое возмущение (см.: М э х л а л и Ф. Фашизм в Англии. М., 1947).

К с. 324

...до смерти Георга Пятого... — т. е. до 20 января 1936 г. Георг V род. в 1865 г., правил с 6 мая 1910 г.

...серебряным юбилеем 1935 года... — празднование 25-летия правления Георга Пятого.

К с. 325

Отречение — в 1936 г. король Эдуард VIII (1894—1972) отрекся от престола из-за брака с дважды разведенной американкой. Правление Эдуарда VIII продолжалось с 20 января по 11 декабря 1936 г. Коронован он не был.

К с. 327

Закон об образовании 1870 г. — крупнейшая в истории Англии реформа образования, сделавшая начальное образование в принципе доступным всем детям. Существовавшие до этого 20 тыс. частных школ не были закрыты, но начали создаваться школы, руководимые выборным советом, частично финансируемые налогоплательщиками. Для бедных детей введено бесплатное обучение, для остальных — маленькая понедельная оплата. С 1870 по 1876 г. было открыто 1600 таких школ. Одновременно школа была частично секуляризована. Автором проекта закона был либеральный политик Уильям Форстер.

К с. 331

«Бейсик Инглиш» — словарь и метод обучения «упрощенному английскому языку», предложенный Г. Огденом (см. комм. к роману — «Новояз»).

Бичламар — англо-малайский жаргон.

К с. 339

Нойес Альфред (1880—1958) — английский поэт, автор известных романсов, «морских баллад». Оруэлл считал презрение к романсу «интеллектуальным вывертом» и не совсем верил в его искренность. Романс для Оруэлла — часть той «хорошей плохой литературы», которой надо дорожить как универсальной духовной ценностью. В статье «Редьярд Киплинг» он писал: «Плохая хорошая поэзия существует в Англии с 1790 г. «Мост вздохов», «Когда весь мир был молод», «Дженни поцеловала меня», «Касабланка»... Эти стихи, доступные людям с неразвитым эстетическим вкусом, доставляют радость и тем,

кто очень хорошо видит их несовершенство... Тот факт, что существует такая вещь, как хорошая плохая поэзия, есть знак эмоциональной совместимости интеллектуала и простого человека. Интеллектуал *отличен* от простого человека, но только частью своей личности, и этой частью — не всегда» (CE, II, 215—218).

Грэм Грин. Суть дела.

К с. 352

...*«Не ведаем, какую сеть...»* — из поэмы Вальтера Скотта «Мармион». Песнь VI (1808).

К с. 353

Маритен Жак (1882—1973) — французский религиозный философ, католический богослов, в 1945—1948 гг. — посол в Ватикане; с 1948 г. живет в США, профессор Принстонского университета.

Политическая философия Маритена, основанная на идеях «демократии от Евангелия», должна была быть близка Оруэллу. Поразительно совпадение с позицией Оруэлла пафоса статьи Маритена «Конец макиавеллизма» (1941), призывающей вернуться к аристотелеву пониманию политики как этики.

Леон Блуа (1846—1917) — французский писатель, сочетавший религиозную экзальтацию с яростной критикой католической ортодоксии; автор мистической концепции Женственного как проявления Духа святого; один из духовных наставников Жака Маритена.

В. Чаликова

Содержание

ЗАРУБЕЖНАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА
И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ:

Э. Канетти (Австрия)
А. Мальро (Франция)
Дж. Болдуин (США)

Оруэлл Дж.

0—70 «1984» и эссе разных лет: Пер. с англ./Сост. В. С. Муравьев; Предисл. А. М. Зверева; Коммент. В. А. Чаликовой.— М.: Прогресс, 1989.— 384 с., с ил.— (Зарубеж. худож. публицистика и докум. проза)

ISBN 5-01-002094-7

В сборииk аиглийского писателя Джорджа Оруэлла (1903—1950), с творчеством которого впервые зиакомятся советские читатели, включеи его иаиболее известиый ромаи «1984» и избраииая эссеистика.

«1984» — аитиутопия, рисующая дегумаиизироваииое тоталитариое государство. В публицистике писателя иашли отражеиие острейшие проблемы политической и литературиой жизии 30—40-х гг. иашего века.

О $\frac{4703010600—421}{006(01)—89}$ 95—90

ББК 84.4 Вл

Джордж
ОРУЭЛЛ

«1984» и эссе разных лет

Роман и художественная публицистика

В книге использованы архивные фотографии

Редактор *А. А. Файнгар*
Художник *В. Б. Гордон*
Художественный редактор *В. А. Пузанков*
Технический редактор *Т. И. Юрова*
Корректор *О. Е. Косова*

ИБ № 17493

Сдано в набор 24.01.89. Подписано в печать 23.06.89.
Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Тип таймс».
Печать офсетная. Условн. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,37.
Уч.-изд. л. 26,56. Тираж 200 000 экз. Заказ № 193.
Цена 2 р. 10 к. Изд. № 45968.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс»
Государственного комитета СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
119847, ГСП, Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 17.

Можайский полиграфкомбинат В/О «Совэкспорткнига»
Государственного комитета СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
143200, Можайск, ул. Мира, 93.

Издательство «ПРОГРЕСС»

ВЫШЛА В СВЕТ

ГРИН Г. **Путешествие без карты:** Сборник: Пер. с англ. (Зарубежная художественная публицистика и документальная проза).

Имя крупнейшего современного английского писателя Грэма Грина (р. 1904) хорошо известно советским читателям.

Сборник включает в себя фрагменты двух автобиографических книг писателя: «Вот такая жизнь» и «Пути спасения», книг путевых очерков «Дороги беззакония», «Путешествие без карты», «В поисках героя», эссе о литературе и кино, а также произведения документально-публицистического жанра последних лет и интервью, данные писателем в 70—80-е гг.

Рекомендуется широкому кругу читателей.

Издательство «ПРОГРЕСС»

ВЫХОДИТ В СВЕТ

МАЛЬРО А. **Зеркало лимба:** Сборник: Пер. с фр. (Зарубежная художественная публицистика и документальная проза).

Творческая биография французского писателя, видного общественного и государственного деятеля Андре Мальро (1901—1976) органично связана с важнейшими историческими событиями 20—70 гг. XX в. Человек действия, антифашист, участник боев испанских республиканцев, один из ближайших сподвижников де Голля, он отстаивает своим пером национальную независимость Франции, предостерегает от опасности «американизации» европейского общества.

2 р. 10 к.

Джордж Оруэлл

... есть вещи, со славословием несовместимые, и тирания — одна из них. Не написано ни единой хорошей книги во славу инквизиции. Поэзия *может* уцелеть в тоталитарные времена; некоторым искусствам или полуискусствам типа архитектуры тирания могла бы даже пойти на пользу; но прозаику остается единственный выбор — между молчанием и смертью. Проза, какой мы ее знаем, — это дитя разума, протестантской эпохи, независимой индивидуальности. Умерщвление свободы мысли парализует журналиста, социолога, историка, романиста, критика и поэта — именно в такой последовательности... если либеральной культуре, в условиях которой мы существуем с эпохи Возрождения, придет конец, то вместе с ней погибнет и художественная литература.

"Подавление литературы"

Тоталитаризм уничтожает возможность согласия, основывающегося на том, что все люди принадлежат к одному и тому же биологическому виду. Нацистская доктрина особенно упорно отрицает существование этого вида единства. Скажем, нет просто науки. Есть "немецкая наука", "еврейская наука" и т. д. Все такие рассуждения конечной целью имеют оправдание кошмарного порядка, при котором Вождь или правящая клика определяют не только будущее, но и прошлое. Если Вождь заявляет, что события "никогда не было", значит, его не было. Если он думает, что дважды два пять, значит, так и есть. Реальность этой перспективы страшит меня больше, чем бомбы, — а ведь перспектива не выдумана, коли вспомнить, что нам довелось наблюдать в последние несколько лет.

"Вспоминая войну в Испании"

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОГРЕСС"